Каждый пишет, как он слышит, Каждый слышит, как он дышит...

Булат Окуджава

### ОБРАЗЫ ЖИЗНИ литературный альманах

LIFE IMAGES LITERARY ALMANAC

Ответственный редактор: Алла Ходос

Безответственный редактор: Марина Золотаревская

Технический редактор: Любовь Шапиро

Фотография на обложке: Юрий Золотаревский

Скульптура Карла Миллеса «Человек и Пегас», Стокгольм, Швеция.

### Взгляды редакции не всегда совпадают со взглядами авторов.

Редакция не несёт ответственности за неточности и непроверенные факты в опубликованных материалах.

При перепечатке ссылка на альманах «Образы жизни» обязательна.

Альманах издаётся на средства авторов, проживающих в Америке и Израиле.

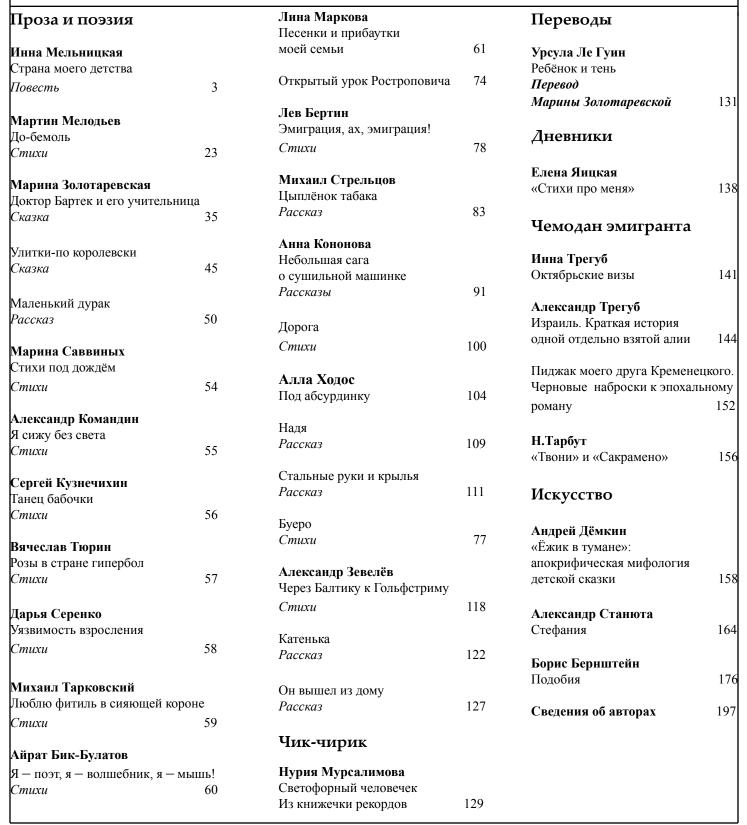
Редакция благодарит за сотрудничество международный интернет-журнал «Интерлит» и российский журнал «День и ночь».

ISBN: 978-0-9832503-0-2

## ОБРАЗЫ ЖИЗНИ

### ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ









# инна мельницкая СТРАНА МОЕГО ДЕТСТВА

Повесть



Горькой, светлой памяти отца моего, Владимира Ивановича Оскнер, посвящаю

Жизнь прожить – не поле перейти: Столько ям и рытвин на пути!

Первое отчётливое воспоминание: вечер, за окнами темно. Сколько мне, не знаю. Может быть, год. Я горько плачу у мамы на руках — отчего, о чём — не знаю. Мама подносит меня к окну и таинственно и грозно указывает пальцем: «Видишь, там Темно. Если будешь плакать, я тебя Темну отдам». Я замолкаю, и на многие годы остаётся во мне страх перед темнотой. И ещё одно: если не можешь не плакать — плачь, но так, чтобы этого никто не видел и не слышал. Это осталось на всю жизнь.

Ещё осколок: жёлтое слово «Саки». Много жёлтого и много синего. Жёлтый забор из шершавого, ноздреватого камня, который называется «песчаник». Синее-синее горячее небо над головой, узкое, высокое дерево — может, кипарис, может, осокорь — и множество мух. Мухи огромные, назойливые, злые — от мух нет спасения. И плохой запах — может быть, даже от меня. Я лежу рядом с деревом, очень жарко, и некому отогнать от меня мух. Я очень больна, но у меня ничего не болит.

А было так: у Муси болело колено, кажется, туберкулёз – и папа, чтобы подлечить её, поехал вместе с ней в Евпаторию воспитателем в детский костнотуберкулёзный санаторий. А мама вместе со мной поселилась в Саках – жизнь там была подешевле. Дома, в Харькове, готовил обычно папа: мама, в шестнадцать лет выпорхнувшая из Института благородных девиц, ничего не умела – их готовили к другой жизни. В Саках она нашла татарскую харчевню, где было грязновато, но вкусно: жирные борщи с бараниной, жирные чебуреки, караимские пирожки, сахарные арбузы, дымчаторозовые «дамские пальчики» и прочая, недоступная в Харькове, заманчивая снедь. Детскому желудку эта экзотика оказалась не под силу: у меня начался кровавый колит.

Военный фельдшер, к которому маме посоветовали обратиться, посоветовал лечить меня голодом. Мама поняла это в буквальном смысле и просто перестала меня кормить, но колит не прекращался. Я опухла так, что детские чулочки перестали на меня налезать, и мама натягивала на меня свои. Вызвали папу, он бросился со мной к врачу, и тот сказал: «Если хотите похоронить её на родине, уезжайте домой».

Когда мы уезжали, я уже не держала головку.

Но в Харькове был замечательный детский доктор Деревянко. Когда он увидел опухшие ножки и ручонки, исхудавшие, как барабанные палочки, он сказал: «Мамаша, ваш ребёнок умирает от голода. Прежде чем лечить, её надо кормить – но кормить очень осторожно. У неё желудок отвык от пищи. Начнём с жиденького куриного бульончика и сухариков».

Не знаю, прописывал ли он какие-нибудь лекарства. Не помню. Главное воспоминание последующих дней – это еда.

Следующая картинка: я сижу у кого-то на коленях – у кого, не помню, это не важно. Главное что: тарелка с узеньким зелёным «марусиным пояском» и налитый по этот поясок прозрачный желтоватый бульон, в котором плавают кусочки размокших сухариков. Чья-то рука зачерпывает его ложкой, и я послушно открываю рот, но внимание моё сосредоточено на крошках, осевших на краях: вдруг их не заметят и оставят на краях тарелки? Мысль эта невыносима, и я осторожно, украдкой ловлю их мизинцем и отправляю в рот. Мне делают замечание, и я в отчаянии лепечу: «Я пальчиком...»

Картинка другая: вожделенные сухарики завёрнуты в синюю обёрточную бумагу, эта бумага называется «сахарной», потому что в такую бумагу обычно заворачивали сахарные головы - крепкие белоснежные конусы, какими когда-то почему-то формовался сахар-рафинад. Кулёк с сухариками лежит на книжном шкафчике, чтобы я не могла его достать. Я знаю, что мне нельзя, что, если я наемся досыта, я могу умереть, – мне это объяснили, и я всё грустно понимаю, но чувство голода неотступно, беспощадно, и я хожу вокруг шкафчика и смотрю на синий большой кулёк и молю не знаю кого, чтобы скорее шло время и чтобы скорее пришла пора, когда из кулька достанут сухарик и покрошат в тарелку с зелёным «марусиным пояском».

Потом папа открывает буфет и достаёт тёмную бутылку с церковным вином. Я открываю рот и жду, как

голодный птенец, пока папа наливает пахучее рубиновое вино в столовую ложку. Доктор Деревянко велел давать мне вино в качестве укрепляющего, я знаю, что так надо, и вот-вот, сейчас горьковато-сладкий глоток горячо скользнёт в моё горло.

А потом все сидят за столом, и в тарелках с зелёным борщом у них красиво плавают кусочки крутого яичка и белые разводы сметаны, а на керосинке шипят и мучительно пахнут тёмно-коричневые котлеты. Я не завидую: я грустно, обречённо знаю, что мне нельзя — и я боюсь спросить: это навсегда? Или я вырасту, выздоровею, и мне станет можно? Я боюсь ответа и поэтому не спрашиваю: так всё-таки есть какая-то надежда!

А вот ещё: большая светлая комната. Она угловая, здесь окна с двух сторон, не так, как у нас — потому очень светло. Ещё со времён, когда здесь был детдом, она называется «комната старших девочек».

Я стою посреди комнаты, все смотрят на меня, а у меня внутри всё сжимается от тоски и ужаса. «Ну, что же ты? — говорит мне мама. — Начинай. Рассказывай». И я начинаю: «В этом чёрном-чёрном городе была чёрная-чёрная улица. На этой чёрной-чёрной улице был чёрный-чёрный дом...» Ну почему, ну зачем именно это? Уж лучше бы «Божия коровка, полети на небо: там твои детки кушают котлетки!» или, как кричат ребята во дворе, если пролетает самолёт: «Ароплан, ароплан, посади меня в карман!» Я не хочу ЭТО: мне страшно, мне нехорошо, я таращу глаза от ужаса и тоски, хоть и знаю, что всё кончится нестрашно — но ведь каждый раз надо сначала пройти через этот ужас! А мама смеётся, и все они смеются: «Глядите-ка, у неё ротишко меньше, чем глаза! Ну что же ты замолчала?»

И я продолжаю: «В этом чОрном, чО-О-рном доме была чО-О-рная, чО-Орная комната, в этой чО-Орной, чО-Орной комнате стоял чО-Орный, чО-Орный стол...» Они же все добрые – ну, зачем они меня мучают? «На этом чОрном, чОрном столе стоял чОрный, чОрный ГРОБ...» Господи, ну, скорее бы положить этому конец!

И я, зажмурив глаза, выпаливаю скороговоркой: «В этом чёрном, чёрном гробу лежала отрубленная голова...селёдки!» Все смеются, а я давлюсь слезами, но плакать нельзя, нельзя, это потом, в тёмном закутке коридора, где никто не увидит!

Мама перекидывает косу на грудь – у неё длинная, до пояса, коса, и у Яны коса, и у Вацы коса, и у Ани Гусаревич тоже – а вот у Ларисы почему-то нет... Интересно, а если я вырасту – у меня тоже будет коса?

Другой день, неизвестно когда. Я на своём посту, у красного шкафчика. Мама лежит на кровати, в голубом

фланелевом платье с перламутровыми пуговками, головой к окну, и читает. Я смотрю на её узкие пяточки в светлых фильдеперсовых чулках и думаю всё то же: скоро ли она отложит книгу, сунет ноги в тапочки и достанет со шкафчика вожделенный сухарик? Как вдруг открывается дверь: в проёме кудрявая голова, ослепительная улыбка, отсверкивающая золотыми зубами – и возглас: «Маруся, лови!»

И через комнату летит что-то круглое, яркооранжевое — апельсин! А за ним белая коробка с нарядным шёлковым бантом! Мама со смехом ловит коробку. Апельсин падает на кровать, на серое солдатское одеяло.

Это Иося, папин бывший ученик, но он мне не интересен. Я смотрю, не отрываясь, на остро пахнущее, ярко-оранжевое солнце, слежу за смуглыми мамиными пальцами, развязывающими пышный бант. В коробке, украшенной изнутри белыми бумажными кружевами, невиданное печенье: оно покрыто разноцветной глазурью – белой, розовой, голубой... Я никогда не видела такой красоты. Иося достаёт из кармана складной нож, ловко надрезает кожуру апельсина – и вот уже у него на ладони удивительный оранжевый цветок. Он протягивает это чудо маме – а я замираю, вцепившись в прутья кровати, и смотрю, смотрю, молча смотрю, не в силах оторвать глаза от этой немыслимой, недоступной красоты. Я знаю: мне не дадут, мне нельзя – но всё равно не могу отойти...

Смотри-ка, а ведь не просит, – говорит Иося с интересом.

Нет, я не прошу.

Потом провал. Ничего не помню. Холодное стекло термометра. Жжение горчичников – господи, хоть бы скорее сняли! Тёмные разводы на потолке – тучи, какие-то звери, страшные рожи, деревья...

Мамина колыбельная: «Ходит бай по стене, охти мне, охти мне... Уж я девочку мою баю старому отдам...» Кто такой Бай? Может, это Темно? «Отдам тебя Темну».

Тёмные разводы на потолке – тучи, деревья, какие-то звери, страшные рожи... «Котя-котя, коток, котя-серенький хвосток, ходи, котя, ночевать, нашу девочку качать...» Котя – это уже не страшно, он гладкий, ласковый, тёплый...

Доктор Деревянко. Он приставляет ко мне коричневую трубочку и слушает, что там у меня внутри. Внутри крупозное воспаление лёгких. Провал...

Нас с Мусей остригли. У Муси голова треугольная, с шишками, а у меня кругленькая... Остригли, потому что у Муси стригучий лишай. Или стригущий?

Мама ходит с ней к Иосе, он этот лишай лечит. Это называется рентген. А до того у Муси выдёргивали по волосочку. Бедная Муська – это же больно!..

Мама поступила на работу, на фабрику. В ночную смену. Ваца, Яна, Лариса, Аня Гусаревич, Лёля Костикова — все работают на фабрике, и тоже иногда в ночную смену. Но только они приходят со смены утром и дома целый день, а уходят поздно, когда мы с Мусей уже спим. А мама приходит днём, когда папа уже на работе — и не надолго. Наверное, фабрика другая.

С тех пор, как мама пошла на фабрику, она какаято другая. У неё другое лицо и другие платья: одно мы с Муськой называем «весна» – оно всё в красивых цветах, а другое мы не знаем как назвать, потому что оно в тракторах и зубчатых колёсах. У нас есть красивое кресло-качалка, обитое зелёным бархатом с бахромой. Это мамино кресло, она его всегда любила – и теперь всегда приходит в нём посидеть. Посидит-посидит, поговорит немножко с нами, больше с Муськой наверное, со мной не интересно - сходит поговорить «к старшим девочкам», потом вернётся, погладит Муську по шишкастой голове, поцелует нас на прощанье - и уходит. И не обедает, и даже «тормозок» с собой не берёт, как Яна и Ваца. Наверное, у них там на фабрике есть столовая. И гардероб, наверное, тоже есть, где мама держит все свои платья, потому что у нас в шкафу они больше не висят.

Иногда папа забегает из школы нас покормить, когда мама ещё не ушла. Он говорит «Здравствуй, Маруся!», целует её руку и уходит. И тогда покормить нас после маминого ухода приходит Яна или Христина Владимировна.

А потом мама вообще перестаёт приходить. Мне говорят, что она поехала в Ленинград к тёте Юле. У нас есть тётя Юля в Ленинграде, а Ленинград — это очень далеко, и поэтому совершенно неизвестно, когда мама приедет.

А потом наступает зима. До того в моей памяти зимы не было. И вместе с зимой в ней появляется тётя Тоня. Тётя Тоня — это папина старшая сестра. У тёти Тони короткие, крупно-волнистые волосы и очки на прищепочках, которые называются пенсне. Она давала мне померить — на моём носу они не держатся, но вообще мерить чужие очки нельзя — глаза портятся. Тётя Тоня тоже учительница. Приходя, она немедленно начинает наводить порядок: стрижёт нам ногти, моет уши и шею, моет пол и аккуратно складывает бумаги на папином столе, что приводит нашего кроткого папу в неописуемую ярость.

Я уже большая. Мне уже три года, и я знаю, что в Ленинград и, что особенно важно, из Ленинграда надо

ехать поездом, а все поезда обязательно приходят на вокзал. Поэтому каждый вечер, когда папа приходит с работы (если, конечно, я ещё не сплю), я прошу папу: «Поедем на вокзал. Может, мама приедет?» И папа надевает мне красные рейтузики, повязывает платочек, поверх него связанную тётей Тоней шапочку с помпоном, потом шубку (бывшую Мусину), в рукава которой протянута тесёмка с пришитыми к ней для надёжности (опять же тётей Тоней) рукавичками, и Мусины валеночки, сажает меня в Мусины саночки, укутывает поверх всего одеялом, и мы отправляемся встречать маму. Мне тепло и уютно, снег вкусно хрустит у папы под ногами, папа везёт меня по тихой, заснеженной Примеровской, ресницы мои слипаются, и я засыпаю.

А назавтра, наливая мне ненавистную манную кашу, папа говорит: «Ну, вот: ты заснула, поезд пришёл, а мама не приехала». И я верю: вот в следующий раз я не буду спать, и мама обязательно приедет. Может быть.

И зима проходит.

Потом приходит и проходит весна. Мир значительно расширяется. Мы с Мусей гуляем во дворе и делаем множество интересных и полезных открытий. Во-первых, молодые листики жасмина пахнут огурчиками, и их можно безбоязненно есть, только не много, потому что, если много, становится противно. Можно есть цветки акации жёлтой и белой, у них сладкое донышко, а вот сирень есть не стоит — разве что если найдёшь цветочек с пятью лепестками: этот, если его съесть, говорят, приносит счастье. Я ищу их старательно, и честно ем, если нахожу, но мама всё не едет. Некоторые ребята во дворе едят паслён и калачики, но мы их не едим. У паслёна противный запах, а калачиками мы брезгуем: они растут у самой земли и по ним ходят кошки и собаки.

Во дворе два колодца, но оба почему-то засыпаны – а как было бы интересно, если бы в них была вода! Но самое любопытное – это, конечно, мусорка. Какие там можно найти драгоценности! Меня больше всего занимают цветные стёклышки. Стёклышко можно помыть, посмотреть сквозь него кругом – и всё становится зелёным, оранжевым, красным или тёмносиним, как перед грозой. Даже солнце – и то становится синим! А ещё иногда попадаются замечательные гранёные пробки от бутылок или флаконов неизвестной красоты. Вот только где их хранить – а то как бы тётя Тоня не выкинула эти сокровища.

Мы с Муськой неразлучны, как пальцы на руке: она безымянный, а я – мизинчик. Она говорит, что ещё недавно была втрое старше меня – а теперь на пять лет. Интересно, как это получается?

Тётя Тоня подарила нам набор цветного

пластилина. Я леплю яблоки, морковки и всякие огурцы, а Муся вылепила индейского идола, украсила его разноцветными стёклышками и сказала, что мы должны приносить ему жертвы. Один раз мы принесли: тётя Тоня сварила нам яйца всмятку, и мы капнули ему по капельке желтка — получилось даже красиво, но тётя Тоня сказала, что больше жертв не надо, а то мы разведём в доме мух и тараканов. Муся поставила его на самое светлое окно, но он, наверное, обиделся, потому что однажды, в жаркий солнечный день, превратился в бурую лепёшку. А тётя Тоня сказала, что он просто растаял на солнце.

А папа? Папа всё время с нами, но в будние дни я вижу его только сквозь сон. То рано-рано утром – шлёп-шлёп – папа моет пол, то опять шлёп-шлёп – стирает наши рубашонки, то, накрыв настольную лампу платком, что-то пишет за столом. В выходной он идёт на базар с большой плетёной кошёлкой, потом варит обед на общей, на весь этаж, кухне, которая почему-то называется ванной. Иногда он ставит керосинку или примус на табуретку у двери и готовит в комнате. Тогда, пока что-то тихо варится, он читает нам или вместе с нами смотрит «Художественные сокровища СССР». Это большие папки с картинами из разных музеев. Мы их не листаем: папа выбирает какую-нибудь картину - они наклеены на листы толстой желтоватой бумаги, и каждую прикрывает ещё листик, шелковистый и прозрачный. Папа их открывает ласково и бережно, как будто они живые, и мы вместе рассматриваем их долго и внимательно, в каждой мелочи, а папа рассказывает нам про художника и про то, что нарисовано. Иногда при этом что-нибудь сбегает или пригорает, но папа говорит, это не главное – и мы соглашаемся. Ни у кого во дворе нет такого папы. Правда, зато у всех есть мамы.

Иногда папа говорит Мусе: «Пойдите, поиграйте во дворе». Муся соглашается, берёт меня за руку, и мы уходим. Мы знаем: это значит, папа сейчас возьмёт виолончель. И это тот единственный случай, когда мы, не сговариваясь, позволяем себе ослушаться папу. Сразу за нашей дверью коридор заворачивается буквой Г: там, за поворотом, стоит чей-то большой кованый сундук. Наверное, он бесхозный, а ещё вернее – коммуновский. Здесь я прячусь, когда очень надо выплакаться — тут темно, и никто не увидит. Но когда папа берёт виолончель, мы прячемся здесь вместе с Муськой и слушаем, слушаем удивительный виолончельный голос, и мне почему-то кажется, что папа отсылает нас, потому что так же, как и я, не хочет, чтобы видели, как он плачет, а вместе с ним плачет виолончель.

А потом – нескоро – настаёт яркий солнечный день, и я во дворе, на террасе, выложенной шахматно розовыми и серыми плитами, увлечённо занимаюсь

хозяйством: я, как папа, варю борщ. Вместо морковки и свёклы у меня отлично сходит бурьян с красным корнем и хищным названием «щерица», вместо томата можно натереть кирпич, а за капусту сойдёт хорошая травка по имени подорожник. Всё почти готово, и надо только принести и налить воды, как вдруг на втором этаже распахивается коридорное окно и кто-то кричит: «Иди домой, Маруся пришла!»



С мамой

Маруся – это моя мама. Наконец-то пришёл этот ленинградский поезд! Я бегу домой, я стараюсь шагать через две ступеньки, чтобы скорее – сейчас, вот сейчас! Вбегаю в комнату: мама сидит в своём любимом кресле-качалке, Муська, почему-то заплаканная – вот глупая! – гладит ей руки. Я обнимаю мамины колени в платье с тракторами, а она, запрокинув мою голову, смеясь, говорит: «А я тебе куклу привезла!» Боже, какое счастье сразу: и мама приехала – и кукла! У меня ещё никогда не было куклы! Роскошная, кудрявая, ручкиножки пухленькие, словно перевязанные ниточками, - я такой ни у кого не видела! Лежит на кровати – наверное, заводная! Говорят, бывают такие - сами двигаются, и глаза закрывают и открывают. Лилька Кац хвасталась, что у неё кукла умеет говорить «мама»! Не помня себя от восторга и благодарности, я бросаюсь к кукле – и вдруг розовая ручка хватает и больно дёргает меня за волосы. Я с рёвом шарахаюсь – я даже на минуту забываю, что плакать нельзя - так испугалась! Но мама заливисто смеётся и говорит: «Глупенькая, это же твоя сестричка - чего ты испугалась?» Я быстро успокаиваюсь: новая сестричка – это даже лучше, чем кукла!

Мама разрешает мне её потрогать, и счастью моему нет границ. Сестричку зовут Аллочка, на ней тоненькая распашонка с кружавчиками, она гукает и вдруг начинает кряхтеть и тужиться. Замечательно! Оказывается, она уже умеет какать! Я с готовностью несу и мну бумажку, но мама говорит, что бумажка тут не годится.

А потом – очень скоро – мама собирается уходить. Спелёнывает мою сестричку в тугой пакетик – неужели она возьмёт её на фабрику? Хотя конечно – как нам тут её кормить без мамы? Только куда её мама там положит?

Я тащу табуретку к дверям - наверное, с

сестричкой на руках маме трудно будет наклониться, чтобы меня поцеловать. Надо влезть на табуретку — тогда мама меня поцелует. Я ничего не говорю — только с надеждой смотрю на неё, и мама смеётся, легонько чмокает меня где-то над ухом — и притворяет за собой дверь. Муська идёт её провожать, а я остаюсь одна, на табуретке, и мне очень хочется заплакать. Но плакать нельзя. И я слезаю с табуретки — а это, между прочим, не легче, чем залезть, — и топаю во двор: может, они ещё не ушли?

Во дворе никого, только братья Алесашины, Шурка и Толька, играют «в ножичка». Больше похвастать некому, и я подхожу к ним и сообщаю: а у меня сестричка есть!

И тут рушится мир. Толька выпрямляется, отряхивает ладони и, цыкнув сквозь зубы, – мне бы так! – безжалостно говорит:

 Дура ты, дура! Бросила вас твоя маханя, она от твоего папашки к другому ушла, и не нужна ты ей теперь ни за грош, ни за денежку – у неё теперь другая дочка есть, и дом другой.

Все другие звуки пропадают: оглохнув от потрясения, я бросаюсь на обидчика – и больше ничего не помню.

С этого дня для меня начинается другой отсчёт времени: с этого дня мы с Муськой не такие, как все – мы девочки без мамы.

За стенкой у нас «комната старших мальчиков». Так она называется ещё с тех пор, когда здесь был детдом. Там живут трое коммунаров, и самый лучший из них – Ваня Макогон. Если в доме гаснет свет и нам с Муськой становится страшно, мы стучим в стенку - и Ваня приходит на помощь. Он зажигает нам керосиновую лампу, сначала зачем-то подышав в стекло, и в комнате сразу просыпаются загадочные тени: они прячутся по углам, шевелятся на потолке, но с Ваней нам бояться нечего. С Ваней интересно и весело. Он играет на балалайке озорные детдомовские песенки, таскает меня «на баранчика» или, посадив на коленку, делает мне «Гоп. гоп, гоп, скачет конь в галоп». При этом я должна цокать языком - как скачет по мостовой извозчичья лошадь. «А на коне князь, – тут Ваня делает страшные глаза и притворяется, будто роняет меня, головою в грязь!» И я, цепляясь за него изо всех сил, заливаюсь счастливым смехом.

А ещё он рисует нам смешные карточки и мы играем в снип-снап или в «пьяницу». Но самое замечательное – это театр теней. Ваня сплетает пальцы – и по стене движутся смешные собаки и гуси, лихой урка в надвинутой фуражке, ушастый зайчик и горластый

петух.

А ещё у нас откуда-то есть грифельная доска — она тёмно-тёмно-серая и в деревянной рамочке. Ваня учит меня рисовать: точка, точка, запятая, носик, ротик, оборотик — вышла рожица кривая; палка, палка, огуречик — вот и вышел человечек! Палочки-ручки и палочкиножки можно согнуть посерединке — и получаются локотки и коленки. Главное, что, если плохо получается, можно тряпочкой всё стереть — и нарисовать заново.

В один замечательный день Ваня принёс нам цветные мелки, и мы рисуем уже целые картины: зелёную траву и белые, красные, жёлтые и голубые цветы, а среди цветов – домик с дверью, окнами и красной крышей, а рядом с домиком – девочку в треугольной юбочке. Для этого, конечно, доску приходится поворачивать на бок. Плохо только, что всё равно две девочки не помещаются: приходится стирать цветы. Две девочки – это мы с Муськой, а иначе как же – Муська без меня или я одна? Это не годится, это плохо – если я одна! Домик, цветы и девочки выходят одного роста – но это ничего!

Потом мелки берёт Муська и рисует трёх девочек: они держатся за ручки. Та, что посредине, – побольше. Большая девочка – это мама. У Муськи хорошо получается – лучше, чем у меня, и она долго смотрит на свою картину, потом медленно стирает фигурки, одну за другой...

Когда Вани нет дома, нам плохо. Никодим и Виктор, которые живут с ним вместе в «комнате старших мальчиков», к нам не приходят А ещё хуже становится, когда Ваня уходит в армию. Совсем плохо нам без Вани...

Оказывается, в доме у нас много интересного. С улицы он очень нарядный. Мы с Муськой считаем, что он самый красивый на нашей улице — хотя и не самый большой. Перед окнами первого этажа палисадник с кованой решёткой и каменными скамейками и замечательные кованые ворота, на которых иногда удаётся покататься, если поблизости нет взрослых. Через парадный ход мы никогда не ходим, хотя он обычно открыт. Там холодная мраморная лестница с коричневокрасными мраморными перилами. В углу под лестницей можно, конечно, играть, но не очень хочется: там какойто скучный запах. Муська говорит, что это мрамор так пахнет, а соседский — бухгалтерский — мальчик Лёсик говорит, что это кошки.

В квартирах окнами на улицу живут о т д е л ьны е люди. Мы с ними не водимся. В дом мы обычно входим с чёрного хода — хотя почему он называется чёрным, совершенно непонятно. Дом с этой стороны красно-кирпичный и очень мне нравится. Во-первых, отсюда идёт вниз лестница в кочегарку. Там, в углу, есть отверстие, ведущее в таинственный подземный ход.

Меня туда не пускают, потому что я маленькая, но Муська и наши дворовые мальчишки туда лазили с дворовой таксой Тузиком. Говорят, ход идёт далеко, к речке, и в нём можно найти разные интересные вещи. Муська, например, нашла красивую металлическую коробочку. Коробочка с замочком: если надо, она защёлкивается или, наоборот, отщёлкивается, и внутри у неё специальные отделения: круглые, с пружинкой, разной величины для разных монеток, и прямоугольное, во всю длину – для бумажных денег. В общем, это такой кошелёк, называется п о р т м о н е – очень красивая штучка! Только как она попала в подземный ход и куда она потом делась, я не знаю. А ещё Муська притащила оттуда большое бронзовое блюдо с бронзовыми фруктами такие вроде бы на стенку вешают. Его мы тоже кому-то отдали – нам оно вроде бы ни к чему...

У Муськи есть толстая книжка с красивыми картинками, зелёном переплёте. Называется «Таинственный сад». Нам очень нравится слово «таинственный» – и в доме у нас столько таинственного! Таинственный подземный ход, таинственные колодцы, зачем-то засыпанные, в которых нет воды; таинственный сундук в тёмном коридоре, который никто никогда не открывает; тёмные разводы на потолке, в которых можно часами угадывать чьи-то лица, фигуры, какихто небывалых зверей. Муська говорит, что там, среди этих разводов, скрывается таинственный глаз, который следит за нами и видит всё, что мы делаем - от этого немного страшновато: может быть, там ведьма, и это её глаз? А ещё у нас на стенках таинственные трещины -Муська говорит, что в стенах есть потайные ходы. Надо только отыскать такое местечко, которое стоит нажать - и откроется потайная дверь. Муська это местечко знает – только не хочет его нажимать. А вдруг там кто-то замурован? Или наоборот – что-то? Клад, может быть?

А ещё у нас есть таинственная виолончель. Играть на ней нельзя: она разбита, но папа её очень бережёт. Она особенная. Вместо обычной завитушки, как на той, на которой папа играет, гриф у неё почему-то заканчивается яростной львиной головой. Папа говорит, что виолончель итальянская, и это шестнадцатый век; её обязательно надо починить, но это может сделать только особый мастер. Вот если бы такой мастер нашёлся!

Мама больше не приходит: наверное, опять поехала к тёте Юле — но мы больше не ходим её встречать. Может, Толька Алексашин прав, и мы ей больше не нужны?

Я учусь читать и писать. Наверное, меня учит Муська. Во всяком случае, никто из взрослых мной не занимается. Учиться не трудно, но с некоторыми буквами отношения у меня складываются не просто. Я очень не люблю букву Ы. Наверное, не я одна её

не люблю – я не знаю ни одного слова, которое с неё начиналось бы. И ещё я боюсь буквы Ж: многоногая, она похожа на жука, и в букваре на её странице так и написано ЖУК, и нарисовано это чудовище. Я их всех боюсь, кроме рогача: жук-рогач – он же ещё немного олень, а значит не такой жукастый, как остальные, а олени, как известно, бывают даже благородные. Правда, Муська говорит, что, когда я была с о в с е м маленькая, я очень радовалась прусакам, потому что «они бегают с чемоданчиками». Может, конечно, и так, но теперь, когда мне встречается буква Ж, я на всякий случай зову: «Мусь, поди сюда! Посмотри: какая это буква?» Я знаю какая – но я хитрая! Пусть Муська первая её назовёт!

А вот когда пишешь – тут сложности другого рода.

Как, например, пишется буква Я? Тут опять без Муськи не обойтись: «Мусь, а куда животиком?» И как писать моё имя: ИННА или NHHA?

...Наверное, где-то здесь по времени возникает в сознании Большая Даниловка. Мы живём в белой хате, крытой соломой. Около хаты клуня — она большая, и шапка у неё тоже соломенная, но на верхушке у неё колесо. В колесе лохматое гнездо, а в нём иногда стоит аист. Почему-то ему нравится стоять на одной ноге. Я тоже так могу, но не долго, а он стоит и чем-то там трещит. Похоже, что чем-то деревянным, но Муська говорит, что это он клювом (клюв — это такой костяной нос, для тех, кто не знает).

Посередине двора колодец, накрытый крышкой. Забор тут невысокий, плетённый из веток: он так и называется — плетень. Хотя можно и короче: ты н. На нём обычно сушатся глечики.

Напротив хаты – такое длинное, рыжее, тоже под соломой. Там живёт корова Нюнька и старая, хорошая лошадь. Лошадь зовут Васька, а ещё Мерин. Но Мерином её редко зовут — только в профиль, то есть когда не к ней обращаются. Васька серый, а ещё это называется «сивый». И в гречке. Гречка у Васьки — это совсем не крупа, а мелкие белые пятнышки. Это лошади так седеют — когда старенькие. И ещё есть собака Цуцык. Большая, чёрная, с рыжим пятном на лбу. На чужих Цуцык рычит и лает страшным басом, но это он так — пугает, а вообще он добрый. У него есть блохи — наверное, много блох, поэтому он всё время чешется, только задней ногой. Передними он не чешется. А иногда страшно морщит нос и делает вид, что сам себя кусает — это он блох ловит. Интересно — неужели он их ест?

А вот почему говорят: «врёт как сивый мерин»? К Ваське это не относится!

Папа не любит, когда врут. Я тоже. Но вот когда Муська говорит про ведьму на потолке и про потайные двери – это же она не врёт? Это она выдумывает просто – хотя, может быть, конечно, это и правда, и поэтому всё-таки страшновато.

А вообще, как разобраться, где выдумка и где враньё? Трудно. Просто очень трудно. Я думаю, наверное, так: когда врёшь, так сам про себя знаешь, что говоришь неправду, но хочешь, чтобы другие верили, что это правда. А вот когда выдумываешь, часто сам начинаешь немного верить: а вдруг правда? Даже пугаешься: а вдруг е щ ё НЕправда может с т а т ь правдой! И если ОНО — то, что ты выдумал, — плохое, и может стать правдой, значит, ты виноват: ведь это ты его придумал! Вот как в том стишке: «Это бяка-закаляка кусачая, я сама её из головы выдумала!» — Так чего же ты плачешь?» — «Я её боюсь!»

А как понять, где выдумка, а где правда? Вот, например, я знаю: после Муськи у папы с мамой родилась Инночка — только это была не я! Та Инночка прожила всего год и умерла от менингита. Это правда, так все говорят. Но кто-то ещё говорил, что она родилась с волчьей пастью — этого даже представить себе невозможно! У папы на двери книжного шкафа её большой портрет — ничего волчьего! Красивая спящая девочка с длинными-длинными ресницами. Только Муська говорит, это она в гробу.

А потом вроде бы (это тоже Муська сказала) кто-то узнал, что у папы с мамой умерла девочка, и им подкинули ребёнка. Вот это уже была я. И назвали меня так же – только та была Инночка, потому что её любили, а я Инка. Откуда мне знать, правда это или выдумка? А если правда — зачем они притворяются и иногда называют меня Иннуськой? Чтобы я не догадалась, что не родная? И я удирала в тёмный угол, на родной сундук, и плакала от двойной обиды: во-первых, оттого, что я подкидыш, и, во-вторых, — зачем они притворяются?

Вот Муська — настоящая дочка; все говорят, что она очень похожа на папу. А я на кого? Наверное, я ни на кого не похожа. Хотя я слыхала, как соседка Татьяна Юрьевна сказала Марифанасьевне, что я расту настоящим волчонком. Но ведь это не я родилась с волчьей пастью?!

В Даниловке мы живём одни. То есть не совсем одни, конечно, а в смысле — без папы. Главная тут Тётя Настя: у неё две больших дочери, Луша и Варя, они совсем взрослые — это называется «на выданье». Я один раз попутала и сказала, что они на выгоне, но «выгон» — это, оказывается, совсем другое. А ещё у тёти Насти есть большой сын Володя, он учится в городе, и младший, Васыль. Васыль рыжий, весь в веснушках, и очень вредный — он часто меня обижает — если никто не видит. А так Муська за меня всегда заступается. Она меня в

обиду никому не даст!

Папа в городе. В выходной мы с Муськой ходим его встречать. Рябенькие перепёлочки перекликаются: пить-падьом, пать-падьом! Получается вроде они сообщают — или приглашают? — «пить пойдём, спать пойдём!» А на горбочках, в стороне от дороги, стоят обычно суслики-байбаки. Они стоят, как столбики, прижав ручки к груди, и иногда посвистывают. Или это я выдумываю? Может быть.

Мы с Муськой знаем, что земля круглая. Она закругляется за деревней, довольно далеко, и поэтому всего папу мы видим не сразу: сначала папин брыль, потом плечи, рубаху, подпоясанную витым шнуром, – и вот он уже весь, папа, и можно бежать ему навстречу! Вечером папа рассказывает нам про звёзды — вон Млечный Путь, это, наверное, тётя Настя молоко пролила? А вон те две кастрюльки с ручкой — это Медведицы, Большая и Малая. А вон та красавица — Полярная звезда. Там Север. Я уже знаю, что если стать к ней спиной, то будешь смотреть на Юг. Только Южной звезды почему-то нет. Правда, папа говорит, что есть Южный Крест, но от нас его не видно.

Рано утром папа уходит в город. Нам жалко, что он уходит – но это же ненадолго: всё равно ОН У НАС ЕСТЬ, пусть в городе, но есть, а вот мамы нет. То есть она есть, но не у нас. Мы – девочки без мамы!

Вниз, под горку, в усадьбе — Садок. Это Малый, а есть ещё Большой. Ещё ниже — речка. Маленьким туда нельзя: кто-то когда-то там утонул. Папа взял с Муськи слово, что мы туда ходить не будем, а если дал слово, надо его держать. Зато тут недалеко есть куда можно: маленькая такая, детская речка, воробью по колено. Вообще-то насчёт воробья — это неправильно, а Муське и правда по колено — в некоторых местах. Там мы с деревенскими пацанами ловим вьюнов. Они чёрные, похожи на змей, и очень вкусные жареные. Правда, Муська говорит, что на сковородке они пищат. Неужели их живыми жарят? Это же очень больно!

В городе папа покупает хлеб в Церапкопе<sup>1</sup> – это такой магазин, а тут, в Даниловке, хлеб пекут сами – просто замечательно! Сначала тесто заквашивают в большой деревянной посудине, оно дышит, пухнет, «подходит», потом его месят кулаками, и оно опять растёт, потом тётя Настя отрывает большой кусок – поиграет с ним с ладони на ладонь, потом шлёпнет на большой капустный лист, погладит его мокрой рукой по макушечке, чтобы корочка блестела, и на большой деревянной лопате сажает в печь и закрывает заслонкой. А иногда она ещё раскатывает кусок теста специальной качалкой, кружкой вырезает из него кружочки, кладёт

<sup>«</sup>Церабкооп» («Центральный рабочий кооператив»)

на них начинку и красиво защипывает. Потом куриным пёрышком смазывает их яичком или сладкой водой и сажает в печку. Ой, какие получаются пирожки из ржаного хлебного теста! А как пахнут! А главное — иногда мне тоже дают кусочек теста, и я сама леплю маленький хлебушек, и тоже глажу его по макушечке и кладу на капустный листок, а тётя Настя сажает его в печку вместе с большими!

Что может быть вкуснее горячего ржаного хлебушка, хрустящей порепанной горбушки, и какие духи могут сравниться с этим запахом!

Васька-лошадь тоже любит хлебушек — и не обязательно горячий, но желательно с солью. Я делюсь с ним своей горбушкой, подманиваю его к колодцу, карабкаюсь на крышку, на сруб, и оттуда переваливаюсь животом на Васькину спину. Добрый Васька стоит смирно и терпит, пока я, уцепившись за гриву, кое-как умащиваюсь и, стуча пяточками по бокам, солидно, басом, выкрикиваю: «Н-но!» Тогда он осторожно трогается с места и, неторопливо переступая, делает несколько шагов по двору. Не помню, каким образом я возвращаюсь на землю, не помню, попало мне тогда или нет, но восторг тех минут, и лошадиный милый запах, и добрый косящий глаз — это на всю жизнь!

И ещё помню одну сверкающую, грохо-чущую ночь: папа разбудил нас и, выбежав под дождь, открыл ставни. Небо полыхало голубым пламенем, молнии били в землю одна за другой, и папа сказал: «Запомните: это называется в оробь и ная ночь». Больше такой ночи в моей жизни не было.

А потом снова город – переезда я не помню, помню только тоску по Даниловской вольнице – запахам, звукам, большому звездастому небу.

И совсем неожиданно в серой стеснённости городских неуютных, неласковых стен корявыми печатными буквами («куда животиком?») горестно выплёскивается:

В Даниловке перепела Перекликаются так звонко, В Большом Садку визжит пила Пронзительно и тонко, Хромой Васыль телят пасёт,

А дед Хома сома несёт...

Хромой Васыль — это не тот противный, хозяйский, а чужой, взрослый; он угощал нас яблоками из своих бездонных карманов и приманчиво играл на весёлой дудочке, которая совершенно незаслуженно называлась сопилкой.

А сом, головастое, усатое чудовище, долго безнаказанно таскал даниловских уток (за ноги, наверное?),

пока его не умудрился поймать замшелый, красноносый дед Хома. Чудовище волокли на палке по улице, а следом с торжествующими воплями скакала деревенская пацанва.

А мы с Муськой потом долго спорили: я утверждала, что палку продели сому в уши, а Муська авторитетно возражала, что ушей у сома не бывает. А если не бывает, так куда же проткнули палку?

А потом была плохая осень и плохая зима. Муська уходила в школу, и я оставалась совсем беспризорной. На какое-то время у нас появилась приходящая Екатерина Васильевна. Она варила обед, мыла посуду, немножко убирала, но, по-моему, главной заботой у неё было уморить меня. Перед папой она лебезила, с Муськой вела себя осторожно, фальшиволасково, но как только они уходили и мы оставались одни, начинались мои мучения. Папа сказал ей, что маленькой я сильно болела животиком, но она зачем-то заставляла меня есть сырое тесто, силком запихивала в рот сырую картошку. Я пыталась сопротивляться, она меня больно била – а когда я, доведённая до отчаяния, выкрикнула, что всё скажу папе, она сообщила, что Иуда тоже был ябедником и кончил висельником, и меня тоже Бог покарает. Я знала, что Иуда плохой человек и что ябедничать стыдно, но однажды меня прорвало.

Папа забежал домой пообедать — у него выпал какой-то перерыв. Екатерина Васильевна, вся в улыбках, поставила перед ним вкусно дымящуюся тарелку с фасолевым супом, тарелочку с хлебом — и тут папа попросил: «Катерина Васильевна, налейте, пожалуйста, Инке, мы хоть раз вместе пообедаем». «Нет, нет, — заквохтала Екатерина. — Девочка уже обедала, детям вредно переедать».

Есть хотелось нестерпимо – я была наказана «безобедом», но, поскольку ябедничать стыдно, я молчала. Не знаю, как бы дальше развивались события, если бы папа не сказал моей мучительнице: «Ну хоть немножко. Просто вместе посидим», – и мне: «Пообедаешь со мной?»

И тут я заревела.

Такого ещё не бывало. Папа удивился и отодвинул тарелку: в чём дело? И тогда, вместе с рёвом, из меня вылилась вся горькая правда.

Заплатив за месяц вперёд, папа выгнал мою врагиню, но она на прощанье ухитрилась нас обокрасть. После её ухода обнаружилось, что пропали главные простыни и лучшие полотенца.

Какое-то время папа оставлял мне еду на целый день, и меня запирали на ключ — только это было ненамного лучше, чем воевать с Екатериной. Целый день одной, взаперти, было очень тоскливо и страшно.

Папа работал в две смены, а Муська, хоть и была на первой, не спешила домой: в школе было интересно, у неё завелись подружки, было с кем поиграть. А меня стали обижать мыши. Они нахально бегали, не обращая на меня никакого внимания Я топала, хлопала в ладоши, чтоб их напугать, но они вели себя так, как будто меня вообще нет. Тогда я села на пол и стала ждать — не знаю чего. В конце концов мне удалось накрыть ладошкой одного неосторожного мышонка — а что с ним делать? Не стану же я его убивать! Отнесла в мусорное ведро — но ведро было полное, мышонок вылез, шлёпнулся на пол и убежал. Очень было обидно!

Но хуже всего было, когда темнело. То есть, пока свет горел, было ещё ничего, но если он, не дай Бог, погаснет, становилось совсем невмоготу. Мало того, что вспоминались Муськины страшные рассказы, — но ведь могло быть ещё что-то страшное, о чём она ещё не успела рассказать? Если я о нём не знаю, это ведь ещё не значит, что его нет?

Я ложилась на пол и приникала к щёлке под дверью. В комнате напротив жили сёстры-учительницы, Марифанасьевна и Настасифанасьевна. Если они дома, значит, сейчас там зажгут керосиновую лампу, и в щёлке напротив покажется полоска света — тогда уже будет не так страшно. Если же нет, то неизвестно, что страшнее — думать, что ты совсем одна в этой темноте — или наоборот, что она наполнена чем-то или кем-то? А если этих кого-то много — так я даже не знаю, как это сказать или подумать. Иногда я так и засыпала — в страхе, под дверью, и папа или Муська, возвращаясь, ступали осторожно, чтобы ненароком не наступить.

А как грустно просыпаться, когда в доме, кроме тебя да мышей, никого нет! Поднимаешься и шлёпаешь босиком к столу: может быть, папа и Муська, уходя, оставили тебе в утешение что-нибудь интересное – книжку-раскраску, коробочку пластилина или цветные карандаши — чтобы легче было коротать долгий, одинокий день?

Ну, а если там ничего н е н а х о д и т с я – кроме еды, конечно, – тогда остаётся следить за отдушиной в глухой стене напротив окна. Для чего она там сделана, эта отдушина, я не знаю, но птицы решили этот вопрос по-своему: там живёт пара диких голубей. Муська называет их каменные голуби или сизяки. Может, конечно, она эти названия сама придумала – но мы их приняли и узаконили. Это не то что толстые, неряшливые городские голуби – они поменьше, синевато-сизые, с перламутровым отливом на шее. Голубку мы назвали Муркой, а мужа её – Борькой. Они хлопотливые и разговорчивые, у них негромкие приятные голоса, только я их совсем не понимаю. На меня они внимания не обращают, но я их всё равно люблю. Если бы не они,

было бы совсем тоскливо.

Но вот один раз я нашла на столе маленькую книжечку - ну совсем маленькую, с простой картонной обложкой и странным названием – «Заборная книжка». Почему, интересно, заборная? Ничего похожего на забор я, как ни старалась, найти в ней не смогла. Внутри обложки было всего несколько страничек разного цвета, и, что самое занятное, странички были с мережкой: каждая была дырочками разделена на маленькие квадратики; их можно было отрывать, как билетики или талончики – розовые, зелёные и ещё не помню какие. Как с ними играть, надо ещё подумать. Если это будут билеты, к ним надо придумать поезд или трамвай. Ну, что ж: стул назначен паровозом, две табуретки, положенные на бок, – это будут вагоны. А пассажиры? Вопрос с пассажирами решился просто. Кто-то когдато, давно ещё, подарил Муське толстый журнал с цветными картинками – красивые дамы в нарядных платьях и шикарных костюмах. Мы вырезали оттуда разные фигурки – они нам служили куклами. Некоторая сложность заключалась в том, что все фасоны были женскими – но так же не бывает, чтобы в населении совсем не было мужчин? Что делать? Мы выбрали фасоны построже, без всяких там оборочек и цветочков, и пририсовали выбранным дамам усы: дама с усами была теперь гражданин, а дама без усов – гражданка. Я достала пассажиров из Муськиного шкафчика – Муська на меня не рассердится, она не жадная, а я их потом на место положу. Мне оставалось совмещать обязанности машиниста, паровозного гудка и кассира в билетной кассе. Кроме того, я должна была проверять билеты при посадке. Надо было строго следить, чтобы граждане не лезли в вагон без билета и чтобы каждый выходил на положенной ему станции. Поезд назывался Шепетовка – Баку: от кого-то я слыхала, что бывают такие поезда.

гудела, как паровоз, объявляла названия станций, показывала законным пассажирам их законные места, штрафовала безбилетных – словом, работы было много. В конце концов, я устала, мне надоели бестолковые, плоские пассажиры. Я объявила им, что поезд идёт в депо, разгладила по возможности ладошкой тех, что помялись в дороге, и водворила на место в Муськином шкафчике, а разноцветные билетики и бумажки, которые обозначали деньги, собрала и выкинула в ведро. Надо было придумать, чем ещё заняться - но тут постучалась Марифанасьевна. Я подсунула ей под дверью ключ - мне всегда оставляют ключ на всякий случай – и она вошла с блюдечком румяных оладушек. Я, как положено, сказала, что спасибо, я не голодная, я уже ела – но Марифанасьевна резонно сказала: «Я понимаю - но ведь оладушек ты не ела?» И я растерялась: с одной стороны, надо отказываться, но с другой стороны, врать

нехорошо — я же их действительно не ела? И потом они так хорошо пахли...

А потом она увидела корочку от заборной книжки – и ахнула. Оказывается, книжка «заборная» не от забора, который забор, а потому, что по ней в магазине ЗАБИРАЮТ паёк, а странички разноцветные, потому что продукты разные, но теперь мы ничего не получим, потому что талончики все в мусорном ведре и обратно их не приклеишь, даже если и достанешь. Что же мы теперь будем есть?

Я жду папиного прихода с нетерпением и страхом. Да нет, вы неправильно поняли: папа нас никогда не наказывает – но ведь расстроится?

Когда в замке проворачивается ключ, я бросаюсь папе навстречу с талончиками, извлечёнными из мусорного ведра: вот! Я рассказываю папе торопясь всё, как было; он слушает внимательно, и между бровями у него ложится глубокая складка — сердится? Или думает?

Но когда я, захлебнувшись отчаянием, замолкаю, он говорит:

 Плохо, конечно, – но как-нибудь обойдёмся, с голоду не помрём. Это я сам виноват: забыл документ на столе, растяпа. О чём-то другом думал.

Как это – сам? Вот всегда он так – что бы ни случилось!

- Папа, это же я...
- Ну да, мы с тобой пополам виноваты: я забыл, а ты не подумав порвала. Одна Муся у нас ни в чём не виновата.

Ой, как нехорошо получилось: ни в чём не виновата, а тоже будет сидеть голодная, ни за что, ни про что! Но...

 – Па, – говорит Муська, – а можно я вместе с вами тоже буду виновата?

Папа улыбается и берёт под мышку стриженую Муськину головёнку.

 ${
m Het},\ {
m Bc}\ddot{
m e}$ -таки мы хорошо живём — хоть и без мамы!

Теперь мы кормимся в основном с базара, а на базаре всё дорого – и папе советуют купить живого гуся и откормить его дома. За лето он поправится, станет большой и толстый, и это будет гораздо дешевле, чем покупать мясо или битую птицу.

И вот у нас появляется гусь. Я не знаю, кто его купил, но приносит его папа. Папа ставит его на пол, гусь отряхивается, стуча по полу жёлтыми пальцами, и какое-то время вертит головой, как будто рассматривает нас: кто вы такие? Он смотрит на нас, а мы на него. Потом гусь принимает какое-то решение, произносит что-то невнятное и — слушайте, что он делает! Он приседает, как-то з м е и т с я длинной шеей по полу,

хлопает крыльями, охорашивается — да он просто купается на сухом полу! Плещет крыльями посуху и чтото приговаривает — такой смешной и такой хороший! С этой минуты он, конечно же, становится членом нашей семьи — и кто, в самом деле, мог подумать, что кто-то из нас когда-то сможет его съесть? Чушь какая, людоедство какое-то!

Имя ему почему-то никак не придумывалось, и мы решили: пусть будет просто Гусик. Папа покупает ему корм по рекомендации сведущих людей, мы с Муськой его кормим и пытаемся дрессировать, как дедушка Дуров, – только у нас это получается гораздо хуже. Он оказывается очень общительным, но не очень понятливым учеником. Зато, говорит Муська, он очень любознательный: когда мы не пристаём к нему со своей дрессировкой, он ходит по комнате, ко всему присматривается и, что-то приговаривая, пощипывает плоским оранжевым клювом полюбившиеся ему предметы. Клюв у него сразу и рот и нос: мы обнаружили на нём пару ноздрей, но насморка у него не бывает. Вообще всё было бы очень хорошо, если бы только он при этом так обильно не какал. Мы уже привыкли, что за всеми нашими питомцами надо убирать, и это наша с Муськой обязанность, но если с белками и кроликами это было не очень сложно, то с Гусиком это был просто караул! Какать аккуратными, сухими катышками наш Гусик категорически не умел. Но мы его всё равно любили – все, кроме тёти Тони. Она говорила, что, если уж заводить в хозяйстве живого гуся, то надо прикупать к нему и скотный двор.

Зато теперь мне уже не было так одиноко просыпаться. Когда, по мнению Гусика, мне было уже пора вставать, он подходил к моей кровати и, нежно приговаривая, дёргал краешек моего одеяла: вставай, лежебока! Пора меня кормить!

Я быстренько вставала и приступала к своим обязанностям.

Но потом возникла проблема: настало лето, мы собирались куда-то уезжать, но почему-то никто из соседей и слышать не хотел, чтобы на время усыновить Гусика.

И тут нашёлся один человек с непривычным именем Гаврила — какой-то родственник тёти Насти, у которой мы жили в Большой Даниловке. У него на Дальней Журавлёвке свой дом и сад, и он — представляете? — согласен взять Гусика на лето, если, разумеется, папа оставит деньги ему на прокорм. Так Гусик перекочевал на Дальнюю Журавлёвку. Мы все его провожали. Папа нёс его в большой плетёной кошёлке, Гусик в кошёлке всё время волновался и всю дорогу что-

то нам говорил.

Гаврила встретил нас перед домом. Был вечер, и кругом замечательно пахло: это пахли мелкие цветочки с красивым названием маттиола, или ночная фиалка (тоже красиво!), а ещё — тоненько-высокие белые граммофончики, которые почему-то назывались табак, хотя табаком совсем не пахли. И ещё — сильно кусались комары.

Папа вытащил Гусика из кошёлки — на чужом дворе Гусик тревожно затоптался и закрякал.

Пора было прощаться, Муська даже немножко всплакнула при разлуке, но Гаврила заверил нас, что Гусик будет жить тут как на курорте: и травка, и цветочки, и свежий воздух!

Но когда мы вернулись в Харьков и пришли к Гавриле за Гусиком, Гаврила развёл руками и сокрушённо сказал, что Гусика больше нет — он заболел и умер. Правда, при этом конопатые Гаврилины мальчишки почему-то хихикнули, непонятно скаля редкие жёлтые зубы.

Всю дорогу назад папа молчал, Муська тихонько плакала, а я всё думала: как же так?

А потом, дома, папа долго, со щёлоком, молча мыл пол.

И пришла новая осень — уже без Гусика. Никто по утрам не тянул с меня одеяло, никто не бормотал мне непонятные нежные гусиные слова. Надо было вставать самой, и не было рыжих пахучих лужек, которые надо было подтирать — но от этого почему-то было грустно. У папы и Муськи началась школа. У меня оставались только каменные голуби — но с ними нельзя было поговорить. Правда, было ещё папино пианино с тяжёлой крышкой и красивыми подсвечниками: я трогала пальцами его клавиши — и оно откликалось, только разговор у нас всё равно не получался.

Наконец папа придумал брать меня с собой на работу, в школу. Зимой было очень трудно просыпаться. Папа кое-как умывал и одевал меня, сонную, и я досыпала по дороге, у него на плече. В школе папа передавал меня тёте Поле или тёте Варе и бежал на урок. Тётя Полечка, кругленькая и ласковая, работала, по-моему, в раздевалке, и не было в детстве моём ничего надёжнее и теплее, чем тёти-Полечкин тёплый живот и серый пуховый платок. Уткнёшься в них головой – и нет уже ни обид, ни страха!

Тётя Варя была большая, в красном платке, и ей некогда было быть ласковой, но всё равно — если в руках была швабра, или мокрая тряпка, или голосистый медный звонок — она пасла меня добрыми, жалостливыми

глазами.

От звонка до звонка я скиталась по коридорам, осваивая новый для меня незнакомый мир. С первого на второй этаж вела звонкая железная лестница — только зачем-то к ней была пристёгнута железными прутами дорожка, глушившая её восхитительный звон. Зато можно было — если хорошенько держаться за перила — подниматься по краешкам ступенек снаружи. Если, конечно, никто не видит, а то сразу: «Ты что, упадёшь! Слезь сейчас же!» А наверху был большой-большой зал с замечательным паркетом и чёрно-сияющей глыбой рояля в дальнем левом углу. Когда шли уроки и в зале было пусто, можно было скользаться по паркету, как по скользанке — только чтобы не шуметь!

Иногда какая-нибудь учительница пускала меня на урок в класс, давала листик бумаги и карандаш, и можно было что-нибудь тихонько рисовать, или писать, или слушать удивительные, непонятные вещи. А какие слова! Тангенс, котангенс, биссектриса, медиана! Так красиво — и как таинственно!

Внизу, на первом этаже, был темноватый - изза деревьев за окнами - зал с длинными столами и скамейками, который назывался столовая, хотя иногда, говорят, там показывали кино. Временами там начинало вкусно пахнуть - значит, скоро большая перемена и учительницы приведут своих учеников и поклассно усадят за длинные столы. Тогда надо уходить, потому что некрасиво топтаться и смотреть, как люди едят. Только далеко уходить не надо, потому что, когда переменка кончится и со столов уберут грязную посуду, меня позовёт завстоловой Нина Николаевна Замятина и посадит завтракать. Вообще Муська говорит, что, когда тебя чужие угощают, надо вежливо отказываться и говорить, что ты сыта, даже если очень хочется – и это не считается враньём, просто так надо. Но тут, если дают, есть можно, потому что папа за это платит.

Манная каша тут совсем не такая, как у папы: она розоватая и у неё какой-то особенный вкус. Жалко, что у папы так не получается. А Муська говорит, что это потому, что в столовой молоко пригорает.

Интересно, почему тётю Варю и тётю Полечку называют техничками? Техника — это же машины всякие?

Старшие классы в столовую не водят – они сами приходят, и не поклассно, а кто хочет. У них своя большая перемена, гораздо позже, и всё это называется вторая смена.

Старшие девочки (не все, конечно) играют со мной, только мне больше хочется найти папу или Муську – хоть не надолго, хоть на маленькую переменку, но это редко удаётся. А в конце дня папа сам меня находит, одевает в раздевалке и – Господи, как хорошо! – несёт

меня домой, мимо телеграфа, по Почтовому переулку, мимо двора, где живут китайцы, которые делают бумажные веера и мячики на резинке, и ещё всякие интересные штуки, которые папа иногда покупает. Только я никогда не прошу, просить стыдно. Вот если папа сам надумает – тогда совсем другое дело.

А потом (если только я не путаю) наступает новое лето — наверное, самое счастливое лето в моей жизни: мы — папа, тётя Тоня, Муська и я — едем — на поезде! — в Путивль. Город Путивль, Конотопского округа. И папа целое лето будет с нами!

Правда, по дороге случается неприятность. На какой-то станции папа покупает нам с Муськой большие печатные тульские пряники. Они называются печатными, потому что на них большими печатными буквами сделана надпись ТУЛА. Тула – это такой город, только папа говорит, он совсем в другой стороне. Нет, пряники – это как раз приятно, тем более что внутри у них какая-то сладкая начинка. Неприятность заключалась в большой тёмно-зелёной бутылке и называлась «боржом». Боржом громко шипит и пенится, когда папа наливает его в мою кружечку. Я осторожно отхлёбываю, но боржом брызгается в лицо, от него щиплет и колется в носу, а это неожиданно и страшно. Очень хочется заплакать, но все на меня смотрят, и, значит, надо стерпеть. А Муська пьёт боржом как ни в чём не бывало и даже, кажется, с удовольствием.

...Путивль. Улица, на которой мы живём, кругло спускается к реке. Река называется Сейм. Но о реке потом, сначала об улице. Дома, в котором мы живём, я начисто не помню: наверное, он ничем не примечателен. Зато на другой стороне — я уже знаю, что она правая! — много таинственного. Напротив нас, чуть пониже, дом, в котором никто не живёт. Окна закрыты ставнями, и дверь забита накрест длинной доской. Непонятно: зачем дом, если в нём никто не живёт, и наоборот — если дом есть, почему в нём никто не живёт?

В следующем доме живёт высокая чёрная старуха, которую все зовут Капитанша. Может, в лицо её зовут как-то иначе, но я никогда не слыхала, чтобы она с кем-то разговаривала. Окна в её доме тоже почемуто всегда закрыты. Чёрная она издали, потому что вся в чёрном, а какая она сама по себе, я не знаю. Я её боюсь.

А дальше живут монашки. Когда-то они жили в монастыре — тут, недалеко, а теперь живут отдельно, потому что в монастыре техникум. Говорят, они стегают одеяла, пуховые и ватные, и очень хорошо вышивают. Монашки не большие и не страшные, но тоже совершенно непонятные, потому что они вышивают воздухи»,

когда воздух один – правда, он бывает разный: свежий, душистый и наоборот, а ещё спёртый – но всё равно один. Но даже если их может быть несколько – как их можно вышивать? Ещё одна загадка!

Зато повыше нас, на нашей стороне — действующая церковь. Вообще, по-моему, в Путивле больше церквей, чем домов. Это красиво, но странно. Однажды в нашу церковь приехал м и т р о п о л и т. Слово было новое и красивое; мне объяснили, что это очень главный священник, и папа повёл меня в церковь — наверное, ему самому тоже хотелось посмотреть, какие бывают митрополиты. Муськи почему-то с нами не было.

Сначала мне в церкви не очень понравилось: там было полно народу, и за взрослыми спинами ничего не было видно. Зато необычно и интересно пахло и сверху был красивый круглый потолок, очень-очень высокий. А потом вдруг люди стали становиться на коленки и всё кругом стало видно: большие красивые иконы и многомного всего золотого и тоненьких длинных свечек. Все свечки горели – зачем столько сразу? – и тоже пахли, но это уже был запах знакомый. Как ни странно, оказалось, что никто, кроме меня – даже папа! – не оглядывается по сторонам на всю эту красоту: все смотрят вперёд, на этого главного батюшку. Смотрят – и слушают, как будто ждут, что вот сейчас он каждому даст что-то очень нужное или скажет что-то очень важное. Я тоже стала слушать - было красиво, но непонятно. Спросить бы папу - но я поняла, что нельзя, с вопросами надо потерпеть. Ну что ж, буду терпеть, раз такое дело. Главное – не забыть, что хотела спросить, для этого загибаешь пальцы, а их не хватает!

Зато потом, по дороге домой, я выясняю массу интересных вещей. Я уже знаю, что некоторые батюшки носят длинные чёрные платья, которые называются р я с а, но, чтобы никто не подумал, что это платье женское, у них под низом есть ещё брюки — брюки иногда немножко видно. А у митрополита всё платье расшито золотом, вроде бы выходное, и называется р и з а. Очень длинное, до самого пола, и есть ли там брюки — неизвестно. А большой, нарядный слюнявчик, который надевается сверху, называется е п и т р ах и л ь, а зачем он — даже папа не знает. Может, просто такой фасон? А большая шапка с крестом называется м и т р а — такие только м и т р о п о л и т ы носят. Вот с ней у меня получился конфуз.

Дома хозяйка стала меня расспрашивать, что и как там было в церкви, и какой был главный батюшка, и во что, как он был одет. Я старательно описала всё, что видела, и радостно закончила: «А на голове у него – макитра!» За что и попало. Но ведь похоже?

Но в остальном – ax, как было хорошо! Как хорошо, когда папа рядом! Мы бродили вместе по берегу

Сейма, вместе искали в песке тёмно-красные «чёртовы пальцы», величиной с мизинец, и папа объяснял нам, что это окаменевшие моллюски, а чёрт тут абсолютно ни при чём. Ну конечно — сколько же у чёрта может быть пальцев на руке? А ещё папа рассказывал, что окаменелости бывают разные — и растения, и животные, и даже всякие букашки, а эти наши находки понаучному называются б е л е м н и т ы . И какие только бывают слова! Белемниты, митрополиты, биссектрисы! Интересно, какие люди их придумывают?

Вдоль берега растут замечательные цветы — на толстом, круглом, губчатом стебле растопыренные розовые зонтики; у них острый, свежий запах, и в середине каждого цветочка тонкие тёмно-красные полоски. Местные мальчишки называют это чудо «чаканы». Чаканами здесь кроют крыши; а если нарезать стебли чаканов и связать их в снопик, на них можно плавать — Муська пробовала! Зато папа плавает без всяких чаканов, очень красиво — сажёнками и на спине, и ещё — выбрасывая руки вперёд и пришлёпывая по воде ладонями. Муська говорит, что это называется «поматросски», но, по-моему, это она сама придумала.

Иногда папа берёт у хозяйки вёсла и катает нас на лодке. Вёсла вставляются в такие железки, которые называются у к л ю ч и н ы. Тоже интересное слово! Почему-то кое-где у берега видно затопленные лодки. Муська думала, что это затонувшие струги дружины князя Игоря, но папа говорит, что лодки иногда нарочно топят, чтобы они не рассыхались.

Мы с Муськой знаем, что тут жила и плакала Ярославна — «В Путивле плачет Ярославна — одна, на городской стене...». Мы бродим вдоль развалин городской стены — это на ней она плакала! — и собираем мелкие круглые камешки: наверное, это окаменелые слёзы.

Потом папа нам читает — «Маугли», или «Алису в стране чудес», или «Трое в лодке, не считая собаки». Это очень смешная книжка, и нам обеим очень хочется собаку. Может, когда-нибудь она у нас будет?

Вокруг монастыря растут дубы — это не парк и не лес, а дубра в а. Начало понятно — но почему р ав а? Вроде слова так не сочиняются. Хотя нет — есть ещё ор ав а. Орава дубов, что ли? В дубраве на полянке часто пасётся чудесный жеребёнок. Он вкусно коричневый (это называется г не дой), у него высокие тонкие ножки и аккуратная гривка. Мы угощаем его хлебушком, он берёт его весело, но осторожно; его можно гладить и говорить ему всякие ласковые слова, потому что папа заплатил его хозяину пятнадцать рублей, чтобы тот разрешил нам общаться. Мы зовём его Васька и ещё Коник, но тётя Тоня говорит, что он девочка. Каждый раз, когда мы приходим в дубраву, он бежит нам навстречу и мы

радуемся друг другу. Тётя Тоня немножко папу отчитала за то, что дорого заплатил, но он сказал, что радость не имеет цены. У нас замечательный папа!

А однажды тётя Тоня повела нас в монастырь посмотреть келью Гришки Отрепьева. Оказывается, был когда-то такой — его ещё называли Самозванец, потому что он сам себя назвал царём, а был вовсе не царь. Настоящему царю это не понравилось: он очень рассердился, и Гришке пришлось от него прятаться. Он решил прятаться в путивльском монастыре, в этой самой келье, а келья — это комната такая, на одного человека.

Не знаю, почему с нами пошла тётя Тоня, а не папа, но она тоже интересно рассказывала. Какой-то человек – монах, наверное? – подвёл нас к большой, от самого пола, иконе, что-то там сделал – икона вдруг повернулась, и за ней открылся узкий, тёмный проход. То есть это я сначала подумала, что там проход, а оказалось – лестница. Лестница была крутая и заворачивалась, как штопор; было темно и страшновато. Хорошо ещё, что тетя Тоня держала меня за руку, а сзади, поднимаясь за мной, старательно сопела Муська. И вдруг в глаза ударил яркий свет, тётя Тоня отпустила мою руку, и нам открылась светлая-светлая, чисто выбеленная комната. Кругом были окна – по-моему, в каждой стене по окну; стены были толстые-претолстые, и тётя Тоня сказала, что отсюда Гришке были видны дороги на все четыре стороны, так что те, кто за ним гонялись, не могли застать его врасплох. На одном окошке сидели мальчишки, они болтали ногами и очень плевались семечками. Тетя Тоня – она же учительница! – сделала им замечание, но, как только она отвернулась, они показали ей язык. А какой смысл показывать кому-то язык, если на тебя не смотрят?

Вид кругом был очень красивый, видно было далеко-далеко, и я сначала подумала, что Гришке тут было очень интересно, но, наверное, не очень удобно: келья была совсем пустая, никакой мебели — неужели бедный Гришка и ел, и спал на голых подоконниках — пусть они даже и широкие? Мальчишки поплевались, похихикали и ушли — наверное, семечки у них кончились; постепенно стало скучновато, и мы пошли домой, к Ваське-Конику.

По дороге тетя Тоня ещё что-то рассказывала, а мне почему-то стало грустно. Ну отчего так всё в мире устроено — всё время кто-то с кем-то дерётся? Всё время кто-то что-то у кого-то отнимает — а зачем? Вон ведь земля какая — большая и красивая, и бродят по ней добрые и ласковые Васьки-Коники... Неужели нельзя на ней жить спокойно?

Но лето кончается, и приходит пора уезжать, и мы прощаемся с Васькой-Коником, давясь слезами – а Васька фыркает, и мы не знаем, что он хочет нам сказать.

А потом была страшная дорога в Конотоп.

Почему-то мы ехали ночью, в какой-то телеге. Началась гроза, лил проливной дождь, колёса то вязли, то скользили в раскисшей глине. Тётя Тоня, как квочка, старалась укрыть нас крыльями своей кофты, согреть своим телом, и в правое мокрое ухо мне стучало её сердце. Где был папа – то ли сидел сзади, то ли шёл рядом – не знаю. Было так темно, что и возчик, и лошадь только угадывались по звукам впереди. И вдруг, совсем рядом, одновременно с громом, на всё небо ударила ослепительная белоголубая молния. Наша смирная коняка бешено заржала и рванулась, что-то затрещало, и подвода накренилась. Не знаю, кто и как выхватил нас с Муськой и поставил на плывущую дорогу; не знаю, как возчику, папе и коняке удалось втроём вытащить осевшую одним колесом в овраг подводу. Смутно помню, как тётя Тоня стучалась в какие-то хаты и просилась переждать грозу – нас нигде не пускали.

И последнее: мокрая, зябкая дремота в какомто тёмном сарае – и кто-то большой и наверное добрый – корова или лошадь – шумно вздыхает у меня над головой...

Лето кончилось...

За лето наш дом стал немножко меньше, а комната темнее. И день укорачивается, и жить становится всё грустнее. Может быть, поэтому у меня распухают и начинают болеть желёзки на шее – а может быть, как раз наоборот: грустно, потому что желёзки? С желёзками папа меня в школу не берёт, и я снова целый день одна и слоняюсь по дому, обёрнутая в вату и громко шуршащую компрессную бумагу. Собственно, я не совсем одна: однажды папа принёс с базара белку, так что мы теперь остаёмся вдвоём. Белка хлопотливая и весёлая: она носится по шкафам и грызёт папины книги. Мы даём ей орешки и семечки. Ой, как она ловко справляется с орехами! Вертит орех цепкими чёрными ручками, быстро-быстро вытачивает в сколупе аккуратную чёрную дырочку – и пожалуйста! Скорлупка летит на пол, искусница принимается за ядрышко, и тут уже участвуют и щёчки, и носик, и крохотная нижняя губка. Одна минутка – и ореха как не бывало! Временами она что-то приговаривает – коротко, деловито, но непонятно.

Один раз папа принёс ей с базара орехи, но забыл вынуть кулёк из кармана пальто. Белка нашла его, наелась и уснула в кармане. Потом папа собрался куда-то уходить, надел пальто, сунул руку в карман — за платком, наверное, или ещё за чем-нибудь. Белка спросонья рассердилась, обругала папу и укусила за палец. Ранка была маленькая, но долго не заживала.

Однажды нас предупредили, что какое-то время не будет воды, потому что надо чинить водопровод. Папа вытащил из-за шкафа большую оцинкованную

ванну и натаскал туда воды. Ванна стояла посреди комнаты, и белка, которой вздумалось прыгнуть на неё с буфета, не удержалась на бортике и плюхнулась в воду. Наверное, вода была холодная и белке это сильно не понравилось: она громко фыркала, бранилась и быстробыстро плавала из конца в конец. Мы с Муськой с трудом её выудили — мокрую, дрожащую, всхлипывающую, неожиданно уменьшившуюся. Роскошный, пышный хвост её торчал жалким мокрым прутиком, и даже кисточки на ушах торчали мокро и жалобно. Мы её коекак вытерли, утешили орешками, и постепенно к ней вернулся обычный независимый и нарядный вид.

А потом, совершенно неожиданно, она взяла и родила четырёх детей. Дети были совершенные красавцы. Семью надо было обеспечить квартирой, и папа где-то раздобыл шикарную большую клетку. Чтобы детям было не скучно, он примостил там всякие жёрдочки, на которых можно было прыгать и качаться. Мы были в восторге, но папа очень серьёзно сказал нам, что весной, когда дети немножко подрастут, надо будет отнести их в парк или лесопарк и выпустить на волю Конечно, мы погрустили – но, с другой стороны, я сама испытала, как это невесело – сидеть взаперти. Может, если они не убегут далеко, можно будет приходить к ним в гости и приносить орешки? Правда, когда мы отнесли их в лесопарк, они не сразу ушли из клетки, хотя дверца была открыта. Мы сидели и ждали, боясь пошевелиться, - они огляделись, принюхались, не спеша попрыгали по поляне – и ни разу не оглянулись на нас...

 Ничего, ничего, – сказал папа, положив нам руки на плечи. – Главное, вы сами про себя знаете, что поступили, как надо.

И взял пустую клетку – может, ещё для когонибудь пригодится.

Он всегда учил нас поступать, КАК НАДО, но никогда не обещал при этом, что так будет легко жить. Он не терпел вранья.

Сколько я себя помню, у нас всегда была какаянибудь живность. Первыми любимыми книжками были «Ребята и зверята», потом «Звери дедушки Дурова», потом чудесный Сетон-Томпсон, и «Маугли», и «Рикки-Тикки-Тави».

Кто-то подарил нам чёрно-белую красавицукрольчиху. Крольчиху звали Рябка, но вскоре она сменила имя на Мисс Рэббит. Мы научили её танцевать вальс, прыгать в колечко серсо — она была способная ученица. Потом к ней присоединился белый красноглазый Большунька. Он был большой и ленивый, и обучению поддавался с трудом. Тётя Тоня относилась к ним отрицательно, хотя мы с Муськой честно старались подбирать за ними бесчисленные орешки и подтирать бесчисленные лужки.

На какое-то время мои желёзки угомонились, и папа снова стал брать меня в школу. Теперь по школьным коридорам я слоняюсь уже не одна: нас стало две с половиной. Новую мою подружку, круглолицую и кареглазую, зовут Таней. Танина мама – учительница, худенькая, быстрая и очень громкая. Папы у Тани нет, зато есть ещё бабушка, и даже не одна: поэтому Танька всегда чистенькая, ухоженная, наглаженная, и в кармашке у неё обязательно торчит сложенный треугольничком платочек с красиво вышитой буквой Т. Мало того – везёт же людям! – у неё даже прабабушка есть – только где-то в деревне. У прабабушки есть огород, и она печёт пироги с гонобобелем. Что такое гонобобель (или ганабобель?), я не знаю. Танька говорит, это такая ягода. Синяя, лесная. Я такой ягоды не знаю – даже папа не знает! – но не может быть, чтобы Танька её выдумала - такое название не придумаешь! А ещё у Таньки есть игрушечные часики: их надо носить на левой руке – это, наверное, чтобы не путать, которая рука какая. А мне не надо, я и так знаю. Иногда Таньке дают с собой в школу невиданные печёные вкусности, но я не забываю, что надо отказываться, - хотя, конечно, очень интересно. И хочется.

Третья, Галочка Коновальчук, приходит не часто, поэтому у нас с Танькой сходит за половинку. Мама у неё тоже учительница, а папа какой-то большой начальник и очень занят. Галочка нарядная и очень некрасивая: у неё важное, рыжее, густо усеянное веснушками четырёхугольное лицо и большой, тоже четырёхугольный, рот со щербатыми зубами. Она сильно похожа на мать, а мать, по-моему, сильно похожа на жабу – только у жаб не бывает веснушек.

С Танькой нам как-то лучше дружится. Когда тётя Варя выпускает нас погулять в школьный сад, мы обе дружно колотим каблуками хрусткий лёд на лужах. Это мы помогаем весне, чтобы скорее пришла — пусть лужи скорее тают! А когда она, наконец, приходит, и начинается ледоход, и река вздувается и выплёскивает на берег вместе с мусором мелкую рыбёшку, мы снова при деле: шлёпая по лужам, сосредоточенно шмыгая посиневшими носами, мы собираем всяческую живность и швыряем обратно в реку: живите! В эти минуты мы очень довольны собой: мы делаем, КАК НАДО!

Я не вижу – не помню маму в эти дни. Наверное, она к нам не приходит. В памяти только один раз: мама в тёмной, тёмно-синей шубке с чёрным меховым воротником и чёрной муфтой, очень похожей на чёрную кошку (наверное, поэтому мамин мех называется «котик» или «под-котик»), в вязаной шапочке чулочком

вбегает в комнату, захлёбываясь слезами, и бросается к папе с криком: «Володя, Иося глаза выжег!» Я не понимаю, как можно выжечь глаза, мне очень страшно, я неизвестно зачем забиваюсь в угол, за пианино, а папа гладит мамину шапочку, мамину муфту и уговаривает: «Не плачь, Маруся, успокойся и расскажи толком, что случилось». И мама, всхлипывая, рассказывает, что Иося на работе каким-то кварцем – это, наверное, такая лампа – не выжег, нет, а обжёг глаза. Непонятно, зачем он смотрел на эту лампу, - мама говорит, что, когда работаешь с этим кварцем, надо обязательно надевать чёрные очки, а он их почему-то не надел – и обжёгся, и она не знает, что теперь будет. Папа успокаивает её, даёт ей кипячёной воды в самой красивой нашей чашке и говорит, что знает замечательного врача и сейчас, прямо вот сейчас, они пойдут к этому врачу, и всё будет хорошо, только не надо плакать. Потом он забирает у мамы чашку, которую она почему-то пытается засунуть в муфту, ставит её на стол, подальше от края, и надевает пальто. И в первый раз за много-много дней они уходят куда-то вместе.

Больше мама не приходит, но каждый выходной папа рано утром идёт на базар, который почему-то называется Конный, с большой плетёной кошёлкой. Когда он приходит с базара, плетёная кошёлка вкусно пахнет яблоками (мама любит антоновку), папа одевает нас во всё чистенькое, и мы идём – папа, Муська и я – на Соляниковский переулок. Это довольно далеко, но мы идём пешком, по шумной Старомосковской, через Харьковский мост и ещё по каким-то улицам. На углу Соляниковского большое серое здание: по фасаду его, над главным входом большие буквы - это не то клуб, не то Дворец культуры, там написано - но в моём представлении дворцы совсем не такие. Я, конечно, могу прочитать, что там написано, но мне не интересно, и я обычно стою к этому зданию спиной, потому что по другой стороне, через какой-то огромный двор, тонко посвистывая, бегает «кукушка». «Кукушка» – это такой паровозик, маленький и очень чумазый. Зачем он там бегает - неизвестно, но очень хочется узнать. Тут, напротив паровозика, папа обычно оставляет нас, строго-настрого наказав Муське держать меня за руку и не отпускать, пока он не вернётся. Кроме «кукушки», у Соляниковского есть ещё одна отличительная особенность: тут живёт мама. Мама живёт на другом конце переулка, и, когда паровозика нет, мы смотрим папе вслед: как он заходит с кошёлкой в какой-то двор, потом через несколько минут выходит без кошёлки, потом, постояв немного у ворот, снова заходит, и, наконец, опять выходит с кошёлкой. Кошёлка уже пустая, поэтому папа идёт быстро, но мы никогда не бежим ему навстречу. Когда он подходит, Муська отпускает мою руку, и мы

втроём, с пустой кошёлкой, чинно возвращаемся домой. Мы ничего не спрашиваем у папы, но я знаю, мне сказала Муська, что папа ставит кошёлку под маминой дверью, звонит и сразу же выходит на улицу, где ждёт, пока кошёлку опорожнят. Пустую, её выставляют за дверь, и папа, немного погодя, её забирает. Я не знаю, зачем папа так делает, но раз он так делает, значит, так надо. Одно только не понятно: а как же строгое правило, что ни денег, ни еды ни от кого принимать нельзя? Или, может быть, у взрослых для себя есть какие-то отдельные, особые правила? И ещё: зачем папа берёт нас с собой, если к маме мы всё равно не заходим?

Я понимаю: раз папа так делает, значит, ТАК НАДО. Но вот почему ТАК НАДО, я не понимаю.

В какое-то лето – какое не помню, но что это было летом, я знаю точно, потому что были спелые арбузы – к нам приехал дядя Витя, папин старший брат. Папа сказал нам, что дядя Витя доктор, что у него под Одессой есть больница, где он работает. «Под Одессой» мне показалось очень интересным: я тут же представила себе большое подземелье, вроде ходов под нашим домом, только очень большое, раз в нём помещается целая больница - но Муська меня сразу разочаровала. Оказалось, что «под Одессой» значит просто недалеко от Одессы – ну, как у нас Чугуев, откуда молочница тётя Паша возит творог и молоко. Конечно, я сперва немножко разочаровалась, но больница всё равно оказалась необыкновенной, потому что сам дядя Витя – доктор особенный, не обыкновенный: он устроил при больнице пасеку (это такой специальный двор, где стоят пчелиные домики) и лечит больных пчелиными укусами, мёдом и всем, что там ещё у пчёл получается. Мне лично не хотелось бы так лечиться - ну, разве что мёдом - а то один раз, в Даниловке, пчела меня уже кусала. Но дядя Витя говорит, она была неорганизованная и, значит, зря меня кусала, - а у него специальное лечение, и даже многим помогает, так что его пригласили на какое-то большое собрание других докторов об этом рассказать. К нам он заехал по дороге туда – жаль только, что не надолго.

С папой они совсем не похожи, и непонятно, почему папа, хоть и младший, а успел вырасти гораздо выше. И волосы у папы, как у тёти Тони, волнистые, каштановые, а у дяди Вити голова круглая, и сам он кругленький, а волосы короткие, ёршиком, и совсемсовсем седые. На них просто хорошо было смотреть: они так радовались друг другу! Я не помню, чтобы мы когда-нибудь видели папу таким весёлым. Они всё время перебивали друг друга: «А помнишь?..»—«Нет, знаешь?..» А потом заспорили, прямо как дворовые мальчишки, – кто лучше умеет выбирать арбузы. Вместе пошли на

базар и вернулись – каждый с арбузом подмышкой, и тут же разрезали оба. Нет, не сразу: сначала потискали арбуз ладошками около уха, пощёлкали ногтиком по бокам, заглянули на его затылочек – такое место напротив хвостика: так надо, чтобы знать, кавун попался или кавуниха – и только потом резанули, каждый свой. Ой, какие были арбузы!

Нас с Муськой призвали судить, чей арбуз лучше, но решить было совершенно невозможно, сколько бы каждая из нас ни съела. Уже и пальцы, и губы, и щёки стали липкими, и животы как барабаны, а мы всё не могли рассудить – и тогда хитрая Муська сказала, что арбузы тоже как родные братья: разные, но одинаково хорошие!

Ехал дядя Витя, кажется, в какую-то заграницу, и для этого надо было проходить особую проверку. Вот из этой проверки выяснилось, что мы (не мы с Муськой, конечно, а какие-то наши дедушки или бабушки) в ы х о д ц ы не то из Швеции, не то из Швейцарии, – словом, из какой-то чужой страны с шипучим названием. Интересное слово «выходцы» я точно запомнила, а вот откуда и зачем они выходили, дядя Витя или сам точно не понял, или я тогда попутала – не знаю. Странно: если есть слово выходцы, так должно быть, наверное, и наоборот – в х о д ц ы. Ведь раз они выходят откуда-то, они куда-то входят? И Швецию, и Швейцарию я видела в Муськином «Атласе мира», но, чем они друг от друга отличаются, меня как-то не очень занимало. И когда подружка Танька, с которой мы безнадзорно паслись в школьном саду, как-то раз спросила меня: «Если ты русская, почему у тебя такая фамилия?» (очень красивая фамилия, по-моему), - я не задумываясь ответила: «Потому что у меня дедушка был швейцар!» А какие же ещё, по-вашему, люди населяют Швейцарию и иногда зачем-то оттуда выходят?

Вообще фамилия Оскнер мне всегда нравилась, а вот с именем я примирилась не сразу. Во-первых, зачем мне дали имя умершей Инночки – как будто сняли с неё, мёртвой, платьице и надели на меня? А во-вторых – и это я высказала папе – очень обидно, что у других из одного имени можно сделать несколько, а что можно выкроить из моего? Вот Муська – она Мария, а захочет – Мура, Маруся, Маша или Маня; Лиза – она Елизавета, Вета; Виктория – Вита, Витя, Вика, Тора, а я что? Инна, Нна? Папа выслушал меня внимательно, переспросил: «Так, говоришь, не нравится?» Я молча кивнула – может, всё-таки что-то можно изменить? «Ну, что ж, – легко согласился папа, – будешь тогда Галендуха Акакиевна» Не могу описать, какое это произвело на меня впечатление! Оправившись от шока, я решила, что надо, наверное, примириться с судьбой – пусть всё остаётся как есть! Всё-таки не Галендуха...

Я расту. Муська отмечает мой рост на двери. Правда, я не очень хорошо расту, но всё-таки... Очень хотелось бы посмотреть, сравнить, как я, и как она росла, но Муськиных меток нет — наверное, двери мыли. Итак, я расту, папа говорит, что скоро я пойду в школу. Конечно, я и так хожу, с папой, но это не считается — а вот я ещё немного подрасту и буду ходить в школу ОБЯЗАТЕЛЬНО! Такая школа называется нулёвка. Туда можно, когда тебе уже шесть.

...У меня ветрянка. Ещё она называется ветряная оспа. Почему «ветрянка», я не знаю. Может быть, её как-то разносит ветер? Оспа ещё бывает «чёрная» это очень страшно, от неё умирают, и, чтобы люди ею не болели, от неё делают прививки. У Муськи на руке, чуть ниже плеча, большая некрасивая нашлёпка – это от прививки. А от ветрянки вроде бы не умирают, но терпеть её всё равно очень трудно. От неё по всему телу, и даже по лицу, плоские желтоватые волдыри. Как они чешутся! Но, если такой волдырь расчесать, шрам останется на всю жизнь! Тётя Тоня сказала, что мне надо надеть рукавички, чтобы я нечаянно не расчесала - особенно на лице! Я от рукавичек отказалась и дала честное благородное слово, что чесать не буду. Волдыри, отчесавшись своё время, покрывались ещё более чесучей корочкой, а потом, по одному, присыхали и отпадали. Я очень терпела – и вдруг однажды утром проснулась – и вижу: на подбородке, слева, корка содрана! Значит – на всю жизнь! Но главное не это. Главное – папа может подумать, что я не сдержала слова, не утерпела. А это не я – оно само, об подушку, нечаянно! Я даже пятнышко такое на подушке нашла. Но папа и так поверил.

А шрамик остался. Надолго — а потом как-то забылся и сам собой пропал.

А с нулёвкой у меня не получилось. Странное дело: я ведь хотела - честное слово - я очень даже хотела – а получилось совсем не в радость. Вот когда папа раньше водил или носил меня в школу – это было как в гости, а «в гости» – это всегда вроде бы праздник: ты маленькая, все кругом большие и ласковые, и каждый раз ты узнаёшь что-то новое, и каждый раз интересно. А тут всё вышло непразднично. Сражение с ветрянкой кончилось где-то во второй половине сентября. Учительница Марипаллна, с резким грубым голосом и большим носом в чёрную крапинку, привела меня в класс и посадила за вторую парту в колонке у окна. Я была новенькая – и чужая. Пока я сражалась с ветрянкой, другие ребята перезнакомились, пообвыкли, одни подружились, другие перессорились, и все стали с в о и. И халатики у них были одинаковые, светлосерые, с белыми воротничками – только я одна – чужая

– в старом Муськином свитерочке. Новая моя соседка по парте, беленькая и пухленькая, как булочка, которую почему-то звали Клава Чёрная, строго спросила меня: «А почему тебе мама халатика не пошила?» С тех пор я на всю жизнь возненавидела имя Клава. На первом уроке учительница вызвала меня (что надо встать, я догадалась сама) и говорит: «У Клави було п'ять олівців. Вона тобі дала три. Скільки в неї лишилося?» Конечно, может у неё и правда чего-то там было – но мне она ничего не давала, да я бы и не взяла. Может, Клавка наврала учительнице? Или Марипаллна сама это выдумала? И не стыдно ей? Но не могу же я ей сказать: «Это неправда, никто мне ничего не давал!» Стою и молчу, и стараюсь смотреть на неё очень выразительно, а она не понимает. Спрашивает: «А що таке "олівець", ти знаєш?» «Знаю, - говорю. - Огурец». Да какая разница? Всё равно я ничего чужого не брала!

Совсем настроение испортилось.

А тут ещё на следующем уроке вызвала меня читать по букварю – я же хорошо читать умею, а ей не нравится: «Ти по складам читай, – говорит. – М, а, -ма, м, а, -ма, ма-ма». А я не умею по складам – и зачем оно, если я так умею? Дома я «Мойдодыра» и «Айболита», «Каштанку» и «Звери дедушки Дурова» читаю, а тут «ма-ма» по складам!

Всё не интересно, всё не нужно и не ласково. Ещё какие-то палочки писали – скучно так! Еле дождалась конца – чтобы папа меня забрал.

Прямо как в сказке: избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Только наоборот: такая интересная, такая замечательная школа вдруг повернулась ко мне гадкой нулёвкой! А то, что назавтра распухли и опять заболели желёзки, обернулось просто радостью: на этом нулёвка для меня кончилась!

Наверное, спасаясь от нулёвки, я принялась долго и старательно болеть. Чего только у меня не было за это время! И желёзки, и уши, и краснуха, и корь, и коклюш, порошки и пилюли, компрессы, банки и горчичники! Иногда я даже думала, что, может быть, нулёвка была бы всё-таки меньшей неприятностью!

Наверное, у нас плохо топили, потому что в доме появилась «буржуйка». Буржуйка — это уже было интересно. Во-первых, стало славно пахнуть дровами. Во-вторых, насвете нет ничего занимательнее, чем огонь—разве что, может быть, вода. Буржуйка шумела, стреляла, в трубе гудело и пело, в поддувале светило и мелькало розовым, сиреневым и красным, как на гостинице «Красная» во время праздничной иллюминации. Иногда из топки в поддувало выстреливался алый уголёк; потом он подёргивался (нет, ну, как это сказать, если он много раз подёрнулся?) розовым, сиреневым, потом седел

и тускнел. В поддувале можно было печь картошку, только надо было сначала её помыть, чтобы есть прямо с хрустящей кожурой — исходящую паром, сахарно-белую на разломе. А ещё мы с Муськой придумали вырезывать из бумаги всякие фигурки, чтобы бросать их в топку и следить в щёлочку, как они там оживают. Правда, я, подглядывая, умудрилась раскалённым бортиком обжечь себе переносицу, так, что вскочил волдырь и надолго остался след, но ничего. Муська сказала, что когда-нибудь по шрамам можно будет рассказывать мою биографию. Даже жалко было, когда затопили батареи, — так было хорошо сидеть перед буржуйкой на полу и смотреть на огонь.

Корь запомнилась задёрнутыми окнами, полутьмой — от света болели глаза — и музыкой. Читать мне нельзя, и даже зелёные пятна на потолке тонут в темноте, но на клавиатуре нашего старого пианино пятно света и папины белые руки, папины лёгкие сильные пальцы — и музыка, музыка, музыка... Но я не помню, чтобы, пока я болела, папа играл на виолончели...

А ещё музыка жила у нас в конце коридора. Там с утра до вечера трудился рояль, и пели красивые голоса, и каркал строгий некрасивый голос нашей соседки Клары Израилевны. Клара Израилевна была хормейстером оперы. Муська объяснила мне, что хормейстер – это учительница, которая учит артистов петь. Наша соседка была строгой учительницей, и артисты её слушались и, наверное, боялись. Мы её тоже боялись, но когда она, стуча каблучками, проходила по коридору, в коридоре долго ещё хорошо пахло. Ни от кого в нашем доме так не пахло. Когда что-то ей не нравилось, она заставляла певцов повторять одно и то же по нескольку раз – и они повторяли, так что мы с Муськой поневоле выучили наизусть «Запорожец за Дунаем» и «Наталку-Полтавку». Правда, «Пиковая дама» почему-то запоминалась труднее.

Коклюш не запомнился ничем — коклюш как коклюш. Правда, Муська говорила, что я не кашляю, а лаю, как Полкан в Большой Даниловке: грозный старый пёс, чёрный с жёлтыми бровями, родитель Цуцыка, он лаял гулким, как в бочку, басом.

Вот так и прошла осень, а за ней и зима. Ничего особенного, ничего интересного — одно только интересно и непонятно: где я умудрилась нахватать столько хворей, от кого заразиться, если всё это время невылазно торчала дома? Хорошо хоть Муська ничем от меня не заразилась — чем-то она успела переболеть ещё до моего рождения, от чего-то ей делали прививку — в общем, я вроде бы была для неё безвредна.

Зато за это время я перечитала все Муськины книжки – весь красный шкафчик, на котором – помните? – когда-то в кульке синей «сахарной» бумаги лежали

мои вожделенные сухарики. И ещё мы прослушали — по частям, на разные голоса — все оперы, которые шли в том сезоне в нашем оперном театре. Вечерами, если погода была плохая и, стало быть, Муська тоже была дома, мы иногда устраивали свой собственный театр: я гневно верещала Одаркой «Відкіля це ти узявся?..», а Муська басом оправдывалась: «Занедужав я в дорозі та й набрався там біди...» А потом, кое-как выпутавшись из дуэта, я жалобно укоряла Муську: «Ти гуляєш дні і ночі, я ж сердешна все одна...» Эту арию я исполняла с большим чувством: уж кто-то, а я хорошо знала, что это такое — когда ты «все одна»!

Муськина подружка, Женька Хандрос, говорила, что, когда актёру по ходу пьесы надо заплакать, он поднимает голову и ему капают в глаза глицерин — как будто слёзы. Мне, наверное, в этой сцене глицерин бы не понадобился.

Мамы я в этот год не помню. Оно и понятно: ведь там у неё маленькая Аллочка, а я, наверное, всё время заразная — то корь, то коклюш, то какие-то желёзки...

Зато с весной, когда можно стало открывать в нашей жизни появилось - не знаю, как это назвать - не то что радость, а какой-то наполнитель. Вы помните, окна у нас выходили во двор, а во дворе было такое строение – длинное, с большими дверьми-воротами. Справа была ещё маленькая пристроечка с высоким крыльцом. Там жили наши враги, Шурка и Толька Алексашины, а до революции там жил конюх, потому что в длинном строении была конюшня и каретный сарай. При нашей с Муськой жизни там сначала был какой-то склад, и мальчишки таскали из-под ворот плоские куски макухи. Макуха, между прочим, – это замечательная вещь! Она похожа на асфальт, плоская, серая и твёрдая, и делается из семечек. А замечательна она тем, что её можно долгодолго грызть, - только, правда, после этого в углах рта бывают заеды. Знаете, что такое заеды? Нет? Ну, не важно. Если она тёмная, значит, в ней много лушпаек, и это плохо, но если она светлая, говорят, с ней можно даже пироги печь! Но дело не в этом. Бог с ней, с макухой. Макуху куда-то вывезли, и каретный сарай отдали под мастерскую молодым скульпторам, папиным бывшим детдомовцам-коммунарам. И вот, когда в открытое окно доносилось пение, папа откладывал свои тетради, брал нас с Муськой за руки и вёл в мастерскую, заранее предупредив, чтобы мы там ни у кого не путались под руками и под ногами. В мастерской пахло сырой глиной, высились какие-то глиняные громадины, какие-то деревянные мостки и непостижимо колдовали Игорь и Миша. То ли свет был недостаточно яркий, то ли так всего было много, что глаза просто не успевали охватить сразу, - только мне казалось, что тёмно-серые глыбы

постепенно оживали — в них постепенно проступали всё новые и новые подробности: руки, лица, складки одежды. И вот ведь какая штука: мы ведь с Муськой тоже лепили — правда, из пластилина — но наши человечки — даже у Муськи — только стояли, сидели или лежали н е п о д в и ж н о, а здесь фигуры жили, как будто двигались и даже беззвучно кричали и пели. Как это получается — звука нет, но ты знаешь, что этот вот раскрытый рот поёт, а тот кричит?

Я тихонько спросила у папы, он посмотрел на меня внимательно и только сказал: «Думай сама. Смотри и думай» – и даже, кажется, погладил меня по голове.

В другой раз он сказал нам с Муськой: «Смотрите внимательно на Мишины руки и на руки его скульптур. Руки много говорят о человеке». Мы приняли это как тайную игру: подумать только, какие они разные! Оказывается, есть руки добрые, есть руки хищные, даже глупые руки, по-моему, есть! Интересно, а есть руки н и к а к и е? У Миши руки были небольшие, тонкие и какие-то т р е в о ж н ы е.

А как они пели, Миша и Игорь!

Здесь, в мастерской, они были совсем не такие, как дома! Дома они были о т д е л ь н ы е, совсем разные: высокий, красивый Игорь, с глубокой, суровой складкой на белом, высоком лбу, между густыми строгими бровями, и щуплый, маленький, стриженный под машинку Миша, похожий на грустную серую птицу, с головой, зажатой острыми плечами, вздёрнутыми парой грубых костылей, и узким треугольным лицом горбуна.

Игоря мы боялись. А на Мишу я мучительно стеснялась смотреть — мне казалось, ему больно, что люди видят его искалеченную ногу в ортопедическом ботинке на толстой подставке, его два горба — спереди и сзади, и я не знала, как быть, куда девать глаза. Ведь отворачиваться тоже нельзя — вдруг он подумает, что мне неприятно видеть это уродство. Но здесь, в мастерской, оба они, и всё, что нас окружало, — всё это было чемто единым, удивительным, колдовским: голый по пояс Игорь, потеплевший и смягчившийся, сам похожий на ожившую статую, и добрый гном Миша, в широкой, топорщащейся на горбах рубахе, сияющий мохнатыми глазами, и сама влажная, холодная глина, из которой эти два колдуна творили свои чудеса.

Как они пели! Голос Игоря, мягкий, густо-коричневый, стелился фоном для Мишиного — гибкого и светлого. Муська — она же старшая! — она говорит, что это всё выдумки, что звук и цвет — это совсем разное, и, если говорить про голос, цвет тут абсолютно ни при чём. «Ну, вот, скажем, я (в смысле Муська) — какого цвета у меня голос?»

Ну и что, если я не знаю – это же не значит, что цвета нет? Просто я не всё ещё знаю. Мало ли какие

есть названия у оттенков! Тётя Тоня говорила, даже цвет «жандарм» есть! Вот как называется цвет Мишиного голоса, я тоже не уверена, что могу сказать. По-моему, он такой светло-светло серый, матовый — очень красивый цвет!

У Вацы, жены Игоря, тоже бывшей коммунарки, голос серебристый, но не матовый, как у Миши, а с проблеском, холодноватый, как вода в ручье, а у Яночки, Вацыной младшей сестры, — золотистый, тёплый, ласковый, как сама Яночка; он как солнечные блики на мелком перекате весёлой маленькой речки в Даниловке. Представили? Ну вот — а она говорит «глупости»!

Правда, синего голоса, скажем, я не могу представить. Наверное, их и не бывает, синих голосов. Но вот когда на густо-коричневый, бархатный голос Игоря расплёскивается светлый Мишин и по ним серебристой ниточкой вышивает песню Ваца, — это так красиво, что просто невозможно передать! И так жалко, что папа спохватывается, что уже, наверное, поздно, и мы, может быть, мешаем. И уводит нас, а песня идёт за нами, до самых дверей чёрного хода, которые, со своей упругой стальной пружиной, хлопают и отрубают её звуки — и мы спешим скорее взбежать по лестнице, скорее домой, в надежде, что она ещё льётся в распахнутые окна!

Папа говорит, что, если бы не болезнь, которая так изуродовала Мишу, он был бы великим певцом, не хуже Козловского; а мне кажется, он и так не хуже – и потом Козловский не умеет так колдовать над глиной!

Вот ведь у Клары Израилевны каждый день поют настоящие, знаменитые певцы — но у них, по-моему, совсем не так о с о б е н н о красиво, потому что у них голоса как будто немного з а л о с н и л и с ь оттого, что сотни раз повторяют одно и то же.

А дни становятся короче, и оттого быстрее катятся, и вот уже пора в школу, но я её, кажется, уже разлюбила — наверное, из-за нулёвки и грузной Марипаллны, с её унылым носом в чёрную крапушку.

Но в школу – это как в армию большим мальчикам или совсем взрослым на работу – обязательно – и вот она уже завтра!

Я вспоминаю, что у меня нет серого халатика с белым воротничком, чтобы быть как ВСЕ, и я не сплю всю ночь, потому что — а вдруг меня опять кто-нибудь спросит, как Клавка Чёрная, почему мне мама не сшила?

А потом вдруг оказывается, что уже пора вставать, и скорей-скорей, а то опоздаем! И уже некогда стоять в очереди в общей ванной, чтобы умыться, и поэтому папа сливает мне в нашей комнате, над тазиком; и вот уже на мне бывшее Мусино платьице. Раньше – когда-то – оно мне очень нравилось, но сейчас оно, помоему, уже немножко состарилось.

Я от волнения путаю сандалики и надеваю не на ту ногу, и папа говорит: «Ах ты, Господи!» — но я понимаю, что он на меня не сердится, а просто тоже немножко волнуется.





Оскнеры: Муся, папа, Инна

Инна Оскнер в детстве

И мы быстро-быстро, все втроём, идём по Примеровской, по Почтовому переулку, где живут китайцы и школьная секретарша Сара Семёновна Штейн – и вот уже школа, и тётя Варя в красной косынке трясёт большим, медным, начищенным до блеска звонком, и я не успеваю приласкаться к тёте Полечке, потому что папа тащит меня в класс, – и – о Господи! – опять Марипаллна! Я с е к р е т н о прошу папу, чтобы он отвёл меня в какой-нибудь другой класс, но, оказывается, первый в школе только один, и ничего с этим не поделаешь.

Потом нас выстраивают по росту в большом зале, и это называется л и н е й к а. Я оказываюсь почти в самом хвосте, и мне обидно: неужели я всё ещё такая маленькая?

Седой, кругленький директор школы поздравляет нас с началом учебного года и говорит ещё что-то поздравительное. Потом нас опять ведут в класс. Мне велят сесть с красивой девочкой Олей. Моя подружка Танька и Галочка Коновальчук тоже, оказывается, тут – только их Марипаллна сажает в другой колонке.

Оказывается, руки в классе надо держать за спиной, чтобы спина была прямая и чтобы руки сами по себе ничего не шкодили. Это совсем не удобно, но все так и сидят – придётся и мне.

Вообще в этот первый школьный день главными словами у меня получаются «оказывается» и «надо». Прямо на каждом шагу о к а з ы в а е т с я что-то новое, неожиданное, и с ним почти каждый раз возникает какое-то н а д о!

За всеми этими открытиями я и не замечаю, как проходят два урока, и Марипаллна ведёт нас строем в столовую, где уже накрыты столы, и перед каждой тарелкой стоит маленькая чашечка с пахучим рыбьим жиром, на ней кусочек чёрного хлеба с четвертинкой солёного огурца. Я не хочу рыбий жир, но, говорят, н а д о обязательно – а то не позволят встать из-за стола. А рыбий жир надо, оказывается, быстро-быстро заесть чёрным хлебом и огурчиком – тогда не так противно.

Ещё одна неприятность: за завтраком мордастый мальчик Толя Зайченко проливает мне на бывшее Муськино платье мою сметану! Я не знаю — надо, наверное, с ним подраться, потому что Муська может обидеться. Всё-таки это её платьице — хоть и бывшее! Но Толька достаёт из кармашка носовой платочек и вытирает на мне сметану, так что драка отменяется.

А вот какие у нас были уроки, я хоть убей не помню. Наверное, ничего интересного. Но после уроков красивая девочка Оля, с которой меня посадили, спросила: «А ты где живёшь? На Юрьевской? А я на Франковской! Хочешь, пойдём к нам?»

Ну конечно же хочу! Я же никогда ни у кого не бывала в гостях! Ведь «старшие девочки», Ваца и Яна, и Марифанасьевна с Настасифанасьевной не считаются — они же в нашем доме живут, какие же это «гости»! Девочка Оля мне нравится, и я послушно иду за ней. У Олиной улицы нет второй стороны — только правая, а левой нет. Вместо неё большой зелёный пустырь, а за пустырём речка; поэтому улица называется Набережная. Вот где в казаки-разбойники играть!

Олин дом, маленький, одноэтажный, стоит во дворе. У него высокое крыльцо, на крыльце нас встречает бабушка, маленькая и ласковая, как тётя Полечка. Она целует Олю, гладит её по светлым, пушистым волосам, и капелька её улыбки достаётся и мне: «А тебя как зовут, девочка? Ну, заходи, заходи, Инночка!»

И я захожу вслед за Олей в прохладные, уютные комнаты, и нас встречает Олина мама, полная, пышноволосая, с тёмным пушком над верхней губой – разве у женщин бывают усы? – уютная, как весь их дом, и, как бабушка, ласково спрашивает: «Как тебя зовут, девочка? Что у вас в школе было? Что ты кушала, Олечка? Мойте руки, девочки, сейчас будем обедать».

Смуглыми ласковыми руками она обнимает Олю за плечи, оправляет на ней воротничок, гладит её кудряшки и говорит: «Дай-ка я тебе бантик поправлю».

И я не выдерживаю. Я выбегаю из комнаты, мимо бабушки, вниз с крылечка, давясь слезами, не разбирая дороги. Мне стыдно, — я знаю, что нельзя, чтобы другие видели, как ты плачешь, но я ничего не могу с собой поделать. Я бегу мимо пустыря, мимо обувной фабрики, бегу, ничего не видя перед собой, ослепшая от слёз. Никто, никогда не встречал меня на крылечке, никто не шил мне халатика, не повязывал бантика — никто, никогла!

Куда я бегу?



# мартин мелодьев ДО-БЕМОЛЬ

(Из новой книги)



### ПРЕЛЮДИЯ

Отыгран роббер, впору ждать гамбита, Мигнув хвостом, отъехало такси. По-итальянски «да» звучит как «си», Последней картой тех, чья нота бита.

Ночь вынянчила землю; на столе — Пустой графин зеленого стекла И старая пластинка Робертино. Одна из тем, которым несть числа: *Jamaica*... вот и вся кинокартина.

Графин мерцает, как павлин, резьбой – Как будто по душе прошлись фрезой.

### СВЯТОШИНСКИЕ ПРУДЫ

Мне воздастся ли за труды, или нет – не один ли чёрт? На Святошинские пруды желтый ангел меня влечёт.

Баснословный Новосибирск, прародительский Киев-град... До сих пор на душе саднит — зелен, стало быть, виноград.

Вот еще один день потух, как сиреневые кусты. Ох уж эти мне мысли, вслух проговоренные, — пусты.

Все, что выдумал – сочинил – напечатай, и пусть растут! До сих пор бутылёк чернил авторучки как мать сосут.

\* \* \*

Поэт! Ты воспитал в себе Святое чувство перспективы Наперекор всегда тоскливой, Сиречь обыденной судьбе.

И зажигалась иногда В твоих созвучиях печальных Звезда вещей первоначальных, Как Вифлеемская звезда.

Когда вечерних окон строй, Редея, открывал простор, Творя из плоскости пространство –

Горел и твой огонь во мгле. Факир был пьян... Но стих остался.

1974

\* \* \*

Город покоя, кварталы дат. В гости не ходят, а только ждут.

Жители города тихо спят под покрывалами теплых плит.

Клен, распахнувший ладони-листья наискось... впору играть на арфе.

Город покоя – и только лица все улыбаются с фотографий.

1972

### КАРТИНКИ С ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ

Цветная заплата на синей ночи — Фонарь сквозь густые деревья, Расфранченный, как на деревне гармонь, Льет желтый огонь сквозь зеленый огонь. Картинная спит галерея — И легкие блики летят на холсты, Ложатся в холодное, стылое масло... «Портреты студенток». В глазницах пустых, Как в лужах ночных, эта верткая масса Слоится, трамбуется топкой водой, Торгуется с нею о жизни и смерти. Но день затирает своей белизной Те блики, и вновь цепенеют портреты.

Ни складки в одеждах, ни мысли, ни зги, Грудастые свитеры, джинсы в обливку – И лица, исполненные тоски По блику.

1977

#### ВОКРУГ ДАОКОЛА

Я вырежу круглую желтую Луну, квадратные, желтые вырежу окна — и буду ходить вокруг Даокола, как и положено колдуну.

Из рук моих голубем выпорхнет ночь, из выдоха туман над каналом встанет. И заячье мясо в жаровнях корчм корчмари расторопные распластают.

Улицей притворюсь, упаду ничком. Поземка, ветром судьбы гонима, своим огромным худым смычком по мне, единственному, пропаганинит.

Не дожидаясь пока ночь кончится — выращу рыжик размером с фонтан. На чердаках сычи расхохочутся, увидев его: вон там.

И, расклобучив, как ловчий – сокола, хищное Солнце ввысь подниму.

И буду плакать вокруг Даокола, как и положено колдуну.

1980

\* \* \*

Нужна особенная смелость: Над жизнью птицей пролететь, Пропеть, когда кричать хотелось, А все ж необходимо – петь.

Нужна особенная нежность: В летящей своре гончих дней Прожить, не веря в неизбежность, И веря, что еще трудней.

Нужна особенная жадность, Чтоб веселей звенела цепь. ...Душе присуща жизнерадостность, как шахте крепь.

1982

### CKA3KA

Она была сказка, а он был болван, Забывший, что бедность, по сказке, – богатство. Прости своего дурака за роман! Да ты уж и рада стараться.

Я помню знакомства волшебную ночь, Как руки мои заплетались от счастья... Все можно, читатель. Постой возмущаться. Потом – сколько хочешь песочь.

О музыка рук, рукавов обертоны, О, губ ее терпких крутой опиат! Протяжность гобоя, томленье валторны – Мне этого не передать.

Рассвет надвигался тропой шелкопряда, Я ей задыхался, как морем пловец. Поверьте мне, все это чистая правда! И я замолчу, наконец.

1980, 2006

#### СОЧЕТАНИЯ

Бывает, как будто с похмелья глубокого, Еще не очухавшись ото сна, Бессмысленно пялясь в родные окна – Ты вдруг понимаешь: весна!

Вчера лишь, от скуки осатанев, Мороз на стекле намозолил нулик, А нынче нарядный ансамбль сосулек Капелью частушечной зазвенел.

Вчера лишь Бетховена вьюги мели, А нынче – симфонией Берлиоза, Серебряной свадьбой – стоит береза: Древесный фонтан земли.

\* \* \*

Arivederci! — и только область воспоминаний о ней, как милость. Яркие встречи отгрохав, молодость за горизонтом отсоловьилась.

Может быть... Впрочем, к чему загадывать? Будем о ней сочинять стихи. Будем на свой макар перекладывать древних распевок божественные крюки.

Arivederci!
Рвет листья вечер,
вот и еще один выпал, желт.
О, до чего этот круг тяжел!
И все же — Ave, arivederci.

1988

#### ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Я не писал стихов пять лет подряд — и вот пришли, приехали, приплыли. Родная речь! Что значит «или — или» пред словосочетаньем «вахтпарад»?

В разлуке нет высокого значенья, потусторонний мир не позабыть. На термине «В порядке исключенья» свихнулся Гамлет: быть или не быть?

Над Сан-Франциско тучи-мериносы... стою, к российским темам охладев,

искусством положительных эмоций, как проститутка телом, овладев.

\* \* \*

Мчатся тучи, выотся тучи, рядом ни души. Как на Миссисипи ночи были хороши!

Небосводом оторочен сосен черный мех, и русалочий – порочен, серебрится смех.

Грохот поезда по рельсам, фонари блестят то шампанским, то фалернским... Скоро пятьдесят.

Скоро, скоро у забора лязгнут тормоза. Два зеленых светофора строят мне глаза.

Мчатся тучи, вьются тучи, рядом ни души! ...Все равно у Фета лучше, сколько ни пиши.

1999

\* \* \*

Печалюсь ли, сержусь ли — настраиваю гусли. Не видевший в глаза их, я слышу голоса... Их! Ах! ...Над заборами из травы-лебеды гусли-лебеди полетели, за собой повели.

В небе ангел, Bloody Mary закажу, Мандельштаму так и доложу. А вернусь ли, нет ли... Бог с тобой, это все коктейли, ангел мой! Птичьи перья, плача и смеясь, крутятся, на этот мир дивясь, а внизу — не разобрать лица женский голос кличет беглена.

2000

### До-бемоль

\* \* \*

Сочини эту ночь, чтоб в неё иногда возвращаться: лунный снег облаков и гипюр зацветающих слив, бровь забора и дом... ощущенье возможности счастья. Акварельную воду толочь предоставь молодым.

Разверни на листе типографское кружево шрифта. Проницательный взгляд натолкнется на строгий узор... Бледно-розовый сумрак цветов на асфальтовый остров ложится, словно грунт на холсте становясь в основание слов.

2000

\* \* \*

В стране, где подают коньяк со льдом, поэт воспринимается с трудом.

Вот он гуляет в парке над прудом, рубя, как полагается, ребром ладони воздух...

Чёрным серебром идет строка, подёрнутая льдом, как приставная лестница. Чердак, лимон Луны, три звёздочки... Чудак.

2000

### ΜΟΛΟΓΑ

«Море<sup>I</sup> получилось мелким, с нелепой конфигурацией и злым характером (часто штормит)» «....Под воду ушла вся его историческая часть.» Рыбинская правда.

В избах — рожки да ножки, а в лесах упыри. На рысях князь моложский отъезжает к Твери, ободрав напоследок милый сердцу удел...

Получилось, мой предок словно в воду глядел.

Вьется краем дорога;

не видать берегов. Насылает Молога сто пловучих гробов.

В избах рыбы, как плошки, на лугах пустыри.

Не малина в лукошке — по воде пузыри.

И лежит, как поленья, по кладбищам родня: тридцать три поколения, вдалеке от меня, у села Переборы — и глядит, гниловат, на бетонные створы

миллион киловатт.

2006

\* \* \*

Игорю Демичеву

Мы уже не вернемся в страну, от которой бежали. Мы еще навернемся о каменные скрижали, составители слов, собиратели стеклотары. Вот и кончилась песня отдельно стоящей гитары.

Города наших снов! Мы берем их, но чаще измором. Их возводим на сером песке полосы между небом и морем. Пляж «Дельфин», Ланжерон, вечера на Приморском бульваре...

- Как же мы?..
- Как же он?..

Ну а что остается гитаре?

Кровоток проводов, филигрань ускользающей руны. Неожиданность слов, задевавших за нужные струны. Пусть одесское рыжее лето и дюк на французском вульгаре перепишут мой вальс. А пока так уж вышло, прости.

2001

Рыбинское

### ЛАТИНИЦА

(перевод с транслита)

Когда на сердце хлад и стынь, и написать рука не двинется друзьям... Давно мертва латынь, но, слава богу, есть латиница!

С листа играем, не с руки, не становиться в позу – лотосу. Летают клавиши, легки, не нажимаемые попусту.

Найдется пара милых лиц в какой-нибудь Тамани-Умани. И буква «ц» звучит как «ts»: печальней, строже и обдуманней.

Когда-то слушанный концерт всплывет, хрустальней вазы в кобальте. Возможно это не рецепт, и тем не менее попробуйте.

2000

\* \* \*

Ну, весна. Красавица... Подумаешь, эка невидаль! Но однажды утром – белый вьюнош – за окном распустится миндаль.

Черт ли с ними, пусть кичатся пригороды, на продажу выставив дома. Англосаксов голоса; попробуй, выговори всей утробой: "This is right." – сойдешь с ума!

Изгороди рекрутами стрижеными встали, ощетинившись, в каре. А у нас вертинский во дворе — тополь, — и миндаль, и иже с ними.

2004

### ХУДОЖНИК

Холодные белые куклы – Плывут над землёй облака. Под вывеской «Овощи-фрукты» Художник достиг потолка,

И смотрит он, кисти роняя, Как музыка в небо идёт, По чёрному морю рояля Серебряным парусом нот.

Он так одинок на пленере, А сбоку, и рядом, и за — Ночные бесшумные звери Таращат большие глаза.

И сколько верёвочке виться, Не знают ни кот, ни лемур. И так восхитительно снится Заснеженный Витебск ему!

2002

\* \* \*

Рейзеле (идиш) – народное евр. искусство вырезания из бумаги, ныне почти утраченное.

Что такое поэзия, Рейзеле, Ты наверное знаешь сама — Пустота. И глядит из-под лезвия Призрак розы, сводящий с ума.

Свет былого, не тусклый, но матовый, Из-за спущенных временем штор... Только душу ты мне не выматывай! Старокиевский бабушкин двор.

В век всего, что не вещи, небрежного, Где от песен болит голова — Не смешно ли, о Рейзеле, бережно Наряжать, как на праздник, слова?

Приглашенный на вечер поэзии – улыбаюсь, а сердце щемит. Говорят: «Воскрешение рейзеле». Вряд ли. Мир перешел на иврит.

2006

\* \* \*

Лысоват и сух кипарис, римский бюст на руинах скал. Ветошь туч в голубом тазу в ожидании швабры креста навевает Эль Греко...

### До-бемоль

МиР вертикален, сколь ни тяни звука, дремлющего в праще двух согласных... St. John в плаще, беспризорный экуменист. Отвечаешь: «не знаю слов», говоря себе: «помолись!» Планомерный разбой часов, недобитых Дали... Отче! Сыро. Ветрено. И вообще.

2001

### ОРГАН В СТЭНФОРДЕ

На мозаичных сводах золотых играли Брамса в церкви Всех святых: заоблачно вздыхали трубы, кривя прямые щели ртов — как будто по сосудам кровь текла в расплющенные губы.

В неведение Страшного суда паслись по стенам тучные стада, святые путешествовали в нишах, и композитор вдалбливал: «Даны условия, в которых все равны в небесных сферах... или даже выше».

Над Гуверовой башней пал туман, развел пары, задул огни, — Т.Манн, — волшебною горой окутав тело. В церковных нефах бражничала смерть, но и орган сумел ее презреть — стоглавая скульптура Донателло!

2001

\* \* \*

Черна рубашка, на рубашке вышивка. Ты приглядись: на ней снежинка вышита, и человек, объехавший весь свет, читает в сотый раз, а может, в тысячный: «Над Бабьим Яром памятников нет».

Я дочку в детский сад возил на саночках, в их группе было несколько Оксаночек, а Сонечкой была она одна. И, может быть, уехавшая вовремя, следя, как зал охватывает молния, запомнит этот вечер и она.

Прапрадед мой, раввин всея Подолии, Волыни и Галиции – не более, но как бы и не менее того – убит посмертно и лежит, закопанный в Яру. Другой в Манчжурии под сопками. Об остальных не знаю ничего.

Трудись, душа! Работай, и не сравнивай. Беспроволочно небо над Испанией, и человек, объехавший весь свет, отыскивая рифму к слову «вешалка» — читает нам, американка-беженка. «Над Бабьим Яром памятников нет...»

2000

### SONNET 1

Звучал твой голос в сердце у меня, Как шум волны у диких берегов. Так древний дуб стоит, листвой звеня, На дождь и солнце небо расколов.

Но жаркий шторм, рожденный в синеве Обманчивых тропических широт, Вдруг налетев, ударил Вас, мой лев! Мой бедный лев, как птица сбитый влет.

Напрасно пальцы шарят по песку В надежде отыскать живую плоть. Не воскресить ни птицу, ни строку, В недобрый час покинувшую порт.

Неколебима лишь земная твердь. А нам, снежинкам, падать и ржаветь.

2001

#### **BO3PACT**

I

Как жизнь? Прошла... Ни счастье, ни печали мне в юности почти не докучали. Скрипичного ль, басового ключа ли поклонник, или баловень бедра — меня поймет, но птицы прокричали зернистой дробью. стало быть пора

Вольный перевод с английского стихотворения моей дочери.

II

В таверне за столом сидят немые, седой блондин и рыжая жена, беседуя губами, как впервые воздушного касаясь полотна, — и лес в прямоугольнике окна.

Мне кажется, что строй безмолвной речи не может быть обыденным, что в ней — глаза в глаза — нет места гуттаперче и меньше лжи... Конечно, им видней.

2004

Был бы жив Сладкопевец (по-гречески - мелод) Роман, он бы все переделал и начал писать с кондака.

«Дева днесь родилась в Тульской области, город Белёв, изумрудную воду несёт подо льдом Ока...» Столько снегу в Тесницком лесу в том году намело. Третий вечер знобит слегка.

2001

\* \* \*

Куда уехал цирк? Он был еще вчера...

### ЗИМНЯЯ ТОРГОВЛЯ

### ПРОМЕНАД

Вот они гуляют по тропинкам парка: экс-поэт и женщина, любящая свет. Все-то ему холодно, ей все время жарко. Оба сумасшедшие — вот и весь секрет. Сватают друг другу они, пара идиотов, над холмами вставшую полную луну. Кажется, Господь, незрим во вспышках самолетов, крутит в небе спелую, в подпалинах, хурму.

Никому от этого ни холодно, ни жарко; кипарис повел плечом, бархатный валет. Бродят поздним вечером по тропинкам парка маленькая женшина и большой поэт.

2005

### ДЕКАБРИСТКА

Моей однофамилице, расстрелянной 10 декабря 1937 г.

Столько снегу в Тесницком лесу намело, чуть заметна, угадывается тропа. *«Александра Евлогиевна Мелодьева...»*, ей – нараспев строфа.

Ах, гусарские ментики, голубой доломан! Взять бы в руки гитару, да что-то немеет рука.

Куда уехал цирк?
Наверное, на юг.
Из окон глазом зырк:
уехал и каюк.
Разбитая дуда
ноздрями цвирк да цвирк...
Неведомо куда
уехал этот цирк.

Прощай, блестящий риск, и грация страстей! Настало время крыс и сумрачных вестей. Чеченская война черна как антрацит, печаль моя темна... Куда уехал цирк?

А помнится, играл бравурный марш оркестр, и зал рукоплескал, и все вставали с мест.

Заложница-страна, всяк сущий в ней — «язык»... В такие времена куда уехал цирк?!

1999

\* \* \*

Кто сказал, что любовь это высшее свойство души? Вы любили смеясь... каждый раз это было впервые.

Византийский гимнограф, автор кондака «Дева днесь».

### До-бемоль

Из костюмов теперь Вам, наверно, к лицу деловые, очень строгих тонов. А когда-то Вам пёстрые шли.

Вспоминаю шафраны, анютины глазки, траву — и тропинку, ведущую исподволь к Вашему дому, покидая, шепчу: «Может быть, я затем и живу, легкомысленной Вас вспоминая сегодня другому».

1995

#### **TAM**

Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей... Туда свезут меня на дрожках, жизнь станет лучше, веселей!

Крутые воды камень точат, братва стреляет из ружья. В лесах прозаики хлопочут, Татищев мочит Соловья. Младые девы косят левы, сквозь розенбаумовский китч звучат чеченские напевы. Два депутата входят в клинч.

Иллюзии необратимы: покуда вертится земля — как о Швейцарии кретины, Бог весть о чем тоскую я.

2000

### РОДИТЕЛЬСКИЙ РОМАНС

Софье

Смешно бежать судьбе наперерез И догонять ее на полустанках, Оркестр уже играет полонез, И впереди – катание на санках.

А у тебя сошлись на дне рождения Йом Кипур сегодня и Покров. Будь счастлива, но сделай одолжение: Читай стихи, не слушай дураков.

Есть две страны...

Пусть их судьба хранит. Бог даст и свяжут кони вороные Над миром золотой Давидов щит И полотняный омофор Марии.

Совместный праздник снега и невест, Дороги в белых яблоках метели... Снежинка, могендовид или крест – Как жаль, что мы все это проглядели.

Узор по камню мельничного жернова Размолотых пшеничных мотыльков... А у тебя сегодня день рождения, И Йом Кипур пришелся на Покров.

13 октября 2005

2001

### НАТЮРМОРТ С ВЕТКОЙ

Милый друг, коньяку мне плесни! Пусть тонка золотистая плёнка, Эта ветка — из дальней весны, Молчаливая, в белом, бретонка. Как немыслимо пахнут цветы, Проступая сквозь тюль занавесок! Эта ветка из ранней весны — Белый лебедь среди белых веток. Белым паром — пора на паром! — Белым шлейфом летят завитушки Лепестков, набивая подушки Нашей старости — белым пером. О, ирония вечной графы! В коньяке лёд на сердце не тает... Натюрморт. И любви не хватает Для последней, ударной строфы.

Как немыслимо пахнут цветы.

### 2002

С Новым годом, циферблат забот земных! Кругозор не дальше поворота. Цепи брейгелевских дней как взвод немых засосало чертово болото!

Что поэзия?.. Наркотик. Сны да вымыслы. Танцовщицей по паркетам Адриатики прокружила жизнь. Ну вот и дети выросли в подозрительных объятьях демократии.

Неужели никогда она не кончится — несусветная, необъяснимая тоска по минувшему, как вражеские полчища наступающая после сорока.

«Ни вернуться, ни остаться не получится!» – просвистели паровые, на Ванкувере, ходики. – Да стоит ли так мучаться, волноваться, думать: «Докукуем ли?»

Со стены снимаю, вроде шляпы, я черный диск... Им сердце успокоется. По пластинке, старой и обшарпанной, пробежит мелодия — и скроется.

\* \* \*

Во Львове цвет камня почти эскимо, и улицы серо-туманны. От Львова до Чопа всего-ничего, а кажется — разные страны.

Как ленты в косу, как в поля васильки, подальше от лавры Печерской — в *украиньску мову* вплелись языки: румынский, словацкий, венгерский.

Цвета Закарпатья, где кофе лилов, где бурые крыши кирпичных домов, где шёл на вокзале три дня преферанс. Где мы уезжали смеясь.

2001

\* \* \*

Памяти Ани Погосяни

Стоят они, друг друга взявши под руки, прислушиваясь, что шепнёт весна им, — берёзы, нарисованные в воздухе, и снова в нем готовые растаять.

Клавиатура мартовская в наледи московских улиц, солнце — диском лазерным. Картина жизни, общая... Но мало ли деталей, отдающих безобразием.

Я взглядом просквожу в лазурной близости и вижу: над землёй, тая дыхание — берёзы, как презумпция наивности, такие тонкие, что кажутся стихами.

1998, 2009

#### MOCT GOLDEN GATE

Мосту минорно
в горсти тумана,
средь океана
он сам — корабль.
Высокомерна
его нирвана,
ветвей пролета
красна кора.

Под неумолчный призывный говор набитых рыбой морских слонов он огибает пустынный город, косясь на грядки цветных домов.

Воздушным змеем у темных спален, чуть ухмыляясь карминным ртом — стоит смущенно, как Вуди Аллен, интеллигентом или шутом.

И мимо центра,
где копит блестки
гранит фонтанов
у входа в рай, —
кирпичной пылью
на перекрестки
слетает с неба
диагональ.

2006

\* \* \*

«Иных уж нет, а те далече...»

Италия. Плывут корабликами свечи у алтаря.

Ложится звездами фарватер на черный плат, Silentium... Спит Богоматерь у Царских врат.

Блестит колечко золотое с ее руки.

### До-бемоль

...Минута полного покоя за все стихи.

А завтра снова будет Вена плести свой вальс. И что — Верона? что — Равенна для этих глаз?

2004

\* \* \*

Спелым яблоком сквозь тяжелый ластик офисного стекла — глобус осени: рыжий, жженный, в медной закиси полотна.

Над заливом как рыбы — волны; берег, кутающийся в плащ, в небе, пряжками, чёрны-вороны. Фонари выбиваются из-под шляп.

Тени падают сыром с вилки, перекраивая мираж. Дует ветер, сбивая сливки капучино с кофейных чаш.

День кончается... гол у Бога, человек исчезает с глаз. Вот и облако как пирога пролетело... Звезда зажглась.

2001

#### У ПОДНОЖЬЯ ФУДЗИ

Бродит в дюнах душа, пьет вино Ржавой веткой железной дороги. Отрихтован волною залив.

Ржавой веткой железной дороги, Уходящей не в дом, а куда? — Поднимается медленно в гору.

Уходящей не в дом, а куда – «До свиданья! – кричу. Возвращайся, О везущая хворосту воз».

ПАРИЖ, АПРЕЛЬ

Good-bye Париж в зеленой униформе. Бульвары; брайль домов, платаны, фонари. И куст рябины на пустой платформе Meudon Fleury.

Химеры. Пыль с ушей. Готических рубах изъеденная мерка, прощай, Париж! ...Флаконы витражей французского Серебряного века.

И в белых саркофагах Сен-Дени все короли... Мулета Мулен Ружа и злой аккордеон Консьержери.

### ДВА ПЕРЕВОДА ИЗ ТОМАСА ПИРКЛЯ 1

### КУСТАРНИКИ, КАМНИ, ДЕРЕВЬЯ...

Вечер, дождь. И две вороны поднялись с берез, пропиливая насквозь сырую весеннюю морось. Возьмем календарь... третий месяц вспупил в права. Надо снова учиться слышать в темноте, как растет трава. До чего я люблю эти толстые узловатые корневища ежевики, где камни россыпью, словно волны, блестят, где корявые тумблеры веток, и стеклянные капли висят на еще не оттаявших почках. Вода ведь затем и пришла, чтобы все оживить и уже размесила грязь, до того холоднющую, что рука прикоснуться боится и ждет, пока завороженно смотрит на водный холм март открытым от удивленья ртом.

2003

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Поэт, филолог, живёт в Калифорнии.

#### ПЕНЬ

Нам хочется думать весною, что он расцветет, вздыбив свое огромное, в трещинах, сердце к пыльце, семенам, к насекомым — алчный до птиц и резной каллиграфии листьев.

Или же вдруг пальнет всеми своими отростками, распространится по вечернему небу, протянется в неторопливое желтое свечение апрельского воздуха.

Но нет! Вот оно, царство пня: запястье, вколоченное в почву, раскромсанное дождем. Холодное, как щербатый гонг, царство пня твоего преткновения перед снегом.

### ИЗ У. Х. ОДЕНА

#### 1. GARE DU MIDI

Тихой сапой вкатившийся скорый с юга, сумасбродный вокзал, и в толпе лицо, встречу коего мэр не организовал. Ни цветов, ни оркестров, ни свиты. Вьюга.

В складке рта — настороженность, робость, холод. Окуляры зевак... Запахнув пальтецо, он нордическим шагом выходит в город, оставляя в тылу вокзал.

#### 2. ЭПИТАФИЯ ТИРАНУ

Эстет не без греха, презрев канон, Он изобрел поэзию для масс, Поскольку смыслил в дури досконально, Равно в делах военных и морских. Сенаторы от хохота дрожали, когда смеялся он, И дети умирали На улицах, от слез его пустых.

\* \* \*

Я помню, был СССР, в который так хотелось верить! Гигантский угольный карьер, который так хотелось мерить.

Я помню марево Читы,

двух облупившихся горнистов, и в черной церкви декабристов на Книге записей цветы.

Гори, звезда моя, гори!
Целебный дух полезен комлю.
... Я помню баню в Нерюнгри — и комсомолок этих помню, неизгладимых, как доска в пустых акрилах Кабакова.
Они меня издалека простят, такого и сякого.

### Алмазный,

хоть неси в Торгсин, свет, процарапавший березы... Рыдали в тундре тепловозы, шумел камыш и дул хамсин. И над полотнищем заката, не отличимым от зари — чернильных туч дактилокарта.

Да, было дело в Нерюнгри!

1995

### ПЕСНЯ ГОГОЛЯ

Ворошить золотую золу, угольком алфавита шурша. Кто сказал, что к пустому столу в гости мёртвая едет душа?

Я сегодня — Гарун-аль-Рашид, гоголь-Моголь и гоголь-Герой. Ворошить, ворошить, ворошить! Кочергой, кочергой, кочергой...

2001

\* \* \*

Рубает бодрый поселянин свои биточки по-селянски, и горько плачет северянин, склонясь над картою Аляски, о том, что жизнь прошла по-блядски... А я скитаюсь отморозком, распространяя эти сказки между Есениным и Бродским, где в чистом поле мчится скорый, а сбоку скачет жеребенок; скрипят, не мазаны, рессоры и выпивают двое женок.

### До-бемоль

Дом с мезонином, дом с карнизом, дом с дверью...

Домский дом с собором, и щеголяет маньеризмом румяный ангел с голым низом. И даже в слове «незабаром» родное ухо чует пьянку. А кто-то поднимает планку между Есениным и Бродским.

А люди скажут: «Ну и Бог с ним!» – и будут правы.

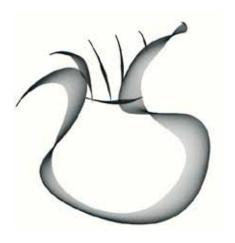
2003

### ЗИМНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Над ущельем тулупа — белый пар: «Газ-вода». Как все, Господи, глупо! Как смешно, господа. Сочини мне либретто, гений драм, барабан! Облетевшее лето так и льнет к холодам.

Эй, сундук, открывайся! громыхни ледяно. Ври, дружок! Зарывайся головой в эскимо.

1999







#### МАРИНА ЗОЛОТАРЕВСКАЯ

### ДОКТОР БАРТЕК И ЕГО УЧИТЕЛЬНИЦА

(По мотивам польской народной сказки<sup>1</sup>)

Доктору Марии Львовне Любарской

В одной горной деревне жил когда-то мальчик по имени Бартек, сын дровосека. Отца его убило молнией во время страшной грозы, какие даже в горах случаются редко. Остались вдове и сыну только ветхий домик да острый топорик. Мать, чтобы прокормить себя и ребёнка, нанималась на работу к зажиточным соседям. Мальчик помогал как мог. Лет с шести ходил он в лес собирать ягоды, грибы да орехи: снесет на деревенский рынок, выручит несколько грошей и матери отдаст; а как подрос, стал собирать на продажу хворост. Люди говорили: «Тоже будет дровосеком».

Деревенский поп, добрая душа, пожалел сироту, выучил грамоте и счёту. А что проку? Хотелось Бартеку учиться дальше; мать бы и рада тому, да где взять денег? Тем и кончилось его учёба — до поры да времени.

Однажды летом, — Бартеку как раз минуло десять, — он отправился за хворостом и сам не заметил, как зашёл дальше обычного. Очутился он в овраге, заросшем колючим кустарником. По дну, по белым-белым камням, бежал ручей. Непохоже было, что поблизости живут люди, и всё же, видно, кто-то здесь нередко ходил. По берегу ручья тянулась узкая жёлтая тропинка, и странное дело: кусты возле неё почти засохли, хоть и росли близко к воде. Земля была усеяна сухими ветками с отвалившейся корой, выбеленными солнцем.

«Хорошее топливо», – подумал мальчик и принялся их собирать.

Набрал целый ворох, стянул его веревкой, попил воды из ручья, вскинул на спину вязанку и хотел возвращаться. И тут показалось ему, что всё вокруг как-то необычно притихло.

Замер ветерок, замолкли цикады и птицы, даже ручей как будто перестал звенеть. А ещё откуда-то вдруг потянуло страшным холодом, и солнечный свет точно потускнел.

«Неужто идёт гроза?» – встревожился Бартек, и глянул вверх. Но на небе не было ни облачка, и солнце стояло прямо над головой: уже наступил полдень.

Опустил Бартек глаза и вздрогнул. В трёх шагах от себя он увидел на жёлтой тропинке женщину средних лет в траурных одеждах. А он и не слышал, как она подошла. Никогда раньше он этой женщины не встречал. Такое лицо раз увидишь – не забудешь: худое, и всё же красивое, только совсем белое, точно камень со дна ручья. А волосы и брови – чёрные, и глаза чёрные, будто ямины.

За плечами у неё тоже была вязанка хвороста.

Поклонился мальчик, сказал:

раскрыл.

- Здравствуй, тётушка! Может, помочь тебе, вязанку поднести? Ты, верно, устала до смерти!
   Засмеялась она, словно сухие кости посыпались:
- Устала до смерти, говоришь? Забавно выходит.
   Ведь я и есть Смерть!
   Другой бы бросился наутёк, а Бартек только глаза шире
  - Я думал, Смерть старуха, вымолвил он.
- Ну, лет мне и впрямь немало, отвечала она. –
   Столько же, сколько нашему миру.
- Значит, ты и вправду устала. Давай помогу, и
   Бартек взял у нее вязанку, будто просто у соседки.
- Что ж, идём! усмехнулась Смерть, и мальчик пошёл следом за ней по тропинке, согнувшись под двойною ношей.

Идти пришлось долго. Но вот они обогнули огромный серый валун, весь испятнанный лишайником; за ним открылся зияющий вход в пещеру.

Сюда, – показала Смерть.

Внутри было темно, лишь где-то в глубине мерцал слабый свет. Там оказался очаг; огонь в нём почти угас. Пусто было в пещере, – только чёрные камни валялись тут, – и холодно, как зимой; даже не верилось, что снаружи – жаркий летний день.

Смерть и мальчик подошли к очагу.

Т-трудно обогреть т-такую большую пещеру,выговорил Бартек, стуча зубами и опуская обе вязанки

Место действия – не Польша, а вымышленная страна вымышленного мира. – М. 3.

на пол.

- Очаг мне нужен не для тепла, ответила хозяйка пещеры, бросая на угли пару сухих веток. -Просто мне нравится смотреть на огонь, нравится, как он танцует и лопочет, будто живой.
- Хочешь, оставлю тебе свою вязанку? спросил мальчик. - А я себе ещё наберу. Пускай тебя огонь подольше повеселит. Бедная, ведь тебе и поговорить-то не с кем!

Услышав это, Смерть опустилась на камень, сплела белые пальцы и долго молчала.

– Робкие меня боятся, – сказала она наконец. – Храбрые – презирают. Дерзкие бросают мне вызов. А те, чьих близких я излечила навеки, меня ненавидят.

Иные пытаются меня отогнать, иные, с отчаянья, призывают. Но до тебя ещё никто и никогда меня не жалел!

Она встала:

- Хочу тебя вознаградить. Пойдешь ко мне в обучение?
  - К тебе? растерялся Бартек.

Слыханное ли дело - к Смерти в ученики!

– Не бойся, – был ответ, – тебе не придётся учиться моему ремеслу. Наоборот. Ты станешь врачом, великим врачевателем. Ведь никто не знает о людских болезнях столько, сколько Смерть! Приходи сюда завтра в полдень, и начнём. А хворост свой и правда оставь не для меня, для себя, чтобы на первом уроке ты не стучал зубами.

Он будет врачом, - да Бартек о таком и помыслить не смел! Стал он было благодарить, как вдруг ему на ум пришло другое:

- А что же я скажу матушке? Отродясь ей не лгал, но если расскажу о тебе... ты уж прости, но она...
- Испугается. До смерти. И Смерть опять засмеялась. - А ты скажи ей вот что: мол, встретил в горах врачевательницу, что может излечить любой недуг, и она обещала сделать из тебя доктора. И ещё скажи, что платить придётся не раньше, чем закончится твоё обучение.

Мать, услыхав новости, обрадовалась:

- Вознагради Господь добрую лекарку! Станешь доктором, сынок, и будет у тебя каменный дом в городе, и много денег, и часы золотые будут, и лошадки с коляской! И за ученье расплатишься честь по чести.

Но ей самой нелегко досталась Бартекова учёба. Сын теперь мог работать только до полудня, потом уходил к своей наставнице и возвращался лишь в сумерки, а вернувшись, старался записать всё, что узнал за день. И ведь свечи, бумага да чернила – они тоже денег стоят! Ещё больше приходилось матери трудиться; она выбивалась из сил, но никогда не жаловалась – лишь бы

Бартек выучился да в люди вышел! Другое её заботило: чем старше он становился, тем чаще приходил со своих занятий невесёлый. На расспросы отвечал, что урок был трудный. Только чуяло сердце матери: что-то ещё здесь кроется.

- Не обижает ли она тебя, сынок? спрашивала вдова. – Часом, уж не бьёт ли?
- Что ты, матушка! успокаивал её мальчик. Она даже голоса не повысит никогда!

Так оно и было. Смерть показала себя прекрасной учительницей. Не то чтоб она без конца нахваливала Бартека, – а ведь было за что, учился он на совесть, – но и слова резкого ни разу не сказала. Не поймёт он чегото – она объяснит снова; попросит повторить – повторит обязательно, и всегда спокойно, ровно, терпеливо. Иногда он отвлекался, – мальчик всё-таки, ему поиграть, побегать хотелось; иногда за работой не успевал выучить урок, но она и тут не сердилась. С первого дня Бартек звал её просто учительница, и порой даже забывал, кто она.

Нет, не наука давалась ему трудней всего. Разбираться, как человек устроен, было куда легче, чем сознавать, как он уязвим. Прежде Бартек и представить себе не мог, сколько на свете недугов: и тех, что приходят с пищей, с питьём, с воздухом, и тех, что таятся до поры в костях, в лёгких, в крови. Казалось, каждая клеточка человеческого тела грозит обернуться источником бесчисленных мучений. Горечью отдавало познание, наполняло душу нестерпимой жалостью, но следом приходила злость – хорошая злость, полезная.

Врачами, говорил он себе, становятся не затем, чтобы охать и ахать над людскими страданиями. Грош цена доктору, что больных жалеет, а помочь не умеет!

И Бартек продолжал учение, с жадной отрадой впитывая всё, что рассказывала его наставница о лекарствах. Выходило, что их тоже немало: лечебные свойства присущи травам и минералам, пеплу и паутине, дикому мёду и родниковой воде. Даже яды можно обратить в целебные зелья. Взять хоть мухоморы. Бартек раньше думал, что людям от них одни беды, и сшибал их палкой, где только видел. А оказалось, что из них делают настойку для растирания – помогает от прострела.

Постепенно он постигал тайны врачевания, неведомые большинству лекарей, а то и вовсе не известные никому, кроме его учительницы. Ни крупицы своих познаний не утаила от него Смерть; не скрыла и того, что даже переняв их все, ученик не сравняется с нею в силе.

– Запомни, Бартек, – как-то обронила она. – Победить меня нельзя, можно лишь отстранить.

Что ж, подумалось ему, и это тоже немало; на том он покамест и успокоился.

Иногда она предлагала: «Забудем на сегодня о медици-

не», и заводила рассказ о том, как заселялся мир, как воздвигались города и возникали страны, и какие страшные войны вели люди между собой; ведь никто не помнит об этом лучше, чем вечная свидетельница – Смерть.

Так шло его обучение.

В деревне дивились сперва, что сын дровосека пошёл в науку к какой-то лекарке, которую никто ни разу не видел; иные пожимали плечами - дескать, ничего путного из этого не получится. Но уже лет в четырнадцать Бартек доказал, что они ошибались. Соседка рассекла руку серпом; Бартек оказался рядом и сумел в один миг унять кровотечение. Мальчишке, что упал с дерева, он не хуже любого доктора вправил вывихнутое плечо. Девушка обожгла свечкой щёку и чуть руки на себя не наложила: кто ж её такую замуж возьмёт? А Бартек принёс ей какую-то мазь, что сам составил, и от ожога через месяц даже следа не осталось. Дальше – больше: в деревне не то что врача – знахарки не было, люди и потянулись со своими хворями к Бартеку, хотя тот был ещё совсем юнец. Правда, если он видел, что знаний его недостаточно, сразу говорил по-честному:«Этого лечить не берусь, с этим надо в город, к доктору!» Но такое случалось всё реже и реже.

Платы с тех, кого пользовал, он не требовал никогда. Однако порой они сами что-то приносили: кто пяток яиц, кто кувшин молока; а не то помогали матери Бартека по хозяйству. Мать радовалась не так приношениям, как тому, что из сына, похоже, получается настоящий лекарь и всё повторяла:

- Спасибо твоей наставнице! Ты бы, сынок,
   в гости её позвал. Я бы расстаралась, приняла её как следует!
- Она без дела ни к кому не ходит, матушка, отвечал он, а сам думал: «Не приведи Господь, чтобы она пришла к тебе!»

Десять лет пробыл Бартек учеником Смерти. И настал день, когда она объявила:

- Сегодня у нас с тобой последний урок.
   У него защемило сердце.
- $-\Gamma$ рустно мне расставаться с тобой, учительница, промолвил он. Никто в мире не дал бы мне того, что дала ты, и я буду тебе благодарен, пока дышу.

Они сидели в её пещере перед ярко горящим очагом. Смерть откинула капюшон с черноволосой головы. Со стороны посмотреть – женщина как женщина.

- Мы ещё встретимся, Бартек, ответила она спокойно, как всегда.
- Знаю, вздохнул он, невесёлая это будет встреча, и я не прими в обиду не стану торопить её час. Так что коль позовут меня к заразному больному, не забуду закрыть рот и нос повязкой...

Смерть выжидательно вскинула бровь.

- $\dots$  смоченной соком лука, докончил он, или чеснока.
- Молодец, похвалила она, правильно. Однако я не о том. Мы ещё много раз увидимся до этой последней встречи. А сейчас слушай внимательно. Помнишь, я говорила: когда завершится твоё обучение, тогда и разочтёшься за него. Теперь оно завершилось.
- Чем же я могу тебе воздать, учительница, кроме благодарности?
- Ну, деньги мне ни к чему, сам понимаешь. Она засмеялась знакомым сухим смехом. Заплатить за науку ты должен послушанием. Запомни же мой последний урок. Видеть меня будет дано тебе одному. Если хворь не угрожает жизни, я и не появлюсь у постели больного. Если встану в ногах значит, недуг опасен, но тебе позволено со мной побороться. Ничего не упустишь и ничего не забудешь отстоишь пациента. Но когда увидишь меня у изголовья, не успокаивай страдальца, не обнадёживай родных и даже не думай начинать лечение. Скажи, что тут ничем нельзя помочь, и уходи: этот человек мой!
- А если я ослушаюсь, учительница? Если попытаюсь спасти человека?

Медленно поднялась она, как десять лет назад, когда предложила взять его в науку. Поднялся и Бартек.

- Если ослушаешься, мой ученик, я унесу тебя самого, молвила Смерть.
- Я запомню твой последний урок, прошептал юноша.
- Что ж, ты узнал всё, что должен был узнать. А теперь ступай!
- Прощай! склоняя голову, произнёс он и побрёл прочь из пещеры, но не успел пройти по жёлтой тропинке и трёх шагов, как Смерть его окликнула; он обернулся и увидел её подле серого валуна.
- Бартек, проговорила она негромко, чеснок защищает от заразы лучше, чем лук.

И тотчас исчезла.

В считанные месяцы молва о Бартеке разнеслась по всей округе. Больше уж он никого не отсылал к городским докторам; наоборот, лечил так успешно, что к нему самому приезжали из города люди за врачебным советом. Вернувшись, они рассказывали:

— Лекарь-то совсем молодой. Но вот в глазах у него что-то такое есть... глянет иногда, и кажется, будто на самом деле ему очень много лет. И учился непонятно где, а сколько знает!

Его стали приглашать к тяжёлым больным, и очень скоро он опять увидел ту, которую привык звать учительницей. Появилась она в ногах постели. В первый миг Бартек едва не поклонился ей, как вдруг

понял, почему она здесь. Он содрогнулся, но заставил себя отвести от неё взгляд и занялся своим пациентом. Только когда тому стало лучше, Бартек поднял глаза. Её не было.

С тех пор он часто заставал Смерть стоящей у изножья и каждый раз смотрел на неё лишь одно мгновенье, а потом всё внимание отдавал больному. Ничего не забывал молодой врачеватель, ничего не упускал и сам не знал ни сна, ни отдыха, пока человеку не становилось легче; но вот жар спадал, боль утихала, удушье проходило, и тогда Бартек порой видел краем глаза, как его недавняя наставница, усмехнувшись чему-то, отступала от постели на шаг, другой, и вдруг исчезала.

Время шло, а ему пока ещё удавалось отстоять всех, кого он лечил.

Скоро его стали называть не иначе как доктор Бартек. Напрасно возражал он: дескать, не пристало ему такое звание, раз университета он не кончал, диплома не получал. А люди отвечали: всем бы докторам в шапочках да мантиях такую учёность и сердце такое заодно.

Мать Бартека впервые узнала покой и достаток – ведь и состоятельные горожане, и даже знатные господа нередко посылали за её сыном. Появились у него деньги. Года два спустя сын с матерью переехали в город. Дом, где они поселились, был удобен, но невелик, зато купил Бартек двух лошадок и конюха нанял. Правда, ни кареты, ни коляски так и не завёл. Не по гостям разъезжал он – больных навещал. Приходилось и по горным тропам скакать, и через городские трущобы пробираться; куда уж тут с экипажем!

Думал он служанку нанять – матери в помощь – но та и слышать об этом не хотела: «Барыня я, что ли? Хозяйство вести и сама пока могу!»

Слава её сына меж тем росла день ото дня. Теперь каждый богач, если захварывал, старался заполучить к себе именно доктора Бартека и готов был заплатить, сколько тот запросит. А надо сказать, запрашивал он с богатых пациентов столько, что давно должен был бы купаться в золоте. Однако жил он всё в том же домике, одевался удобно, но просто, и тратился больше на то, чтобы мать ни в чём не нуждалась; в карты не играл, кутить вроде не кутил, и ни драгоценных перстней, ни цепочек у него не водилось. Все долго гадали, что делает он с деньгами. Некоторые говорили: «Копит, наверно. Скуп, жалеет деньгу».

Потом выяснилось: с бедняков он мало того, что не брал ни гроша, — уходя от них, сам всякий раз высыпал на стол пригоршню золотых. Иные кидались целовать доктору руки, другие пытались сунуть ему деньги обратно. Бартек рук целовать не давал, денег обратно не брал и ужас как сердился.

- Я, ворчал он, не на бедность даю, а на лечение!
- В конце концов об этом узнал весь город.
- Сумасшедший! сказали богатые. Вот на что наши золотые идут.
- Чудак! пожимали плечами люди среднего достатка. С них-то доктор Бартек брал немного.
- Праведник! в один голос говорили бедняки.
   Мать, и та Бартека не понимала.
- Сынок, спрашивала она, ведь деньги твои не краденые, они честным трудом заработаны, что же ты их раздаёшь?
- А иначе, матушка, труд мой даром пропадёт. Какой смысл прописывать лекарства, если человеку купить их не не что? Как пользовать ребёнка, если его надо парным молоком отпаивать, а у родителей не хватает даже на хлеб? Просто я хочу, чтобы мои пациенты могли лечиться как надобно.
  - Себя бы побаловал, уговаривала мать.
- Так я себя и балую, улыбался сын, они выздоравливают, а мне это что коту сметана! Но, может, тебе самой чего-нибудь хочется? Ты только скажи.
- Ничего мне не надо, отмахивалась мать, и так живу, как у Бога за пазухой. Тебе-то, сынок, другой бы дом купить не помешало, красивый да высокий, чтоб отовсюду видно. Ведь тебя все знают!
- На что же мне, матушка, высокий дом, коль меня и так все знают?
- Хоть бы одежду себе богатую заказал, не унималась мать, камзол с золотым шитьём или плащ бархатный на куньем меху!
- Стоит ли разъезжать по глухим дорогам в богатой одежде? – отвечал Бартек. и прибавлял то ли в шутку, то ли всеръез: – А вдруг разбойники?

Однажды довелось ему и впрямь иметь дело с разбойником. Да ешё с каким — с самим атаманом шайки, что страх наводила на всю округу. Говорят, бывают добрые разбойники: богатых грабят, зато бедным помогают и никого не убивают; только этот был не из таких. Страшный он был человек: не щадил ни старых, ни малых, ни убогих. Нищего мог зарезать ради медного гроша, а то и ради забавы. Много народу погубил, и все злодейства ему с рук сходили, пока не напал он со своею шайкой на молодого торговца, что в одиночку ехал через лес. Тот был не из трусливого десятка, и о разбойниках, видно, слыхал, потому что держал под рукой заряженный пистолет; только шайка приблизилась, выстрелил в атамана, коня своего хлестнул, да и ускакал. Палили по нему разбойники, но промахнулись.

Пошатнулся атаман, грохнулся оземь, и прохрипел: «Дохтура мне! Самого лучшего!»

Помчались двое разбойников в город и вер-

нулись с доктором Бартеком. Не силой приволокли его – своею волей поехал с ними доктор, когда услышал, что случилось.

Как увидел его атаман, просипел: «Спаси!» Посмотрел доктор куда-то в сторону, будто переглянулся с кем, вздохнул и промолвил: «Постараюсь». Потом обернулся к разбойникам: «Водка есть?»

- Есть, а как же! отвечал один, вынимая фляжку.
   Только, может, сначала полечишь, а потом хлебнёшь?
   Тут Бартек как заорёт на него:
- Я что, выпить у тебя просил, дурья башка?!
   Руки, руки я должен протереть водкой! Грязными руками в рану не лезут, олух!

Дней десять спустя стараниями Бартека сделался атаман здоровее прежнего.

– Больше я тебе не нужен, – сказал доктор и стал собираться.

Протянул ему атаман набитый кошель:

– Держи! Знай мою щедрость!

Покачал Бартек головой:

– Нет, не надо мне твоих денег. Они добыты разбоем, на них кровь безвинных!

Ахнула вся шайка, кое-кто за оружие схватился. Ахнул и сам атаман:

– Как же так, дохтур? Ведь рана моя тоже добыта разбоем, а ты мне жизнь спас.

Бартек пожал плечами:

Это другое дело: я врач. Прощайте, господа разбойники!

Сумку свою докторскую на плечо вскинул, повернулся и пошёл прочь, а в спину ему нацелились десять ружей.

– Не сметь! – гаркнул вдруг атаман. – Кто дохтура тронет, башку прострелю!

Рассказывают, будто с той поры стала его мучать совесть, и скоро он шайку свою разогнал, сокровища награбленные отдал монастырю и сам в монахи пошёл. Жаль только, что всё это неправда. Вовсе он не раскаялся — разбойничал и дальше. В конце концов лопнуло у людей терпение: устроили облаву, поймали и его самого, и всю шайку, да всех и повесили.

А доктор тоже продолжал своё: лечил людей. Он уже считался едва ли не чудотворцем. Приходилось ему слышать, как родные говорят больному и друг другу: «Бартек на порог – беда за порог!»

Его не радовали такие речи. Покамест ему и впрямь удавалось отводить беду от своих пациентов; однако за все эти годы Смерть ни разу не показывалась у их изголовья. Но он понимал: рано или поздно это случится, и тогда напрасно человек будет ждать от него спасения; бесполезными окажутся все познания доктора Бартека и бессильным — его сострадание.

Один раз возвращался он верхом от больного;

путь был неблизкий. Бартек уже подъезжал к своему дому, и конюх вышел принять лошадь, как вдруг выскочила из-за угла маленькая фигурка и метнулась навстречу доктору. Каким-то чудом он успел натянуть поводья. Глянул и видит — мальчик лет десяти, судя по одежде — деревенский. Спрыгнул Бартек с седла — и к нему:

– Ты что, парень?! Я ведь тебя чуть не сшиб! Тот не отвечал, только затрясся от плача. Наклонился доктор, обнял его за плечи:

- Ты за мной? Заболел кто-то?
- Отец... помирает, всхлипнул мальчик. –
   Велели мне за попом беги. А я к тебе...
  - Что с отцом-то?!
  - Деревом его придавило... Дровосек он.

Крикнул Бартек конюху: «Седлай свежую лошадь! Скорей, пожалуйста!»

Пять минут спустя он снова был в седле, мальца перед собой посадил: «Показывай дорогу!» И уже по пути спросил:

- Матушка твоя, наверно, с больным осталась?
- Нет у нас матушки.... Померла зимой.

Бартек только крепче прижал ребёнка к себе.

Лошадь будто чуяла, что надо спешить – без понукания мчалась во весь опор. Доехали они быстро. Доктор первым вбежал в дом, да так и замер на месте.

В бедной комнате он увидел четверых.

У очага играли чурочками двое малышей. На единственной кровати лежал больной. А в головах у него стояла Смерть.

Старший сынишка бросился к отцу:

- Батюшка, батюшка! Доктор Бартек приехал!
   Бартек подошёл следом. Несчастный дровосек был ещё в памяти.
- Доктор, проговорил он еле слышно, птенцов моих пожалей... пропадут они...

Глаза его закатились.

Вот что, парень, – обратился Бартек к старшему мальчику.
 Бери-ка братишек и ступайте все на улицу поиграть.

Мальчик повиновался, только, уходя, так умоляюще глянул на доктора, что у того душа перевернулась.

- Ты правильно поступил, - заметила Смерть, когда дети ушли.

Она не двинулась с места, даже не шевельнулась, но больной стал задыхаться, и на его губах выступила кровавая пена. Бартек опустился на колени и хотел его приподнять.

- Оставь, послышался голос Смерти. –Сам видишь, пришёл его час.
  - У него трое детей, учительница!
  - Что ж, о них ты сможешь позаботиться. От-

дашь их в хороший приют, где их не станут обижать и выучат какому-нибудь ремеслу, и совесть твоя будет чиста.

- Самый лучший приют не заменит им отца.
- Бартек, ты помнишь мой последний урок?
   Доктор поднялся.
  - Помню, учительница.

И ухватившись обеими руками за кровать, развернул её – так, что Смерть оказалась у больного в ногах.

Смерть вздрогнула и отшатнулась. «Ах, вот ты как!» – воскликнула она.

Бартек опустил голову. Тут его взгляд упал на больного, и он не поверил своим глазам. Страшной пены как не бывало, лицо из воскового сделалось просто бледным, а потом даже немного порозовело; человек, только что хрипевший в агонии, сейчас дышал ровно, как спящий. Похоже, он и вправду спал.

- Он будет жить, проронила Смерть, точно услышав мысли доктора. На нём остались только ушибы, но они не опасны. Обычно я исцеляю людей иначе. Бартек глубоко вздохнул.
- Я понял, учительница. Об одном прошу: сделай так, чтобы дети не испугались.

Смерть кивнула:

Позови их в дом. Я подожду тебя снаружи.
 И она медленно прошла через двери, не отворив их.

Выгреб доктор из карманов все деньги, какие были у него при себе, положил на стол; подумав немного, снял свой шерстяной плащ – больше не понадобится! – и укрыл им спящего. Потом выглянул наружу и поманил детей.

— Тише, — торопливо шепнул он старшему, — спит ваш родитель. Он поправится; пусть только полежит денёк-другой. Да скажи ему, чтобы не вздумал топором махать, пока в полную силу не войдёт, и чтобы впредь стерёгся падающих деревьев! А этого, — показал он на деньги, — вам хватит прокормиться, пока отец не окрепнет.

Схватил мальчик руку доктора, тянет к губам; и на этот раз не отнял Бартек руки. Поцеловал он ребёнка в макушку, быстро вышел и поплотнее прикрыл за собой дверь. Его лошадь, непривязанная, бродила у дома. Доктор подошёл было к ней — погладить на прощанье — но она вдруг шарахнулась, заржала дико и умчалась прочь. Рядом с собой Бартек увидел Смерть.

Он повернулся, глянул ей в лицо.

- Я готов, учительница.
- Но Смерть медлила.
  - Бартек, почему ты ослушался? спросила она.
  - Из жалости, ответил он честно.
- Из жалости, повторила Смерть. Когда-то ты и меня пожалел.

Она умолкла. Прошла минута, другая...

 Ладно! – сказала Смерть .– На первый раз прощаю! Но если ослушаешься снова – прощения не жди!

И она исчезла.

Долго Бартек не мог дозваться своей перепуганной лошадки; когда же дозвался, не сразу сумел взобраться в седло. Домой он ехал шагом, а во время ужина заснул прямо за столом — отродясь с ним этого не бывало. Но назавтра он был таким, как всегда.

Минуло несколько лет. О чудесном докторе прознали в других городах; нередко к нему приезжали из самой столицы. Случалось Бартеку лечить даже вельмож, и многие из них хотели бы оставить его при себе. Одни сулили ему золотые горы, другие обещали, что он получит дворянское звание, если пойдёт к ним в домашние врачи. Но доктор Бартек неизменно отвечал:

- Я бы и к королю в лейб-медики не пошёл. Понадоблюсь тебе опять - позови; приеду, как только смогу.

Мать Бартека постарела, но всё ещё сама вела хозяйство. Каждый свободный час — правда, свободные часы выпадали ему редко — доктор старался проводить с ней. Мать, взяв своё вязанье, усаживалась в глубокое кресло с выдвижной подставкой для ног, купленное для неё сыном на ярмарке; Бартек, обхватив высокие худые колени, устраивался рядом на скамеечке, как в детстве, и рассказывал ей о том, о сём.

Обычно она встречала сына в дверях, когда он возвращался от пациента, и всякий раз пыталась — но он не позволял — взять у него тяжёлую докторскую сумку, а потом тащила его к столу:

Того гляди, опять за тобой придут, поесть не успеешь!

В тот день вызывали его к роженице. Это была жена мельника, годами сама почти дитя. Намучилась она изрядно, но всё обошлось благополучно: на свет появилась здоровенькая девочка, и мельник — хмурый, неласковый с виду человек много старше жены — вытирая глаза рукавом, сказал родильнице:

— Я дочку и хотел; спасибо, хозяйка, уважила! Доктор шёл домой, и на душе у него было легко; мысленно он уже рассказывал обо всём матери. Но она не вышла встретить сына. Может быть, отправилась в церковь или на рынок? Да нет же, вот висит её накидка. Ни в столовой, ни на кухне матери не оказалось. Бартек подошёл к дверям её комнаты, постучал легонько, окликнул негромко. Не дождавшись ответа, позвал погромче, и потом распахнул дверь.

Мать лежала в своём кресле, прижимая руку к сердцу; глаза её были закрыты, губы казались синими. А за спинкой кресла неподвижно стояла другая женщина.

Доктор уронил свою сумку, и, споткнувшись об неё, бросился вперед:

– Матушка!

Мать приоткрыла глаза и через силу промолвила:

- Сынок...дождалась...попрощаться...

И затихла.

Бартек, опомнившись, метнулся к сумке, нашарил пузырёк с сердечными каплями.

– Не поможет, – бросила Смерть.

Доктор застыл.

- Она отжила своё, продолжала его бывшая наставница, – Она гордилась тобой, ты дал ей годы счастья и покоя, но больше не можешь сделать для неё ничего.
  - Посмотрим, процедил он сквозь зубы.
- Знаю, что у тебя на уме. Хочешь выкупить её жизнь, заплатив своею? Она переживёт своё дитя что может быть для матери страшнее? Захочет ли она жить без тебя? Ты об этом подумал?

Бартек выпрямился:

– Нечего тут думать!

И он развернул кресло.

Смерть отпрянула:

Ты опять!...

Доктор отвернулся он нее, перевёл взгляд на мать. Полминуты спустя та открыла глаза, и синева сошла с её губ. Мать осторожно вздохнула, приподняла голову. Вздохнула снова, уже глубоко и свободно, села ровнее и проговорила ещё не окрепшим голосом:

- Да что ж это я! Напугала тебя, сынок; прости меня, глупую. Мне уж получше. Ты, верно, голодный?
   Бартек не мог вымолвить ни слова и только провёл дрожащей рукой по её волосам.
- Уложи её, приказала Смерть. Я подожду за дверями.

Он послушался. Мать почти сразу уснула. Сын укутал её потеплее и долго стоял над нею; наконец, нагнулся, поцеловал её в обе щеки и вышел, не оборачиваясь.

Смерть ждала его за порогом комнаты.

- Добился своего? Доволен?
- Да, и благодарю тебя, учительница.
- Ты вновь ослушался меня.
- И готов за это заплатить.
- Не торопись.

Она помолчала.

Так и быть. Я снова прощаю тебя. Но запомни
 если ослушаешься в третий раз, пощады тебе не будет!
 Сказала и пропала.

Мать проспала до вечера и проснулась совсем здоровой.

Прошло года два. Теперь и люди из заморских краёв нередко искали помощи у доктора Бартека. Мать беспокоилась, что в жизни у сына работы больше, чем

радостей, и всё чаше подступалась к нему с уговорами:

— Жениться бы тебе надо да детишек завести, — будет тебе отрада, а мне утешение в старости. Неужто не найдёшь девушки себе по сердцу? Ведь за тебя любая пойдет.

Но Бартек всё отшучивался, только как-то невесело:

Пойти-то, может, и пойдёт, да скоро пожалеет.
 Не выйдет из меня хорошего мужа: я и дома-то почти не бываю. Ты одна, матушка, способна меня терпеть.
 Думал же он совсем иное: «Нельзя мне заводить семью

– ведь надо мной всё равно что топор висит».

Судьба его решилась, когда страшная беда нависла над всей страной.

Началась война.

Что там не поделили правители и почему нельзя было уладить дело добром, нынче забылось за давностью лет. То ли соседский король припомнил старую обиду, то ли был недоволен новой пошлиной на свои товары, то ли просто решил прибрать к рукам кусок чужой земли. Короли — они всегда найдут, за что напасть на соседа, а этот все годы своего правления только и делал, что с кем-то воевал.

Вторглась в страну вражеская армия. И вот уже страшный дым поднимается над лесистыми склонами: горят разрушенные деревни. Где недавно осыпали цвет фруктовые сады, теперь летает пепел. Легко продвигается враг, оставляя за собой руины и трупы, а впереди него валом катится страх. Бегут жители, бросая и жильё, и скарб, и нет им защиты. А что же их король? Предупреждали его лазутчики, что надо ждать нападения, да он будто не слышал; вздумал устроить манёвры и отвёл от границы собственную армию. Пока опомнился, пока развернул её и двинул навстречу врагу – тьма народу погибла и три города пали. Куда было их гарнизонам устоять против целого войска!

Командовал вражьей армией генерал по прозванью Снамибог; никто и не помнил его настоящего имени. Прозванье же он заслужил тем, что перед штурмом всегда обращался к солдатам с такой речью:

- С нами Бог! Возьмём город - всё будет ваше. Валяйте тогда, грабьте! А теперь вперёд! С нами Бог! И захватив город, они грабили, и жгли, и убивали. А как же иначе, если выходило, что сам Бог им разрешает. Генерал и себя не забывал: полные возы награбленного добра домой отсылал, называл - трофеи.

Но в конце концов два войска сошлись близ того города, где жил доктор Бартек. Отсюда до столицы – день пешего хода.

Тяжко, страшно было в городе. Беженцы, добравшиеся сюда, рассказывали такое, что кровь стыла в жилах. Жители почти не показывались из домов. По горбатым улицам солдаты катили пушки.

Бартек не допускал до себя страх. Среди беженцев было много больных, и он днём и ночью занимался ими. Когда же стало известно, что скоро начнётся сражение, он забежал домой, забрал весь запас бинтов и корпии, обнял мать и сказал, что идёт в армейский лазарет: там он нужнее. С сухими глазами проводила его мать, боялась плачем накликать беду.

На рассвете началась битва. Горы подхватили грохот орудий, треск ружей, конское ржание и людские вопли. Звуки боя доносились и до лазарета, но Бартек не ведал их значения. Чьи это бьют пушки – чужие или свои? Он не мог разобрать; он волновался только, что пальба тревожит раненых.

Их несли одного за другим. Доставленные сюда должны были полагать себя счастливцами. Многие раненые так и остались на поле битвы: не замеченные в чаду, в пороховом дыму, они были раздавлены колёсами пушек, растоптаны копытами коней и ногами бегущих солдат – порой своих же товарищей.

Дважды шли враги в наступление, и дважды их отбрасывали. Стоны наполнили лазарет; доктор Бартек работал как заведённый. Несколько раз он чувствовал за спиной знакомый холод, но даже не оборачивался.

Шум сражения изменился. Будь на месте доктора военный, он бы понял: замолчали орудия, защищавшие город. Разбила их неприятельская артиллерия.

Вот-вот опять пойдёт противник в атаку и того гляди, сметёт оборону, уже не подкреплённую пушками.

Обернулся вражий генерал к своим воякам, саблю вскинул.

Конь под ним танцует. Сабля на солнце так и сияет.

- С нами Бо...

Вдруг как свистнет в воздухе ядро! И оторвало генералу голову.

Кровь хлестнула фонтаном, обожгла коня, — взвизгнул он, взвился на дыбы. Секунды три билось на седле безглавое тело, потом сползло, запуталось ногой в стремени, и конь, волоча его, помчался по полю битвы. Ужас охватил врагов. Сорвалась атака. Передние дрогнули, затоптались на месте, стали пятиться. Кто-то глухо охнул: «Нет Снамибога...»

И пошло по их рядам всё громче: «Нет Снамибога...нет Снамибога!»

А там покатилось лавиной: «Нет с нами Бога!»

И началась паника. Прочь отхлынули враги, – и бежать, забыв о своих пушках, роняя ружья, давя друг друга, подгоняемые собственным воплем.

Оборонявшееся войско само перешло в наступление. Не останавливаясь, его бойцы гнали противника, и кого настигали—не щадили. Разгромом кончился для недругов этот бой. И пришлось в конце концов соседскому королю просить замирения.

Но это было потом. А в тот день никто сперва понять не мог, откуда прилетело ядро, что прикончило генерала. Не с неба же?

Оказалось – с разбитой батареи. Из всех канониров там оставался в живых только один, совсем молодой, да и тот был ранен; из всех пушек уцелела лишь одна. Колесо её было повреждено, она накренилась набок, но стрелять ещё могла.

 Выручай, голубушка! – шептал тогда парень, стараясь выровнять пушку. – Выручай, милая!
 Некому было помочь ему; некому было подать ему

некому было помочь ему; некому было подать ему команду. Сам зарядил пушку, сам навёл, сам поднёс запал.

### – Давай, родная!

Как попало ядро в цель, он не увидел — свалился без памяти. Пока пришли на батарею свои, он так истёк кровью, что все подумали — парню конец, и горько опечалились. Но кто-то воскликнул: «Братцы, а доктор Бартек? Может, он спасёт?»

За Бартеком послали верхового.

Когда доктор появился, все поспешили отойти от раненого, – кроме той, что стояла у него в головах.

- У тебя нынче много работы, учительница, обратился к ней Бартек, Но ты всюду поспеваешь.
- У тебя нынче тоже немало работы, мой ученик,
   в тон ему отвечала Смерть,
   Но и ты, вижу, всюду поспеваешь. Однако сюда спешил напрасно. Тут тебе делать нечего.

### – Как сказать!

Бойцы, что стояли поодаль, не могли ничего понять: доктор даже сумку свою не открыл, только глядит перед собой да губами шевелит, — то ли молитву творит, то ли заклинание.

Смерть промолвила строго:

- Ты не вправе распоряжаться собой, Бартек! Пойми же ты теперь ценнее, чем он. Ты многих можешь спасти, а он уже совершил своё.
  - Вот и я совершу своё помогу ему.
- Ему и так будет воздано. Этот юноша добыл себе славу. В его честь станут слагать песни, его именем будут называть сыновей.
- Посмертная слава всё-таки не жизнь, учительница!
- О, жить он будет в людских сердцах, в людской памяти. Так, кажется, говорят у вас?
- Лучше сказать просто: *он будет жить*. Одним движением доктор Бартек поднял умирающего, точно ребёнка, и переложил его ногами к Смерти.
- Так, проронила она, и это прозвучало, точно стук первого комка земли о крышку гроба.

Почти сразу молодой канонир открыл глаза: «Я не умер?»

Доктор нагнулся, быстро осмотрел рану – она закрылась.

- Не бойся, брат, улыбнулся он бойцу, Скоро будешь здоровёшенек.
- Зато себя ты погубил, раздался голос Смерти.
   На этот раз я не вправе тебя простить. Распорядись здесь, чтобы о нём позаботились. А потом уйдёшь со мной!

Бартек знаком подозвал солдат – те мигом подбежали.

- Отнесите его в лазарет, велел доктор. Лечения никакого не потребуется, пусть он только отдохнёт, выспится. С ним всё будет в порядке.
- Матерь Божья! Доктор, как ты это сделал?! Бартек хотел сказать: «Это не я», но голос изменил ему. Кто-то из бойцов спросил: «А ты что же, не идёшь с нами?»

И доктор выговорил:

- Идём.

Но обращался он не к солдатам.

Смерть оперлась на его протянутую руку. Впервые она прикоснулась к своему бывшему ученику. Холод пронзил его до самого сердца, и земля уплыла у него из-под ног. Шли они или летели? Он не понимал. Как во сне, проплыл перед ним знакомый с детства лес, потом овраг, желтая тропинка, колючие полузасохшие кусты, серый валун в пятнах лишайника, зияющий черный вход.

Они были в пещере Смерти.

Там ничто не изменилось со времени его ученичества. В глубине слабо светился очаг; чёрные камни лежали на прежних местах. Но Смерть сказала:

– Ты видел тут ещё не всё.

Она коснулась стены, и та раздвинулась.

Глазам Бартека предстала другая пещера... нет, скорее бесконечное тёмное пространство, пронзённое бесчисленными огоньками. То были масляные светильники-плошки. Они как будто висели в воздухе, если в этой бездне был воздух. Одни сияли вовсю, другие тускло мерцали; присмотревшись, Бартек заметил и пустые, погасшие.

- Это людские жизни, объяснила Смерть. –
   Если огонёк горит ярко, человеку суждено долголетие,
   если меркнет жизнь человека может прерваться в любой миг.
  - А когда погаснет...

Смерть кивнула: «Ты понял правильньно. Посмотри!» Она протянула тонкую белую руку к пустой закопченой плошке.

— Это плошка атамана — помнишь его? Он давно повешен за свои дела. Теперь взгляни сюда! Вот светильники дровосека, твоей матери, и канонира. — Она поочерёдно указала на три ярких и ровных огонька. — Ты рад? Можно было не спрашивать. А это... это твоя плошка, доктор Бартек, мой ученик.

Масло в его плошке почти выгорело; огонёк жалко трепыхался, как обессиленная бабочка в паутине.

- Мне конец, подумал вслух Бартек без всякого волнения.
- -Есть одна надежда, прозвучал ответ. Я могу перелить масло из любой плошки в твою, и ты останешься жить.
  - Погоди! Ведь тогда кто-то другой...
- -Умрёт, подтвердила Смерть. Но подумай, сколько людей ты ещё спасешь своим искусством, скольким вернёшь здоровье! И...
- И для этого нужно, гневно перебил он, всегонавсего загубить кого-то безвинного. Нет, учительница, не жди он меня согласия!

Смерть не рассердилась.

- Безвинного, говоришь? Вот что тебя останавливает. Прекрасно! Есть тут светильник одного злодея...
- Злодей, возразил Бартек, ещё может раскаяться и попытаться исправить содеянное...
- Будь спокоен: такой никогда не раскается. Это наёмный убийца. Твой разбойник, по крайней мере, пощадил одного человека тебя. Этот, если ему заплатят, и родную мать не пощадит, убъёт. Он, что ни день, кого-то губит, а ты спасаешь! Меж тем ему предстоит прожить многие годы, светильник его почти полон а ты..., голос её вдруг дрогнул. Итак, Бартек?

Она замолкла в ожидании. Беззвучно горели в бездне огоньки людских жизней.

Доктор ответил не сразу.

- -Если б суд...справедливый суд...приговорил такого к казни, я не просил бы его помиловать. Если бы он напал на меня, я мог бы убить его, защищаясь. Но отнять у него жизнь, чтобы забрать её себе...Нет, не могу!
- Пожалей если не себя, то его возможных жертв. Пожалей больных, которым ты необходим. Соглашайся, и ты спасешь их всех.
- Всё равно не могу. Довольно, не томи меня больше! Делай своё дело, учительница.
- Подожди! Ты ни о чём не жалеешь?
   Бартек сказал твёрдо:
- Я прожил так, как хотел бы прожить вновь, если бы мог. Он перевёл дыхание. Жаль матушку; попросить бы у неё прощения: тяжким будет её долголетие. Может быть, люди её поддержат, пациенты мои бывшие... Но ты ты простишь мне мой выбор?
  - -Я?
  - Ты ведь опять остаёшься одна.

Смерть, ничего не ответив, вдруг закрыла глаза.

Что ты? – воскликнул доктор. – Что с тобой?!
 Когда она вновь взглянула на бывшего ученика, взор её странно блестел.

- Учительница, ты... плачешь?
- Первый раз в жизни...

Она осеклась и потом прошептала:

- Как это больно - быть живой!

Доктор Бартек точно к месту прирос: такую боль он врачевать не умел. А хрупкая женщина в тяжёлых траурных одеждах, безнадёжно смахивая набегающие слёзы, торопливо продолжала: «Я не знала до сих пор, что такое смерть! Я объясняла тебе, как умирают, отчего... но не знала, что такое смерть! И не узнала бы, если б не ты, мой ученик. Ты увидел во мне жизнь, ты вызвал меня к жизни, а сам выбираешь... Бартек, Бартек!». Она заплакала в голос.

- Что я могу сделать для тебя? в отчаянии спросил он и услышал:
  - Принять мой дар.

Бартек попытался улыбнуться:

– Уж не бессмертье ли?

Смерть отёрла глаза.

- Почти угадал. Когда ты... когда погаснет твой светильник, я его заправлю, и огонёк в нём снова загорится.
  - Что это значит, учительница?
- Рано или поздно ты опять появишься на свет,
   в другой стране, в другой семье,
   и будешь жить, не помня о прошлом существовании, ни лицом, ни голосом не похожий на себя нынешнего. Ты будешь говорить на ином языке и носить иное имя, но душа твоя и разум останутся прежними.
- И кем же я тогда стану? спросил Бартек, недоверчиво усмехаясь. – Купцом или певцом?
- Ты шутишь, Бартек? Кем ты можешь стать, если не доктором? Вот только обучаться тебе придётся заново и не у меня. Не быть мне больше твоей наставницей! Как всякий врач, ты будешь видеть во мне лишь врага незримого и ненавистного...
- И наставницу тоже, мягко прервал её доктор.
   Всякий врач должен знать пути Смерти. А что будет потом?
- Когда вновь догорит твой светильник, я опять его заправлю. И буду заправлять сызнова всякий раз, как он погаснет. Но не бойся ни единой минуты жизни не отнимешь ты ни у кого из смертных.
- Где же ты возьмешь столько масла для моей плошки?
- Там, где оно никогда не иссякнет: в моём собственном светильнике.
  - Но это же означает...
- Вечность, мой ученик, вечность! Я не могу подарить тебе бессмертия, зато череда твоих жизней не прервётся, пока существую я сама. И знай, что разными окажутся твои судьбы, но в одном они будут схожи меж

собой: ты всегда будешь не просто доктором, а истинным врачевателем, и в каждой твоей жизни тебе это дорого станет, Бартек!

- Объясни, учительница, попросил он, как когда-то, и впервые услышал от Смерти: «Узнаешь сам».
- А теперь последнее и главное, прибавила она. Ни о том, что ты жил прежде, ни о том, что появишься вновь, ты не будешь ведать до самой кончины. Но всякий раз, как я приду за тобой, ты вспомнишь и осознаешь всё и в свои последние мгновенья будешь утешен, как никто другой.
- И я вспомню, что знал тебя раньше, в моей нынешней жизни?

Смерть едва заметно кивнула головой и сказала чуть слышно: «Этим утешусь я сама».

Тогда он молвил:

- Твой дар велик и щедр...
- Он горек, Бартек! возразила она. Ведь это дар Смерти. Но ты примешь его?
  - Да, учительница. Ведь это дар Жизни!

Тут Смерть улыбнулась какой-то новой, несмелой улыбкой и показалась ему совсем молодой и очень красивой.

Подойди ко мне, – проговорила она тихо.
 Бартек понял и повиновался.

Наклонись, - попросила Смерть.

Как он не замечал раньше, что ростом она – едва ему по плечо!

Он наклонил голову, и Смерть взяла его лицо в ладони. Они больше не были ледяными — от них исходило тепло. Тёплыми оказались и её уста, когда она поцеловала Бартека в лоб.

...И вот что рассказывали потом солдаты с артиллерийской батареи.

...Доктор Бартек сказал: «Идём», но сам не тронулся с места, постоял секунду-другую, нагнул голову, будто в поклоне, стал медленно оседать, и мягко повалился наземь. Бросились к нему, а он...

Но выглядел он спокойным, как спящий ребёнок, которого поцеловали на ночь.

### Послесловие

Я помню, как в одной стране скончался молодой врач: пытаясь установить, как люди заражаются чумой, он поставил решающий опыт на себе.

Ещё помню, как в другой стране во время холерной эпидемии толпа растерзала насмерть другого доктора, вопя, что это он и прочие проклятые инородцы напустили заразу. В этой толпе было немало тех, кого он успел спасти.

Помню и то, как погиб третий, военный врач. Он

закрыл собою раненого пленного, которого собирались пристрелить.

Неважно, как звали этих троих – и многих других. Мне ли не знать, кто это был!...

Он и сейчас ходит по земле и, клянусь, будет ходить по ней и впредь, пока существует этот мир, пока существует страдание и пока существую я сама.

Вот моё послесловие.

Что ни говори, а последнее слово остаётся за мной.

Cuepme



### УЛИТКИ ПО-КОРОЛЕВСКИ

Сказка

Юре

Есть на свете страна Бранция. Она очень похожа на Францию, но на этом сходство заканчивается.

В своё время (и хорошо, что не в чужое) правил Бранцией король из династии Обвалуа по имени Гденрих Очередной. Хотя, может быть, его звали Крал Следующий или Прилипп Положенный. Неважно, какое имя он носил, потому что народ его называл... впрочем, скоро сами узнаете. А пока пусть будет Гденрих.

Одним королям непременно подавай славу, другие не могут жить без войны, а третьим почему-то просто необходимо, чтобы их все боялись. Гденриха всё это не привлекало. Для него самым большим удовольствием было хорошо покушать. Зубы, особенно резцы, были у него прекрасные, аппетит ещё прекраснее, поэтому к тридцати годам он уже наел небольшое брюшко и такие выпуклые щёчки, что они наполовину скрывали его глаза — глаза чёрные, длинные, и, как ни странно, тоже прекрасные.

Королей, любящих сытно поесть, в мире предостаточно. Но нашему Гденриху, в отличие от большинства, хотелось, чтобы его подданные тоже ели сытно. Или хотя бы не голодали.

И он принимал меры.

С тех пор, как этот король двадцатилетним (и ещё худым) вступил на трон, каждую осень от берегов Бранции отчаливали караваны судов. Они направлялись через пролив во Фланглию, она же Великопристания, — везли туда отменное шипучее вино, которым славилась и по сей день славится Бранция. В обмен фланглийский король поставлял в Бранцию зерно — первосортную пшеницу. Так что при Гденрихе если и случался в стране недород, то голод — никогда: в неурожайные годы всем нуждающимся раздавали хлеб — отличный фланглийский хлеб из запасов короля.

Думаете, его за это именовали Гденрихом Святым, Гденрихом Спасителем, или хотя бы Гденрихом Кормильцем? Ну, тогда вы не знаете бранцузов. Их ведь хлебом не корми, дай над кем-нибудь позубоскалить. Вот короля и стали называть за глаза... Впрочем, не только за глаза, — ещё и за ровные, крупные резцы, и за выпуклые щеки, а главное, за обычай запасать на случай голода зерно, — народ Бранции прозвал своего монарха «король Хомяк».

Кто придумал эту кличку, неизвестно. Однако очень скоро она обежала всю Бранцию, а потом перебралась через пролив к флангличанам, где умудрилась дойти даже до слуха их короля и его шестнадцатилетней дочери.

Юная принцесса хихикнула в шелковый платочек, зато королю прозвище соседа не понравилось.

– Весьма некорректно, – процедил он, оскорблённый за бранцузского коллегу, и так негодующе нахмурился, что выронил из каждого глаза по моноклю.

И только сам Гденрих долгое время не знал, как он зовётся у собственных подданных, пока в один прекрасный день ему не сообщил об этом первый министр Ужан Д'Анос.

- Шутников развелось... только и сказал король Бранции.
- —Не извольте беспокоиться, государь, зашептал Д'Анос, обещаю, что мы их всех скоро выследим, арестуем, и как следует накажем, то есть обезглавим. Гденрих, услыхав это обещание, повёл себя довольно неожиданно.
- Я тебе накажу, закричал он, я тебе обезглавлю! Я сейчас тебя самого... без ужина оставлю! Ничего страшнее ему не пришло в голову. Вон отсюда! Он затопал на Д'Аноса ногами, и тот пулей вылетел из королевских покоев, довольно громко пробормотав в дверях: «Бешеный хомяк!»

А Гденрих подошёл к зеркалу. «Я и правда чтото раздобрел», – грустно сознался он вслух, и сам себе возразил: «Лучше раздобреть, чем разозлиться!»

Острота, по правде говоря, вышла на троечку, и всё же король повеселел. Но вечером, отужинав гренками повваллийски (рецепт ему прислал с тайным курьером сам король Фланглии), он услышал, как один из убиравших посуду слуг шепнул другому: «Всё схомячил!»

Гденрих так огорчился, что снова проголодался и попросил добавки. Управившись и с нею, он посидел, повздыхал, и подумал: «Хомяк так хомяк; хотя бы не кровавый деспот». После чего силой заставил себя почистить зубы и пошёл спать.

И увидел престранный сон. Будто бы сидит он за столом в трапезной перед блюдом румяных гренок, а рядом – подумать только! – красавица королева. Улыбаясь, она наливает ему кофе – чудесный ароматный чмокко. А ещё за столом сидят их дети, маленькие черноглазые принцы и принцессы, то ли пятеро, то ли шестеро, – во сне Гденрих не мог их сосчитать. Вот они протягивают золотые тарелочки, вот он серебрянной лопаткой раскладывает по тарелочкам гренки...

Король проснулся в прекрасном настроении. «А почему бы мне и вправду не жениться?» – подумал он. И решил послать трёх вельмож познатнее к королю Фланглии – сватать его дочь.

Сказано – сделано. Посланные вернулись гордыми, как гуси: привезли согласие короля-отца и портрет

невесты.

— Какая тоненькая! — ахнул Гденрих, увидев портрет. — Так и хочется дать ей кусочек хлебушка! Надо, отметил он про себя, поскорее отправить ко двору фланглийского короля кого-нибудь из лучших поваров. Пусть тот разузнает, какие блюда любит будущая королева Бранции, и, если нужно, подучится их готовить. Пожалуй, лучше сделать это тайно. Будет юной королеве приятный сюрприз.

К сожалению, до этого дело не дошло. Но давайте всё по порядку.

Пару дней спустя король сидел в своём кабинете и подсчитывал приход-расход. Вообще-то монархи не любят заниматься бухгалтерией, но уж очень Гденриху нравилось щёлкать на своих счетах. Такие счёты были огромной редкостью: их изготовили в Скитае. Король на них налюбоваться не мог: рамка и проволочки — золотые, а костяшки выточены из светло-зелёного полупрозрачного жаждеита в виде виноградин и так схожи с настоящими ягодами, что просто просятся в рот. Итак, Гденрих с удовольствием щёлкал на счётах, когда к нему вдруг ворвался (без доклада, но зато с громким воплем) его военный министр барон Мешарль Д'Армоед.

- Ваше величество, славные новости! орал он.
- Война с Фланглией неизбежна!
  - Что?! подпрыгнул король.
    - Принцесса, ваша невеста, сбежала!
    - С чего сбежала? не понял Гденрих.
- С того, что не захотела стать вашей супругой, государь! Сбежала с каким-то сатирландским дворянином по имени Рыцарь Пуха и Пера и обвенчалась с ним!

Король так и сел.

- Почему? — жалобно спросил он. — Почему она так поступила?

Д'Армоед выпалил:

- Она сказала, что не сможет найти ни хомячьей клетки, ни поилки, ни кормушки, подходящих по размеру вашему величеству!
   Барон затряс в воздухе обнажённой шпагой, чуть не расколотив люстру, и завопил:
- Кровью! Только кровью можно смыть такую обиду! Прикажете начать войну, государь?
- Нет, не прикажу! заявил король. Я должен подумать.

И выставив разочарованного Д'Армоеда, он забегал из угла в угол. Мрачные мысли играли им, как чёрные кошки – мячиком.

Война, – бормотал он, – что значит война?
 И сам себе отвечал (иногда на него нападала охота говорить в рифму):

Ни вина, ни зерна.

Ему представилось, как в огне корчатся виноградные лозы Бранции... Как горят пшеничные поля Фланглии, и от них исходит страшный запах хлеба – хлеба, которого никогда не будет. Мысленно он увидел разрушенные города и умирающих солдат, своих и чужих...Чьи-то голодные глаза и худые ручки, безнадёжно протягивающие пустые тарелки...

- Не стану воевать!!! закричал король на весь дворец, так что стражники за дверями даже вздрогнули и проснулись, пристукнув алебардами. И вовремя: король, высунув голову из дверей, громко потребовал:
- Эй, кто-нибудь! Запишите, что я приказываю: никакой войны это раз. Короля Фланглии поздравить с замужеством дочери это два. А если у кого-то руки чешутся воевать, пусть идёт и воюет с улитками!

(Улитки были для виноградников Бранции настоящим бедствием: они проедали листья, портили ягоды и вредили урожаю. Уничтожать их было не так-то легко. Улиток собирали руками и потом давили ногами, как и гроздья, но с гораздо меньшим удовольствием.)

Да, пусть воюет с улитками! – повторила королевская голова и опять скрылась за дверями, а все придворные и слуги, услыхавшие приказ, побежали его записывать. Кроме стражников, конечно: эти остались на посту и с чистой совестью вскоре заснули снова.

Меж тем Гденрих немного успокоившись, рассуждал сам с собой:

Подумаешь, обида! Настоящий бранцуз умеет прощать даме.

Тут он пожалел, что не носит усов: после такой фразы в самый раз было бы их подкрутить.

– Посватаюсь к кому-нибудь ещё, – бодрился он.– Чем я плох?

И король подошёл к зеркалу. Из зеркала на него глянул хомяк в короне.

С трудом приподнятое настроение снова упало.

- Выйду на воздух, вздохнул Гденрих и, взяв палисандровую трость с золотым набалдашником, отправился в королевский виноградник. Но там его настроение окончательно испортилось: по лозам ползали улитки. Виноградинки ещё только завязывались, однако мерзких тварей это не смущало: они покамест закусывали листьями и уже обгрызли многие до самых черенков. Как улитки умудрялись грызть, будучи совершенно беззубыми, знали только они сами.
- Ax, подлые! вскричал король и принялся сшибать вредителей тростью.

Увы, пока он очищал одну лозу, сброшенные улитки успевали забраться на другую со скоростью, начисто опровергающей все поговорки об их медлительности.

Даже на это я не гожусь, – в тоске проговорил король. – Народ меня вышучивает, невеста высмеяла и

отвергла, улитки, и те не принимают всерьёз. Лучше мне умереть!

И ему вправду захотелось умереть.

Сперва он вознамерился повеситься, но сразу передумал. С тех пор, как в детстве он болел ангиной и ему повязывали вокруг шеи плотные компрессы, Гденрих терпеть не мог, когда что-нибудь давило ему на горло.

Тогда он решил утопиться, но вовремя вспомнил, что умеет плавать не хуже самого толстого тюленя. Наконец, он выбрал способ:

- Сьем какую-нибудь пакость и умру. - В этот миг его взгляд упал на улиток. - Вот их и сьем!

Но есть такую гадость в сыром виде показалось ему чересчур даже для самоубийцы. И Гденрих, доверху набив улитками все карманы, сунул трость подмышку и проследовал прямиком на дворцовую кухню.

Повара с поварятами онемели, когда туда явился собственной персоной его величество король и, высыпав на белый мраморный стол гору виноградных улиток, велел:

Сварить для меня!!!

Повара сделалить зелёными, как листья молодого салата.

- Ваше величество, пролепетал главный повар.Улиток не елят...
- Приказ короля! топнул ногой Гденрих. Я кому сказал! Сварить и подать мне на ужин. И чтоб никто, слышите, никто не смел пробовать!

Оставшееся до ужина время он хотел употребить на составление завещания. Просидел над ним битых три часа, а написал в конце концов одну-единственную фразу:

Завещаю моим подданным выбрать нового короля, чтобы был добрый, умный и честный.

### Гденрих.

Он сунул завещание в карман и поплёлся в трапезную – на свой последний ужин.

Стол уже был накрыт. Король мог убедиться, что его приказание выполнено: он снял крышку с плоской золотой кастрюльки, и там оказались улитки. Правда, Гденрих узнал их не сразу. Хоть они и оставались в прежних раковинах, но выглядели (да и пахли) почемуто несравнимо привлекательнее.

Король взял одну, сунул в раковину крошечную двузубую золотую вилочку, подцепил кусочек и, зажмурившись, положил в рот.

– Мммм!...

На вкус это оказалось восхитительным: что-то среднее между устрицей и нежнейшей молодой курятиной. Вдобавок в раковины была добавлена какая-то чудесная

приправа.

 Вино, масло, майоран, укроп, чесночок, тмин, соль и немножко перца, – перечислял вслух разбиравшийся в кулинарии король. – Ах, какая вкусная смерть!

Съев последнюю улитку и потыкав вилочкой во все опустевшие раковины, – не осталось ли хоть кусочка, – его величество со вздохом поплёлся в спальню, улёгся в постель и стал ждать смерти. Ждал-ждал, ждал-ждал, соскучился, да и уснул. Проснулся он уже поздним утром и, только заканчивая умываться, вдруг припомнил:

Ой! Я же должен был умереть! Может, я уже привидение?

И бегом помчался к зеркалу, подумав:

– Если меня там не будет, значит, точно – я привиление!

Как ни странно, в зеркале он обнаружил цветущего и здорового Гденриха.

А потом понял, что и в самом деле здоров и умереть ему больше не хочется, зато очень хочется покушать чегонибудь, – ну, например, этих прекрасных, изумительных улиточек.

Сейчас закажу ещё, – король даже облизнулся.
 А повара, что их приготовил, награжу. Нет, сначала награжу, а потом закажу.

И он позвал: «Эй, стража!», но когда полдюжины до зубов вооруженных солдат вбежали к нему, гремя оружием, спохватился:

– То есть нет, нет, не стража!

Сбитые с толку стражники затоптались на месте, и Гденриху стало неловко. Наконец, он нашёлся:

Спасибо, вижу, что вы хорошие солдаты.
 Возвращайтесь на пост, а двое пусть пойдут на кухню и приведут того повара, что вчера приготовил мне ужин.
 Да смотрите, не напугайте беднягу, не то подумает, что он под арестом.

Ожидая, Гдерних порвал своё завещание в клочки и стал думать, как наградит повара: то ли званием Мирных Дел Полковника, то ли Орденом Золотого Половника. Орден, правда, ещё предстояло учредить. Пока он существовал, — правда, уже полминуты, — только в воображении короля.

В дверь постучал и потом заглянул стражник. Вид у него почему-то был слегка ошарашенный, особенно для стражника.

- Привели повара? спросил король.
- Ждёт за дверью, ваше величество!
- Так впустите его, слегка рассердился король,
   что вы его там маринуете! У него ведь тоже дела есть!
- Государь, промямлил стражник, мы не можем впустить его.
  - Что за глупости! рассердился король уже

сильнее.

- Так ведь это не oн, ваше величество, это oнa. То есть не повар, а повариха.
- -Дама?! удивился Гденрих, для которого женщины всех сословий были дамами. Пригласите её скорей!

И вошла молодая женщина небольшого роста, круглая. смуглая и румяная, как хорошо выпеченная булочка. Волосы её были цвета очень спелого каштана, а глаза — цвета очень крепкого чая и выглядела она, несмотря на молодость, очень серьёзной.

Как полагается, она поклонилась королю, спокойно села в предложенное им кресло и без всякой робости подняла на Гденриха глаза.

Орден Золотого Половника сразу вылетел у того из головы.

- Как...как вас зовут, сударыня? осведомился он, почему-то запнувшись.
  - Порция, ваше величество.

«Какое славное, аппетитное имя!», – подумал его величество, а вслух спросил:

- Так это вы готовили улиток, госпожа Порция?
- Никто другой не решился, государь!
- А рецепт откуда?
- Мой собственный, ваше величество, отвечала она с достоинством.

Король торжественно произнёс:

 Госпожа Порция, я поздравляю вас с изобретением великолепного нового блюда.

И уже менее торжественно добавил:

– Было ужасно вкусно!

Тут оказалось, что Порция умеет улыбаться. Она просто просияла улыбкой:

- Правда, государь? А мне кажется, надо бы добавить лаврового листа, положить немножко меньше чеснока, и вместо укропа попробовать базилик. И ещё они мне показались чуточку недосоленными, но я побоялась...
- Постойте! перебил король. Вы что же, их пробовали?
- Разумеется, ваше величество. Первые пять штук съела сама, на всякий случай.

Гденрих так изумился, что глаза его выкатились из-за щёк, точно два чёрных солнца из-за гор.

– Я же запретил!– воскликнул он.

Повариха, похоже, обиделась. Она опустила глаза и стала теребить кружева на своём фартуке, пышные и легкие, точно взбитый белок.

 Коль вам угодно, государь, – проговорила она слегка охрипшим голоском, – можете меня арестовать за нарушение королевского приказа. Только я всё равно скажу, что отвечаю за свою работу. Как-никак, это новое блюдо. Если оно вредное, подавать его — преступление. Если невкусное—позор! Я бы и кучеру его не предложила, не попробовав, тем более вашему величеству. Когда ещё Бранция дождётся такого короля?

- Какого? переспросил Гденрих, тоже почемуто слегка охрипнув.
  - Доброго, умного, и честного... Ой! что вы?!

Король Бранции, слегка пыхтя, опустился перед поварихой на одно колено и промолвил:

- Госпожа Порция, вы самая прекрасная и благородная дама на свете. Согласны вы стать моей женой и королевой Бранции?
   Порция вскочила с кресла.
  - Ваше величество, конечно, изволит шутить!
- Ничуть, сударыня, заверил он её, не подымаясь, хотя колену было неудобно и даже больно. Я готов поклясться самой страшной клятвой, что хочу жениться на вас!
  - Так поклянитесь! потребовала она.
  - Чтоб мне навек покинуть Бранцию!
- Верю, верю, испугалась Порция и бросилась его подымать, вставайте, пол холодный, ещё простудите колено!
- Так вы согласны выйти за меня, сударыня? настаивал король, вставая и отдуваясь.

Повариха залилась таким румянцем, что стала похожа уже не на булочку, а на пирожок с вишнями.

- Согласна, ваше величество, но хочу сначала о чем-то попросить. Когда я стану вашей женой и королевой Бранции, можно мне будет иногда всё-таки готовить самой? Хотя бы для вас, для ваших близких друзей, и...и... для маленьких принцев и принцесс? Вместо ответа король расцеловал её.
- Хром и магнезия! восхищённо выругался стражник, подглядывавший в замочную скважину. – Вот тебе и хомяк!

Разумеется, на свадьбе было много шипучего вина и вкусной еды. Но больше всего приглашённым понравились улитки. Первую гость брал с опаской, вторую – с удовольствием, а отведав третью, хватал за рукав кого-нибудь из слуг, подносивших кушанья, и

шептал: «Умоляю, скажи, как их готовят!»

Тот сразу отшатывался: «Что вы, сударь (или сударыня)! Это же государственная тайна! Рецепт известен только её величеству королеве! Впрочем, для вас, — добавлял слуга, понизив голос, — я постараюсь его раздобыть».

И пять минут спустя где-нибудь за колонной таинственный рецепт переходил из в рук в руки. А поскольку пересказать кому-нибудь по секрету государственную тайну любит каждый, месяц спустя его знали все бранцузы.

Говорят, этот план придумал Д'Анос, впервые в жизни нашедший своему коварству полезное для всех применение: в результате виноградники Бранции скоро были очищены от улиток, так что желающим полакомиться «улитками по-королевски», как назвали новое блюдо, пришлось их разводить. Дюжины три Гденрих послал вместе с рецептом королю Фланглии в знак того, что совсем не сердится.

Говорят ещё, что народ полюбил королеву Порцию и даже не дал ей никакой обидной клички. Впрочем, нашёлся один нахал, который крикнул ей вслед «королева Морская Свинка», так его вызвала на дуэль целая рота королевских ушкодёров, — а с этими ребятами, как всякий знает, шутки плохи. Уши у негодяя потом долго напоминали ломти спелого арбуза.

А Гденрих с женой жили долго и счастливо, и у них было не то пятеро, не то шестеро детей, черноглазых принцев и принцесс. И можете не сомневаться, что её величество время от времени сама для них готовила.

Между прочим, история эта абсолютна правдива. Если желаете убедиться, приезжайте в нашу прекрасную Бранцию. Королей, правда, там уже давно нет, зато есть улитки. Вам их приготовят и подадут в любом ресторанчике.

Ну, а если до Бранции вам трудно добраться, постарайтесь попасть хотя бы во Францию. Там тоже неплохо готовят улиток, хотя наши, конечно, лучше!

# МАЛЕНЬКИЙ ДУРАК

Рассказ

Моей дочке Сашеньке

Шестилетнего мальчика всем семейством стали обучать Колдовству. Иначе, твердили ему, он останется дураком. Ребёнок не хотел верить, что покамест он — дурак, и сперва плёл заклинания лишь из-под палки, так что семейство вскоре утомилось и отступилось. Впрочем, тут же выяснилось, что мальчик добровольно колдует в одиночку; однако никто из его родных особо не обрадовался и не спросил, почему.

Меж тем дело объяснялось просто: он обнаружил, что новые навыки позволяют ему в любую минуту увидеть кого-нибудь из Тех. Увидеть без посредства старших родственников, которые считали явление Тех лишь второстепенным следствием Колдовства — следствием бесполезным, а то и вредным.

Зато для мальчика самым ценным в Колдовстве было именно знакомство с Теми. Ему, правда, не нравилось, что это знакомство какое-то однобокое. Он ясно видел Тех или даже слышал, а чаще и видел, и слышал, разве что не трогал; они же его не замечали. Мальчик перепробовал множество заклинаний, якобы помогающих пробиться к Тем или хотя бы дать им знать о себе. Ни одно не сработало. Те по-прежнему не подозревали о его существовании.

Конечно, среди них попадались разные. Не все были людьми. Встречались хорошие, плохие и серединка на половинку. Некоторые появлялись ненадолго и потом исчезали навсегда; за другими можно было проследить от самого их рождения до самой смерти. Одних мальчик недолюбливал, других изрядно побаивался, к третьим был равнодушен, а четвёртых любил — и вот их недосягаемость была мучительней всего.

Нет, пока у них дела обстояли благополучно, — пока они побеждали, веселились, путешествовали, — он радовался за них, но к ним не рвался. Зачем? Им и без него хорошо. Но вот если они попадали в беду...

А в беду они попадали сплошь и рядом. И в какую страшную!

Однажды Колдовство явило ему голодную, иззябшую маленькую девочку, — похоже, младше его самого. Она плакала под окном богатого дома, просила кусок чёрствого хлеба. Но за окнами пировали, хохотали и ничего ей не дали.

И ещё была несчастная мать, у которой убили всех детей. Всех сразу! Только и дал им пожить тот гад, что с утра до вечера. А потом, у неё на глазах...

И старый вождь. Такой старый, что уже не мог охотиться. Но когда на племя напали враги, он не потребовал, чтобы его, старика, защитили. Он ринулся в неравный бой, где врагов пришлось пятеро на одного. И сразу после победы умер от ран.

Были и другие, много других... Ребёнок, занимаясь Колдовством, то и дело видел чьи-то мучения, слышал стоны, плач боли или обиды, призывы о помощи...

И что, он не откликнется? Просто будет рюмсать, как зюзя маринованная? Как же!

Кусок хлеба? Да он ей весь буфет отдаст!

А того гада... голыми руками!

А вождь... если вмешаться в битву, старик, может быть, не получит так много ран и поживёт ещё.

Мальчик срывался с места, чтобы бежать на помощь, выручать, спасать, — а если спасать поздно, то карать, мстить!

И натыкался на пустоту. Ведь он имел дело с Колдовством.

Впустую жгли его душу жалость, сострадание, желание помочь, праведный гнев. Ему некуда было их девать и некуда от них деваться.

Как-то он подумал: а что, если составить собственные заклинания, которые смогут переменить судьбу Tex?

Ничему подобному ребёнка не обучали, поэтому он стал подражать настоящим колдунам. Сперва ему казалось, будто кое-что действительно получается: рядом с Теми появлялся кто-то новый. Этот новый, который очень смахивал на самого мальчика, приходил их спасти.

И тут самодельное заклинание неизбежно давало сбой. Оказывалось, что двойник не властен ничего изменить или исправить, не может никого накормить, вызволить, излечить. Или наказать. Уж лучше б не совался! В конце концов он куда-то исчезал, а злоключения Тех продолжались.

Выходило не Колдовство, а просто обман, и мальчик прекратил попытки.

Он ничего не мог сделать для Tex. Ему оставалось лишь терпеть их боль.

Плакать он всё-таки не плакал, но подолгу ходил хмурый, и это, разумеется, не нравилось родителям.

— Ты почему такой перекривленный? — спра-

шивала мама. — У тебя что, кто-то умер? А?! У тебя папа с мамой умерли?!

— Отвечай, когда спрашивают! — вторил папа.

Ну что тут можно ответить? Наконец, мальчик выговаривал, к примеру, что ему жалко старого вождя.

— Кого-кого? — изумлённо переспрашивала мама. — Ты лучше стареньких дедушку с бабушкой пожалей, негодяй!

Дедушка, мамин папа, был воином. Но он никогда не вёл неравной битвы. Правду говоря, он вообще ни разу не побывал в бою, зато бывал в ученье, где и постиг искусство вести бой. С тех пор он передавал это искусство молодым, заодно объясняя, что погибать они должны как герои. Так что во время войны они шли в сражение обученными и погибали героями. А дедушка оставался — обучать следующих, и это продолжалось до самой победы.

Теперь он писал воспоминания о том, как вы-учивал героев.

А бабушка почти ежедневно с утра до вечера варила суп, — каждый овощ отдельно, по очереди, по порядку, — и, завидев на кухне внука, говорила: «Иди уже отсюда».

Нет, перенести свою жалость к старому вождю на дедушку с бабушкой ребёнок почему-то не мог.

Раз в неделю семейство отправлялось гулять в парк. Впереди выступали дедушка с бабушкой, сзади папа с мамой, а мальчик путался у них у всех под ногами. Пробежаться ему не разрешали.

— Посмотри вокруг! Ты видишь, чтобы ктонибудь бегал?

Мальчик смотрел вокруг, видел чинно гуляющих взрослых, и они казались ему ужасно старыми.

- Они бы бегали, отвечал он, только не могут.
  - Изгаляется! делала вывод бабушка.
  - И не слушается! подбавлял дедушка.

Тут папа с мамой хватали сына за ручки и ставили между собой:

— Будешь слушаться, как миленький!

И он тащился между ними, думая о том, кто таков этот миленький, кому он миленький...

Именно на таких прогулках мальчик начал колдовать по памяти. Он даже не шевелил губами,

произносил заклинания лишь мысленно, а меж тем они действовали. Правда, наколдовывалось обычно что-то не очень весёлое. И однажды...

Был солнечный майский день, на газонах парка цвели ярко-желтые одуванчики. Мальчик с удовольствием бы их надёргал — хоть для мамы, хоть для бабушки. Конечно, ни о чём подобном не стоило и мечтать. На этой прогулке его опять, приучая к дисциплине, вели за ручки: папа сдавливал левую, мама — правую. И вот, пока родители переговаривались поверх его головы о чём-то своём, ребёнок стал творить в уме одно длинное, довольно сложное заклинание. Состояло оно из нескольких сцепленных между собой частей, однако сработало раньше, чем мальчик добрался до конца.

...Он оказался в поле и увидел там одного из Тех — убитого солдата. Может, то был дедушкин выученик? Мёртвый лежал он на земле, и вокруг его головы цвели одуванчики, такие же, как в парке на газонах. Оплакивалиего ветер, трава, полевые твари — и мальчик. Неважно, что он раньше не знал этого солдата, никогда не видел его живым. Нет, видел, вот сейчас увидел, как тот, умирая, хватает ртом воздух. Взрослые говорили мальчику, что дышать через рот неправильно...

Даже будь у него возможность отомстить за убитого, он не знал бы, кому мстить. Он мог лишь горевать.

Ребёнок сдерживался как мог, и всё-таки всхлипнул. Взрослые остановились.

- —Та-ак! обернувшись, протянула бабушка.— Что у него болит?
- —Ничего у меня не болит! выкрикнул мальчик.
- А что это за тон? вступила мама. И почему рожа перекошена? Другой бы мальчик радовался: целая семья пошла с ним гулять! Что тебе не так? Ремня просишь, да? Душа песни просит?
  - У него наверняка глисты, сказала бабушка.
  - Проверяли, нету, отвечал папа.
- У него не глисты, вдруг выдала мама. У него Те! Больше он ни о ком не думает. Наплевать ему и на дедушку с бабушкой, и на папу с мамой. Он ведь одних Тех жалеет. Ну? По ком на этот раз голосим? Объясни, чтобы мы поняли!

И он, как последний дурак, вправду подумал, что от него хотят объяснений; а лучше ничего не объяснять, сами поймут, если показать им то поле... и солдата...

Мальчик осторожно произнёс вслух начало заклинания. Взрослые переглянулись. Неужели увидели?... — Он у вас больной на голову! — решительно заявил дедушка.

И через пару дней мама повела мальчика к какому-то особенному врачу.

Незнакомый доктор — толстый, с водянистыми глазами и длинными, вроде проводков, усами — походил на одного из Тех, вечно сонного и зловатого. Он как-то нехотя осмотрел ребёнка, задал несколько вопросов матери, но, казалось, не слушал, что ему отвечали: не стесняясь, зевал, и медленно двигал по столу бутылочку с клеем, на которую была надета детская соска. Мальчику подумалось: не иначе, как доктора, когда тот был ещё совсем маленьким, в колясочке, вместо молока поили из бутылочки клеем. Вот он такой и вырос.

Но вот доктор вяло шлёпнул по столу ладонью:

—В общем, так. По нашей части у него ничего нет. Сопли-вопли — с этим справляйтесь сами. Выпускайте его во двор, пусть нормально играет с детьми. Займитесь с ним чем-нибудь полезным — хоть кормушки делайте для птиц... ну, я там не знаю... Балованные они, вот что. Горя настоящего не испытали...

А какое же тогда горе испытывал мальчик, стоя над убитым солдатом? Игрушечное?

Но доктор уже подталкивал ребёнка к матери, приговаривая: «Забирайте, забирайте», словно она пыталась всучить ему, доктору, что-то негодное.

В семействе остались как будто даже недовольны, что врач не признал мальчика больным и вместо лекарств, которые всё привели бы в порядок, прописал чёрт знает что. И в самом деле — ну кто же мог заниматься с ребёнком изготовлением птичьих кормушек и прочей чепухой, когда взрослые были так заняты? Дедушка писал свои воспоминания, бабушка варила свои супы, а мама с папой работали — зарабатывали право на отдых; мальчик и без того нарушал это право уже самим своим присутствием.

Выпускать его во двор для игр тоже никто не собирался: ещё нахватается всяких словечек и привычек. Вместо этого родители пошли на немалую для них жертву. Они стали брать сына в гости к родным и знакомым, у которых были свои мальчики примерно того же возраста. По дороге папа с мамой всякий раз громко предсказывали друг дружке, что добром этот визит не кончится, и, разумеется, оказывались правы. Начиналось всё прилично: ребят знакомили, быстренько кормили, выпроваживали из-за стола и отправляли играть. Покажи ему своих солдатиков, советовали хозяева своему сынишке, только чтобы тихо. Какое-то время действительно было тихо. Однако в эти минуты

гость не рассматривал солдатиков нового приятеля, а колдовал, показывая ему своих любимых Тех. Выходило довольно удачно. Новый приятель, несомненно, тоже начинал их видеть и слышать, и сидел, как пришитый, бормоча неизвестные — а, впрочем, понятные — гостю слова:

### — Ухтыжка! Закенно!

He этих ли словечек можно было набраться во дворе?

Но вот попадалось заклинание, означавшее для кого-то из Тех большую беду. Обойти его было нельзя, пропустить нечестно, а приятелю становилось грустно, и он предлагал простейший выход:

— Давай как будто ты — старый вождь, а я тебя спасу!

Играть в Tex? Да разве так можно им помочь? Спасать их понарошку и тем утешаться, когда они мучаются по-настоящему? Маленькому гостю становилось стыдно от одной этой мысли.

— Не хочу, — отвечал он.

Тогда другой мальчик предлагал примирительно:

- Ладно, я буду старый вождь, а ты меня спасешь.
  - Не хочу, снова отвечал гость.
- Ну и дурак! обижался новый приятель, мгновенно переставая быть таковым.

Начиналась потасовка, вмешивались родители, и мальчика, заставив пробормотать все положенные извинения, со скандалом уводили домой.

Когда подобное повторилось два-три раза, брать его в гости перестали.

И наконец, папа с мамой и дедушка с бабушкой задумались: что же представляет собой их единственный сын и внук? И пришли к очень неутешительному выводу.

Да, мальчик готов колдовать часами. Но не для того, чтобы чему-то выучиться. Например, правилам поведения. Ведёт он себя безобразно. Нет, ему подавай Тех. Он не просто видит их и слышит, но любит, жалеет, жить без них не может! И хоть бы играл в них, как изредка делают нормальные дети. А он — отказывается!

По всем приметам выходит, что ребёнок ненормальный. Но доктор так не считает.

Значит что?

Значит, мальчик — просто дурак, и больше ни-

чего!

С тех пор семейство так и говорит родным и знакомым: он у нас дурак. Если же кто-то пытается вступиться за мальчика: «Он же маленький!», то ему веско возражают:

—Из маленького дурака вырастает большой. Чего уж дальше, если Колдовство сделало его не умнее, а ещё глупее!

И прибавляют, вздохнув:

—С тем же успехом мы могли бы вовсе не учить его ЧТЕНИЮ!

Примечание автора.

Возможно, уважаемые читатели желают знать точно, каких именно литературных героев и какие произведения имел в виду автор, или хотят проверить собственные догадки на этот счёт. Итак:

Голодная, иззябшая девочка и несчастная мать — соответственно персонажи стихотворений «Побирушка» и «Песнь о собаке» Сергея Есенина.

Старый вождь — персонаж повести «Маугли» Редьярда Киплинга.

Убитый солдат — см. пять стихотворений Джо Уоллеса под общим названием «Заполненная анкета».

 $Bечно\ coнный\ u\ зловатый\ —\ водяной\ в\ русских$  народных сказках.

Добавлю ещё, что словечко «зловатый» придумала в своё время моя шестилетняя дочь — а также, скорее всего, множество других детей. Поэтому я позволила себе включить его в лексикон персонажа-ребёнка.— М.З.





# марина саввиных СТИХИ ПОД ДОЖДЕМ



### ОБЛАКА

Они медлительно кружили Над нами в бездне голубой. Наверное, не заслужили Их пониманья мы с тобой.

Они с туманами земными Сливались в гулком далеке И разговаривали с ними На докембрийском языке –

О свойствах мглы, о том, что снова На горизонте вспыхнул свет, О нас же, смертных, – ни полслова, Как будто нас и вовсе нет...

И плыли, и преображались, Рассеиваясь в тонкий прах, И вместе с небом отражались В твоих внимательных зрачках...

#### \* \* \*

Рассвет, насквозь пропитанный слезой, Готовою сочиться отовсюду, Напоминает мне палеозой, Как боль в глазах – недавнюю простуду.

Я помню пляску бликов голубых — До слуха и тем более до зренья. И шелест мыслей, тёплых и слепых, Как силы тяготения и тренья...

Я помню свет, который пламенел Так, что приподымалось и густело Во множестве живых и мёртвых тел Моё несуществующее тело...

### ДИАЛЕКТИКА

Когда из двух камней, холодных и тяжёлых, Рождается огонь, так лёгок и горяч, То он, расшевелив тепло в древесных смолах, Взлетает в вышину на крыльях искр весёлых, И зыблются во мгле индиго и кумач...

А время погодя – я стану печь картошку, И будет ужин мой величественно прост... Лес тени соберёт в шуршащую гармошку, И я в луче луны мерцающую мошку Бессмертною звездой увижу среди звёзд...

### СТИХИ ПОД ДОЖДЕМ

Усталость отодвинь, как шкаф или комод! Пусть сразу – тяжело, но после станет легче... Смотри-ка: бойкий луч по ниточке снует, Пробив дощатый кров на дрогнущем крылечке!

По нити дождевой, по нити дождевой... Как в ливень упадешь – так потеряешь голос, Сравняв себя с травой, и выпьет голос твой С водою корневой – надменный гладиолус...

Рассеянный гордец! он шпагою своей, Опутанной дождем, грозит иным Вселенным: Чем бремя тяжелей, тем стан его прямей, Его еще никто не видывал согбенным!

По нити дождевой, осколок световой, Пульсируя, снует – назло крыльцу и тучам... Давай же – соскользни (по нити дождевой!), Как семечко в гряду, в круговорот живой, Сомкнись с самим собой в его котле кипучем!..

### ПОЭЗИЯ





# АЛЕКСАНДР КОМАНДИН Я СИЖУ БЕЗ СВЕТА

\* \* \*

Я сызмальства из тех, кто скромен адски, Неповоротлив, боязлив и тих. Люблю читать ритмические сказки, Вынянчивать розовощёкий стих, Который не решусь предать огласке, Жалея современников своих.

\* \* \*

Кончается сигарета. Дыханье всмятку, И душа закашлялась жить вприсядку. Сигарета кончилась. Больше нету. Я бросаю курить. Я сижу без света.

Никого со мной. Зашторены шторы, И молчат неистово коридоры. Так и я молчу, я имею право Сохранить молчание кучеряво.

Вот сижу, молчу и размер ломаю. Губы открываю, губы закрываю. Стены белые пахнут близостью, пахнут известью. Неужели я мусор, который забыли вынести? \* \* \*

Что-то я всё сплю, да никак не проснуться. Проснусь — всюду утро. Просто. Как всегда. А мне хотя бы словом к тебе прикоснуться, Только я молчу, а из глаз всё вода.

Кончилась ночь – так о чём же в ней пелось? До смерти хочется жить, да только с тобой. А больше никогда ничего не хотелось. Я знаю, всё пройдёт, снимет, как рукой.

Слова серебро, да молчанье первее. Встал да умылся – вот и весь сказ. Если ты рядом, я тебя согрею, А если далеко – помилуй, Господи, нас.

### поэзия



# СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН ТАНЕЦ БАБОЧКИ



### ТАНЕЦ БАБОЧКИ

Стебель с небом цветком поделится И над лугом цветок вспорхнет. Только крылья, безвольное тельце – Приложение к ним. Полет Изумительно бестелесен, И услужливо тих рассвет. Как зазор между крыльями тесен, Даже места в нем телу нет. И не надо. Пускай останется Только крыльев дразнящий взмах, Время жизни и время танца, Измеряемое в часах.

### МЁРТВЫЕ ЦВЕТЫ

Сергею Хомутову

Оттого, что берега пологи, Исчезают в море города. Над гнилыми крышами Мологи Зацветает мертвая вода.

И волна усталая качает Тучный разбухающий букет. Даже суеты голодных чаек Над водой, накрывшей город, нет.

Но в часы, когда вода спадает, А цветы обильно разрослись, На уснувший город оседает, Медленно плывет густая слизь.

Обволакивая, расползаясь, Обвисая гроздьями с крестов. И русалки стонут, задыхаясь, В запахе распавшихся цветов.

### НЕРАЗБОРЧИВЫЙ ПОЧЕРК

Или тайна меж строчек, Или белиберда? Неразборчивый почерк Некрасив не всегда.

Он порою изящен, Даже витиеват, С мастерством настоящим Буквам выбран наряд.

Завитки, закорючки Разбежались пестро – У такой авторучки Золотое перо.

Ни помарок, ни порчи – Загляденье. И все ж До того неразборчив – Ничего не поймешь.





### ВЯЧЕСЛАВ ТЮРИН

### РОЗЫ В СТРАНЕ ГИПЕРБОЛ

### РОЗЫ В СТРАНЕ ГИПЕРБОЛ

Я люблю блаженную розу, расцветающую без спросу

палисадниками, полями. Розе нету нужды в рекламе.

Соловьиной предмет рулады, отрицанье любой ограды.

Hy, а то, что шипами богата, не беда для нашего брата.

Роза – больше, чем роза, в России. Как иначе? Страна гипербол,

у которой глаза большие, как озера, где силы черпал

взгляд, блуждающий по равнине, ибо с ней его породнили

годы странствий, разлук и писем, от которых он стал зависим,

как от выпеченного хлеба, созерцая пейзажи неба, –

сын реки, вопреки бегущей, как язычник на праздник кущей.

И стояла над миром осень, отражаясь стволами сосен

в откровенных и потаенных окоемах и водоемах. А за что комара-зануду я люблю, говорить не буду

Все равно он меня достанет, потому что на нем креста нет.

\* \* \*

Желуди лежат во рвах обочин, на лотке сверкает виноград, — дорог сердцу, потому что сочен, созревая сотни лет подряд там, где у чинары лист отточен и с ладонь мужскую в аккурат. Там, где небо, когда смотришь очень нежно, рдеет, опуская взгляд.

Если долго ходишь по Ташкенту, то, с людьми вступая в разговор, помни хорошо свою легенду: на слове поймают, если вор. Ибо нету лишнего на свете: все сгодится дворнику в костер. Дым костра, как сумрак лихолетья, крылья надо мною распростер.

\* \* \*

Даже если подамся в иные края, никогда не забуду, как растила меня ты, Россия моя, как вела меня к чуду

песнопения. Этим обязан тебе я и Богу, конечно. Крепко спаян с тобой в разночинской судьбе. Ты вела меня нежно через вьюгу, колдобины, ямы, тайгу, торфяные болота. Я тебя в своем сердце навек сберегу: это долг патриота.

Потому что нельзя позабыть твой народ, твой язык, твое имя. Можно просто пойти по одной из дорог, что зовутся твоими.

Не свернуть со стези, не предать языка... Край певучих наречий! Только здесь я могу созерцать облака и твой лик человечий.



### ДАРЬЯ СЕРЕНКО

### УЯЗВИМОСТЬ ВЗРОСЛЕНИЯ



Когда она проснулась от любви, Вздохнули шторы, тёплые от солнца, Запахло чаем, булочками, папой, Ушедшим на работу час назад. Она фонтаном била из постели -И комната сверкала сотней брызг, Рассыпчатых, как булочные крошки. Часы в углу – и те светоточили. А что им оставалось перед этим Ко времени бездушным существом? Она зевнула и стал виден голос, Как луч в пыли, безвкусной и дрожащей. Она – жива. И дёргает мой локоть, Перед глазами любит мельтешить. Всё ищет чай, и булочки, и папу... А я тут жду. Я тусклая и злая. А я считаю мёртвые фонтаны, Поросшие вонючею травой. И мы ни в чём, ни в чём не виноваты, Мы просто начитались перед сном И всё никак друг в друге не проснёмся.

\* \* \*

### И.Ш.

Ты села кормить ребёнка — и засуетилась осень, Хрустящим сквозным колечком сомкнулась вокруг груди. И где бы ты ни была, ты проходила осью, А мы-то тянулись к центру. Да только итог один. И я осторожно вхожу в твою золотую сферу, Под купол — не то церковный, а, может, и цирковой. Где каждый смертельный трюк твой меня обращает в веру, Что большего счастья нет, чем быть до конца живой. Ребёнок впервые видит осенние карусели, И мамина прядка по ветру — рыжее молоко... Узнает когда-нибудь, как было б на самом деле — Вне радиуса любви — враждебно и нелегко.

\* \* \*

Когда дерево вырастает из своей земли, Обнажаются корни. А ты вырастаешь из рубашки, в которой родился – Вон уже руки торчат по локоть и голый пуп. Во взрослении есть какая-то уязвимость:

Становишься нежным и клейким, как первый лист. Вся пыль – на тебя. И тебе с ней придётся жить До первого и желаннейшего дождя. Я помню все эти кривые торчащие корни, Похожие на деревянных змей, И дождь на глазах земляным становился соком, И пахло надломленной зеленью – Хруст и треск — Вздохнул полной грудью - по швам разошлось. Пусть. Старая, старая ткань. Вроде не холодно, и на душе — исконность. А дереву всё одно — листья ли, корни ли. Дереву всё одно... Дерево всё одно.

\* \* \*

«После нас – хоть потоп», – Приговаривал Ной, И ковчег раздавался вширь... И плодилось зверьё, и прело зерно, У людей заводились вши. А никто не знал, ничего не знал, Были слухи про сорок дней. Простыней свалявшаяся белизна Становилась грязней, темней... И подумал Ной, что пришла пора, И согнал со стола мышей. И затих ковчег – на плаву сарай, И задвигались сотни шей. И сказал им Ной, что святая кровь В жилах этого корабля, Что един язык и на общий зов Появиться должна земля. И взревел ковчег, и затих ковчег, И раздвинулась тишина, И молился истово человек, И не трогала мышь зерна, И забился голубь о потолок Так, что выпустили его... Каждой твари – тварь, каждой твари – Бог, Выгружаемся, кто живой!

### поэзия





# МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ

# ЛЮБЛЮ ФИТИЛЬ В ПЫЛАЮЩЕЙ КОРОНЕ

\* \* \*

Тревожная и тихая погода, Высокие, как небо, дерева, И штукатуркой сыплется листва С немого протекающего свода.

Есть в жизни предков древняя свобода – Платить судьбой за лучшие слова. Их Муза в смертный час ещё жива Величьем исчезающего рода.

Так жив и я. И лира не забыла, Как падал снег на чёрные стропила Нагих ветвей. Как осень, сжав уста,

Ушла одна с пустынного бульвара, И новый день не поднял с тротуара Перчатку пятипалого листа.

\* \* \*

Я всё отдам за это вдовье Лицо земли, где дождь, как штрих, Где жизнь – сплошное предисловье, А смерть – загадка для живых.

Где всё, что есть, – и грех, и слава, – Лишь голос предков в нас самих, Где мы не заслужили права И в мыслях быть счастливей их.

\* \* \*

Охота... я люблю, придя, шатаясь, С горячими сосульками на лбу, Сняв тозовку, ввалиться, спотыкаясь, В холодную и тесную избу. Там печки неохотная работа, И в полутьме тяжёлый куль с крупой Сбивает шапку, мокрую от пота. Под тонкой и прозрачной скорлупой Люблю фитиль в пылающей короне, Капканов беспорядок на полу, Стук льдышки в чайнике и шорох в микрофоне Холодной рации; вокруг трубы в углу Распятые таёжные доспехи, Далёкий, побеждающий помехи, Переговор товарищей ночной И русской Музы строгий позывной. ... с утра собаки скачут на ветру, Кусают снег и лают друг на друга, Патронташа тяжёлая подпруга Застёгнута на новую дыру. Морозный воздух свеж, как нашатырь, Горят верхушки лиственниц крестами, И благовестит звонкими клестами Тайги великолепный монастырь.





### АЙРАТ БИК-БУЛАТОВ

## Я – ПОЭТ, Я – ВОЛШЕБНИК, Я – МЫШЬ!



Платье белое милой я вышью, Рукодельник, волшебник, поэт, И отправлюсь серебряной мышью В первый раз открывать белый свет...

Где живёт моя милая донна? Может быть в тридевятых дворцах, И бездонная чаша – корона Утопает в её волосах.

Не для нас те дворцы возводили, Зря на зуб я пытал их замок. В сельской школе, слыхал, возродили Злые дети живой уголок.

Вот туда мне прямая дорога, В клеть войду стар и седоволос, Там меня мальчуган худоногий Приподнимет за розовый хвост.

Весь от страха сожмусь, как зародыш, Часто лапками я засучу, И воскликнет пацан: «Ого-го, мышь!» И отправят меня к ветврачу.

Что-то белое вколют под сердце, И когда наконец-то усну, То увидеть смогу, как невеста По дорожке взойдёт на луну.

Я за ней никогда не поеду, Тонко плакают капельки с крыш, Просыпаюсь в квартире соседа -Я - поэт, я - волшебник, я - мышь!

\* \* \*

Милиционер остановил меня, полного чемоданом, а ну-ка, Де, предьявите, документики, товарищ иногородний. С какою целью в Москву, де, пожаловали, к кому, как Долго планируете пробыть в столице нашей Родины? А я – тщедушный – прижимал чемоданчик к коленям... Смотрел на него, и глаза свои мне мерещились синими. Я, геолог, знаете ли, я всю Сибирь исколесил, а нынче из самой Последней иду экспедиции, вот, не хотите ли, шпаты! И предъявил ему сад из прекрасных каменьев,

Аккуратно сложенных вдоль бассейна всего чемодана... Я видел, милиционер, смотрел на меня обескураженно. Мой чемодан был распахнут, и пасть чемоданья мне закрывала

А из неё торчали ненужные государству шпаты... И глупо смотрел на меня человек, он был бесхитростный и неуклюжий,

Как первый гений...

От рождения я не стал поляком, И чехом не стал, и негром, И девочкой, и инвалидом с рождения... В одиннадцать лет – я уже фигуристом не стал, Не стал я танцором балетным, В семнадцать лет – дирижёром не стал, В двадцать девять - геологом, Физиком, химиком, холостяком, А позже – не стал я ни разу не разведённым, Не стал монархистом и коммунистом не стал, Коллекцию марок не стал – а думал, что стану Копить, умножать для себя, вместо денег и славы... Я говорю лишь о том здесь, кем стать уже поздно, Не поздно – собаководом и садоводом, И эмигрантом не поздно, и репатриантом, И в Бога уверовать, выучить два монолога Из «Гамлета» – тоже вполне ещё Я в состоянии... я в состоянии сна... А вот – я в состоянии страха... Я в состоянии смеха и удивления...

Я в состоянии гнева... Я в состояньи Любви – Я несчастный... Счастливый... Я от рождения голый.

Я от рождения мальчик. Я от рождения сын.

Мне читали стихи от рожденья...

И уже вот я – что-то люблю,

А что-то не очень, а что-то терпеть не могу,

А вот – на мне жёлтые брюки,

A вот - я слушаю джаз,

А вот – я смотрю на верхушки

Деревьев, деревьев, деревьев... неба... деревьев...

Хоть что-то смогу,

А чего-то лишённый с начала,

Я гуляю по саду босыми ногами младенца...





### ЛИНА МАРКОВА

## ПЕСЕНКИ И ПРИБАУТКИ МОЕЙ СЕМЬИ



...не помня зла, за благо воздадим.

А. С. Пушкин

Пока земля ещё вертится (а долго ли?), сладко вспоминать песенки, прибаутки и словечки из детства, которые память сохранила как охранную грамоту сердца.

Такие шутки-прибаутки и словечки бывают в каждой семье. Вот, к примеру, использованные в повседневной жизни фольклор и лексика одной еврейской семьи с Украины. В этой семейке у Абрамов, Исаков, Пейсехов и Вольфов были фамилии Босенко, Скобло, Недобейко, Козленко. Были также и «москальские» фамилии типа Зайцевых и Русаковских.

Светлая память всем.

2004 - 2008

### ПЁТР АБРАМОВИЧ БОСЕНКО, ДЯДЯ ПЕТЯ

— Моя Миничка ничего не кушает, только пьёт чай с булочкой с маслом шесть раз в день. Я боюсь, чтоб она не похудела. (Полная, пышноволосая, красивая жена дяди Пети, тётя Минна, Миндля-Сося Мовшевна, Нин-Мосевна или просто Мусивна в русско-украинском мире.)

Сам Пётр Абрамович был крупный мужчина, брил голову с молодых лет. Не будь он евреем, семья бы называла его «а гой-а жлоб», в отличие от «а благороднышер гой».

У дяди Пети, работавшего в развлекательно-отопительных заведениях типа зоопарк, тир или угольный склад, всегда было много новых шуток и прибауток, которые он слышал от посетителей и творчески перерабатывал. Но красочность и юмор мог придать только сам «сочный» рассказчик. Чаще всего он обращался со своими «байками» к дяде Изе, а остальная мишпуха была весьма благодарным зрителем.

Дядя Изя был неким отражением дяди Пети: тоже высокий, тоже с голым черепом, только лысым. Во всём остальном они не были похожи: у Пети глубоко сидящие, близорукие серые глаза весело заигрывают из-под выпуклых очков; у Изи сами глаза выпуклые,

карие, всегда немного испуганные. Изя — необходимый участник Петиных шуток. Сколько бы раз Петя ни «качал с него воду» (так называлось это издевательство), он снова и снова доверчиво заглатывал крючок на потеху всем остальным.

К сожалению, приличия не позволяют пересказать большинство петиных шуток и розыгрышей. Но вот один из них, более-менее поддающийся пересказу, называемый «Бедная, несчастная мороженщица». Дядя Петя:

- Изя, ты знаешь, что случилось?
- **Ч**то? спрашивает дядя Изя, чётко произнося «ч».
- Знаешь мороженщицу, что стоит у нас на углу?
   (Дяди в то время вместе работали.)
  - Конечно, знаю.
- Она арестована, детей забрали в детдом. Надо собирать деньги.

Искры уже брызжут из петиных глаз, все хихикают, но дядя Изя очень сочувствует пострадавшей.

- Конечно! Я могу дать три рубля. А как она попалась? кроме «ч», дядя Изя ещё везде произносит «о».
- Что? ты не понимаешь? все уже смеются вслух, независимо от объяснения. Она схватила мужчину своими морожеными руками, и он замёрз и умер.
- Ты шутишь, неуверенно предполагает дядя
   Изя.
- Чтоб я лоб мыл! Чтоб я так свегху лежал! картавит дядя Петя.
- Петя, зачем такие клятвы?! но тут Изя замечает, что его опять разыграли.

Дядя Изя никогда не обижался, или не показывал виду. Он умел делать деньги и никогда не попадался, так что петины штучки его, вероятно, мало трогали.

Не только дядя Изя служил статистом при дяде Пете. Иногда таковым оказывался новый человек, который ничего о дяди-петиных штучках не знал, а порой это был ребёнок. Но рядом непременно должны

были быть те, которые знали и смеялись с самого начала розыгрыша. Один из дежурных розыгрышей назывался «дер клейнер» — «маленький». Всякий раз дядя Петя его по-разному обыгрывал, порой водя за нос даже опытных своих слушателей, а иногда используя того, кто попадётся в неровен час. Так, один уже взрослый внучатый племянник вспоминает:

«Дядя Петя как-то сказал мне:

- Ты знаешь, как по-французски «чеснок»?
- Не знаю.
- Не знаешь, потому что такого слова во французском языке нет.
- Почему? спрашиваю я, совершенно забыв о том, что о французском языке не имею никакого понятия.
  - Потому что французы не едят чеснок.

Стоящие около меня взрослые смеются; они знают окончание сцены. Но мне кажется, что я что-то не так понял и хочу объяснений.

- A что же они едят вместо чеснока? Дядя Петя только засмеялся и ничего не сказал».

Смех у дяди Пети был умным и приятным. Он не ответил, поскольку говорил с ребёнком, хотя тот всё равно бы не понял.

Ребёнок запомнил этот эпизод потому, что его недоумение осталось неразрешённым, а узнал он плоское разрешение гораздо позже. Главным в дядипетиных шутках было искусство комика-словесного иллюзиониста.

Дядя Петя мигом запоминал всякие прибаутки и охотно их воспроизводил. Вот одна из них, которую он услыхал на харьковском Благовещенском базаре:

Юндель-мюндель мюр-мюр мелисс,

Париж, Санкт-Петербург, отделение Харьков, Благбаз.

Продаётся всё:

Шпильки, булавки, прыщи, бородавки,

Атлас, канифас – всё есть для вас.

Синьки, перцы, горчицы,

Табак, спички, папирос,

И ваш кривой нос.

Стыки[сцыки], фундыки [пердыки], масло, гвоздики,

Слон, звон, двузобный [двужопный] крокодил,

Абер-беркуцки, баран, куцый пёс,

И вас сюда снёс.

Инейнем, сигейнем,

Китантем, харантем,

Цукер-грегор, тукер-брамин,

Кроц ин тохес, лек ди фингер,

Асуска дер яблте,

Лом-ца-дрица пупиш,

Как добавишь, так и купишь,

Не добавишь – не купишь.

Как и персонажи Шолом-Алейхема, дядя Петя произносил вслух «иностранные» слова, переделанные из русско- или украинско-еврейских слов либо им созвучных, как в приведенной прибаутке «инейнем (идиш: вместе) сигейнем, китантем, харантем». Такие лексические образования типа «умер-шмумер» имеют место и в идиш-английском, и, вероятно, во всех иных и всяких смешениях языковых реалий. Как и Тевьемолочник, дядя Петя, бывало, мог провозгласить «Аскакурде де барбанте!», если ничего другого «под рукой» не оказывалось.

Дядя Петя заканчивал свои интермедии завершающим: «хи лям-пам-пам», которое звучало, примерно, как настраиваемые музыкальные инструменты. Когда кончалась песня, исполненная хором всей мишпухой, дядя Петя хлопал, создавая аплодисменты, и произносил своим речитативом как завершающую коду «хи лям-пам-пам». Любимая всеми хоровая песня была «Ло-мир але инейнем», которую обычно запевал дядя Петя:

Ло-мир але инейнем, инейнем, Ди балабусте мика-а-абл пунем зайн, Раечке мика-а-абл пунем зайн, hей, Ло-мир ал-инейнем-инейнем, } 2 раза Неймен а-биселе вайн.

Давайте все вместе выпьем за хозяйку, Выпьем за Раечку, Ну, давайте же все вместе Выпьем немного вина.

Ещё пели «Зисеньке балабусте», «Сладенькая хозяюшка». Дядя Петя любил петь вместе со всеми и постукивал в такт своим большим кулаком по столу. В одной из песен он обычно солировал одну строчку:

Машке (водка) ныхт гежаловен, ой, а гитер шо... – Не жалейте водки в такой хороший час.

Если дядя Петя, не дай Б-г, выглядел не так бодро, как все привыкли, у него спрашивали: «Петя, что такое? как твоё хи лям-пам-пам?»

### МЕИР МОВШЕВИЧ ЧЕРНЯХОВСКИЙ, ОТЕЦ

«Меир» на иврите означает светлый, светящийся. Это имя получено при рождении; потом — Марк Мо-исеевич.

Отец знал много песенок из еврейского фольклора 1910-20-х годов. Песенки эти он слышал в детстве – в семье и в лавках, в которых работал с десяти лет, а затем живя на улице с двенадцати лет, пока его не подобрал какой-то краснооармеец и не привёл в свой отряд.

Так он стал сыном красного полка и пробыл в полку до конца Гражданской войны. В отряде отец стал радистом. На всю жизнь он остался благодарен этому полку, делившему с ним еду и тот кров, которым располагал. Вероятно поэтому отец старался привить своим детям преданность советской власти.

Однако воспитание не было советским по духу, а это, видимо, более существенно. Например, отец рассказывал не один раз, как ему говорили на работе: «Марк Моисеевич, вы же такой патриот, вам давно пора в партию».

А он отвечал: «Пока не достоин». Но дома говорил: «Просто не хочу» – и волновался, как бы его не заставили. Слава Б-гу, обошлось.

После красного полка отец работал на разных тяжёлых работах, где платили побольше. Работал и землекопом, и электромонтёром, чтобы помочь семье матери и отчима, и на разных других работах. Он закончил курсы по подготовке в институт, поступил и стал инженером-геодезистом. Согласно требованиям профессии, отец постоянно разъезжал с экспедициями по городам и сёлам Украины. Во время школьных каникул мы с матерью всегда были с ним, в каких условиях бы он ни работал.

В еврейском вопросе отец был максималистом: «хотите быть евреями, учите свой язык и историю, не хотите — ассимилируйтесь». С 1948 года первая часть звучала иначе: «хотите быть евреями, езжайте в Израиль или хотя бы учите свой язык и историю». Сам он успел выучиться читать и писать и на идиш, и на иврите до того, как его отправили «в люди» по бедности.

«До того» он также пережил погром: казаки при нём и на глазах у матери схватили из кроватки двух его маленьких сестричек, Анеточку и Розочку, и убили их, расшибив головы о стену. Их злодейство было какимто чудом на этом остановлено, их вдруг позвали, и они ушли, — так отец и его мать, моя бабушка Берта (баба Бетя), остались живы. Папе тогда было шесть лет.

Когда ему было восемь лет, его взяли на воспитание бездетные родственники бабушки, Красновские. Они

были зажиточные люди, у них был свой магазин, и они отдали отца в еврейскую школу, где он обучился грамоте на иврисе (ашкеназийский вариант иврита) и идиш.

Однако в семье Красновских он не продержался долго: с ним не были ласковы и часто бранили и попрекали. Однажды за какую-то провинность тётя отчитывала его особенно сильно и, как ему казалось, несправедливо. Дело было перед обедом. Отец сидел напротив неё. Она отправила ему тарелку по клеёнке со словами «На, жри!» Отец не стал ловить тарелку и отвернулся, и тарелка с едой шлёпнулась на ковёр. Разъярённая женщина бросилась на мальчишку, но он выскочил из комнаты на улицу и больше не возвращался. Его и не искали. Он прожил то на улице, то при лавках, где он работал, около полутора года, пока, как уже говорилось, какой-то красноармеец не подобрал его и не привёл в свой отряд, где он стал радистом.

### БАБУШКА БЕРТА

Бабушка Берта была крупная полная блондинка с небольшими, но пронзительными голубыми глазами. Её первый муж, отец моего отца, был гражданским раввином. Он умер от воспаления лёгких, когда моему отцу было два года, а бабушке девятнадцать. Бабушку быстро выдали замуж второй раз за сорокапятилетнего вдовца Вольфа (Владимира) Недобейко, у которого было пятеро детей. Бабушка родила ему ещё трёх дочерей, двух из которых (Анеточку и Розочку) убили погромщики, а потом родилась Сарра. Когда самый младший Недобейко ушёл из дома, всю оставшуюся жизнь бабушка Берта посвятила Сарре и её детям. Тётя Сарра и наша мама родились одного и того же числа, 31-го декабря; общий день рождения и встречу нового года всегда праздновали у нас, так как мама была лучшей кулинаркой в мишпухе.

Бабу Бетю помню в довоенные времена (до 1941 года). Она приходила специально для того, чтобы кормить меня манной кашей. Бабушка была такая шикарная, не Берта — Брунгильда, в белой мягкой шёлковой шали, которая пахла свежестью и сдобой. В награду за десять ложек манной каши мне разрешалось зарыться в белой шали.

Отец цитировал Черняховского и Бялика в русских переводах. Из Черняховского (своего однофамильца), рассказывая о своём детстве: «Тяжёлое детство мне пало на долю...» и философствуя: «Горе было, горе есть, есть всегда и будет вечно: вечно зверю будет тесно рядом с тем, что человечно».

Сам рано став взрослым, отец говорил и с нами с нашего раннего детства как со взрослыми. Я узнала

о материализме («правильно») и идеализме («неправильно») от отца в пять лет. Не могу сказать, что он убедил меня, поскольку мир снов и сказок был для меня реальным, но его доверие и сложность понятий приводили к размышлениям.

По вечерам у нас бывали чтения вслух, читали отец и мать. Помню, мы все любили «Тевье-Молочника» и рассказы Шолом-Алейхема в украинском переводе, что звучало замечательно и соответствовало описываемым и знакомым нам реалиям. Например, «Лычать злыдни Израилеви, як червони черевычкы дивчини Хиври» («Израилю к лицу нищета, как красные сапожки девице Хавронье».) Мы думали, что Тевье вполне мог это сказать по-украински. А когда Тевье демонстрировал свою «учёность», подражая латинскому, он вставлял украинские слова: «Аскакурде де барбанте де охляве де кирпате» – мы смеялись, узнавая украинские слова: охляве – вероятно, видоизменённая халява – голенище, кирпатый – курносый. Или попроще: «Из хвостате де поросяте не робляте кашкетос» - «Из поросячьего хвоста кашкета (укр.: военный головной убор) не слелаешь».

Отец иногда пел нам «ha-Тикву», без далеко идущих целей, просто потому что знал её. Но в 1948 году он сказал, что это гимн Израиля. Ещё мальчиком он знал нескольких социалистов-сионистов, которые покинули Украину, чтобы строить социализм в Палестине. От нихто он и узнал «ha-Тикву», а также марш, напоминающий «Пальмах». Из этого марша помню вторую половину одной строки (...ми ба'регель – кто пешком), а первая половина означала «кто на телеге».

Песню эту запомнил и напел мой сын. Оказывается, дед ему тоже её пел, и сын запомнил её в идиш-иврисском произношении, как он её и слышал. Как объяснил мне сын, это песня движения «Агуда Шитуфит», что значит движение «Сельскохозяйственных поселений в Израиле».

Сейу сиёйно нес в'дейгел, Дейгел махней йегудо, Ми ба'рехев, ми ба'рейгель Нейлех ле агудо.

Яход нелхо в'ношуво, Эл арцейну адмотейну,

Эл арцейну hoahуво, Эрец авотейну. Поднимай, флаг, сион, Флаг иудеев, Кто конный, кто пеший Идёмте все.

Идёмте все вместе На нашу землю, в наш дом, На нашу землю, Страну отцов наших. \* \* \*

Когда в списках появилось стихотворение, приписываемое Маргарите Алигер, «В чужом жилище греясь, я не стану спорить, кто же мы такие» и ответ, приписываемый Илье Эренбургу, «Да, я горжусь, горжусь и не жалею, что я еврей, товарищ Алигер», кто-то на работе дал их отцу почитать, и он принёс их домой. Отец воспитывал нас в духе ценностей русской культуры, но при этом напоминал, что надо быть тем или таким, каким чувствуешь себя на самом деле. «Это вопрос не гордости, а человеческого достоинства».

Он знал, что дети его, как и вся страна, лгут, чтобы не сесть в тюрьму, и поэтому, когда дочь уезжала в Израиль в начале 1971 г., он сказал: «Ты сделала свой выбор, и я его уважаю». А когда дочь стала писать из Израиля, среди прочего, о «науке расставанья», о трудностях абсорбции и освоения новой культуры, дабы уезжающие глубже понимали, какой шаг они совершают, отец был вызван в КГБ, и ему предложили опубликовать «выбранные места из переписки с родными» и отказаться от дочери. Но отец ответил, что он никогда не откажется от своей дочери и что ничего публиковать не будет, поскольку выборка будет нечестной по отношению к дочери, и он не может позволить себе потерять её уважение. «Можете наказывать меня как хотите, я своё прожил, и мне уже не страшно». Ему тогда было 66 лет. Его не «наказали», но сказали: «Вы никогда не увидите свою дочь». Он умер через девять лет. Они своё слово сдержали.

Жизнь так позаботилась, что он слышал и запоминал много песенок и прибауток из самых разнообразных источников русского, украинского и еврейского фольклора. Некоторые песенки и прибаутки мы слышали только от него и ниоткуда больше. Например вот эта, «загадочно-раздумчивая»:

Идут три курочки: Первая спереди, Вторая за первой, А третья позади.

А я одна на лавочке сижу, В окошечко гляжу И никого не жду.

Из множества шутливых песенок мы любили больше всех одну на идиш, которая начиналась словом «Ша-ша» («Тише-тише»). Мы не понимали смысла, но песня казалась таинственной из-за произносимого шёпотом «ша-ша», а потом непонятного смеха взрослых. Мы тоже смеялись с ними, а нехитрый смысл узнали позже:

Очень тихо: Ша-ша ди ребецн трогт } три раза (Тише-тише, дочка ребе беременна / несёт) Пауза.

Громко: А кошик фун дер марк (корзинку с базара).

И ещё несколько куплетов в таком же духе и припев:

Ой, а ребеню, ой дус а ребеню, Ви зи гейт, ви зи штейт ... ох, эта жена ребе — какая у неё походка, осанка ....

Очень смешная была песня про Береле-бончика, в которой русские суффиксы и междометия сливались или перемешивались с еврейскими словами, что характерно для еврейского фольклора на Украине. Вероятно, такой языковой симбиоз присущ любому диаспорскому фольклору. Итак, отрывочек (припев) из Береле-бончика:

Ваське-возир эер-дрончик, Гензеле-гунер Береле-бончик — Ай-яй а штекеле, ай-яй а штекеле! (вроде «вот так штучка»)

Сама песенка начиналась словами «Зог же мир, ингеле, васер из вос» — «Так скажи мне, мальчик, что же такое вода»... В ней, конечно, есть двусмысленности, как, например, в первой строке про Ваську (возчика воды?)...

Из других шуточных песен -

Дер папе из а шмаровозник... Ди маме лебт мит а казак

.....гоце-маме, перво-цуце, голден захен шик кабакен...

Были и печальные:

Их гей аруйс а фун ганекл (выхожу я на крылечко)

Кум цу флиен а клейне фейгеле (прилетает маленькая птичка)

Или эта, которая звучит в музее Яд ве-Шем:

Ойфен припичек брент а фаерл... У плиты горит огонёк ... Помнит ли эти песни кто-нибудь ещё, откликается ли на них чьё-либо сердце? Ведь «помнящие» неотвратимо убывают. Эти песенки нам пели в голодные и холодные времена, и они утешали и согревали нас; они остались с нами навсегда, если не дословно, то в виде щедрого, неиссякаемого потока любви, доброты и веры в добро.

Эти еврейские песни отец принёс из своего детства, т. е. из 1910-х годов. Сколько в них было свободно излитых чувств, юмора, раздумий, тепла, индивидуальности! В черте оседлости не контролировали чувств, а это огромная степень свободы! Контроль чувств — самое страшное средство подавления, использованное Министерством Любви, по Оруэлу.

Когда освободили от «черты», еврейский фольклор на Украине практически угас. Отец купил сборник еврейского фольклора в русском переводе, изданный во второй половине 1950-х годов, куда вошли некоторые дореволюционные стихи и песни и вымученный еврейский «фольклор» советских времён. Мы запоминали смешные стихи и охотно воспроизводили их с характерными интонациями, которые слышали от своих родственников.

Гамойци михавейре ойо горайо, О чудотворце ребе Рассказ я начинаю.

Приходит бездетная женщина к ребе И просит, и молит: «Ребёночка мне бы». А следом за нею другая, Увы, с малолетства слепая.

И чудное диво свершилось тогда: Бездетная мигом прозрела, Слепая же затяжелела.

Какой замечательный ребе! Он ходит довольный, он ходит счастливый, Он сам это диво свершил!

Этот стишок в чём-то перекликается с дореволюционными ироническими баснями и притчами о евреях, часто сочинёнными неевреями, в которых порой ирония и юмор принимали антисемитский оттенок.

Маме-маме! Вос-вос-вос? Что такое паровоз? Паровоз – такой машина, Цвай колёс и драй пружина.

# Песенки и прибаутки моей семьи

Машинист гиб гудок, А машина цап колёс, И поехал паровоз.

Или:

Хая, здрасьте к вам в окно. Где вы сохнете бельё? Немножко в духовке, Немножко на веровке.

Не скупились великороссы на подтруниванье и над другими меньшинствами. Было немало песенок и о лицах кавказской национальности, например, вот эта, про ту же неспособность понять «в наш просвещённый век», что такое железная дорога:

Я спросил у Ахмед-зога, ай-вай-вай, Где железная дорога, ай-вай-вай. Мне сказали на вокзале, ай-вай-вай, А я думал — на базаре, ай-вай-вай.

Или эта, с политическим уклоном:

Я вставал с утра раннего, Посещал все собранева, И ходила кругом голова — Ой, ва-ва-ва-ва-ва-ва.

А вот эта, о преимуществах супружеских отношений среди народов Кавказа:

Мы живём с мужьями очень дружно, Сделать всё готов Ахмед для нас, Нам, как русский женщина, не нужно Каждый лето ехать на Кавказ.

Нам не нужно питом Ессентуки И встречать с мужчинами рассвет — У меня для этой самой штуки Есть красавец мужи-мой, Ахмед.

Припев:

Ахмед, Ахмед, Милей тебя на свете нет, Ты мой, ты мой, И счастье будем мы делить с тобой, Ахмед, Ахмед.

Нам не нужно никого бояться,

. . . . . . . . . . . . . . . .

Чтоб никто не видел, обниматься,

Чтоб никто не видел, целоваться. Страсть моя совсем не знает муки, Не плачу мужчинам я монет — У меня для этой самой штуки Есть красавец мужи-мой, Ахмед.

### Припев

Умеющие смеяться над самими собой, некоторые евреи пересказывали и пели эти насмешливые стишки и песенки забавы ради. Мы слышали их в кругу семьи от своих родственников, только в добродушно-забавном ключе. Отец рассказывал с еврейско-польским акцентом такую историю о «штрафовом еврее Берке», над которым зло подшутили:

Лет зи'трыцить, мозит, больси Дело ентово било. Йихав старый зид из Польси Под Одесс в один село.

Утром мился он, втирался, Богомилье надевал, Долго пред окном кивался И с молитвом бормотал. Как оконцил старый Берка Свой еврейсково /зидивского процесс, Ув карман за табакерка По привицке он полез.

Тут проезжево персони Стали Берке говорить, Цто у етому вагони Из табак нельзя курить.

Берка бил больсой сомненье, И табак не нюхал он. Кондуктор для разресенья Долго не входил в вагон.

Кто-то тут устроил ловко: Прямо Берке намекал, Цтоб он дёргал за веровке – Кондуктор в вагон позвал.

Думал Берка, цто в дороге Кондуктор как балагур: Царамонясь с ним недолго, И веровке потянул.

Поезд вдруг остановлялся, Кондуктор вбегал в вагон.

«Цто слуцалос?» – он справлялся И кому тут нузин он.

Оказалось, нузин Берке – Подходил, спросил дурак: «Мозно тут из табакерке Нюхать пуцицку табак?»

«Знацит, для один понюшка Нужен бил я здесь для вас? Знацит, поезд вам игрушка?» – Кондуктор кричал сичас.

И за это в наказанье Бедный штрафовый еврей Дал на станции с кармана Штрафу двадцать пять рублей.

Падал Берка на скамейке, Рвал из пейси волоса, Расставался из копейке Прямо так же, как с дуса.

А потом давал публицно С клятвом слова своего, Сто курить и нюхать лицно Сам не будет ничего И потомства вся его.

Самое сильное эмоциональное влияние отец оказал на нас еврейскими колыбельными песнями, особенно одной из них, в подражание лермонтовскому размеру, которая начиналась на идиш:

Шлоф, майн кинд, майн либер крошке («Спи, дитя моё, моя любимая крошка») Спи, дитя, усни. Я тебе пока немножко Расскажу, кто ты...

Кончалась она словами: «знай, что ты еврей». Мелодия была очень сентиментальная, и при последних словах голос отца дрожал, и мы плакали вместе. Я плачу и сейчас.

С этой колыбельной перекликалась по смыслу ещё одна песня, из которой помню слова и мелодию только этих строк:

Мне снится, что еврей Живёт свободно среди всех людей...

Еврейский фольклор ещё цвёл во время НЭПа, пока

НЭП не задавили вместе с его фольклором. Наиболее прозорливые, впрочем, уезжали кто куда, многие выехали тогда в Бразилию и Аргентину. Более тяжелые на подъём остались и сочиняли песни, пока было возможно.

Зачем, скажите мне, чужая Аргентина? Я вам спою сейчас историю раввина, Который жил в шикарной обстановке В большом, столичном, шумном городе Каховке.

В Каховке славилась раввина дочка Ента, Такая тонкая, как шёлковая лента, Такая белая, как новая посуда, Такая умная, как целый том талмуда.

И кавалеров тьму имела дева наша: Меламед молодой из хедера, Абраша, Резник Арон и Перл-перчик Яша – Сходили все с ума.

Тири-ям-пам-па, тири-ям-пам-па.

Но вот событие случилося в Каховке, И переворот сделался у Енточки в головке: Приехал новый председатель райкож-треста, И под собой уже не чует Ента места.

Такой румяный и на вид такой здоровый, Иван Иванович красивый, чернобровый, Галифе и френч на нём шикарный, новый И сапоги шевро.

Раввин в душе своей почувствовал тревогу: Не ходит дочка по субботам в синагогу, Забыла всё стариное, родное, Читает «Красный путь» и кушает трефное.

Тири-ям-пам-па, тири-ям-пам-па.

Раввин твердил своей дочурке втихомолку: «Не лезь ты прямо в пасть чужому злому волку», Но не вышло из этого никакого толку, Твердила всё: «Хочу!»

Песня заканчивалась тем, что Ента с Иваном Ивановичем сделали из папы-раввина «снабженца провиантом»:

Побрил он бороду и стал одесским франтом, Интересуется валютой и брильянтом.

Так во время НЭПа уже стал внедряться социалистический реализм (духовное предательство всякой веры), пока ещё в добродушно-весёлом вариатнте.

Из русско-еврейских песенок времён НЭПа есть и эта, из которой помню припев и последние строчки из двух строф:

.....

При закупке нефти, При любом гешефте вставит он еврейское словцо.

Припев

...... D ролости и в в

В радости и в горе, С вами в разговоре вставит он еврейское словцо.

Припев:

*Аид* – всегда *аид*, – В Москве, в Париже и в Батуми.

Какой бы ни был он на вид,

Эр гот аф зих а идыше нишуме. (У него еврейская душа)

В наше время он, поверьте, знает алес (всё)

От начала до конца,

И хранит в шкафу на полке старый талес,

Пожелтевший талес от отца.

При последних словах у отца иногда снова поблескивала слеза. Он был жизнерадостным и оптимистичным человеком, любил прямоту, мог быть суровым, когда надо, прошёл через многие испытания. Но он не стеснялся своих чувств — смеялся и плакал при случае.

### ДВЕ ФОТОГРАФИИ

В 1900-е годы двое маминых дядей крестились в юношеском возрасте, чтобы переехать в Петербург и поступить в университет. Один стал профессором математики, другой юристом. После революции при выдаче паспортов, они сказали, что они евреи, что и было внесено в их паспорта. Их имён я не помню. Они погибли во время блокады.

Был ещё и третий дядя, самый младший, который жил в нашем городе. Он был купцом первой гильдии, очень состоятельным и весьма образованным, хоть и без университетского диплома. Для его деятельности, креститься было необязательно или же его средств хватило, чтобы добиться исключения из правила. Большевики, разумеется, отобрали все его богатства, но я помню его трость с ручкой из слоновой кости и большой золотой перстень с черным камнем на пальце руки, в

которой он держал трость. Его звали дядя Аршлейб.

В конце июня 1941 года отец приехал из экспедиции, которая с начала войны шла непосредственно перед линией фронта; он приехал, чтобы устроить нам эвакуацию. Отец просил созвать всю родню, а так как он был самым образованным в мишпухе, то к нему прислушивались, и все пришли. Раньше такое положение было у дяди Аршлейба, но в отличие от отца, тот всегда держал свою родню на расстоянии, тем более теперь, оказавшись с ними практически на одном и том же социальном уровне. Дядя Аршлейб пришёл позже всех и остался, когда все ушли.

Отец говорил, что все должны немедленно уезжать, если хотят остаться в живых и что он может помочь тем, кто уже готов ехать с нами. Все погомонили и разошлись. Дядя Аршлейб не проронил ни слова, а когда все ушли, он сказал, стуча тростью о пол, придавая весомость своим словам: «Не ожидал я от тебя, Меер. Я думал, что образование что-то тебе дало».

Мне запомнилось повторяемое слово «бах», которое, в силу моего разумения, относилось к войне (в смысле «бабахнет»), но дядя Аршлейб, как потом не раз с горечью вспоминал отец, говорил о высокой немецкой культуре, о Бахе и Гёте. Он убеждал отца не уезжать, а способствовать освобождению от большевиков и помогать возрождать еврейскую общину, поскольку не так много грамотных евреев осталось... Отец же говорил ему, что сейчас в Германии, к сожалению, главное имя Гитлер, а не Бах.

Все, кроме дяди Аршлейба, послушались отца.

Наша семья вернулась в город раньше всех, за год до окончания войны, летом 1944 года. Город был сильно разрушен, но школы уже начали работать, и всё, что могло, возвращалось к жизни. Нам, повзрослевшим на три года, родители показывали город. В окневитрине исторического музея мы увидели фотографию группы повешеных. За годы войны мы видели много таких фотографий. Когда мы подошли поближе, отец вскрикнул: «Дядя Аршлейб!» Мать тоже узнала его. Он был первым в длинном ряду, уходящем за кадр, и был виден более крупным планом.

Родители обратились в администрацию музея, и имя дяди Аршлейба было подтверждено. Его казнили как заложника (за что не помню) с группой горожан до массового расстрела евреев в загороднем Дробицком яру. Дочь Шифра и жена Броня были убиты в числе 14 тысяч евреев, оставшихся в городе.

\* \* \*

Со второй фотографией были связаны приятные стороны жизни. На одной из главных улиц города в угловом здании работала фотография, и в окне было много коричнево-бежевых и чёрно-белых снимков. Лица были спокойные, молодые и красивые.

Такого скопления спокойных и красивых лиц в одном месте мы давно уже не видели и хотелось постоять там подольше. И вдруг мой брат закричал: «Это мама!» — и тут мы увидели одну из маминых фотографий, которую хорошо знали по семейному альбому. Мама редко улыбалась на фотографиях, а эта была исключением, одной из серии её «коричневых снимков», сделанных в этой самой фотографии в 1930 году, когда ей было девятнадцать лет.

Мы были очень горды. Прошло четырнадцать лет, к тому же за время войны мама исхудала, но узнать её было нетрудно, она всё равно была хороша.

### РОНЯ МОВШЕВНА ШАЛИТ-ЧЕРНЯХОВСКАЯ, МАТЬ

У обоих родителей отцов звали Моисеями. Фамилия маминого отца была Шалит («властелин» на иврите), но он также упоминал, что у его деда была фамилия Цельников. Когда и как Цельниковы стали Шалитами, неизвестно. Дед Моисей был сероглазый, светлой масти, родом из Минска. Мой старший брат помнит только, что Цельниковы частично были белорусами. Дед рассказывал, что до революции платил городовому рубль в месяц, чтобы тот помалкивал, что дед еврей, и таким образом его семья могла жить в большом городе.

Мама — Раиса Моисеевна для соседей и посторонних; Раечка для родственников и подруг, Раюня для папы. Она была младшей из четырёх сестёр, «а мизинке, а красавице».

У мамы были артистические способности: она пела, читала стихи, неплохо рисовала. Одно время она училась в художественной школе. Там она узнала, что её лицо обладает почти идеальными классическими пропорциями, и преподаватель давал задание его рисовать. Она много позировала, рисовала мало, а денег тоже было мало, и она пошла работать на фабрику, кукольные лица разрисовывать.

Родители познакомились, когда мама работала на этой фабрике. Мама тогда говорила по-украински и представилась отцу так: «Я працюю на фабрыци лялёк». Этой фразой отец поддразнивал маму, когда она иногда вставляла украинские слова, которые казались ей более

выразительными: «А цэ у вас з фабрыкы лялёк?»

Мама много читала нам стихов из своего репертуара, с которыми она выступала до замужества в любительских концертах и спектаклях. Особенно запомнились поэмы Никитина, которые мама читала в городке Харабали под Сталинградом, в холодном январе 1942 года.

Мы стояли, прижавшись к большой голландской плите, вбирая уходившее тепло, мама в середине, а мы с братом по бокам. «Пали на долю мне песни печальные, песни печальные, песни постылые. Рад бы не петь их, да грудь надрывается: слышу я, слышу, чей плач разливается» («Портной»). В холоде и голоде, среди похоронок, приходивших к соседям, эти печальные песни были нам очень созвучны. Мы просили маму читать нам стихи по многу раз.

Стихи Пушкина мы услышали в мамином пении — «Буря мглою» и «Я помню чудное мгновенье». Мама очень любила певца С. Я. Лемешева, ставшего особенно популярным после фильма «Музыкальная история», в котором он снялся в главной роли. Мама говорила: «Я вам спою, как поёт Сергей Яковлевич, это стихи к Анне». Мы даже думали (пожалуй, только я), что мама лично знакома и с С. Я., и с Анной...

Родители были очень музыкальны и часто пели дуэты и арии из опер и оперетт. Мамины амбиции заключались в успехах детей, которым она и отдала свою рано оборвавшуюся жизнь.

### УХОД ИЗ ЖИЗНИ

Мамин уход из жизни был символичен. И мать, и отец учили нас «всегда жить хорошо, хотя порой это требует больших усилий». Отец не мог видеть ничего поломанного в доме, чинил, не откладывая, да так, чтобы починка была незаметна. Мать могла создать уют «из ничего». Во время войны мы срезали поля у газет (когда доставали газеты) и раскрашивали их, а мама делала из этого цветы. Из газет же или из какой ещё бумаги, которую очень берегли, мама вырезала «салфеточки», чтоб дома было «фрейлех» (весело).

И во время, и после войны мама покупала за копейки или даже подбирала выброшенное другими тряпьё, отстирывала и отглаживала и мастерила из этого одежду для нас, и всякие накидки и покрывала для дома. «Дом должен сиять, а не плакать». В одеждах, которые мама нам шила и перешивала из тряпья, мы выглядели как будто наш папа Ротшильд.

Такие же чудеса мама творила и с едой. Планирование и комбинирование — так она добивалась ощущения «хорошей жизни» даже и в голодные, и холодные времена. «Бедным приходится больше думать;

за деньги всего не купишь», - говорила она.

А как она любила угощать! Кто бы ни переступил порог, должен был хоть что-нибудь поесть или попить. На стол всегда ставилось всё, что было. А уж когда продукты стали более доступны, застолья были такие, что хватало потом доедать на несколько дней и ещё с собой давали.

Мама любила делать подарки, и когда мы ушли из дома в свои семьи, родители стали сдавать свою крошечную спальню студентам, чтобы на эти деньги покупать нам подарки. Когда спальня была сдана, сами родители должны были жить в большой проходной комнате.

Одна квартирантка была из Дагестана, приехала в наш город учиться в кулинарном техникуме. Как видно, она очень хвалила моих родителей в письмах домой. Однажды её родители решили навестить её.

Мама в это время была больна, жаловалась на сердце, но врачи ничего не находили. Она лежала, когда гости позвонили в дверь и объяснили, кто они. С мамой были я и отеп.

Мы впустили гостей, и они стали вытаскивать из корзин яства. «Золотистого мёда струя» падала из молочного бидона в глубокие тарелки. Пока отец студентки разливал этот душистый мёд, её мать доставала какие-то пироги, яблоки, персики, виноград, сыры... И они всё приговагивали, как рада их дочка жить здесь, как они благодарны.

Мама была так растрогана, что встала и подошла к столу. Все обрадовались. Когда она села, она вдруг закрыла лицо руками и чуть слышно сказала «одну минутку». Но всдед за тем она ясно произнесла: «Нет, вы меня извините» и перешла к дивану, на котором лежала раньше. Мы с отцом бросились к ней. Она смотрела в упор только на отца и сказала: «Прощай, Мурочка» и ушла-растаяла, как Снегурочка: «Последний взгляд тебе, мой милый».

Безвременной и символической была смерть мамы: при гостях, у пиршественного стола, полного щедрых даров – ей в награду на долгую память.

# ТИШЕ, ДЯДЯ АЛЁША ОТДЫХАЕТ

Вероятно, невзгоды подсказывают правильные решения для воспитания детей. Отец воспитывал нас храбрыми, и мать не показывала вида, что боится за нас. Во время войны мы не раз слыхали, как отец говорил, что ему страшнее видеть нас униженными, чем замученными.

Мы стеснялись сказать, что мы чего-то боимся, но всё же иногда признавались.

Отеп:

— Ты боишься? *А гиц ин трактор* (либо *а гиц ин паровоз* — подумаешь) — все боятся! Только одни боятся и всё равно делают, что надо, а другие нет. Эти другие думают, что первые сделают за них. А это — стыдно. Мама:

— «Четыре» (об отметке)? А кушать ты тоже будешь на «четыре»? А деньги тоже получать на «четыре»? «Четыре» — значит лень было сделать всё, что было нужно, а лень — это не «четыре», это неизмеримо. Это у-жас!

Но был и один довольно курьёзный момент нашего воспитания. Нас учили уважать старших, какими бы они нам ни казались, как бы себя ни проявляли.

Наши соседи по этажу были Алёша и Фатима Абдуловы и их две дочки. Дядя Алёша работал на угольном складе, тётя Фатима накладывала трафаретом синий узор на белые квадраты «материи», и получались косыночки, которые она продавала на базаре. Случалось, она просила спрятать «материю» и всё остальное на день-другой или больше, и тогда девочки Абдуловы, Света и Адиля (Неля), с нами обедали. На Рамадан тётя Фатима приносила нам тарелку пончиков с кониной. Было очень вкусно.

Дядя Алёша сильно пил. Он был очень большой, светловолосый и от рождения светлоглазый, но мы видели эти глаза в густых красных прожилках. В его кожу навсегда въелась угольная пыль. Она сыпалась с его одежды, когда он шёл. Приходил он домой поздно вечером, но не каждый день, а когда мог добраться, т.е. был пьян, но ещё в сознании. Он так колотил в дверь, что наш четырёхэтажный дом содрогался. Те, кто успел заснуть, не могли не проснуться. Услыхав за своей дверью движение, дядя Алёша кричал пьяным басом:

-Фатыме, ач!

Из-за двери в ответ раздавалось звонкое:

- *-Чуганга*, зараза, *китте*, *са-волочь*!
- –Отгой, пгаститутка, продолжал настаивать дядя Алёша; он сильно картавил.

Наконец, дверь открывалась, и последний громкий звук, который слышал весь дом, был грохот падающего мешка картошки: это дядя Алёша вваливался в свою маленькую переднюю.

Наутро мы обычно вспоминали очередное ночное вторжение, и если, случалось, было воскресенье, и мы смеялись и шумели, мама делала большие глаза и говорила громким шёпотом:

- Тише, дядя Алёша отдыхает.

### СОЛОМОН МОИСЕЕВИЧ ШАЛИТ, ДЯДЯ СОЛОМОНЧИК

Добряк, шутник, гуляка, весельчак. Любил рюмочку и поволочиться за дамами, несморя на рано давший о себе знать порок сердца. Вероятно, сердце было слишком большое во всех смыслах. Полноватый, с добродушным лицом, на котором всегда улыбались полные губы и красивые глаза. Все любили его за весёлый нрав и щедрые подарки.

Когда обычно говорят «Не дай Б-г», дядя Соломон наносил крестное знамение и что-то бормотал.

Соломон, ты что, с ума сошёл? – в ужасе спрашивал дядя Изя.

Все смеялись, потому что знали, что дядя Соломон крестится и бормочет «ВЦСПС» или «Цекакинес». Дядя Изя не помнил этого и всякий раз пугался.

Соломончик порой задумчиво напевал песенку:

На сердце мине нудно, нудно и паскудно. На душе приятно, ой, прямо как в раю. В один прекрасный вечер сижу я на крылечке, Письмо я получаю от Хаечки мою.

И пишить она мине: холера на тебе, Мой милый муж, холера тебе у живот.

Дальнейшие Хаечкины проклятия приводить не рискую. Вероятно, для гуляки-Соломончика песенка часто бывала актуальной. Когда хорошо себя чувствовал, дядя Соломон говорил, подмигивая: «Бобик гавкает».

Дядя Соломон пел ещё и такой шуточный перепев со знаменитой городской песни на слова Есенина:

Ты пишешь мне, что ты сломала ногу, А я пишу: «Купи себе костыль. Выходи почаще на дорогу, Чтоб тебя задавил автомобиль».

Юмор и добродушие, вероятно, продлили ему жизнь. С таким пороком сердца редко дотягивают и до сорока, а он прожил 54 года, и жил полно, с удовольствием, за исключением того времени, когда болезнь укладывала его в постель. Но и тогда он продолжал шутить и балагурить. Он никогда не жаловался, а когда кто-нибудь много говорил о своих неприятностях, терпеливо слушал. Мы знали, что когда жалобщик уйдёт, дядя Соломон скажет одну из своих прибауток:

«Какой кошмар мне душу ковирает, и всё – весь мир коверкает у меня в глазе» или «Мир возмущаен ди безобразие (б-ство), царящее ин ди синагоге».

Дядя Соломон часто гостил у нас, потому что своих детей у него не было, а нас он очень любил. Ложась спать, он просил: «Закройте дверь на задвижку, чтоб «малахамолес» (смерть; искаженное с иврита «малах ha-мовес/мовет» — ангел смерти) не могла войти. А если будет стучать, скажите, что её не приглашали».

Но в недобрый час она ворвалась без приглашения.

### И ДРУГИЕ ПЕРСОНАЖИ И ПРИБАУТКИ

Дальние родственники и соседи тоже внесли свой вклад в мозаику выражений и словечек нашего детства и юности.

### ЦЁЦЯ БЕЦЯ

Соседка этажом ниже. Родом из Бессарабии, приехала со своей семьёй в наш город после войны. Красивая красотой дочери аравийской пустыни: широкоскулая, с низким лбом, узкими длинными глазами, маленьким орлиным носом и полными губами. Из очень бедной семьи, она не получила даже начального образования, едва могла что-то прочитать и расписаться. Русская речь тёти Бети была далеко не так красива, как её лицо; мы забавлялись, слушая её. Мы любили тётю Бетю, которая очень любила нашу маму, а нас угощала вкуснейшими зиразими (зразами).

Себя она называла «Беця» и соответственно для нас она была «цёця», что казалось ей более культурне. Её мужа заглаза все называли «Абрам-Абрам». Знакомясь, он повторял своё имя, вероятно, чтобы не переспрашивали. Абрам-Абрам делал неплохой парнусе (заработок), но цёця Беця работала, чтобы быть среди людей. Она работала уборщицей в медпункте на фабрике. Своё место работы она называла «мек-пук».

Мы любили поговорить с цёцей Бецей на праздники 1-го мая и 7-го ноября.

- Ну как, тётя Бетя, вы уже убрали к празднику?
   участливо спрашивали мы после первоначального шока, ожидая знакомый ответ.
- Нет, бывало, отвечала она, мне надо найти *а шиксе*, *а убощице* с фабрики.

Тётя Бетя была жизнерадостной, отлично плясала на вечеринках и с удовольствием ходила на демонстрации, чтобы побыть в толпе, попеть со всеми, а

часто и поплясать и получить комплименты от знакомых и незнакомых. И тут мы снова со своими провокациями:

- Ну как была демонстрация сегодня, тётя Бетя?
- Ой, отвечает взахлёб тётя Бетя, деменсрацие била чудне. Но мне нужне бил Абрам, и я полчаса звенела на тамате (звонила по автомату).

Однажды тётя Бетя обратилась к моему брату за помощью, и это осталось для нас её коронным номером:

Мейшенька, сделай мне накал на плитку.
 (Мишенька, почини мою электроплитку.)

### ТЁТЯ ТПРУ (ФРИДА)

Один малыш-племянник не мог выговорить «Фрида» и произвёл звук похожий на «тпру». С тех пор её так и называли. Тётя Фрида была несчастной изза неверного мужа, и ей постоянно необходимо было говорить об этом, чтобы облегчить душу. Родные жалели её, но помочь могли только терпеливым выслушиванием её жалоб.

За годы повторений, эти монологи отлились в определённую форму. Если тётя Тпру говорила «Фактицки, если так разобраться», все уже знали, что сейчас начнётся знакомый рассказ. Зато когда были произнесены слова «нет подъёма», все вздыхали с облегчением, ибо это был сигнал, что рассказ окончен. Рассказ должен был объяснить, почему подъёма всё ещё нет.

Тётя Тпру не могла пропустить ни одного случая, чтобы при слове «муж» не сказать «Муж-объелся-груш».

### ПАЛ-НИКИЧ СКОБЛО

Пейсех Нисимович по паспорту, а для внешнего мира Павел Никитич. В семье и жена, и родственники называли его «Палникич». Это был загадочный персонаж, отличавшийся от всей мишпухи своей замкнутостью. Он всегда читал; шёл к обеду, неся перед лицом газету, которая оставалась в той же позиции и во время еды. Не думаю, что кто-то помнил его лицо, которое всётаки существовало: без красок и примечательных черт, под куполом круглой головы с прядью седых волос, зачёсанных от правого до левого уха.

Дядя Палникич, возможно, был бы более открытым, если бы не боялся своей ненависти к советской власти: он боялся, что эта ненависть как-то прорвётся, и тогда всему конец. Дядя Палникич позволял себе лишь одно высказывание, которое оставалось весьма туманным: «Эта власть как поганый матрац: проедешься по нему задницей – и поминай как звали».

Вероятно, это была мечта об избавлении, изглодавшая его душу: вот исчезло проклятие, как

корова языком слизала, или как дурной сон поутру.

### ХАСЯ НИСИМОВНА КОЗЛОВИЧЕР

Это была маленькая деревенская старушка, которая за многие годы никак не могла привыкнуть к городу и боялась городского транспорта. Её единственный сын, Абрам Лазаревич, был учителем музыки, и когда сестра Хаси Нисимовны, с которой они жили под Житомиром, умерла, сын забрал её к себе в наш большой город. Хася Нисимовна часто жаловалась, как ей трудно и скучно в городе, без грядок петрушки и укропа, без понятного маленького «базарю».

- Шо то за базарь? Ницього там не мозна бачить. (Это она про наш центральный рынок.)
- И нашо мени отой трамвай? Я бы там у деревни сама *впоралась* (справилась).

Больше всего Хася Нисимовна ненавидела трамвай. Трамвай стал для неё средоточием городского неуюта, суеты и тревог.

У Абрама Лазаревича внезапно умерла молодая жена, и Хася Нисимовна должна была присматривать за его маленькой дочкой, так что родная деревня осталась лишь воспоминанием и никогда не покидавшей тоской.

Через какое-то время Абрам Лазаревич нашёл себе подругу и часто оставался у неё обедать. Бедная Хася Нисимовна боялась, что её сын голодный.

– Мий Абраша ницього не йисть. Шо вона йому дае? Пив-каклетки? Якбы у мене булы нови калосы, то я б узе пишла пид трамвай.

### ЛАРИСА ИЗРАИЛЕВНА ПШЕНИЧНАЯ

Миниатюрная, очаровательная, интеллигентная женщина, которую в молодости называли танагрской статуэткой. Она курила, и голос её был низким, что, при её изяществе, делало её запоминающейся.

Но и у обаятельной Ларисы были свои «крылатые» выражения:

- Только посмотрю на мужчину и уже должна бежать делать аборт.
- Моя дочь? Моя дочь не будет жамкаться в подъездах.

Лариса Израилевна под разными именами присутствует в воспоминаниях нескольких её друзей.

### ДЯДЯ ПАВЛУША

Одно время Павел Иванович Глушко и его семья были нашими соседями. Семьи угощали друг друга борщом; соревновались, кто лучше сварит. Часто вместе

лепили вареники, чтоб веселей было лепить, а потом вместе обедали, выпивали и пели украинские песни.

Отобедав, дядя Павлуша любил поделиться мыслями. В 1920-е он преподавал в сельской школе «геограхвию, того шо бильше никому було. А я у кныжки прочитаю, та й деткам и розкажу. А воны: «Ну як же цэ, шо земля круглая?» А я им: «А цэ шоб по углах не клали», – ну, воны й понимають».

Когда дядя Павлуша хотел сообщить важную новость, он предупреждал: «Это вам не хвакт (факт) а дейсвительное пройшесвие».

А разомлев от вареников или ещё от какой вкусности, он доверчиво делился: «Ох же й скучив (соскучился) я по колышний (старой) дэрэвни: шоб була вэчеря, дивкы спивалы, и дэсь (где-то) килька (несколько) жидив жилы; бэз ных нэма усиейи (всей) картыны».

У него было хорошее чувство композиции и, вероятно, сюжета.

# ПЁТР В $\Lambda$ АДИМИРОВИЧ (ПЕЙСЕХ ВО $\Lambda$ ЬФОВИЧ) НЕДОБЕЙКО

Родственники называли его не иначе как «Петька Недобейко». Он мог бы называться и отцом мирового кубизма, так как фигура его представляла собою куб, на котором сидела похожая на тыкву огненно-рыжая голова.

Он также мог служить иллюстрацией к пьесе «Клоп» Маяковского. Никто не знал, чем он зарабатывал на жизнь и где он пропадал большую часть времени. Когда же появлялся, то приходил ко всем родственникам на обед с парой бутылок водки. За обедом он быстро пьянел и выкрикивал что-нибудь звучное вроде:

– Леопард! Леопард и все творения мира! и все творения мира! Вера Холодная на этих руках... – и он протягивал свои короткие толстые руки над столом.

Узнать, что случилось с Верой Холодной «на этих руках» так и не удалось.

#### ТАК МЫ РОСЛИ

Так мы росли в середине прошлого века в еврейской семье, переехавшей из местечка в большой город вместе со своим теплом, языком, песнями и прибаутками.

Несмотря на все двусмысленности в песенках, в их исполнениии никогда не слышалось пошлости, а только веселье и озорство. Мы росли в атмосфере романтической любви между отцом и матерью, и поэтому нам так «внятны» были и любовь Татьяны к Онегину, и несчастная любовь Паоло и Франчески.

И поэтому сладко было пробуждение в холодной послевоенной квартире под пение популярного тенора «Я встретил вас»; и поэтому понятен был Ленский, который тем же голосом, а иногда дуэтом матери и отца пел «В этом доме, как сны золотые, мои детские годы текли. В этом доме узнал я впервые радость чистой и нежной любви».

Связь времён... Детство отца и родственников, прошедшее почти 100 лет назад, ещё несущее энергию ценностей 19-го века, оставило отпечаток и на нашем детстве, а значит и на всей жизни. Трудное было их детство, трудной была их жизнь — революции, войны, чистки и пятилетки, но они сохранили и передали нам удивительную доброжелательность к миру и к жизни.

Как видно, 20-ый век изменил баланс добра и зла, тепла и холода; возможно, на нас надвигается космическая катастрофа в виде потопа и/или ледникового периода. И поэтому в потоке машин, в нефтяном угаре, в холоде и мраке дней, уже не грядущих<sup>1</sup>, а наступивших, я вспоминаю отца и мать, их любовь и их «пирушки и завещанья». Люблю и помню, «чтоб тайная струя страданья согрела холод бытия»<sup>2</sup>.

А. Блок «О, если б знали, дети вы, холод и мрак грядущих дней»

Б. Пастернак «Земля»

## ОТКРЫТЫЙ УРОК РОСТРОПОВИЧА



Этот снимок был сделан зимой 1975 года в доме у Людмилы Васильевны и Василия Ивановича Алексеевых после концерта Ростроповича в Миннеаполисе, штат Миннесота: Ростропович среди друзей Алексеевых; Алексеевы справа от него, а я крайняя слева.

Дом Алексеевых был центром русской культуры всего штата Миннесота для русских эмигрантов всех «волн» – Первой и Второй Мировых войн, а затем и третьей, волны распада советского режима. Этот дом был русским культурным центром и для всего остального населения Миннеаполиса. Кто бы из деятелей искусства и культуры ни приезжал из СССР, городские власти по делам культуры связывались с профессором Алексеевым и его обаятельной женой для оказания должного гостеприимства и прочей помощи приезжим. Людмила Васильевна покинула Россию с родителями вскоре после революции, Василий Иванович эмигрировал во время Второй мировой.

В центре Соединённых Штатов, в городе Миннеаполисе, дом Алексеевых был домом, сошедшим со страниц русской литературы второй половины 19-го века. Там был русский дух и пахло Русью. В состоянии ещё не остывшей ностальгии (эмигрировала в марте 1971 г.), я в этом доме пролила немало сладких и горьких слёз. Русский язык Василия Ивановича напоминал мне вкус и запах свежего хлеба «под русским снежком по зиме»<sup>1</sup>. Об Алексеевых, замечательных, интересных людях, можно было бы рассказать многое, но сейчас у нас другой герой.

В конце 1960-х, в Миннеаполис приехал на гастроли Ростропович, и Алексеевы, как всегда в подобных случаях, были представлены ему для всякого рода содействия и общения. Василий Иванович никогда не упускал случая пообщаться с людьми из России, и когда было уместно, вёл беседы о церкви,

стараясь передать в Россию, сколько было возможно экземпляров Библии, специально изданной за рубежом на тонкой бумаге мелким шрифтом, а также разного рода «там-издатской» литературы. Между верующим Ростроповичем и Алексеевыми любовь возникла с первого взгляда.

Ростропович все дни своих первых гастролей в Миннеаполисе провёл у Алексеевых. Кроме других заслуг, Алексеевы внесли свою лепту в историю России и тем, что именно у них Ростропович впервые прочёл подпольные книги Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом». После этого, вернувшись в Союз, он поселил Солженицына у себя на даче под Москвой. Советы этого ему не могли простить, год не выпускали за границу, а вскоре после изгнания Солженицына, должен был уехать из СССР и Ростропович.

Каждый раз, уезжая на гастроли в США, Ростропович старался получить концерт в Миннеаполисе, где он полюбил Алексеевых, их дом и их друзей. Зимой 1975 года, когда и мне перепало от этого сладостного пирога, Ростропович уже около года дирижировал Вашингтонским симфоническим оркестром.

Как всегда после блистательного концерта, у Алексеевых собрались их друзья для встречи с Ростроповичем, который просил всех, независимо от возраста, обращаться к нему «Слава». В то время, по крайней мере в Миннеаполисе, дети русских эмигрантов были послушны и очень похожи на персонажей дореволюционной традиции, и мы, недавние эмигранты из СССР, чувствовали, как их воспринимает Ростропович. Он просил, чтобы гости приводили детей, и с видимым удовольствием уделял им внимание, держал их за руки, слушал их русскую, хоть и с сильным американским акцентом, речь. Но их манеры и то, как дети держались, приводило его в восторг. Многие бабушки и дедушки, получившие старое воспитание, были ещё живы в 70-е годы прошлого века, и их влияние царило в доме у Алексеевых.

Присутствие Ростроповича было праздником. Обаяние славы (включая игру слов) и таланта вместе с дружелюбием и радостью жизни, которые он проявлял как будто с особенным аппетитом, передавались всем, наполняли здоровьем, как целебный источник. Приезжая раз в два-три года, он всех помнил по именам, и взрослых, и детей, помнил, на какой «точке» жизни оставил их в прошлый приезд, и задавал всем конкретные вопросы. Его глаза, весь облик светились интересом и участием.

На памятном вечере, когда разговор зашёл о церкви, он извлёк из внутреннего кармана маленький предмет, завёрнутый в платочек, развернул его и положил на стол. Все сдвинули головы над столом и

Из стихотворения Б. А. Чичибабина

увидели маленькую икону, настолько потемневшую, что нельзя было сразу разобрать кто на ней. «Я взял с собой нашего Николая Чудотворца, семейную икону, она у нас чудотворная», — сказал он и объяснил: в семье считали, что икона спасала от болезней и невзгод, начиная от его прадеда (по отцовской линии). «Хотел вам показать». Один из более молодых гостей встал на колени и приложился к ней.

\* \* \*

В этот раз после Миннеаполиса Ростропович был приглашён провести открытый урок по классу виолончели в университете Энн Арбор, а также дирижировать студенческим симфоническим оркестром музыкального отдела этого университета.

Это было трудное для меня время начала эмиграции, и мы — моя семья — жили бедно, никаких родственников за рубежом у нас не было. За чаем на памятном вечере Василий Иванович представил меня, «новенькую», как жену бывшего полит-зе-ка. «Им надо помочь», — заключил он. Мстислав Леопольдович задумался на минуту и спросил о моей профессии. Я сказала «англист, незаконченная диссертация в Иерусалимском университете». Ростропович: «Поезжайте вслед за мной в Энн Арбор, будете мне переводить; может, что-нибудь из этого выйдет».

Ростропович говорил, что он не знает поанглийски ни «да», ни «нет». С «нет» всё получилось быстро: я напомнила в шутку, что по-английски это на ту же букву, но там, где у нас есть «т», у них нет, и наоборот, а вместо «е» — «о». В ответ на это «навороченное» объяснение он сказал: «Что ж, я буду говорить «нет» во всех случаях и уверен, что меня поймут». Так и было.

По программе, в Энн Арбор сначала должен был состояться концерт студентов музыкального отдела университета, а на следующий день — открытый урок. Университет предоставил Ростроповичу своего переводчика. Ростропович сказал, что у него тоже есть переводчик, представил меня и предложил, чтобы во время репетиций с оркестром ему переводил университетский переводчик, а на открытом уроке — я. На том и договорились.

Университетский оркестр состоял из аспирантов музыкального отдела. Такого звучания Ростроповичу, вероятно, не приходилось слышать даже в страшном сне. Пожалуй, шестиклассники заброшенного сибирского городишки, до которого «хоть три года скачи», играли чише.

Они репетировали 1-ю симфонию Прокофьева. Маэстро ничем не выдал своего, должно быть, шока, когда обнаружил себя, «всемирного Славу», дирижёром

такого оркестра. Как говорится, и ухом не повёл, что скорей всего было бы опасно, поскольку вполне можно было ухо свернуть. Концерт был назначен на следующий день, была только одна репетиция, и мне довелось присутствовать при совершении чуда.

Маэстро репетировал долго. Сначала он пробовал отрабатывать вещь по инструментальным группам оркестра, но тотчас обнаружил, что этого недостаточно. По его просьбе, музыканты снова настроили свои инструменты, и многих дирижёр попросил показать ему строй, который приходилось подстраивать. Потом он работал с концертмейстерами каждой из групп, потом со всей группой, комбинировал группы. Всякий раз, окончив отрабатывать какой-то пассаж, он бодро восклицал «Прекрасно!»

Оркестранты уставали, просились выйти. Ростроповичу принесли воду и кофе. Он ни к чему не притронулся и ни разу не сошёл со своей площадки. Казалось, с течением времени, его энергия не только не угасала, но наоборот возгоралась. К концу репетиции оркестр нельзя было узнать. Он их воспламенил, влил в них своё слышание и звучание. Это были другие люди – и каждый в отдельности, и как весь музыкальный организм. Когда последняя нота отзвучала, он всех поднял, как на концерте, и аплодировал им с палочкой в руке.

В зале были люди, примерно, треть зала. Все тоже встали и горячо аплодировали. Преображение случилось не только с участниками, но и с присутствующими на этой репетиции. Успех был отработан и, разумеется, на следующий день выступление ошеломило слушателей студенческого оркестра.

И вот настало время открытого урока. Экономя скудные средства, я ехала в Энн Арбор ночью автобусом и волновалась, думая, что мне предстоит особый экзамен, от которого может зависеть устройство моей семьи в стране, экзамен на публике, с «великим человеком», доверие которого так хочется оправдать. Необходимо оправдать и доверие Алексеевых.

Но на репетиции оркестра я получила свой особый урок, урок, который начисто освободил меня от «предэкзаменационных» волнений. Это был урок отдачи себя, веры в дружественность вселенной, соединения с космосом, преподанный великим музыкантом. Иначе – как объяснить, что такое можно было произвести за одну репетицию, пусть даже очень длинную?! Радость предстоящего общения и передачи мыслей, хоть и в таком рабочем порядке как перевод, переполняли меня. В то время у меня не нашлось бы слов для этого, но ощущения навсегда остались в памяти.

Когда группа студентов и преподавателей собралась в небольшой комнате, и студенты по очереди

## Открытый урок Ростроповича

играли свои опусы, переводить особенно много не пришлось. Прослушав студента, Ростропович указывал в нотах, что повторить, и на рояле или, взяв у студента виолончель, показывал, что надо делать, как должно звучать. Он пел, показывал даже телодвижениями, что надо было выражать. Брал руки студента в свои и правую, и левую, стараясь передать и физическую, и иного типа технику.

Однажды он что-то объяснял более подробно, и я перевела. Вдруг он сказал мне: «Вы перевели не совсем точно». Я опешила: «Он прав, но как он мог это уловить?!» И я сказала: «Маэстро просит меня исправить перевод». Уже после всего я подумала: «Ещё один штрих гениальности. Какое-то невероятное, гениальное проникновение во всё, в чём он участвует».

Обычно выражением «искры из глаз посыпались» пользуются при испуге. В применении к Ростроповичу, это выражение уместно, когда он увлечён, а увлечённость, казалось, была его образом жизни: искры так и сыплются из его глаз. Когда я объявила о своей ошибке, он развеселился, из глаз просыпался каскад огоньков. Он сказал, что не знает по-английски ни «да», ни «нет», но хорошо понимает на всех языках, когда «едят, а ему не дают». А поэтому, он думает, что все уже давно пошли на ланч, и нам всем следует сделать то же самое. Это предложение было переведено и принято наилучшим образом — con brio — с огнем.

Однако пропустив всех впереди себя, Ростропович задержал меня и сказал, что нас ждёт зав. кафедрой славянского отдела. «Будет устраивать меня», — подумала я. Зав. кафедрой был очень любезен и проявлял по отношению к Ростроповичу всяческое

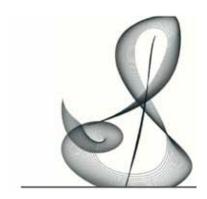
почтение и восхищение, а ко мне подлинное внимание. Он сообщил, что прочёл переданные Ростроповичем мои статьи со структуральным разбором стихотворений символистов и акмеистов *a-la* Юрий Лотман и, кажется, вполне искренне сказал, что ему понравилось.

Ростропович с удовольствием потёр руки. От зав. кафедрой не ускользнул этот жест, и он, не теряя ни мгновения, сказал, что, к сожалению, бюджет, отпущенный его кафедре президентом университета, весь израсходован, он не может больше никого взять на работу.

Ростропович не мог поверить, что ему можно отказать в таком пустяке как скромная зарплата преподавателя на самой нижней ступеньке. Отказать после того чуда, которое он сотворил у всех на глазах с университетским оркестром. Судя по обычно искренней реакции — на этот раз разочарования,— маэстро получил некий урок из западной жизни.

Тем не менее, опять произошло чудо. Когда, подавленные, мы вышли из кабинета зав. кафедрой, по коридору шла женщина и говорила с кем-то по-украински. В ностальгическом порыве я бросилась к ней, едва успев извиниться перед Мстиславом Леопольдовичем. Моя ностальгия оказалась амбивалетной антитезой, как говорят исследователи акмеизма: она-то и помогла мне остаться в Америке. Женщина, которой я призналась о своей тоске по «ридний мови», была профессор Ася Гумецкая.

Профессор Гумецкая не устроила меня в университет, но встреча с ней стала началом моего устройства в Америке. Я глубоко убеждена, что меня с ней столкнул космический поток, вихрь или огонь, который носит музыкальнейшее из имён – Ростропович.



#### поэзия





## алла ходос БУЕРО

#### БУЕРО

В том краю, где похоронен Буеро, спали на столе. И виноградом отдавало лунное ситро, застывая в воздухе отрадном.

Рано похоронен Буеро, молодой герой национальный. С ним однажды случай был скандальный...

На атласной аспидной спине тьмущей тьмы писать хотелось мелом. Камушком извёстки, белым-белым. А порой казалось: на коне спишь в непрекращающемся беге. Азия, тряси нас, не жалей! Мы в твоей рассохшейся телеге едем день и ночь. Каурый, пегий.. Но буланный нам всего милей.

Не вернёмся. Адрес был неточный. Виноват во всём акцент восточный. Там, где похоронен Буеро, просто похоронное бюро.

Где-то олимпийская Москва лихо прячет слёзы в рукава. Ведь Москва реке не верит слёзной. Пусть летит своей дорогой звёздной!

Мы ж, Равель, сыграем «Болеро». И, веселья схвачены ознобом, на столе станцуем с нашим гробом, спляшем, вставив в волосы перо.

#### ДОЖДЬ

Марине Золотаревской

Ты поразил внезапностью, прогрохотав над затхлостью. Молниеносностью сраженья ты покорил воображенье. А под конец за старой мусоркой нечеловечьей взвизгнул музыкой. Печальный Демон, дух изгнанья, твои ли слёзы пролились? В краю забвенья, подсознанья твои ли волосы взвились?

#### \* \* \*

Тише воды, ниже рыжих букашек, но на груди у меня карандашик. Аспидно-чёрный дозиметр счастья, как он блестит! Не посмею пропасть я. Я ведь не в самой плавильной из печек, правда, пронырливый человечек? Если с тобой и дошли мы до края, мне обещаешь радости рая. Станем бродить средь олив и фисташек. Ты ведь не бросишь меня, карандашик?

\* \* \*

Валерии Ноздриной

Закопаю боль и гонор в мох и глину здешних мест. Скользкий берег, на котором птичьи лапки ставят крест, возле моря наливного, у морщинистой реки, я тебя увижу ль снова, проходя свои круги? Море плещет по ногам тех, кто ходит по кругам.



## лев бертин ЭМИГРАЦИЯ, АХ, ЭМИГРАЦИЯ!



Мы брали воду из ручья. Она текла в снегу порезом. Смолою пахла и железом и оплывала, как свеча.

Мы брали воду. До весны два месяца и три недели. Привычно дремлют лапы елей в холодных лапах тишины.

Мы брали воду. Вопреки суровым физики законам ручей, ручей, во льды закован, тянулся в сторону реки.

Мы брали воду из полузамерзшей лунки осторожно. Простой глоток воды морозной,—как на морозе поцелуй...

\* \* \*

Весна никуда не денется, придет, наведет уют. На каждые куст и деревце посадит по соловью.

И ты никуда не денешься, потянешь еще виток, зажав в кулаке, как денежку, апрельский смешной листок.

#### **ЛЮБИМЫЕ АКТРИСЫ**

Любимые актрисы... Оценят или нет, как сыгран, как написан блистательный сюжет?

Свой славный путь к победам

черкните мне в альбом. Вы были в черно-белом, а нынче — в голубом.

Актрисы моего детства. Вы мне сыграйте вновь «экранные» злодейства, киношную любовь.

Как будто понарошку проходим путь земной. Присядьте на дорожку, любимые, со мной.

С годами мы стареем. Но вам нельзя стареть. Ну, разве что тихонько однажды умереть...

\* \* \*

Алле Ходос

Летаю, летаю, хоть крылышек нет, (а тапочки есть и пижама) с тех пор, как сказала: «Ты клевый поэт» одна интересная дама.

\* \* \*

Прижми к груди заклятого соперника, как (если помнишь) даму на балу. Не отпускай его, вцепись репейником. Влепи ему прощальный поцелуй. А чё делить, ребята, чё делить? Не лучше ль выпить и еще налить?

Куда-то закатилась та горошина, что спать мешала много лет подряд. Как туфли, жизнь давно уже разношена, хотя мозоли изредка болят. А чё ловить, мой друг? Куда бежать? А, чем делить, то лучше умножать.

Поставь на место за собою чашки. И примерь на время мантию судьи. Прости врагу грехи его все тяжкие и, заодно,— несложные свои. Не видит Око. Зуб неймет, увы. Куда идти — «на Ты» или «на Вы»?...

#### ТАКАЯ ДЛИННАЯ ЖИЗНЬ

#### Поэма

О доблестях, о подвигах, о славе... А. Блок

Часть Первая.

«О доблестях, о подвигах, о славе...», о женщинах, о боге, об искусстве, о спорте, о политике..., о женщинах...

Часть Вторая.

О детях, о работе, о друзьях...

Часть Третья.

О внуках, о здоровье...

Часть Четвертая.

О здоровье...

#### О ВЕЧНОМ

Никакую я страшную тайну не выдам. Просто загодя знаю уже — похоронят меня под звездою Давида. Вот такой заготовлен сюжет.

Никаких в том моих ни вины, ни заслуги. Каждый должен когда-то слинять. Но я знаю, мои «боевые» подруги по-еврейски проводят меня.

То есть, полный набор — рав всплакнет на иврите, помолчит подошедший миньян $^1$ ... И вспорхнет воробей — и участник, и зритель, и, кто знает, быть может — Судья.

Так уж водится, всех нас когда-то дорога уведет под откос, но пока... С нами Он. Не гневите еврейского Бога. На земле с нами и в облаках!...

> О, возраст осени... С. Есенин

2 Как повесточку, кленовый листок цвета желтого октябрь мне вручил. Нет, не холод, но уже холодок не уходит днем и будит в ночи.

С прошлой осени, – ты глянь-ка, Лидок, – нет, не листья намело, – седину. И не лед, но тонкий-тонкий ледок душу пленочкой уже затянул.

Не спешу в ладони прятать лицо. Следом осень прошуршит не одна прежде, чем души моей озерцо тихи-тихо так промерзнет до дна... 3 Когда-нибудь парус мой сядет на мель (годков через двадцать, навскидку). Я выдохну вечное «Шма, Исраэль...» и тихо прикрою калитку... \* \* \*

#### Ире

В наш следущий приход – в Гренаде ли, в Канаде – в две тысячи каком-то будущем году я вычислю тебя, приду в твой детский садик и за руку с собой оттуда уведу. Годам к пяти-шести я сформируюсь точно (мужчиной, может, нет, но личностью – уже). В песочнице своей построим рай песочный, в котором заживем, совсем, как в шалаше.

Миньян – 10, минимальное количество мужчин на еврейских похоронах (usp.)

### Эмиграция, ах, эмиграция!

И в возрасте ста лет – вдвоем нам черт не страшен – мы в день один уйдем, куда уходят все... А если кто из нас уйдет немножко раньше, он просто подождет, на облако присев....

\* \* \*

Борису Бернштейну

Расставить правильно акценты мешает в горле слез комок. Играл скрипач в торговом центре на перекрестке двух дорог.

Пришедшим явно пофартило. Не то, чтоб выпил он с утра... Вдруг вдохновенье накатило. Как-будто бы смычком водила другая, скрытая Рука.

Представить мог ли Франк Синатра, что будут слушать его соул укроп с петрушкою, силантра, в пузатых банках разносол?

Рука, влекомая к корзине, застыла вдруг на пол-пути... Судьба застигнет в магазине, — как музыка... И не уйти. ... Играл скрипач, слеза катилась... неслышно по щеке тугой. В слезе трехцветно отразилась неоном вывеска «То go». 1

Вверху, в тени жестяной кровли болтали, будто за столом, Гермес, лукавый бог торговли, и бог искусства Аполлон.....

#### ЭМИГРАЦИЯ, АХ, ЭМИГРАЦИЯ!

Эмиграция, как операция. Там, где шов – непременно синяк. Вивисекция и трепанация, а наркозом – армянский коньяк. Эмиграция, ах, эмиграция!.. Вдруг, укушена мухой це-це, разом с места срывается нация – инженер, музыкант и доцент.

Вам подставят в полнейшей прострации кто-то локоть, а кто-то плечо.

Пишет свой «прейскурант» эмиграция, словно гамбургский счет — «кто — почем». Эмиграция, ах, эмиграция!.. В эмиграции, как на войне, происходит, пардон, эксгумация всех талантов, зарытых втуне.

Как относишься к реинкарнации? Не снесняйся, мой друг, расскажи. Абсолютно с нуля в эмиграции начинается новая жизнь. Эмиграция, ах, эмиграция!.. Инженер в ресторане поет. Музыкант стал звездой папараци, а ... лишь доцент, тот, как пил, так и пьет.

Здесь особенная гравитация. Здесь притягивают ... небеса. Где найти, подскажите, Горация, чтоб прочувствовал и описал? Эмиграция, ах, эмиграция!.. Вездесущий одесский Привоз. Был театр, потом анимация. Водки нет и отходит наркоз....

\* \* \*

Я не был в странах экзотических, где на деревьях какаду. Полно причин экономических, но, может, позже попаду.

В моих же странах проживания... Там каждодневные бои в войне за сосуществование ведут трудяги – воробьи.

Века иные в Лету канули. Уйдем и мы, всего делов. Мы на монетах птиц чеканили, Но, как посмотришь, – все орлов.

А я хочу сломать традицию. И тверд в жедании своем украсить доллар гордой птицею, пусть хоть двуглавой, – воробьем!

Он ближе нам с его заботами. В коррупции не уличен. Чирикает, «по фене ботает», но понимают все, о чем.

То go – на вынос (англ.)

Встает воробышек по солнышку. Хлопочет ... Бог его храни! Клюет по зернышку, по зернышку просыпанные наши дни...

#### ODNOCLASSNIKI.RU 1

В воскресенье поутру, только я глаза протру, набираю в интернете: «odnoclassniki.ru».

С кем учились впопыхах, в детских каялись грехах, в детском садике сидели – параллельно –на горшках.

Мы живем **благополу**. Есть – на стол и есть – к столу. Под сердечком ощущаем

непонятную иглу.

Это вовсе не враги, – по воде идут круги. Это явные проделки старушонки ностальги.

Ты прости, мой школьный друг, как-то было недосуг. Жизнь устраивали либо под собой рубили сук.

Не хочу ни есть, ни спать. Буду целый день искать дядек, теток, каковыми все уже успели стать...

# СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПО СЛУЧАЮ ЕВРЕЙСКОГО НОВОГО ГОДА.

Новый год. «Гефи́лтэ фиш».<sup>2</sup> Стопки... Нет числа им. Пол-яйца в холодце — как звезда во льду. «Ба шана́ абаа́ ба́ Ерушала́им».<sup>3</sup> Хороши под коньяк яблоки в меду. Ты еврей и я еврей, мы с тобой евреи. Много нас в кипах<sup>4</sup> и без с думой о корнях.

1 Одноклассники дат (точка) ру (англ.)

А, чем дальше от корней, тем они милее. Потому и Новый год нам как отходняк.

И кружатся над столом разговоры «птичьи» об оставленной, такой маленькой стране. И, чем дальше от страны, тем патриотичней. Так, чем выше небеса, тем Господь родней...

\* \* \*

1.

Березы осенью похожи ... на жирафов. Такие вот у нас в Атланте дерева. Ветвями острыми мне душу исцарапав, природа всё-таки по-своему права.

Я узнаю ноябрь месяц по примете. Как-будто тапочки старательный щенок, весь день к порогу моему приносит ветер охапки листьев свежих — вот они, у ног.

2.

Я читаю листья, как газеты. Впрочем, новость, в сущности, одна. Где-то далеко осталось лето, но спешит, спешит сюда весна.

Я, увы, не смыслю ни бельмеса в цикле дней. но знаю наперёд – «желтая» ноябрьская пресса в этот раз нисколечко не врёт.

#### НИАГАРА

Норе

Побывал на Ниагаре. Что за прелесть водопад! Видно, влюбчив я чрезмерно, но не мог не влюбиться, не откликнуться (возможно, невпопад). И влюбился. И до ниточки промок.

Трогал радугу руками. Чаек яблоком кормил. И под грохот совершенно обалдел от такой же точно радуги – от охры до сурьмы – на кипящей круглосуточно воде.

На кораблике катался. И под брызги заплывал. Не скажу, что глубже понял суть вещей. Но припомнился классический сюжет «Девятый вал»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Гефи́лтэ фиш – фаршированная рыба (идиш)

В следущем году в Иерусалиме (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Кипа́ – традиционный еврейский мужской головной убор (*ивр.*)

## Эмиграция, ах, эмиграция!

мне, стоящему на палубе в плаще.

До чего воображенье у поэтов велико! Я увидел вдруг себя со стороны — уцепившимся за мачту с ТОЙ картины мужиком, что кричит, перекрывая рев волны...

\* \* \*

Как мы боимся попасть молве острой на язычок. Полноте, каждому выдаст век собственный ярлычок.

Этого, господи, сняли с креста. Тот без греха прожил. Время расставит всех по местам. Держу пари, — по чужим.

\* \* \*

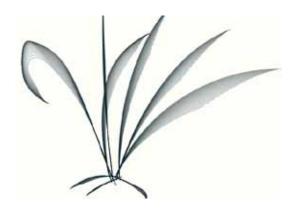
Припомнив старую примету, чтобы сюда опять вернуться, бросаю сердце, как монету, в Залива каменое блюдце....

Лене Лейновой

*Мне голос был...* A.Ахматова

«Мне голос был»... Негромкий в темноте он под сурдинку грустное наяривал. Мотив не тот, да и слова не те. Он половину букв не выговаривал!

«Мне голос был»... И от него в душе осталась шрама светлая отметина, казалось бы забытая уже... «Мне голос был...» И я ему ответила.





# михаил стрельцов ЦЫПЛЁНОК ТАБАКА



Рассказ

Ничего с собой не могу поделать – люблю курицу-гриль. Даже не целую, а тощую прожаренную полутушку. Если хотите – самая что ни на есть мужская холостяцкая еда. Гастрономический изыск бюджетника и алиментщика, занятого подработками и общественной деятельностью. Процесс её покупки и поглощения – не таинство, но уже вроде культа, достойного отдельного повествования. Так-то я не лентяй и обожаю готовить. Во времена популярности «ножек Буша» закупал коробку, забивая морозильные камеры. И даже когда не было денег на хлеб, всегда было, чем накормить семью. Я придумал с десяток вариаций запеченных в духовке окорочков. Помнится, приходит дочь из школы: «Папа, у нас сегодня опять курица?». «На этот раз в апельсинах!». Ну, это когда после новогодних праздников апельсины оставались...

Сейчас же, после развода, у меня нет духовки, престарелый холодильник дышит на ладан. При наличии денег можно себя и побаловать. С работы — делаю крюк, поскольку поблизости куры-гриль не производятся. Несу домой горячую, испускающую аппетитные запахи, некормленый желудок урчит в предвкушении. Включаю фильм, ем, насыщаюсь. И даже если отрубят свет, что стало привычным, можно, закрыв глаза, размазывая по нёбу хрустящую корочку, видеть собственные фильмы, из памяти...

Когда Ярмольник показал по телевизору пантомиму про цыпленка табака, а зал передачи «Вокруг смеха», смеясь, аплодировал, я, наделенный нехилым чувством юмора, растерялся. Не мог понять, почему это смешно. А если что-то неясно, то куда? К родителям. Отчим, сквозь газету наблюдавший за телевизором, попытался мне объяснить, что цыпленок табака выглядит так, как показал его Ярмольник. Этото я сообразил. Поскольку предъявленные актером спортсмены и предметы были похожи.

Запутался. Знал что такое — табак. Отчим курил «Беломор» и вокруг пачки на тумбочке всегда скапливались пахучие крошки. Знал что такое цыпленок. Но зачем и кому пришло в голову посыпать цыплят

табаком? И почему это смешно? Вот этого понять не мог.

Закат брежневской – расцвет черненковской эпохи в ракурсе продуктовых магазинов провинциального городка представлял собой пару сортов вареных колбас, огромный, с бычью голову, лоснящийся и обыденный шмат жёлтого масла в витрине. Сахар и мука в бумажных пакетах. Донельзя разбавленная сметана, булькающая в бидон. Тощие селедки в банках. Хлипкие до синевы куриные тушки, которые мама варила часа два, чтобы они стали мягкими и съедобными. Вареную курицу я терпеть не мог. Сгущенку нам посылками слали родственники из Канска. Тушенку – из Гудермеса. Из фруктов и конфет – что успеешь хапнуть под Новый год, отстояв километры очереди. Из лимонадов - «Буратино». В соседнем большом городе спокойно продавались сладкие кукурузные хлопья, иногда, приезжая к родственникам, я набрасывался на лакомство, пока блюдо не пустело.

После школы мы с пацанами гуляли по городу, по людным местам — базарной площадке, у автовокзала. Порой везло: найдешь одиннадцать копеек. И наградишь себя коржиком и стаканом газировки. А кому очень везло — двадцать копеек: это и беляш, и сок с мякотью.

То есть я просто не мог себе представить, что цыпленок табака — это такая еда. Поэтому пустился на эксперимент. Стащив у отца папиросу, раскрошил её над коробкой с цыплятами, ожидая, что будет смешно. Но ничего веселого не случилось. Цыплята так же бестолково носились по коробке, думая, что им принесли пожрать.

В конце апреля мама всегда покупал пару десятков цыплят по 5 копеек за штуку. До середины мая они жили в коробке на балконе. И если принести пшена, то, подскакивая, сбегались в один край коробки, толкая и давя друг друга. Пара-тройка задавленных цыплят – нормальный ежегодный отсев.

Как-то в школе, отвечая на биологии про естественный отбор, я добавил от себя, что Дарвин не совсем прав. Гибнут не только самые больные и слабые, кто не смог пробиться за едой. Но и самые резвые и развитые. И привел в пример наших цыплят. Чем

вызвал дружный смех в классе и заслужил «погоняло» Цыпленок. Но если и вправду так? Пара-тройка задавленных всегда равнялась паре-тройке ретивых. Они первыми пробовали силу крыльев. Не уследишь – и перемахнули через стенку коробки. Пара прыжков – и вниз с балкона, насмерть. Я и сейчас уверен, что был прав. Поскольку самых сильных, самых задиристых однокашников, от которых мне доставалось, которые всегда готовы были поднять на смех или звездануть в ухо, уже нет в живых. А я сижу и ем курицу.

Ближе к концу мая мама перевозила окрепших цыплят на дачу, в специальный загончик, и начинала кормить не только пшеном, но и травой. То ли от перемены места, то ли от изменения в пище или от болезней каких куриных, но погибало ещё несколько. То есть миграция – тоже небезопасна. К осени, обычно, от двух первоначальных десятков оставалось восемьдевять голов. Всё лето, оперяясь, они давали яйца, а потом и сами погибали под топором отчима, складируясь в морозилке до Нового года. В тот год, когда этого человека не стало, мне пришлось самому взяться за топор.

Впервые я увидел и попробовал цыпленка табака в Барнауле, куда мы со старшим братом поехали погостить к родственникам. К слову сказать, из-за того, что у одних дедушки с бабушкой было четверо детей, а у других — шестеро, родственников у меня наблюдается бессчетное количество. Моё преимущество — то, что я последний, поздний ребенок у самого последнего и позднего из шестерых. Поэтому самый-пресамый младший родственник. Двоюродные сестры и братья — здоровые, состоявшиеся мужики и тетеньки, имеют жен и мужей, по нескольку детей, которые, будучи моими ровесниками, приходятся мне племянниками.

В Барнауле у нас было два брата, живущих в разных концах города. Мы как раз и поехали, нагостившись у одного, к другому. Сели в трамвай у кинотеатра, заняли свободные места сразу перед открытой задней дверцей и наблюдали, делясь едкими замечаниями, как к трамваю несется мужчина, будто это последний трамвай в его жизни. Его решительный и стремительный бег, видимо, вызвал уважение у вагоновожатой, потому что трамвай подождал и с шипением закрыл дверцу только, когда мужчина вскочил на ступеньки. Он стоял прямо за нами, тяжело дыша несколько секунд. А потом, ни слова не говоря, с силой толкнул наши головы.

От возмущения я задохнулся, побагровел и брат, но, обернувшись, — мы оба выпучились. В трамвай вбежал ещё один наш двоюродный братка, из Новокузнецка, по папиной ветке. Что Коля делал в Барнауле, я не помню. Очевидно, по каким-то делам приехал. Но, увидев нас, входящих в трамвай, понесся, как чёрт, чтобы не

потерять. Он же не знал, куда мы едем. Да и сотовых тогла не было.

Колю я знал плохо. Только в лицо. Видел редко. Но мой брательник с ним одногодка, поэтому им друг с другом жутко интересно, а я остаюсь в стороне. На полпути вышли из трамвая, потому что Коле в ту сторону ехать-то и не надо было. Решили посидеть гденибудь, поесть. И увидели кафе «Цыпленок табака». Принесенная курица была жесткой, перченой и невкусной. Но братья под водочку уплетали за обе щеки. Говорили и говорили. А я сидел и смотрел в тарелку. На недоеденного цыпленка. Переживал разочарование. Когда с пацанами мы, везунчики, покупали коржик и сок, хвастаясь друг перед другом, кто чего ещё ел повкуснее, я, как правило, проигрывал. Да – я не жевал апельсиновых жвачек, не пробовал морепродуктов и красной рыбы; не видел банан и гранат. Показывали – знал, как выглядит вареная кукуруза. А кукурузными палочками из соседнего большого города – не удивишь. Потому спросил однажды, а пробовал ли кто цыпленкатабака? Никто не пробовал. И я решил, что вырасту, обязательно попробую и всем расскажу.

Но это была невкусная курица. И рассказывать про неё было стыдно.

К слову, мне было четырнадцать, а я и в кафе-то толком не был. Когда проходил под вывеской «Цыпленок табака», раздевался в гардеробе и, затаив дыхание, чуть ли не на цыпочках выдвигался между темно-зеленых штор в почти пустую залу, невольно сравнивал свои ощущения с посещением театра. Так выходила Наташа Ростова на свой первый бал.

С театром, кстати, мне тоже не повезло. С полгода назад активистов от класса наградили билетами, и нас повезли в тот большой город, где в изобилии водились кукурузные палочки. Шефы выделили транспорт. Им оказался оранжевый «Урал», обычно возивший на смену шахтеров. Небольшая коробка с ограниченным количеством мест. Мы с товарищем, с классической фамилией — Кузнецов, заняли, как нам казалось, наиболее выгодные места — боковое сидение над колесом. Хоть ноги можно было свободно вытянуть. Кстати, Кузнецов появился в городе недавно, жили мы по соседству и частенько просиживали друг у друга за шахматами. Он, в основном, снисходительно выигрывал, владел фотоаппаратом, тощий и высокий настолько, что мне рядом с ним отводилась роль Санчо Пансы.

По случаю выхода в театр мама отгладила мне костюм, перешедший в наследство от брата. Благо я догонял его в росте, но не в ширину, и пиджак чуток болтался, да и рукава опускались до пальцев. Мне даже повязали галстук.

Перед тем, как тронуться, водитель предупредил,

что если кого затошнит, то надо постучать в дверь и попросить остановиться. Я ухмыльнулся, поскольку меня никогда не тошнит ни в каком транспорте. Почти всю дорогу мы с Кузнецовым проболтали, не помню о чем. В «Урале» было душновато, я расстегнулся, снял шапку, положил её на колени, а в неё примостили кузнецовский фотоаппарат, который я должен был беречь. В какой-то момент Кузнецов отвернулся к окну, да и я тоже устал говорить, начиная потихоньку скучать в ожидании театра. Внезапно товарищ повернулся – лицо в лицо – замахал рукой в сторону двери, держа другую у рта. Над ней смешно выпучились глаза и раздулись щёки. Он напоминал анекдотичного инопланетянина, и я хотел было ему об этом сообщить. Но в следующую секунду из-под руки Кузнецова полился воняющий поток. Но в шапку не попал, поскольку, памятуя о ценности фотоаппарата, её я успел резко отдернуть. И принял от него на колени и на полы пиджака.

Вокруг почти началась суета, но мы тут же подъехали, и обсуждающая нас ребятня с учительницей во главе двинулась к театру. А мы вдвоем, отчитываемые «шефским» водителем, должны были прибирать за собой. Кузнецов возвышался зеленой каланчой, неспособной к телодвижениям. Он только наблюдал, как я водительской лопатой накидываю в салон снег и выгребаю всё оттуда. При помощи снежка кое-как почистил и себя, но гардеробщица настолько пристально оглядывала мой пошедший пятнами костюм, что стало совсем неуютно. Нашедшая нас учительница показала, где туалет, и я долго отмывал одежду у раковины, а ожившая сволочь Кузнецов при этом фотографировал. Через какое-то время он притащил в класс фотоотчет о поездке, притом всё, что он снимал из зала, оказалось размытым и тёмным, зато я рядом с умывальником в некрасивых позах получился отменно.

К началу действия мы опоздали, и спектакль совсем не запомнился, поскольку на всём его протяжении я переживал, что сижу с мокрыми штанинами, и жалел костюм брата. А, может быть, не из-за этого. Там, в театре, разглядывая фальшивое движение людей на сцене, я впервые начал чувствовать нечто, которое никак не мог сформулировать. Но казалось – приходило понимание чего-то такого важного, от которого не уйти и не спрятаться.

Так и сидя с братьями в только что загадочном кафе, рассматривая невкусную курицу на тарелке, я поймал себя на схожем ощущении. И опять никак не мог его ухватить. Оно ускользало, подобно ящерице, оставляя в ладони холодный и склизкий хвост. Только годы спустя, получив высшее, оставив за спиной две попытки кандидатской, прочитав кое-чего в каком-то количестве, я ухватил, поймал юркую ящерку.

В театре, а затем — в Барнауле я впервые ощутил превращение храма в плацебо. Причем самое символичное, что в Барнауле. Не будь этого города, не было бы и меня. Именно здесь почти тридцать лет назад молоденькая ткачиха, недавно приехавшая из алтайской глубинки, и солдат срочной службы, призванный из Сибири, встретились по комсомольской линии. И поженились, когда срок службы отца подошёл к концу. Длинная, сложная и в чём-то романтичная история. С трагическим финалом. Отца не стало, едва мне исполнился год.

Своим же детям я почти не могу рассказать ничего романтичного. С их мамой мы познакомились в библиотеке, куда нагнали старшеклассников из разных школ на встречу с местными поэтами. Мне же было дано особое указание от учительницы – почитать что-то своё, поскольку она была в курсе, что кропаю. Оказалось, поэты проводили поиск молодых талантов и из всей шоблы взяли в студию только троих, кто осмелился выступить. Одна девочка затем как-то быстро перестала посещать литпосиделки, а мы заученно встречались на автовокзале, ехали в другой район, затем провожались, знакомились с компаниями друг друга. Вмешался и пресловутый комсомол, организовав фестиваль эстрадных жанров. Мы просиживали вместе репетиции в ожидании своей очереди. И все номера заучили наизусть. Выступали, заняли первые места: я в художественном чтении, она – в бардовской песне. Ещё год я мотался по всяким подобным фестивалям, а она – поступила в институт. Из доказательств романтичного остался пыльный чемодан, полный писем друг к другу.

Отчего-то в литстудии меня считали перспективным и настойчиво советовали съездить в областной центр на семинар. Поскольку моя девушка училась в том самом областном центре, то идея приглянулась. Захотелось не только переписываться, но и увидеться. Посоветовавшись со знакомым организатором эстрадного фестиваля, что ходил в секретарях горкома комсомола, быстро решил финансовый вопрос. От горкома оформили командировку.

Не хочу сказать, что по итогам семинара меня настойчиво зазывали в областное литобъединение, но схема уже была апробирована и запущена. Я брал у мамы десять рублей на проезд туда-обратно на поезде, в горкоме — командировочный бланк. Ранним утром на перроне встречала любимая, и если у неё не было в институте занятий, чуток прогулявшись, мы шли в обком комсомола, где раз в месяц собирались дарования со всей области. Если было холодно, болтали на скамейке в предбаннике пару часов под недовольными взглядами сонной вахтерши. Перед началом занятия приходила ещё более сонная тетенька и по предъявлении паспорта

и командировочного бланка шустро выдавала двадцать рублей всем, у кого такие документы были. Десятку потом я возвращал маме, а другую... Черт знает, что придёт на ум с такими деньжищами! Эта заветная для любого школьника бумажка — извините, не коржик за восемь копеек. На неё можно упиться лимонада, сходить на футбол после литературного занятия, при условии, что в тот день идет матч на близстоящем стадионе. Можно сводить девушку в кинотеатр!..

Как раз в один из таких приездов, наслушавшись находившихся на взлёте популярности Цыганкова с Самойленко, я прямиком по Весенней двинул к политехническому. Еще с час сидел на скамейке, разглядывая важных голубей у ног. Вероятно, даже сочинял что-то. Про голубей. А когда у неё занятия в институте закончились, мы долго бродили закоулками между корпусами, поскольку опоздали на запланированный ранее киносеанс в «Космосе». Можно, конечно, было дождаться другого, но тогда я мог не успеть на поезд со всеми этими милыми провожаниями с поцелуями и прохладными ладошками в моих лапищах.

Вынырнув между корпусами общежитий, слегка озябнув, уперлись взглядом через дорогу в павильон «Цыпленок табака». К слову сказать, снаружи он был точной копией барнаульского. Она как-то быстро сообщила, что девчонки из группы нахваливали это заведение, а я с унылым ворчанием посетовал, что пару лет назад пробовал такого цыпленка и остался недоволен. Как известно, сытый голодному не товарищ. Имеющий советскую десятку и пропустивший темный зал в кинотеатре, где можно тайком обниматься, вряд ли может понять озябшую и полуголодную студентку со стипешкой сорок рублей в месяц. Но против логики не попрёшь, надо перекантоваться где-то ещё с часок, и желательно - в тепле, пока не настанет время ехать на вокзал. Ещё сомневаясь, я оказался у крыльца. Изза двери потянуло чем-то настолько вкусным, что последняя нерешительность исчезла. Дёрнув массивную ручку, мы вошли... в самое прекрасное место на свете.

Ничего общего с помпезно-ветхим барнаульским кафе. Витражи во все стены. Блеск хромированных перил у раздатки, миниатюрные белые столики и стульчики, благоухание жареного мяса и чего-то ещё — непередаваемого. За раздачей яств полные тетеньки в колпаках. Вроде бы такие, как и везде в общепите, но чуточку другие. Их халаты и колпаки белоснежно сверкают; на лицах вымученно-приветливые улыбки. Обращение вежливое, словно ты для них самый долгожданный клиент. Поэтому не хочется обращать внимание на цены. Как писали в газетах «кооперативное движение набрало размах», и, наверное, впервые я в чём-то стал согласен с Горбачевым.

Опять-таки, в отличие от барнаульского, где мы были чуть ли не единственными посетителями, здесь «яблоку негде было упасть». Милые улыбчивые женщины с детьми. Солидные подтянутые мужчины в костюмах и галстуках заботливо и солидно обхаживали и женщин, и чад, принося и унося посуду. В длинной очереди мы, уже в нетерпении пританцовывая, смущенно оглядывались, выискивая свободный столик. И как только место освободилось, я лаконично предложил девушке его нам занять. А минут через десять, словно рыцарь букет, нёс прекрасной даме тяжелый поднос с двумя тарелками и остро пахнущими пиалами с непонятным содержимым, что подсунули в довесок.

Затем я неоднократно пытался приготовить такой же чесночный соус. И пару раз получилось чуть ли не один в один. Хлопот-то! Пара долек чеснока, соль и теплая вода. Но всё дело, как обычно, в пропорциях... Вначале мы не понимали, что делать с пиалами, исподтишка поглядывая на нарядных посетителей, каждый из которых казался завсегдатаем. Макать! Конечно же! Маслянистая подсоленная водичка затем несколько часов держит на нёбе вкус курицы, словно поел ну вот только что... Половинки скромной цыплячьей тушки исчезли как-то совсем быстро. Уловив тоскливый взгляд напротив, машинально подсчитывая в уме остаток средств в кармане, сообщил, что сам-то както наелся, но ей могу предложить ещё порцию. Купил, вновь отстояв в очереди. И когда повторно нес блюдо – для неё, темнокудрой прелестницы, сидящей спиной к прозрачному витражу, на секунду, на долю секунды почувствовал... И слова-то не подобрать – что! Много лет спустя, подобное волнение я ощутил, впервые переступив порог храма. Где всё вроде сложно и непонятно, но в то же время узнаваемо и естественно.

Она кушала и даже что-то пыталась щебетать. А я смотрел над её плечом, над чуточку приподнятым розовым воротником, над склоненными смоляными прядками — туда, через стекло. На мир. Модный дизайн витражей. В тепле, в уюте, в окружении вкусных запахов и завсегдатаев, наверное, представляешься им, людям, шагающим мимо по мартовской слякоти, успешным и жизнерадостным. Это я-то? Полусельский парнишка с нескладными стишочками, за душой — горстка беззлобных амбиций и рубль с мелочью на всё про всё. Да. Это я.

Это я сижу в уютном кооперативном кафе посреди областного центра, угощаю девушку дорогим блюдом своей мечты и разглядываю площадь, памятник, голубей и скамейки, где непонятно кем ютился всего-то пару часов назад. И именно тогда, в те минуты, когда пространство одновременно развернулось за горизонты, при этом чётко и выверено сжавшись, я извлёк из себя весь имевшийся запас амбиций и послал его в мир, как покати-клубочек, и получил ясный ответ. Обо всём. Возможно, таким же прозрачно-чистым возвращаешься к себе после длительного покаяния и исповеди. Не знаю. Пока по части исповедей и покаяний мне не особенно везло, слишком неуклюже выгляжу в церкви, и она отвечает мне тем же: её музейные служители напоминают тот неудачный фальшивый спектакль. Хотя, с другой стороны, церковь без служителя – пуста, словно экскурсионный автобус без гида.

Но когда сплелось, смешалось: легкая сытость, любимая напротив, розовая кофточка, мир нараспашку, - я увидел свой путь. Судьбу, если угодно. Знание снизошло ниоткуда. Не имея никаких на то оснований, я уже был уверен, что проживу здесь, в областном центре долгие и долгие годы. С этой женщиной напротив. У нас родится двое детей. А большинство из тех поэтов, которым я сегодня с утра заглядывал в рот, когда-нибудь будут бегать за водкой для меня. Нет, я, конечно же, не стану большим писателем и выдающимся поэтом. Никто не станет. Но клубочек уже покатился, и остается идти за ним, упорно, пробираясь по бурелому и бросаясь вскачь - по просторным полянкам. Но, в основном, идти в безвестности, в пренебрежении. Просто идти. Нагонять попутчиков и терять их. Потерять и эту женщину, и, возможно, наших детей, и других женщин. Но всё равно идти. До своего места. Оно есть. И никуда не денется, пока я не дойду.

Словно что-то приоткрылось, выпрыгнуло пружинкой чертика из «Бриллиантовой руки» и никак не хотело залезать обратно. Пока я не увидел, что и моя возлюбленная, отодвинув тарелку, тоже смотрит сквозь и над. И стал думать, как глупо мы выглядим: уставившиеся непонятно куда — лучшая реклама этого заведения: наелись до осоловелых грёз. И разорвал непонятное витание в облаках каким-то глупым вопросиком, мол, вкусно было? На что получил странный ответ:

— Знаешь, давно хотела тебе сказать, — она изменилась: передо мной не студентка, строящая из себя серьезного и взрослого человека, а больше этого, больше себя — женщина. — Помнишь, когда мы познакомились в библиотеке... Как только села рядом с тобой, то в голове прозвучал голос: «У вас будет двое детей и вы проживете вместе всю жизнь»... Так странно... И сейчас... Ну чтото типа того же... Что-то почувствовала...

И мы принялись разглядывать друг друга. Както по-новому. Понимая, что ничего не изменить, не исправить и не стоит менять или исправлять.

Если же мне представится случай поведать нашим деткам что-либо из романтического о нас с мамой, то я мог бы рассказать именно это. И то, что ответил ей:

А мне показалось, что мы проживем вместе не одну, а несколько жизней...

Вероятно, я даже поверил в то, что произнес из меня поэт. Тот, из другой жизни. Который достиг своего места. Но без неё. Немного умудренный и потому косноязычный до легкого лукавства.

Как и сейчас. Была! Была у меня возможность им об этом рассказать. Спрашивали даже про истории нашего знакомства и решения пожениться. И я даже заикался о том кафе... Но рассказывал почему-то про другое. Даже не о том, как внезапно начали строить планы над пиалами с чесночным соусом и обглоданными куриными косточками. Какие могли быть планы по поводу семьи у провинциальной безотцовщины?! Какими могли быть мечты в стране, которая готовилась рухнуть в пропасть, что было понятно всем, даже таким оборванцам, как мы? Всем, кроме Горбачева и Ко. Планы свелись к двум вещам: после школы мне надо тоже поступать в институт в этом областном центре, а не в Томске, как собирался, и – желательно приехать на майские, когда её соседки по комнате разъедутся по домам. И был ещё один план: как можно чаще кушать в этом кафе.

Детям же я рассказывал о поваренке. Почемуто тогда он мне казался важнее всех наших планов и даже на мгновение приоткрывшегося видения судьбы. Потому что был смешнее. Каланчой возвышаясь за пухлыми, белоснежными, приветливо-суетливыми пингвиноподобными тетеньками среднего возраста, с непроницаемым вытянутым личиком, он деловито вышагивал, порой пригибаясь, над готовящимися цыплятами. А когда распрямлялся, то курносенький носик его гордо стремился к потолку, удерживая аккуратные кругленькие очочки. Как у Знайки на картинках в детской книжке. Высоченный, почти мультяшный колпак делал и без того высокого поваренка выше всех в этом кафе: и раздатчиц, и завсегдатаев. Важный, священнодействующий, он словно искоса и свысока наблюдал за всеми сразу. С видом, что ему неважно, насколько все ему благодарны за вкусную курицу. Он был до неприличия молод. А-ля Демьяненко в лучшую пору, снизошедший с экранов и университетов до нас, сирых, чтобы, накормив, облагодетельствовать. И был бы действительно комичен, если бы не обыденный факт – это он готовил самую вкусную курицу, что я когдалибо пробовал. А значит, имел полное право выглядеть как угодно.

Было очень неприлично разглядывать работников общепита, но мы с будущей женой, быстро разобравшись с ближайшими планами на жизнь, исподтишка рассматривали всех, почему-то наперебой хихикая. До поезда оставалось всего ничего, но мы

не решались покидать кафе с его поваренком, занимая такой нужный другим людям столик. Да нам уже не надо было куда-то спешить. Судьба заглянула на запах курицы и всё рассказала.

Кроме одного нюанса. Как и в любом храме здесь присутствовал маленький и приятный обман. Дело в том, что нам не подавали цыплёнка табака. Нас угощали другим, новым блюдом, название которого ещё не было озвучено не только в нашем мировосприя-тии, но и в доживающей последние месяцы всей советской стране. Здесь готовили курицу-гриль. После чего, готовую, приплющивали на манер «табака». Естественно, по сравнению с той, барнаульской, курицей, да в придачу с находчивым соусом, по вкусу — небо и земля. И мы прощали этот милый обман, поскольку не знали слова «гриль», и влюбились в молодого новатора.

Мы часто даём себе обещания, которые не в силах сдержать. Нет, само собой, как только я приехал поступать в институт, встретившись, сразу же побежали в «наш» «Цыпленок табака». А потом, ну как-то с деньгами стало туговато... А потом... снимали утепленную веранду в частном доме за ж/д вокзалом. Жена растила животик, в магазинах, даже имея талоны, ничего невозможно было купить, в кинотеатры, наводненные новыми американскими фильмами, - без очереди не попасть. А где ещё коротать зимние вечера не имеющим ни телевизора, ни радио, ни газет? Со стипендии в выходной – в «Цыпленок табака». Это стало превращаться из ритуала в рутину. Порции уменьшались при попытке удержания цены. Затем заведение плюнуло на тонкости и целиком окунулось в законы рынка. Так что в последний раз мы зашли, посмотрели ценник и грустно вышли. И поваренок у плиты, сам недовольный таким поворотом дел, выглядел виноватым и злорадствующим одновременно.

А вскоре мы переехали на другой конец города в семейное общежитие. И, занимая с шести утра очередь у магазина, чтобы купить по «визиткам» причитающиеся в месяц на человека килограмм сахара и муки, бутылку водки и пять пачек сигарет, я и думать забыл о каких бы то ни было цыплятах, тем более – табака. Года через четыре, оказавшись между корпусами политехнического, где мы бродили когда-то с озябшей студенткой, а ныне в поисках здания столовой, в котором, по слухам, в субботу давал представление самодеятельный театр «Ложа», состоявший пока из единственного актера, некоего Гришковца, не удержался - сделал крюк. Открыл вкусно пахнущую дверь, скользнул взглядом по неуны-вающему поваренку и порадовался, что есть в мире нечто неизменное. Заходить не стал – денег не было всерьез, давно и надолго.

А ещё через год, окончив вуз и шныряя по городу

в качестве молодого поднеси-подая в коммерческой фирме, безотчетно готового выложить рублики за вожделенную еду, бодренько рванул на себя дверь «Цыпленка табака». Но дверь была закрыта. Меняя работы, как носки, так или иначе проходя мимо, уже для проформы дергал массивную ручку, пока в витрине не появилась обнадеживающая табличка «Ремонт». Случилось – даже работал чуть ли не напротив, через пару домов, и первое время, выскакивая в поисках перекусить, ещё на что-то надеялся, забегая в переулок между площадью и кинотеатром. Но табличка «Ремонт» угнездилась настолько прочно, что, годы спустя, неотъемлемым атрибутом окружающей казалась действительности.

Причем, на удивление, - клубочек разматывался по указанной тропинке: у нас родился второй ребенок, у меня вышла первая книжка, а вызванное этими обстоятельствами чувство ответственности подгребало под себя всё новые и новые работы, переваливая за три-четыре одновременно. А между ними, полусонный робот, что я из себя представлял, вваливался в двери уже родного Союза писателей и извлекал из кармана заработанные купюрки. И поскольку этим жестом ощутимо отличался от большинства имевшихся в многокабинетье писателей и поэтов, они, невзирая на свои заслуги перед читателем и обществом, ретиво скользили к ближайшим ларькам. Отхлебнув сивушного из грязного стакана, побалакав о том, о сем, узнав новости, перекинувшись в шахматишки, я летел на очередную работу. Вскоре обрушившийся дефолт подсократил количество работ и денег, но высвободил массу времени, в которое вмещалось всё больше и больше глотков из знакомого мутного стаканчика.

Дети к тому времени подросли и могли сидеть сами с собой, то есть старшая – с младшим. Жена так же принялась зарабатывать самостоятельно, иногда порхая в длительные командировки. И сложилось как-то, что очередной свой день рождения я отметил именно в Союзе писателей, с размахом так, активно, словно не будет больше никаких дней рождений. Причем вероятность такого исхода на тот момент мне казалась фактически безусловной. Поскольку я отчётливо начал понимать, что Лермонтова в этом возрасте уже похоронили, а я, так и не выскоблившись из «подающего надежды», превращаюсь в лысеющего пьяницу без какой-либо перспективы не то, чтобы на жильё и место в этой жизни, но даже и на публикацию в местном журнале.

И посреди веселья, среди похлопывающих меня по плечу заслуженных мэтров, пивших за мой счёт, я вновь поймал внутри скользкое, навзрыд прохладное ощущение обмана. Причем нашёл явного виновника, обещавшего, да надувшего. При этом хихикающего из-

за угла. Под предлогом «покурить» вырвался на свежий воздух. Спешно оставив за спиной могучие двери Союза писателей, прятавшего в своих недрах пьяную мишуру, мельтешение мыльных пузырьков, рванул, не разбирая светофоров, к драмтеатру, вдоль него, по аллее, мимо политехнического... Почему-то казалось, что на этот раз всё получится, совпадёт. Я войду в храм и кину его служке в высоком колпаке «предъяву» за «кидалово по жизни». Ишь! как видения судьбы навеивать — мы тут как тут, а как пустышка выпала — видите ли, «Ремонт»!

Не знаю, сколько я стучал ногой в двери и пытался выцарапать сквозь стекло ненавистную табличку. Вероятно, до тех пор, пока не понял, что сил нет. Ноги отказывались двигаться, и, присев на ступеньки, я курил, с ужасом осознавая, что не знаю, куда идти и стоит ли вообще идти куда-то. На второй сигарете, почти засыпая, поймал за кончик хвоста чёткую до прозрачности мысль, что надо что-то менять. Но ящерка, как всегда, вырвалась без подсказки.

Это сейчас я прикидываю, что в возрасте убиенного Михаила Юрьевича мог бы спокойно перейти в его нынешнее местопребывание, закемарив на февральском крыльце закрытого кафе. Хотя кто его знает? Чужд я романтике. Скорее всего, чуток протрезвев, двинулся бы я знакомой дорогой к шабашу Союза, поскольку до дома вряд ли уже ходил какой-либо транспорт. Но случилось обыденное, до предела будничное. Меня «приняли» ми-мо проезжающие менты. Поэтому я склонен верить как раз во вторую версию своих предполагаемых действий. Потому как в «бобике» сразу сконцентрировался на ситуации, закрутил «кубикрубик» имевшихся в памяти телефонов... Длительное проживание в большом городе обязывает к различным знакомствам, среди которых у меня завёлся бывший муж подруги нашей с женой общей подруги. Который не раз в совместных застольях рекомендовал обращаться к нему, не последнему сотруднику районного медвытрезвителя, если даже привезут в медвытрезвитель другого района. Не было тогда сотовых, на память приходилось рассчитывать. Не подвела. Как только привезли, попросил позвонить. Напомнил про свой день рожденья, обещал бутылку коньяка, словом, унижался, пока не разрешили. Бывший муж кого-то там ни с того ни сего оказался на рабочем месте, попросил передать трубку дежурному. После чего меня... отпустили!

Ни туда, ни сюда. Посреди ночного города, между домом и Союзом, где меня, вероятно, ещё ждали, без денег и транспорта я шагал под снегопадом, доверяясь ногам. Пьяненький, довольный благополучным разрешением проблемы и одновременно мучимый мыслью, что придётся ставить «пузырь» этому «бывшему мужу». Отчегото не захотелось его благодарить. Вообще никого. Я не

стал серьезным поэтом. И никто не стал. За что когото теперь благодарить? Особенно какого-то там мента из «трезвиловки». И решил его забыть. Но этого мало. Надо было сделать так, чтобы и он меня забыл. Никогда не нашёл...

Умные ноги привели домой. Фактически трезвого и без подарков. Заспанная чернокудрица открыла дверь, чем несказанно удивила. По моим расчетам она ещё дня два должна была быть в командировке. Обнимая её, прижимая к себе, я хотел жарко шепнуть в ушко: «Давай уедем из этого города? Навсегда». И осекся, внезапно услышав: «Меня на работу зовут. В Красноярск. Потому пораньше и отпустили, чтобы решить... Поедем?».

Никогда тот мент от меня не получит бутылку.

... Въезжая под утро в подзабытый, но до тоски пропитавший поры городишко, отчего-то вспомнил это её «поедем?». Ласковое, вопрошающее. Что же должно было произойти, чтобы это же личико однажды перекосилось безобразной гримасой, это стройное тельце взвилось змеёй, исторгая мат и крики? После чего ледяные слова: «Я не хочу больше жить с тобой». Словно имела право решать, словно не было «Цыпленка табака», очередей по отоварке «визиток», словно не было ничего – и даже этого, с надеждой, «поедем?»

Город встретил убогой гостиницей, Союзом с теми же лицами, что и девять лет назад, ощущением – словно не уезжал. Но лукавлю, лукавлю... Я другой, и лица другие. Встречаются незнакомые, молодые. А некоторых уже никогда не встретить. Но отмечаешь, узнаешь что-то в суете. Программа конференции настолько насыщенно-обременительна, что и перекусить некогда. И в краткий промежуток между заседаниями из здания в здание, чуть ли не умоляя, бросаемся к организаторам: «Где поблизости можно поесть?» Амфорный молодой человек, роясь в памяти, как сплевывает: «Через площадь, направо — «Цыплята табака».

Боже мой! Теперь я понимаю, что такое девять лет. Как я мог забыть?! Бодро указывая коллегам дорогу, щекочу себя смешком, поскольку мне потом — на вокзал, за билетами. Как когда-то, как в первый раз. Как, чёрт его знает, сколько лет назад. А со мной уже нет той женщины, и детей вижу от случая к случаю... Клубочек мотает свою предсказанную нить: я вваливаюсь в долгожданно открытое заведение в компании писателей, что утвердились в литературе, когда меня ещё к детскому саду близко не пускали, к которым и сам пару лет назад постеснялся бы подойти, настолько далеки они от полузабытых снисходительных местных «мэтров». Получается, что и я тоже. Я? Полусельский парнишка с умеренным запасом амбиций? Да, это я вхожу в то

самое «Цыпленок табака» — наряду с именитыми и известными. Можно было и офигеть, если бы не фокус превращения храма в плацебо.

Мы вошли не в тот «Цыпленок табака». Мы оказали в том же помещении, при том же расположении стойки с блюдами, хотя и видоизмененной до буфетной. Нас встречала неопрятная тетка, словно подачку, вышвыривая на тарелках полусъедобную, по-барнаульски жёсткую курицу. Исчезли в небытии радостные белые стульчики, мамы и дети, папаши в галстуках. За круглыми деревянными столами, накрытыми кумачовыми салфетками, изображавшими скатерти, среди давно немытых витражей сидели бомжеватого вида типчики. По одному за столиком. Перед каждым стаканчик чегото невразумительно красного, бережно отпиваемого мелкими глоточками. Без какой-либо закуски. Алкаши не общались друг с другом, смирно отбывая свою дозу. На первый взгляд, половина из них уже была бездомной, другая – стремилась к этому.

И мне стало до щемления стыдно, что привел цвет сибирской литературы в эту с позволения сказать - «атмосферу». Однако голодному «цвету», кажется, было всё равно. Его обескураживало только отсутствие выбора среди салатов. Курица исчезала. Мы гуртовались у единственного свободного столика с краю, насыщаясь и попутно обсуждая тяготы конференции. Коллеги сокрушались по поводу ещё предстоящего плотного графика и в чем-то завидовали мне, вполне законно сматывающегося с мероприятий за билетами. И не складывалось, никак не складывалось дружелюбного общения и уюта. Попутно звонили на сотовый организаторы, поторапливая и напоминая, но мне всё больше становилось наплевать. Постепенно ускользали разговоры коллег. Откуда-то выскорлупливалась абсурдная связь между «я не хочу с тобой жить» и недобрым взглядом неряшливой тетки за буфетной стойкой. Словно моя бывшая жена оказалась виновата в превращении милого кафе в забегаловку. Или, что более вероятно, это я пинал дверь настолько сильно, что вывернул реальность наизнанку. Я всё пытался уло-вить движение в проеме служебного входа, ожидая, что вынырнет оттуда белоснежный высокий служитель в очочках, осыплется грязь с витражей, и под крики «розыгрыш» ворвутся к нам все, кого я любил. Друзья, жена, молодые, покончившие с собой поэты, дружелюбно похлопывающие по плечу мэтры, любовницы, дочь с сыном, и – пусть – даже знакомец из медвытрезвителя.

Я так был к этому готов, что когда через секунду ничего не произошло, почувствовал, что могу зажать рот и выпучить глаза, как мультяшный инопланетянин Кузнецов из детства. Поэтому, пробурчав что-то про «покурить», покачиваясь, направился к выходу. И едва

не заверещал, как в фильме ужасов, когда один из алкашей почти нежно придержал меня за рукав. Худой, небритый, в толстых линзах, он прошептал: «Мужичок, дай сколько не жалко, а?» От отвращения я дернул рукой, вырываясь. Даже хотел сказать что-то обидное. Возможно, дать по морде. Возможно, получить. Уже не важно.

Но он привёл свой последний аргумент. От удивления вытаращившись, автоматически выгребая из кармана на стол, что есть, — пару десяток с мелочью, — я разглядывал его, соображая, что меня изначально взбесило. Прося, он не смотрел на меня. Куда-то мимо. И теперь, шепча: «Благодарю, благодарю» — шарил мимо денег, торопливо скользя пальцами, словно старый тополь высохшими ветками. Даже за толстыми линзами почти совершенно слепой, сгорбленный, облезлый человечек, сказал: «А я когда-то поваром здесь работал».

Мне внезапно захотелось расстегнуть новехонькую дубленку, залезть во внутренний карман белоснежного отутюженного костюма, достать и отдать ему всё, что было с собой на командировку, но я почувствовал спиной, что коллеги и так пристально наблюдают за моими действиями. Или мне показалось. Или тот, кем я стал... кем был всегда... разумно пресек эти действия, позывом тошноты вызывая на воздух....

Я обреченно курил на тех же ступеньках, что и девять лет назад. И не хотел ничего менять. А возвращаясь с вокзала в Союз писателей, где после мероприятия ожидался банкет, как обычно, опережающий количеством спиртного закуску, купил по дороге курицу-гриль.







#### АННА КОНОНОВА

### НЕБОЛЬШАЯ САГА О СУШИЛЬНОЙ МАШИНКЕ

Рассказы



#### БААЛЬ АБАЙТ ИШТАГЕА1

Шук<sup>2</sup> Кармель ощущается издалека, по увеличению количества фалафельных, шуармы, пиццерий, киосков по продаже тунисских сэндвичей и бейгале. У каждой точки толкутся жаждущие дешевой насыщающей снеди. И шум, неповторимый рыночный шум, выдает его близкое присутствие так же, как рокот волн говорит о близком море. Потом на общем шумовом фоне различаются отдельные выкрики, и бросаются в глаза горы картонных коробок из-под овощей, штабеля деревянных поддонов.

- Бааль абайт иштагееаа!!! поет хороший баритон.
- Ой-ёй-ёй, вторит ему с левантийской негой тенор.
- Хайом бе шайм, бе штайм³, убеждает бас.
   Оглянись, ты уже на рынке!
- Бой, геверет!<sup>4</sup> кажется, обращаются ко мне но нет, то продавец бананов и хурмы зазывает покупательниц. Никогда не слышала звукового сопровождения у сырных прилавков. Похоже, у каждого есть постоянные клиенты. Когда-то я приходила на базар для того, чтобы пробовать. Мне важно было определить свои предпочтения среди местных продуктов. И как же было удивительно узнать, что одни и те же по названию сыры в разных лавочках различаются по вкусу, запаху, консистенции. Вот прилавок с пыльными, видимо ворованными в придорожном пардесе⁵, апельсинами. Старикбухарец просит за них два шекеля, но горячая марокканская старушка и тут торгуется: «Шекель!»

-Ладно, шекель! Бери и уходи! Я брожу по шуку, отдаваясь движению толпы, рассматриваю китайские игрушки и дешевую детскую одежду, щупаю ткань, на глазок определяю качество, прицениваюсь. Смятая в кошельке единственная двадцатишекелевая бумажка заставляет мозг работать непрерывно и с таким же звоном, как арифмометр. Забрела в мясные ряды. В охлажденных прилавках бесстыдно расставили ножки куриные тела, на крюках висят ободранные телячьи и бараньи туши. Амбре, скажем так, крепчает.

– Девачка, иды суда! – грузинский парнишка явно кривляется, подделываясь под базарных аборигенов. Это он мне, что ли? Нашел «девачку»!

На рыбном прилавке замечаю присыпанных колотым льдом крабов. Может, купить?

Не сегодня, решаю я.

Ощущение свободы и способности самой управлять своей жизнью мало-помалу возвращается в душу.

Худой араб-офеня в традиционных усах сует мне под нос связку погремушек.

- Гверет, бе золь, бе золь!<sup>6</sup>

Я выбираю погремушку, придирчиво проверяя ее на предмет безопасности для ребенка, так что араб теряет терпение и начинает горячиться, но мне все равно. Откладываю в сторону арабский товар и ухожу, спиной чувствуя взгляд продавца. Ивритские проклятья пополам с русским матом летят вслед, но отскакивают, не задевая, как от бронежилета.

За несколько километров отсюда ждет крошечная девочка, подарившая мне свое детство, и это не имеет рыночной цены.

Бааль абайт иштагееаа – хозяин сошел с ума (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Шук – базар *(ивр.)* 

<sup>3</sup> Хайом бе шайм, бе штайм – сегодня по два, по два *(ивр.)* 

Бой, геверет! – подойди, госпожа! (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Пардес – апельсиновый сад (ивр.)

Гверет, бе золь, бе золь! – дешево, дешево, госпожа! *(ивр.)* 

#### ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

Мама рассказывала... Последнее время отец ее не узнавал. Однажды он говорит ей:

- Отпустите меня! Зачем я вам нужен?
   Я должен ехать домой, к моей жене.
   Мама, сглотнув комок в горле, спросила:
  - А как зовут вашу жену?
  - Лиза.
  - А хорошая у вас жена?
- Хорошая. У меня жена и двое детей, я должен илти к ним.
  - А... вы... любите ... вашу жену?...
- Это вас не касается! Какое ваше дело!

Оставьте меня!

Мама глотала слезы, измеряя ему давление, проводя тест на сахар, подавая и убирая обед, укладывая спать и меняя пеленку...

Как у Тургенева – цветы запоздалые...

Поздно, слишком поздно дано было ей услышать это признание из подсознания человека, которого она всю жизнь так горько любила...

#### НЕБОЛЬШАЯ САГА О СУШИЛЬНОЙ МАШИНКЕ

Жанр саги предполагает некую неспешность, я бы даже сказала, — эпохальность, что ли, повествования, поэтому начну с преамбулы. Муж мой, отец моих детей — пережиток советского строя и яркая краска в палитре соцреализма. Короче говоря, он несун. Где что плохо лежит (или хорошо выброшено) — хватает и тащит — авось, в хозяйстве пригодится. И ведь пригождается же, к моему несчастью. Так прижились в нашем доме отремонтированные его руками посудомоечная машина и встроенная печка, а потом пришла и нагло взгромоздилась на стиралку и сушильная машинка марки Бош. Правда, белье она еще не сушила, так как было сломано реле, но являла собой очередную цель, поставленную мужем перед собой.

Парочка выходных дней в обнимку с проклятой немкой принесла ему желанный плод — машинка заработала. То есть, горячий воздух делал свое дело и выходил куда надо, а белье медленно, но верно, сушилось. Но пользоваться чудо-техникой мне не пришлось потому, что было лето, вода закипала в трубах, и на балконе белье сохло гораздо быстрее, чем в сушилке. Теша свое эго, Леша сделал пару замесов, я уловила между дел, что он чем-то недоволен, но потом наступила страдная пора переезда на новую квартиру, и машинка, за неимением достойного трона, оказалась выставленной в садик, где и заскучала под

раскидистым деревом, очень меня, впрочем, раздражая.

Однажды, после очередного спора с мужем о смысле жизни, я подала объявление о том, что безвозмездно отдаю некоторую бытовую технику. Мол, приходите и забирайте, кому надо. А теперь, собственно, и сама история.

Она позвонила через три дня, назвалась Эти. Израильтянка, воплощенная ассертивность.

— Какой марки твоя сушка? Какого года выпуска? Емкость? Загрузка боковая или верхняя? Когда последний раз ты ее запускала? Почему отдаешь??

Я несколько подалась под ее напором и откровенно мямлила. Мне было стыдно за то, что я не могу отдать людям первоклассный товар, и казалось уже, что она разочарованно бросит трубку... Что она говорит?

- Я подъеду посмотреть.
- Ну, конечно, конечно! Над моей душой уже стоял начальник, и в глазах его читалось: "Рабочее время работе!» Я успела прочесть название и парочку команд программы. Раздался звонок.
  - Где ты живешь?
  - А кто это?
  - Это я, Эти. Какая улица?

Я назвала и улицу, и дом, и квартиру. Начальник над столом картинно ломал бровь...

Через двадцать минут она позвонила и спросила, как доехать до моего дома. Я объяснила.

Потом она позвонила и сказала, что она у моей двери, но ей почему-то никто не открывает.

- Послушай, но я ведь на работе...
- Ат ло беседер! Я же сказала тебе, что подьеду, почему же ты не дома?

Дар речи меня покинул...

Я пробормотала, что мы не поняли друг друга, и очень жаль, но я не могу приехать в рабочее время.

- Но я же приехала! Где машинка? Я могу на нее посмотреть, раз уж приехала?
  - Hy, она на гине<sup>2</sup>... Под деревом...
  - Где? Где? Ее нет! Ее кто-то уже забрал!
- Эти, Эти, успокойся, посмотри внимательноона там, слева..
- Нету никакой машинки! Мне показалось, что она сейчас разрыдается. Отбой.
   Звонок.
- Слушай, я ее вижу, она слева под деревом.
   Так она не новая, а-а-а... Отбой.
   Звонок.
- А как, интересно, ты думала ее отдавать 
  Ат ло беседер! Ты поступила нехорошо! (ивр.)

<sup>2</sup> Гина – садик (ивр.)

тут у тебя ограда.

— Но невысокая, — стала я оправдываться, — я думала, э-э-э, что двое мужчин могли бы э-э вытащить ее за ограду...

Отбой.

Через час мы с Лешей едем домой. Звонок, и я уже по номеру знаю, кто это.

- Ты знаешь, что у нее не крутится барабан? Ну, честно говоря, я никогда не вникала в принцип работы. Может, в этой модели барабан вовсе и не должен крутиться, а наоборот, процесс происходит парадоксально, при помощи пара и электричества... Но Эти-то, Эти! Вот дотошность! В интернет, что ли, залезла почитать о технологии сушки белья машинами марки Бош.
- Леш, а что, в нашей сушке барабан не вращается?
  - Там ремень порван.

Тут до меня начинает доходить, но все еще на автомате я повторяю:

- Муж говорит, ремень порван... Эти?? Ты... залезла к нам на гину и забрала машинку??
- Ну ты же дала объявление, что ты нервничаешь? А сколько стоит поменять ремень? Леша так газанул, что мы чуть не врезались в идущий впереди фургон.
  - Скажи ей восемьдесят шекелей!!!
  - Восемьдесят шекелей! Эти помолчала.
- Нафальт аль а рош!!!<sup>1</sup> Лама ло амарт ли?!<sup>2</sup> Слева над дорогой висела громадная луна. Леша мчался к дому на запредельной скорости. Меня душил смех.

#### ПОХОРОНЫ

Сегодня мне хочется добавить штришок в рисованный карандашом этюд жизни и смерти в нашей стране. Хочу рассказать о самых прекрасных похоронах, которые я видела.

Это было в киббуце в центре страны. Хоронили восьмидесятилетнюю женщину.

Она была женой поэта, пережившей его на тридцать лет. Кроме того, что она прожила в киббуце сорок лет и, работая воспитательницей киббуцного детского садика, перецеловала и научила говорить все нынешнее его население, была она еще, видимо, веселым и заводным человеком, организатором первого косметического салона и ежемесячных посиделок с пением песен на стихи ее мужа.

Ее, видимо, любили.

На пасторальном деревенском кладбище среди плакучих сосен собрались все члены киббуца от мала до велика. Я была поражена — на лицах была неподдельная грусть, многие плакали.

Несмотря на то, что киббуц нерелигиозный, приглашенный рав пропел полагающиеся молитвы, старший сын, запинаясь от подступающих слез, прочел по бумажке кадиш. Потом внуки женщины, будто передавая друг другу эстафету, рассказывали об ее жизни, начиная с юности, истлевшей в Катастрофе. Потом внучка прочла письмо, написанное несколько лет тому назад, в котором описывала подруге свою удивительную бабушку.

А другая внучка прочла стихи о грусти под сенью сосен...

И раздалась чудесная мелодия старой израильской песни — все собравшиеся дрожащими голосами ее запели. Знаете, из тех трогающих душу мелодий израильского производства семидесятых-восьмидесятых годов... Потом мне сказали, что автором слов был муж той женщины, и посвятил их ей. Пели все! Невозможно было не петь, настолько объединяла эта песня, и в тех декорациях давала ответы на самые главные и оттого невыразимые простыми словами вопросы. Даже я, не зная слов, мычала под музыку...

Потом принесшие цветы тихо положили их на свежую могилу, а остальные — и я в том числе — простые камешки.

Я уходила с кладбища, бормоча себе под нос:

«Мне грустно и легко. Печаль моя светла, Печаль моя полна тобою...»

Кем? Той женщиной, которую я не разу в жизни не видела и знала о ней только по рассказам ее дочери, моей скромной сослуживицы?

Или речь шла о моем недавно умершем за тридевять земель от меня отце?

«Печаль моя светла, Печаль моя полна тобою...»

#### В ГОРОДЕ ЛОДЕ

Квартира-полуторка располагалась на «карке»<sup>3</sup>, и летучим тараканам не было нужды напрягаться и взлетать, трепеща прозрачными плащами крыльев. Они заходили пешком. Так же как, впрочем, и другая живность. Справедливости ради, надо отметить пери-

Нафальт аль а рош – Ты стукнулась башкой (ивр.)
 Лама ло амарт ли? – Почему ты мне не сказала? (ивр.)

Карка – первый этаж, на земле (ивр.)

одичность нашествий разного рода захватчиков. Был период рыжих крупных муравьев, период длинных, похожих на маленьких змеек, многоножек; период мелких злых мушек с удлиненными крылышками. Незабываемы времена нашей бескомпромиссной борьбы с мышами. То были первые дни совместной, еще хрупкой жизни с Лешей.

В ту ночь я проснулась, как от толчка, и явственно услышала длинное шуршанье на кухне. «Воры!» — закричал в панике внутренний голос. Шорох прекратился, и снова послышался, с короткими остановками. «Тире, точка, точка, точка, тире», — переводила я звуки на язык Морзе, но вдруг догадалась: «Змееяаааа!!!!!».

Леша проснулся. Откровенно говоря, рисковать собой ему вовсе не хотелось, но это были первые дни совместной жизни... Громко шаркая тапками, он медленно пошел на кухню, а я, как жена декабриста, следом.

Змеи не было видно, но кто из живущих в Израиле не слышал душераздирающих рассказов о двух, трех, четырех «пестрых лентах», найденных отважными змееловами в самых интимных местах дома!

- Тихо! вдруг скомандовал Леша, наверное, услышав мое дыхание. Тут явственно раздалась цепочка звуков, больше всего похожих на быстрое цоканье игрушечных копытец. И я увидела ее, с храбростью отчаяния перебегавшую открытое пространство пола.
- Мышь!!!!! Ай, мышь! истошный вопль принадлежал мне, как выяснилось впоследствии. Я стояла на стуле, поджимая то одну, то другую ногу, и орала: «Выгони ее! Поймай ее! Убей ее!»,— позабыв об образе женственной и интеллигентной девушки, который усиленно культивировала для Леши. Мой мужчина зевнул, налил в чайник воды, и поставил греться чай.
  - Почему ты ничего не делаешь?
  - Что я должен делать?
  - Поймай ее!!!
  - А я тебе не кот!

Долгая пауза. Я собиралась заплакать.

И тогда раздался требовательный стук в дверь. Леша насмешливо взглянул на меня и пошел открывать. Был час ночи. Вошли двое. Они не были одеты в форму, но слово: «миштара» читалось на их лицах.

- Ат Элена? Ат баа итану. <sup>1</sup>

В их руках голубела бумажка с печатью в виде меноры.

У Леши был вид человека, случайно попавшего

на съемки полицейского триллера. Он, казалось, решал, участвовать или оставаться зрителем. Я ничего не понимала. Они нехотя показали удостоверения. Они были настолько вежливы и полны сочувствия, что чудилось, вот-вот передумают забирать меня. Но не передумали.

Судебное постановление гласило: «Не фиг играть с нами в бирюльки! Из-за твоей неявки мы откладывали заседания три раза — и хватит, милочка! Теперь, силой, данной нам государством Израиль, мы задерживаем тебя на сколько надо, для дачи свидетельских показаний». Боже мой! Какой суд, кого судят? Я еще раз прочла бумагу сверху донизу, хотя строчки прыгали и двоились. «Мединат Исраэль негед² Ицхак Азулай». Парни из полиции были само терпение. Азулай! Ну конечно, это он, сосед сверху.

Ицик Азулай был тщедушным мужичонкой наркоманского вида. Он гордо называл себя маляром, но я никогда не видела его уходящим на работу. Его и детей содержала жена, многотерпеливая грузинская еврейка с лицом оскорбленной мадонны. С моим появлением в доме к немногочисленным интересам Ицика добавился еще один. Отрекомендовавшись представителем ваад байта<sup>3</sup>, он спросил меня, какие имеются пожелания в плане окружающей среды. Я простодушно (о, невообразимая глупость свежей олимки!) ответила, что хотелось бы посадить живую изгородь напротив очень низкого окна спальни. Ицик отнесся к просьбе с пониманием и с той поры проводил много времени у этого самого окна, как бы копошась по делу. Но ничего посажено не было, напротив, хлипенькие ржавые трисы<sup>4</sup> очень скоро оказались сломаны. Хриплый голос соседа преследовал меня с утра, когда я, выходя на работу, встречала его у подьезда, и до вечера, когда вернувшись домой, слышала его в опасной близости от окна. Однажды в пятницу я вошла в квартиру после того, как с тщанием новоявленного автолюбителя отмыла до блеска свою новую старенькую Фиесту. Бросила ключи на стол, позабыв запереть пладелет<sup>5</sup>. И вдруг почувствовала на шее звериную, давящую хватку.

Это был он, Азулай. Одной рукой он заламывал мне назад левую руку, другой — душил, и при этом тянул в глубину квартиры. Инстинкт самосохранения, уроки драк с мальчишками в школе, ну и конечно, совершивший разрушительную работу в организме соседа гашиш — помогли мне извернуться, ударить его ногой в пах и, после отчаянной борьбы, вытолкнуть из дома...

Назавтра, отдышавшись, я пошла к истинному

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ат Элена? Ат баа итану. – Ты Елена? Ты идешь с нами *(ивр.)* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Мединат Исраэль негед... Государство Израиль против (*ивр.*)

Ваад байт – домовой комитет (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Трисы – жалюзи *(ивр.)* 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Пладелет – железная дверь (ивр.)

ваад байту, Эли. Молоденький ясноглазый грузин был категоричен: подавай жалобу в полицию, иначе это животное решит, что ты просто ломалась.

После вызова куда следует сосед сверху притих и будто затаился. А я, получившая вожделенный покой, ринулась в радостный омут первых встреч с Лешей и не обратила внимания на несколько раз приходившие вызовы в суд по делу Ицхака Азулая.

Вот она, расплата за легкомыслие. Мне не надели наручники, но пронизывающее до костей ощущение несвободы сковало не хуже кандалов.

- Ты ее хавер<sup>1</sup>? Леша потрясенно кивнул.
- Можешь проводить, если хочешь.

И малая кавалькада из полицейской «Мазды» и старенькой «Фиесты» направилась в Абу-Кабир<sup>2</sup>. Во время процедуры фотографирования и снятия отпечатков пальцев был смешной момент, который запомнился Леше, но не мне. Его тоже позвали сняться анфас и в профиль, и его ломаный иврит никого бы не убедил, если бы не «наши» полицейские.

А потом за мной закрылась дверь... Я оказалась одна в камере с двухэтажными панцирными кроватями. Тюремщица сунула в руки подозрительного вида одеяло, но я, брезгуя, отбросила его подальше. Было холодно – стоял февраль, а зарешеченные окна не были застеклены. Очень скоро я позабыла о брезгливости и завернулась в одеяло, но это уже не помогло. Меня трясло от холода, зубы выбивали чечетку, и началось что-то вроде истерики. Я орала и колотила кулаками и ногами в железную дверь, требовала адвоката и доктора, хрипло ругалась по-русски и на иврите с употреблением непереводимых идиоматических оборотов. Ответа не было. Вот бы когда нареветься всласть! Но слезы не текли, и я выла, раскачиваясь на железной сетке кровати.

Вдруг дверь с гудением отворилась. Моложавая полненькая тюремщица в неряшливой форме поманила за собой.

– Я переведу тебя в общую камеру.

В общей камере было тепло. Даже некое подобие уюта — все-таки, там обитали четыре молодые женщины. Двое были девчонки с Украины, ожидавшие депортации, общительная ухоженная арабка, обвиняемая в махинациях с кредитными карточками, и маленькая филиппинка с непроницаемым лицом. Заключенные были заняты обычными утренними делами — одна мыла голову над раковиной, другая красилась, третья заправляла постель — и при этом непрерывно переговаривались. Я села на свободную кровать, нахохлившись, но вместе с холодом потихоньку отступало отчаянье.

Красивая арабка вложила мне в руку зеленое яблоко.

—Тохли, тохли, ат цриха харбэ коах<sup>3</sup>!

И тогда пришли слезы.

В 11 часов нас вывели на воздух. Солнце вышло из-за туч, и обрывки неба сияли сквозь крупные ячеи железной сетки, натянутой над тюремным двором. Женщины разного возраста и внешности сидели на солнышке, ходили, разговаривали. Я услышала русскую речь и подошла к говорившей. Ей было лет 60, волосы ее былы седы и взлохмачены. Она обращалась непонятно к кому.

– Как можно было обвинить нас в убийстве нашей единственной дочки? Она была для нас светом в окошке. Доченька моя! Двадцать девять лет ей было. Уснула и не проснулась. А меня оболгали! Тридцать лет учителем работала. Как так можно?

Арабка из моей камеры совещалась по-арабски с худой стриженой девушкой в адидасовском спортивном костюме. Она подозвала меня.

- Ат олехет хайом абайта!<sup>4</sup>
- \_ 5
- − Кен, бе штайм!<sup>5</sup>

Откуда она знала? Кто такая эта, в адидасе?

– Меня оговорили... Как можно?...

Прогулка закончена.

А через три часа закончилось все. Те же самые симпатичные полицейские на уже знакомой «Мазде» доставили меня в суд Рамлы. Я увидела соседа сверху, непривычно аккуратно одетого и причесанного. Он нес сплошную чушь, обвинял меня в приставаниях к его детям, в проституции и работе на КГБ. Я дала свои свидетельские показания, и дверь свободы была отворена. Я ушла из суда, не дожидаясь конца и даже не интересуясь, какое наказание получил Азулай. Свое наказание я уже получила. И хватит!

Я бежала по длинному фойе к заветному выходу, ничего и никого не замечая, пока не наткнулась на какого-то мужчину, который вместо извинений схватил меня за рукав.

- Лена!
- Леша?

Он обнимал меня нежно, но как-то неловко. Похоже, нам что-то мешало. Это что-то топорщилось у Леши за пазухой. Жестом фокусника он развел полы куртки — и маленький рыжий котенок местной ушастой породы полез, царапаясь, мне на плечо.

Xавер – друг, приятель (*ивр.*)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Абу-Кабир – центральная тюрьма (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Тохли, тохли, ат цриха харбэ коах — Ешь, ешь, тебе понадобится много сил (usp.)

<sup>4</sup> Ат олехет хайом абайта! – Ты сегодня идешь домой! *(ивр.)* 

Кен, бе штайм! – Да, в два! *(ивр.)* 

#### ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Честно говоря, я не уставала удивляться тому, что мы с Леей стали подругами. За годы жизни в Израиле это был единственный случай установления доверительных, на уровне исповеди, отношений с израильтянкой. Кроме того, она реагировала на юмор, что делало ее уникумом среди встреченных израильтян. Крупная женщина, громкоголосая, откровенно не умеющая одеваться и следить за собой, Лея, казалось, постоянно сдерживала счастливую улыбку, прорывавшуюся при встрече с симпатичными ей людьми.

Наш прагматичный менаэль<sup>1</sup>, тасовавший кабланим<sup>2</sup> без признаков сантиментов, многие годы платил за Лею большие деньги фирме, и это не обсуждалось даже в самые тяжелые для отдела времена.

Вначале нам просто понравилось вместе работать, потом она стала делиться со мной планами семейных поездок, тревогой за проходящего службу в Газе сына и гордостью успехами дочери-выпускницы, а я — расспрашивать о жизни в стране до моего появления и задавать вопросы по правописанию.

Она любила свой красивый дом, и ей было не в тягость убирать его. Каждый день она наводила блеск в комнатах, или на кухне, или перебирала одежду в шкафах. Муж Леи, тихий интеллигентный Исраэль, много работал, продвигался по административной лестнице и уже был начальником средней руки в одном из министерств. Как-то мы затронули детско-юношескую тему счастья, и Лея призналась, открыто сияя крупным, круглым своим лицом, что она совершенно счастлива, и желает мне иметь такого же верного друга, как ее Исраэль.

Я тогда находилась в процессе интервьюирования и отбора кандидатов на мои руку, сердце и не послушное разуму тело. Исраэль был не в моем вкусе. Он был ведомым, тенью отца Гамлета, некоей фигурой умолчания. Все связи семьи с внешним миром проходили через Лею, и принятые на тайных альковных советах решения озвучивались ею. На корпоративных вечеринках наши мужички, в каждом из которых умер политический обозреватель или хотя бы арабист, пытались втянуть Исраэля в споры о политике и обсуждение личностных качеств вождей Аводы<sup>3</sup> и Ликуда<sup>4</sup>, но слушатель он был терпеливый, а спорщик никакой.

То лето выдалось особенно тяжелым. Пыльные бури навешивали душный полог над городом, и все живое

замирало, завороженное тревожным желтым цветом неба. Я заканчивала несколько проектов одновременно. Людей не хватало, приходилось работать сверхурочно, и тем лучше — дома после очередного расставания с очередным Онегиным меня ждала только черепаха по имени Чуха. Лея тоже была в отпуске за границей.

В первых числах августа она вернулась, и я не узнала мою улыбчивую подругу – лицо потеряло простецкую округлость, глаза провалились и будто все время слезились. Во время путешествия по Аргентине случилось пугающее, сбивающее с ног, незаслуженное, - заболела дочка, Лиор. Подхватила странный вирус, который со скоростью снежной лавины овладел телом и привел к полной неподвижности. Девочку вынесли из самолета на носилках и в амбулансе<sup>5</sup> доставили в больницу. Для семьи Леви пришла пора войны на истощение с бестелесным и вездесущим врагом. Лея и ее муж дежурили у постели дочери, сменяя друг друга. Приходили иногда и Леины сестры, и братья Исраэля. Пришла однажды и я. Девочка лежала в забытьи, бледная до голубизны. Ее отец оживился при моем появлении. В палате находились еще две больные. У постели одной из них, опутанной трубками, тихо, но яростно переругивались по-русски молодой мужчина и, видимо, его теща.

Я вас и не просил приходить! Вы здесь никому не нужны!

— Это ты не нужен! — тихий голос морщинистой женщины срывался на свист. — После всего, что ты ей сделал. Будь проклят тот день и час, когда она тебя увидела!

Глаза лежавшей на спине девушки были открыты и смотрели ввысь, казалось, проникая сквозь этажные перекрытия и крышу, нижние и верхние слои атмосферы и выше, дальше, туда, где пространство переходит во время.

- Тишали отам, ма эфшар лаозор $^6$ , Исраэль указал глазами на посетителей.
- Безошибочно разгадав во мне русскоговорящую, мать девушки попросила:
- Пожалуйста, помогите! Я не понимаю, что говорят врачи!

Мы с ней вышли из палаты. Найденный в конце коридора и удерживаемый за рукав халата доктор, был по-чеховски краток.

- Положение серьезное. Переломы левых ноги и руки, трещины тазовой кости, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение. Операция через полчаса.
  - Что, авария? я не успела договорить, как

6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Менаэль – начальник *(ивр.)* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Кабланим – работающие через фирму-посредника *(ивр.)* 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Авода – партия труда (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ликуд – правая партия (ивр.)

<sup>5</sup> Амбуланс – скорая помощь (ивр.)

Тишали отам, ма эфшар лаозор — Спроси их, чем можно помочь (ивр.)

лицо женщины расплылось и потекло.

– Попытка самоубийства... Выбросилась с третьего этажа...

Отмеченные в календаре оранжевым цветом, летние недели сменились осенними, подцвеченными зеленым. Отпели и отплакали еврейский новый год и йом кипур. Зеленого в календаре оставалось совсем чуть-чуть, а за ним уже призывно голубела зима.

Сын Леи, Надав, отложил поступление в университет и устроился уборщиком в отделение больницы, где лежала Лиор. Лея переворошила Интернет, прочитывая любую, самую крошечную информацию о проклятом вирусе и способах его нейтрализации. Она разговаривала с врачами на равных, предлагая им опробовать лекарства, которые на клинических испытаниях где-то в Англии или Америке показали пятидесятипроцентный уровень излечения. Лекарства эти не входили в саль труфот<sup>1</sup>, но Лея писала письма в мисрад бриют<sup>2</sup>, требовала, просила, умоляла, уговаривала, являлась на комиссии, кричала, бросала на пол стулья – и добилась своего. Лиор пролечили экспериментальным препаратом, и жизнь сначала медленно, а потом быстрее и быстрее стала возвращаться к девочке. И вот, наконец, пришел день, когда ее, еще поддерживаемую с обеих сторон, но все же передвигавшуюся на своих ногах, вывели на больничный двор, усадили в машину и отвезли домой. С тех пор я получала от Леи радостные отчеты: «Лиор сама спустилась по лестнице», «Лиор сама приготовила яичницу», «Подружки устроили для Лиор месибатафтаа<sup>3</sup>», «Лиор решила учиться игре на гитаре». Это та девочка, которая не могла самостоятельно повернуться в постели! Лея праздновала победу, и отдавала работе все то, что задолжала за долгие месяцы борьбы за ребенка. Теперь она охотно оставалась допоздна, тем более, что я упархивала ровно в 16:00 и мчалась, включив форсаж, на встречу с мужчиной, при виде которого пробуждалась моя генетическая память и кричала, вызывая дрожь во всем теле: «Это ОН!».

В начале декабря, когда Чуха уже искала себе местечко для зимней спячки, внезапно и бурно, как всегда в Израиле, начались дожди. Моя светская жизнь приостановилась, и пришла пора изучения самого захватывающего в мире явления — любимого человека. Тут были и теоретические семинары на тему: «Если я скажу так, ты ответишь как?», и упоительные практические занятия под названиями: «Где...», «Как...», «Где так и где по-другому...», «Как здесь и как там...».

На хануку наш босс созвал отдел на традиционную вечеринку. Я пришла с Лешей, поэтому все действо и действующие лица представляли лишь декорации для поворота его головы или движения бровей. Помню только, что меня удивил Исраэль каким-то новым выражением лица и непривычной говорливостью.

А через пару дней уже удивила Лея.

-3она-руссия!!!<sup>4</sup> – я сьежилась от крика, хотя понимала, что относился он не ко мне.

–Еш ло⁵ зона-руссия!– она не плакала, она никогда не плачет, сильная женщина.

– Шомаат – ху миздаен ита! 6 — Казалось, ей доставляло горькое удовлетворение произносить эти слова. Она вдруг бросилась ко мне, и я успела подумать, что сейчас, видимо, я отвечу за всех зонотруссиет, но вместо этого обняла меня очень крепко и разрыдалась. Тысячи женщин земли задают подругам одни и те же вопросы:

Ты уверена? Как ты узнала? Кто она? Давно ли?

Я не была исключением. И получила ответы. Он завел себе второй мобильник, и однажды (нет, мужчины определенно используют только одно полушарие мозга!) — оставил его в машине. Надав ехал на вечеринку, и всю дорогу его раздражали сигналы о сообщениях. В конце концов он прочел их. То была любовная лирика на ломаном иврите. Она подписывалась неизменно: «Твоя Лара».

Когда Лея, подавляя внутреннюю дрожь, позвонила в справочную «Пелефона»  $^{7}$ , ей назвали имя и фамилию владелицы номера. Подключив кое-какие связи, не составило труда получить и адрес. После этого делом техники было узнать и всю подноготную соперницы. Сложив 1+1, Лея закричала от страшной душевной боли — она поняла, что ее разлучницей стала та самая неудавшаяся самоубийца, соседка Лиор по больничной палате.

В тот день Исраэля, вернувшегося домой поздно вечером, встречал семейный совет. Жена с красным, неживым лицом, сестра жены, полная благородного негодования, мать и отец, дрожавшие от свалившегося на них горя. Дети отсиживались в своих комнатах. И грянул бой!

- Лжец!
- Ты подумал о детях?
- Как ты мог?

<sup>1</sup> Саль труфот – корзина лекарств (субсидируемых) (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Мисрад бриют – министерство здравоохранения (*ивр*.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Месибат-афтаа – вечеринка-сюрприз (*ивр.*)

<sup>3</sup>она-руссия – русская проститутка (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Еш ло – у него есть (*ивр*.)

<sup>6</sup> Шомаат – ху миздаен ита – Слышишь – он с ней трахается (*ивр*.)

Пелефон – фирма мобильной связи (*ивр.*)

Чего тебе не хватало?

Исраэль молчал, не оправдывался. Залп возмущения рассеялся, наступила тишина. И тогда Леин муж сказал:

– Я ухожу из дома.

Лея боролась за семью. Она звонила мужу, просила вернуться, вспоминала прежние счастливые дни. Он открыл дело о разводе. Она грозила, что никогда не согласится на развод и раздел дома. Он забрал свою зарплату с общего счета. Она написала ему письмо о том, что любит его, несмотря ни на что. Он ответил, что любит другую.

Как-то на днях я видела Исраэля в городе. Он стоял, бережно поддерживая невысокую девушку, и что-то говорил. Девушка смеялась. Постояв с минуту, они двинулись, но шли очень медленно. Спутница Исраэля сильно хромала.

#### ИСТОРИЯ ЛЮБВИ...

Когда в возрасте 93 лет, после случившегося с ним инсульта, он потерял способность двигать рукой и ногой и членораздельно говорить, дети вначале поместили его в ту же комнату в доме престарелых, где уже несколько лет жила его 96-летняя жена, погруженная в болезнь Альцгеймера.

Но каждый раз, когда он видел, как сиделки занимаются ею, меняют подгузник, моют, или делают укол, — ему казалось, что она умирает, и он начинал истошно кричать, пытался вскочить с кресла-коляски, иногда падал и полз к ней. Поэтому его перевели в соседнюю комнату.

После утренних процедур его, умытого и выбритого, вкатывали в комнату жены. Два креслаколяски стояли рядом, и два старых человека сидели друг подле друга. Она — с непроницаемым лицом, занятая поиском расползающихся звуков и значений, он — весь устремленный к ней, поглаживающий здоровой рукой то ее холодное сухое запястье, то пергаментную морщинистую щеку.

Однажды утром его не привезли. Старшая дочь сказала: «Папа умер. Мы не придем семь дней».

Ничто не шевельнулось в ее глазах. Ни одна мышца не дернулась в лице...

#### АВРАМ И ИЛАНА

Аврам и Илана по моим, олимовским меркам, были несомненные богачи. Им принадлежал огромный пардес в центре пасторального Беер-Якова. Но их большой старый дом на перекрестке главных дорог городка выглядел скромно и, очевидно, жаждал ремонта.

Мебель и кухонная утварь были, похоже, из той же серии, что и мебель Бен-Гуриона на его ферме в Сде-Бокер. Все не новое, но по-старому качественное и пригодное для многолетнего пользования.

Авраму и Илане было под семьдесят, но они помогали мне, тридцатилетней. Каждое утро после развозки клемантин перекупщикам Аврам приезжал ко мне и приносил ящик цитрусовых. Это были великолепные тонкокожие мандарины, которые почемуто здесь, в Израиле, называются клемантинами, и невиданные мною до той поры красные грейпфруты, и блестящие оранжевые апельсины. Очень скоро, при всем моем, еще совковом, голоде на фрукты и несмотря на мою олимовскую, совковую же, жадность, образовался переизбыток, но отказаться было невозможно - в таких случаях Аврам меня не понимал. Всегда одинаково одетый в рабочие брюки и свободную рабочую же рубаху, с такой же полотняной фуражкой на голове, какие носили и в моем родном Минске пожилые евреи, он был немногословен, хотя знал по крайней мере четыре языка.

То были тяжелые времена для меня. Мы с моей больной дочерью были нестандартным случаем, и наша абсорбция не то, чтобы буксовала, а завязла по самые колеса. Нужно было возить дочку по врачам в разные места, а в ту невыносимую, непривычную для нее жару она падала в обмороки в автобусах. Я тогда еще не знала, откуда здесь приходит помощь, и рассказывала о своей беде только социальной работнице. И понять не могла — почему, ну почему, всякий раз оказывалось, что нам ничего не полагается.

Однажды Аврам и Илана пришли вдвоем в неурочный час, когда я сидела в прострации, тупо уставившись в стенку, и вспоминала все известные мне ругательства и проклятья. Говорившая по-польски Илана мастерски провела допрос с пристрастием, и я раскололась. Старики переглянулись, Илана написала номер телефона на листке записной книжки.

Когда тебья надо к доктор — ат мецальцелет так! — сказала она.

Грузовичок Аврама был таким же видавшим виды, как и его штаны. Сидя в нем, не надо было пристегивать ремни безопасности — в те времена, когда этот Ситроен сходил с конвейера, ремней еще не было. Мы с ним исколесили весь центр страны, переходя из рук в руки к разным людям, которые должны были решить Машину и мою судьбу. Тяжело вздыхая, Аврам возил нас даже в Тель Авив, куда, несмотря на пятидесятилетний водительский стаж, ездить опасался.

В тот день, когда произошел неожиданный и невероятный переход количества в качество, и вдруг кто-

то из решающих судьбы поднял палец вверх, я пришла в старый дом на перекрестке дорог. Лицо само собой растягивалось в улыбку, и сердце радостно частило, готовясь к взятию любых препятствий на открывшейся новой полосе. Дом был не заперт и пуст. Я стояла во дворе, ища глазами знакомые фигуры, когда соседи крикнули через калитку: «Илана бе бейт холим»<sup>1</sup>.

В больницу я не успела... Назавтра были похороны. Множество уважаемых жителей Беер-Якова заполнили маленькое кладбище. Дочь Иланы, с сухим отчаянием рассказывала незнакомым людям об упрямстве матери, отказавшейся делать центур (шунтирование сердца). Я пробралась между пожилых людей, говорящих по-польски, чтобы пожать руку Авраму, но он стоял, плотно окруженный сыновьями, как будто защищавшими его от враждебного мира. Его движения казались неуверенными, он несомненно ничего и никого не видел вне круга, образованного сыновьями.

Больше Аврама я не видела, хотя, уже живя в другом городе, несколько раз приезжала в Беер-Яков, «мястэчко», — как когда-то называла его Илана. Старый дом видимо ветшал, и придорожная часть пардеса высыхала. Соседи рассказали мне, что дети поместили Аврама в дорогой бейт-авот (дом престарелых) в Ришоне, но адреса они назвать не могли.

Последний раз довелось мне побывать в «мястэчке» в прошлом году, и я не узнала те места, где когда-то добрые старики помогли мне пустить корни в эту землю. На месте старого дома и пардеса кипела стройка. Одно высотное здание с красивыми балконами уже было заселено, и ещё десять пребывали в разной степени готовности еще десять. А там, где когда-то стоял старый грузовичок, рабочие мостили красным кирпичом голландскую дорожку.



Илана в больнице (ивр.)

### ДОРОГА

\* \* \*

Ничего не хочу, Ни о чем не печалюсь, Когда синих небес Развернется платок. Я иду и смеюсь, Солнцем вся пропиталась, И расту на ходу, Как зеленый листок. Наклоняюсь к траве – У нее именины! Весел хор воробьев, Одолевших мороз. И по знаку весны Я пою вместе с ними И танцую на ветке Одной из берез.

\* \* \*

Сняла серебряные кольца И засветила ночничок — И желтый круг лег на оконце, И перестал трещать сверчок.

Листала тонкие страницы При дуновении с земли И, добротой сияя, лица Людей неведомых цвели.

Набухшими ветвями ветер В саду без устали стучал... И день назавтра был так светел, Так лалека была печаль...

\* \* \*

Молочное дыхание ребенка — Как венчик над недальним огоньком. Спокойно спит зубастая гребенка, И ленты перепутались клубком.

Весь добрый мир, где мультики и лыжи, А страхи гасит мамина рука, Уютным псом придвинулся поближе И лижет щеку светом ночника.

«Печали нет у этого причала!» – Поют часы, качаясь на стене. Простая близость детского начала Велит без устали надеяться и мне.

\* \* \*

С березы капает холодный сок; обломлен сук — что нос у Гарпагона — простужен он, и как во время оно, безмолствует, стянувши поясок.

Медоточива жаворонка речь в далеком небе, полном слез и ветра, и краснотал сгибается приветно, чтобы затем по-дружески посечь.

Река несет баржи и рудовозы, их «здравствуй» рябью гладит облака, — и кажется счастлива и легка жизнь речника для плачущей березы.

#### ИГОРЮ

Все карие, все карие твои! И солнечные искорки в глазах... Я забываю спать и говорить, Необще мыслить, колкости бросать –

Когда не вовремя, некстати, без нужды, Без правил, не заботясь ни о чем, Они восходят, мелочность вражды, Случайность дружбы зачеркнув лучом.

Они явились, и безудержным броженьем Расплескан повседневный ритуал: Уже о правилах дорожного движенья Толкует мне безусый лейтенант;

Уже и в переполненный автобус, Который штурмом взят спешащею толпой, Я не стремлюсь, затем, что беспокоюсь О всех супругах, едущих домой.

Безумные поступки совершаю Неженственно, и глупо, и смешно: Забыв приличья, на сугроб влезаю И столпницей гляжу в твое окно.

И отдаю легко и бестолково, Готова всех любить и уважать... И все ищу, ищу два тихих слова, Которые могли бы нас связать.

\* \* \*

Когда с утра мы бродим в ссоре, Броженье мусора в умах, И сор пускается в размах, И волны морщат наше море, -

Я начинаю колдовство. Я достаю твою сорочку, Пою, разглаживая строчку До миллиметра подо швом.

Жар утюга – и жарко дома, Морщины гаснут под рукой, Ты – удивительно другой, И я – едва тебе знакома.

И тайно каждый полагает, Что скоро в море будет тишь... А ты, мой милый, говоришь, Что колдовство не помогает.

\* \* \*

После этого Мир фиолетов. А потом становится синим, Но еще без предметов. А потом голубеет (Это дыхание веет, Такое родное, что, возможно, мое) И становится розовым. Вижу в розовом свете, Что у нас появляются дети: Мальчик, и девочка, и мальчик еще... Влажно твое под щекою плечо. Розовый тает. Мир обретает вещность и смежность, Только высоко в углах потолка Запутались вечность и нежность.

\* \* \*

«Dosiegne dokad niemozebnie» Адам Мицкевич

Я ждала тебя со всех войн, где правый бъется с неправым. Я носила тебе, поле пашущему, хлеб. И на финишах гонок, среди прорвы машин и отравы азарта я тебе улыбалась, страх и ревность с лица стерев.

Я знаю – мала для тебя весна, А салют – только выброс шутих, пока преграда не преодолена, пока невозможного ты не достиг. Преображай! – наши дети играют в саду. Опережай! – и цветок превращается в завязь. Ты победитель – покамест я жду, покамест я улыбаюсь.

#### МИР ХЕМИНГУЭЯ

Рыба прыгает – и брызги Светлой стенкою взлетают. Обессиленно гребя, Побежденный побеждает, Побежденный побеждает Побежденного себя. И пьянчуг глумливых визги, Океана голоса, Не дотронувшись, повисли И качаются в глазах. Он идет неторопливо, Ни пред кем не виноват. Только шепчет бесконечно, Только шепчет терпеливо: Хорошо ли тебе, рыба? Рыба, рыба, я твой брат...

#### ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Я пленник. Я изгнан из рая, Где некогда жил мой народ, Обмерен мой хлеб до окрая, Пока не пришел недород.

Я мастер. Я изгнан из рая. Чужбина связала тоской Те руки, что строят, играя, И дом, и корабль морской.

Оратор, я изгнан из рая. Палач оборвал мой язык, Теперь среди плача и лая Немой исторгается зык.

Стряпуха, лишилась я рая, Как некому стало варить. Была весела и хитра я, А ныне нет сил говорить.

Я пахарь. Лишился я рая. Земля ненавидит меня За то, что измучил, смиряя, И не зашитил от огня.

Я пленник. Я изгнан из рая. Пустыней безлюдной иду, Улыбкою рот раздирая: Ну что ж, проживем и в аду.

ИЗ ЦИКЛА «ВЫЕЗД»

1

Ты еще тут, но тебя уже нет. В дальнем пути, на безмерной свободе. Нежными листьями липа исходит. Ты еще тут, но тебя уже нет.

И телефонного неразговора, Как ни натягивай – виснет шлея. Долгие проводы, долгие сборы... Кто из нас брошен: ты или я?

Вольному воля. В самом переходе Есть проявленье потребы души. В чем ты нуждаешься? В летной погоде. Чем же помочь тебе? Письма пиши!..

Все. Расстоянье меж близких планет Неотвратимо пошло к апогею. Космос дыханием не отогрею – Ты еще тут, но тебя уже нет.

2

А в Вене дожди зарядили, а в Вене Вскипают ключом за окном зеркала, А в них отражаются Веве и Плевен, И перетекают Москвы купола.

И дальше, и дальше, за плотным туманом, Унизанным бисерной теплой водой, Качается город, как бедная мама С приросшей плацентой пред бабкой седой.

Обрезаны связи. Ты вольная дочерь. Дичась, приняла ритуальный уют. А место твое до сих пор кровоточит, И «помощи скорой» кареты снуют.

3

…И вот холодная Европа Театра отворяет дверь, В цвета брусничного сиропа Раскрасив задник. И теперь В глубокой оркестровой яме Звучит рождественская песнь, Вдоль рампы дети над чулками Смеясь, разыгрывают день.

Среди конфетных декораций, Среди хоров, среди статистов, Средь лицедействующих наций Проходит нация артистов. И комик шуткою полынной Бодрит оболганный народ, Но вкус трагедии старинной Кривит от веку скорбный рот.

4

О вы, вошедшие в систему, Вы, новоявленная знать, Давно усвоившие тему: «Мучений совести не знать», Преподающие толково Кнута и пряника урок Стране, взбухающей в оковах, -Вы не пустили б за порог Сорвавшийся с орбиты винтик, Мысль, осознавшую себя. Кого в предательстве вините, Любовь к Отчизне истребя? Да, уезжает. Ностальгия Ей достается на паях Со вздохом загнанной России И серой пылью на полях.

\* \* \*

Написано после террористического акта в тельавивском дельфинариуме, когда погибли подростки, выходцы из бывшего СССР, в основном девочки.

Я послушаю тишину. Я послушаюсь и усну. Простынь хрупкую белизну Запятнаю и изомну, Но послушаюсь и усну.

Тишина решит за меня Не отдергивать кисть от огня Поминальной малой свечи, Даже если кожа кричит В темноте, в пустоте, в ночи.

Нет ответов, Но нет и вопросов, Где невесты моих сыновей. Снова с юга подул суховей. Я хотела осыпать их просом... В изголовьях их груды камней.

18.06.2001

#### ДОРОГА

И первый оставил следы на снегу, найдя направленье беды. Чуть слышно звенели следы во снегу, и звали, и рвались следы. Но в том, что случится, что будет потом, причина не первый – второй, тот самый, по звону почуявший дом, и след проложивший второй. И третий прошел, оступаясь чуть свет, и звенья цепочки сцепил. И днем пробежал озорной шпингалет, и тело тропинки скрепил. И пятый прошел, и шестой, и седьмой, и даже проехал возок – уже не тропинка – дорога домой, уж пояс, а не поясок пролег по земле, и без счету могил в дорожный пошло матерьял... А кто, оступаясь, с дороги сходил –

#### ПЛЯСКА ЖЕНСКАЯ

Балансирует.

Балансирует на тонких каблучках.

тот просто ее расширял.

И вальсирует.

Как вальсирует над грязью бабочка.

Вековечная

Пляска женская бесконечная –

Над грязью,

На грани

Паденья,

Паренья,

Светящихся рук,словно крыльев,

Сведенье,

Чуть выше, чуть ниже -

Лишь маленькой тенью,

Землёй намагниченной

Трогает землю.

Бесстрашная,

Как акробатка без лонжи:

Вздохнули мужчины холёные в ложе,

Глядят с любопытством –

Опаснейший трюк,

Сорвётся – на лезвия

Губящих рук...

Но трудно прицелиться в бабочку в тире,

И, ветром носимая, взмахами крыльев

Отводит опасность

И гонит напасти,

И дула, и псы, затворившие пасти,

Уходят и тают, дрожа, за спиною.

И в дымке мороза,

И в мареве зноя

Пречистая женственность

Дарит весною.

К ней тянутся листья,

И звери, и птицы,

И дети – чтоб прятать в колени ей лица,

И в ней обновиться,

И в ней повториться,-

О, женская пляска

Не станет иною.

#### ВЫШИТОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

#### Триолет

Нитка за ниткой ложится узор И начинает звучать еле слышно. Чёрный на красном от гроз и от зорь — Нитка за ниткой ложится узор. Красная слава и чёрный позор Переплелись — и История дышит. Нитка за ниткой ложится узор И начинает звучать еле слышно.



## алла ходос ПОД АБСУРДИНКУ



#### БЛИЗНЕЦЫ

Жили-были сиамские близнецы: Изя и Белла. Они жить друг без друга не могли, поэтому их прозвали Изабеллой. Изя изобиловал изъянами. Изгалялся. Брал измором. Грозился изничтожить изнеженную Беллу донну. И однажды Белла рванулась прочь. «Измена»,—задрожал Изя, увидев бездыханную Беллу. Обмякнув, он тоже навеки закрыл глаза. Словно из-под земли выросший иссохший могильщик похоронил их вместе, в братско-сестринской могиле.

На могиле вырос терпкий виноград «Изабелла». Он стлался по земле, пока не достиг ограды. Обвив её, он схоронил от посторонних взглядов ограду и саму могилу.

#### **БЕЗМЕРНОСТЬ**

Её дурная любовь всё росла. Росла, как опара. Бесформенная, выливалась к его ногам. Он увязал в её любви. Она уже ни о чём другом не могла говорить. Он уже не знал, что и думать. И что чувствовать, не чувствовал. И кого в первую очередь спасать, не понимал. «Сдерживай свой вулкан, не то я захлебнусь твоей лавой», — мысленно просил он. «А если что-нибудь случится?» — накликала она беду, задыхаясь. «Что ещё может случиться? — думал он.— Уже всё случилось». «Вдруг ты умрёшь?» — рыдала она. «Ничего, ты тогда тоже умрёшь, — думал он, сжав зубы. — И тебе станет легче». А вслух говорил: «С чего это мне вдруг умирать? Я люблю труд. Спорт. И тебя». Вне себя от благодарности, она стискивала его и подолгу не отпускала.

Он регулярно опаздывал на работу. В конце концов его уволили. Она подыскала ему новую работу – на дому. Он стал мастерить деревянные домики: скворечники, клетки. Для себя он построил будку. Сел в неё и стал сам себя сторожить. Раз он такая ценность. Но это продолжалось недолго. Ведь вулкан извергался. Пришлось лапами рыть землю и ползти, ползти...

Однажды в конце туннеля он увидел свет. Это действительно был свет, без обмана. Белый, прохладный, равнодушный свет.

#### ШИПЫ

Бочком, бочком подойду к тебе. Шипы, растущие на мне, как на других шерсть или перья, втяну внутрь. Теперь у меня гладкий бок. Затаив дыханье, чтобы шипы не высовывались, спрашиваю:

- А у тебя есть шипы?
- Да, говоришь ты глухо, втянув свои шипы в себя.
- Покажи, пожалуйста, прошу напыжившись, ведь не могу удерживать свои подолгу.
- Вот, со вздохом облегченья ты выпускаешь много маленьких шипов и становишься похож на большую щётку. А мои и так уже вылезли. На них даже красуются два три кленовых листка. Обнявшись, мы смотрим друг на друга. А шипы ведь не ножи; от них просто щекотно.

#### НОША

Обидел и ушёл. Не потому, что хотел уйти. Просто им нельзя было вместе. Обстоятельства. Пришёл к себе. Прирос к креслу. Встал, а оно не сваливается. Будто панцирь на спине или горб. Ходил из угла в угол всю ночь. Утром встал и, пригибаясь, пошёл к ней. Как горбатый старик. Она стоит и ждёт посреди пустой комнаты. «Прости меня», — сказал. Вдруг за спиной как грохнет! Он подал ей кресло.

#### ГИПНО3

Взгляд понимающий и обнимающий. Как ребёнок, вприпрыжку, спотыкаясь, ему навстречу. А то как старшая, осторожничая, на каждом шагу приговаривая: тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Или запросто, как равная, притворяясь, что всё нипочём. Глаза в глаза. Как сумасшедшая, озираясь. Как воровка, исподтишка. Как пьяница, не отрываясь.

#### ВРЕМЯ

Время, проведённое вместе. Всё проводим его и проводим! Доведём до угла, но не можем с ним никак расстаться. Остановимся, чтобы и оно остановилось. Чтобы отвязалось. Думаем, что совсем его провели! Но оно идёт... Тогда, честно закрыв глаза, мы начинаем играть с ним в жмурки. Но оно коварно открывает один глаз и подсматривает за нами.

#### **MECTO**

Деревня Терперь стоит у подножия действующего вулкана Изверго. Правда, действует вулкан осмотрительно и осторожно. Легонечко себе курится, дымок пускает в небо, греет землю. Здесь находится бальнеологический курорт. Вокруг вулкана пыхтят и булькают озёра животворной грязи. Сюда, на грязи, приезжают те, у кого на сердце камень. Те, кто претерпел гоненья. Те, у кого не счесть потерь, едут в Терперь. Тропинки, проложенные в бескрайнем саду, петляют, чтобы след приехавших поскорее затерялся.

#### ГУБЕРНИЯ

- В дальней Губернии люди говорят одними губами.
  - Возмутительно! Постоянно целуются, что ли?
- Ребёнка в макушку, брата в щёку, а любимого в губы?
  - Родителя в руку?
  - -А страннику только воздушный поцелуй?
- Что вы! Просто там каждую фразу произносят два раза. Первый раз беззвучно, лишь шевеля губами, будто пробуя её на вкус и проверяя, не звучит ли она обидно. Второй раз шёпотом. А целуют они воздух. Лёгкий воздух своей Губернии.

#### НЕВИДАЛЬ

Солнце на асфальте, подумаешь, невидаль! Но я не замечала его до сих пор. Просто по нему ходила. Раньше всё здесь было залито асфальтом. А теперь солнцем.

#### ОСКОЛОЧЕК

Глядя в зеркало, он пожал плечами и, бросив своему отражению: «Пока, лишний человек!», ушёл по делам. Отражение обиделось и застыло, надеясь, что человек передумает, а когда вернётся, может быть, даже извинится. А он и не собирался. Брился наощупь. Однажды порезал щёку. Когда пытался протиснуться в автобус, кто-то прошипел: «Куда лезешь, недорезанный!» Пришлось идти пешком. Отражение ждало. Оно таращило глаза и изо всех сил старалось улыбнуться. Человек старел, серел, а отражение оставалось молодым, хотя взгляд у него делался с каждым днём всё недоуменнее. Убирая комнату, человек обходил зеркало, и вскоре оно покрылось слоем пыли. Наконец, человек вынес на помойку ненужный предмет. Во время дождя и ветра зеркало зашаталось, накренилось и упало ничком. Соседский мальчик сложил осколки в старую сумку и принёс их домой. Дома он протёр тряпочкой каждый осколок. В одном мальчик увидел ноготь, в другом кусок ноги в тапке, в третьем напряжённо улыбающийся рот. Приклеивая осколки к куску картона, мальчик целый день собирал человека. Один уголок он припрятал, чтобы зайчиков на уроке пускать. Это был пустой осколок; в нём отражалось, что ни попадя: стол, кактус, горка немытой посуды.

«Мама, смотри, какой дядька!» – закричал мальчик, закончив работу. «Да, ты очень вырос, — сказала мама, рассматривая отражение в зеркале, собранном из кусков. — Совсем взрослый. Но прошу тебя, не надо играть с разбитым зеркалом, это не к добру».

Но мальчик и в ус не дул. (Усики как раз у него начали пробиваться.) С дядькой был запанибрата: болтал с ним, ел перед ним; демонстрируя мускулы, у него на виду поднимал гантели. Ведь дядька, хоть и молчал, на всё нормально реагировал: то бровь приподнимет, то губы вытянет трубочкой, будто говоря: «Ну-у, ты даёшь!» Однако вскоре мальчику наскучило так развлекаться. Уроков стали больше задавать, экзамены на носу. Да и с девочкой хотелось погулять. Или в футбол поиграть. Вот ещё, время терять, в зеркало смотреть! Тем более, что девочка сказала: «Какой ещё дядька! Это же ты! Не сочиняй! А то мне страшно». Мальчик смотрелся теперь только в осколок: чуб приглаживал перед тем как в парк культуры и отдыха идти. Только однажды он заметил,

## Под абсурдинку

что осколочек с краю портиться стал, а потом и весь както нехорошо помутнел и позеленел. Будто и не зеркало это вовсе, а осколок винной бутылки.

Мальчик хотел было отнести осколок обратно на помойку, да и зеркало туда же, от греха подальше, но не успел. Однажды в парке к нему на скамейку, пошатываясь, плюхнулся человек. Помолчал, вытер лысину мятым платком, и спрашивает:

- Слышь, пацан, а не будет ли у тебя зеркальтц-ца?
- Есть, сказал мальчик равнодушно, доставая осколок. Вот.
- Интересный интерьер, сказал человек, сквозь грязно-зелёное стекло рассматривая стол, кактус и горку немытой посуды. Чья это обстановка?
  - Наша, чья же ещё! сказал мальчик.
- Правдо...подобно! пробормотал человек и ущипнул себя за ухо. Нет, он ещё не спал.
- Продай мне, ос-сколок, пацан, жалобно попросил нетрезвый человек.
  - Меня Толик зовут.
  - Продай, Толик!
  - У вас что, зеркала дома нет?
  - He**-**a.
  - Так я вам большое продам, хотите? С дядькой!
- $-\,C\,$  кем? переспросил человек, удивлённо приподняв бровь.
- С тобою! закричал мальчик на весь парк.
   С тобой, папа!

#### БАБКА-МЕШАЛКА

Баба Ага нетвёрдой рукою наливает из каждой банки понемногу. У неё на подоконнике настойки настаиваются. С настроениями. Горькая — на репчатом луке. Кислая — на зелёном крыжовнике. А сладкая — на перезрелых абрикосах. Смешивает, пробует, поддакивает сама себе: да-да, Ага, почти готово, но никак не добьётся настоящего вкуса. Давай, бабка, закрывай белой тряпочкой своё зельечко. Давай, завязывай. И в погреб уноси. Живи без настроения, трезвая, как стёклышко чистой пустой банки.

Но не отходит бабушка от своего напиточка. Настроения у неё ведь всё лето зреют. Горькое она изпод земли достаёт, кислое с кустов срывает, а за сладким на деревья взбирается. Всё лето работает, а зимою отдохнуть никак не может. И вкуса ни в чём не находит. Однако надеется, что получится у неё, наконец, эликсир неслыханно сбалансированного вкуса. Да, да, Ага, уже скоро! Между тем возраст её такой преклонный, что постоянно хочется головушку преклонить. На подушку неудобно: волосы топорщатся. И к родному человеку

не подступиться. Муж её, Щей Бескостный, говорит: «Нежности от тебя всю жизнь ждал и не дождался. А теперь отойди от меня, баба колкая, неуравновешенная!» Вот она и стоит непреклонно, всё мешает да помешивает.

#### СОБАЧКА

Она почувствовала к милому сильную жалость. Не успела заплакать, как в ней проснулся разум. Проснулся, потянулся и встал во весь рост. Потом схватил тяжёлую палку с набалдашником и замахал над её головой. «Иди, помоги милому! — выкрикнул разум.— А-а, не можешь! Просто не хочешь. Нисколечко тебе его не жалко!»

Ах, вздохнула она. И выдохнула чувство жалости. Оно спряталось под кровать. Сидело и сопело, как преданная собачка. Ждало, пока она будет вершить над собой суд. «Ну-с, так кого это ты тут жалеешь? – язвил разум. – Кого, если можно так выразиться, любишь? Себя!» Тут чувство не выдержало, вылезло из-под кровати, высоко подпрыгнуло и показало разуму язык. «Ну, цирк!» – сказал милый и улыбнулся. У неё на плече, влажно дыша, сидела собачка.

#### ТЮЛЕНЬ

Мокрый, тяжёлый, сонный Тю! Лень. Ни рыба, но мясо. Щека прижата к мёрзлым комьям земли. Хвост в океане. Глаза прикрыты...

#### МОЛОДАЯ ЛИСТВА

Нежная слабость весенней зелени. Листья трепещут от малейшего дуновения. Кажется, что у дерева блестят глаза. Дождь или солнце — всё равно блестят. Каково же ему будет зимой — облетевшему, застылому, ослепшему?

#### СЛЕДЫ

#### 1. ИВАНУШКА

На мокрой дороге следы. Один — от копытца. Попью из него, козлёночком стану. Не беда: ты и в ином обличье признаешь меня, сестрица.

#### 2. ГАЛКА И ЕЁ МУЖ

Чей-то след как ниточка. Галкин муж, аккуратно причёсанный, молчит на суку. И смотрит вниз, не отрываясь: скоро след занесёт снегом. Рядом опустилась Галка и давай его чихвостить:

- Киау, почему не летаешь? Не кричишь! Не зовёшь! Зик! Замёрзнешь!
- Летать, галдеть кому это надо? сказал Галкин муж.
- Ип-ип, ни-и-кому кроме нас не надо, грустно согласилась Галка.
- Только что внизу был чей-то след. Тонкий, словно нить. Зик. Зигрек. Исчез безвозвратно, сказал Киау.
- Сейчас я тебе новый отпечатаю, пообещала Галка. Вспорхнула, приземлилась и поскакала. Лапки у неё крепкие, жилистые. На одном пальце кольцо обручальное. Чётко обозначились птичьи следы. И снег как раз перестал.
- Киау, Киау, позвала Галка Взгляни. Киау обратил взор вниз. Стрелка, кружок, зиг-заг.
  - Ип-ип, но где же ни-и-точка? затосковал Киау.
- Ты потерял нить, Киау? Ну, хорошо, хорошо! Галка взяла в клюв прутик и провела им по снегу.
- Прутик! Как просто! воскликнул Киау. И сломал сук, на котором сидел.

На земле он поднял сук и провёл им жирную черту.

На этот раз снег повалил хлопьями. Галка и Киау взлетели, и, опустившись на ветку, присели, так что их лапки погрузились в пух. Боками они прижались друг к другу. Галка дремала, а Киау пытался смотреть вниз, но перед глазами мелькали белые пятна и мешали видеть. Тогда он стал размышлять. Прутик как иголочка. След от него как ниточка. Тонко выходит. Но как-то непервозданно. Чей это след пропал навсегда? Когда снегопад утих, Галка встрепенулась и отряхнулась. Киау почистил ей шейку клювом.

Внизу шёл кто-то укутанный и тоже двуногий. Человек. Правда лапы, как это у них водится, спрятаны в ботинки на тёплом меху. Во время ходьбы отпечатывается тяжёлая обувь. К каким только ухищрениям не прибегают люди, чтобы не оставить свой след! Едут в машинах, летят в самолётах. А этот даже ребёнка посадил в санки. И теперь две симметричные полоски виляют, передразнивая бегущего взрослого человека.

Тут ребёнок схватил прутик и провёл по снегу длинную тонкую линию. «Вот-вот,— прошептал Киау,— похоже. Да не то». Снег повалил снова; человек смешно закричал по-лошадиному: иго-го-го и побежал прямо, а ребёнок засмеялся.

«Зик, зик, иго-го!» — воскликнула Галка и тут засмеялся Киау. «Ип-ип, ура! — вскричала Галка. — Всётаки мне удалось тебя порадовать!»

#### ОБИДНЯ

В деревне Обидня ни дня без обиды. Там каждый обижен на другого. Но у каждого своя, особенная обида. Ах, как всем жителям приходится осторожничать! Ведь они боятся усугубить своё положение. В Обидне никто не надирается и не дерётся. Там никогда не льётся кровь. Даже ссадин не получают обидняки. Только проливают слёзы. Горячие, горючие... Но никто не может утереть слёзы другому: все боятся обжечься. Когда высыхают ужасные слёзы, на людях уже нет лица. Вот и ходят они, безликие, обиженные насмерть. Ждут Смерти. Но Смерти жалко их, обожженных обидой. И она всё медлит. Всё приглядывается, да примеривается. Жители не натыкаются на вилы; не надрывают животики от смеха, не падают со стула во время пира! Жутко становится Смерти. Порою ей хочется покончить с собой, только бы не приближаться к Обидне.

#### БЕЗУТЕШЕЛЬ

Долгими вечерами в провинции Утельшитель жители шьют себе да пошивают. Платье смётывают, – поют. Сапоги тачают – насвистывают. Пальто расширяют, – пошучивают.

Лишь один житель — Безутешель. Шьёт себе жизнь понарошку. Если представляет, что блузу оторачивает — грустно усмехается. Воображает, будто сюртук кроит — смертельно устаёт. Щёку одной рукой подперев, пальцами другой руки водит перед собою, будто шьёт себе саван без иглы, ниток и ткани.

Так одна утельшительница купила ему всё настоящее: шей-пошивай, да добра наживай. А Безутешель говорит: нет, не к добру всё это имущество. Ты, зато, добрая. Сел напротив неё и давай ею любоваться и о ней мечтать. А потом взял и вышил её портрет на ткани.

#### БОЛОТО

В комнате пахнет болотом. Хочется верить, что это — просто запах ремонта. Правда, ремонт всё никак не начнётся. А когда раскрываешь окна, кажется, пахнет морем. Море, однако, давно отступило. По отмели ходят цапли. Их тонкие лапки зябнут. Зато цапли не могут увязнуть. Как мы увязли в своём.

#### **У**ЛЫБКА

Она сидела на краешке стула, слушая, как глухо звучат его удаляющиеся шаги и всё продолжала, продолжала улыбаться. Только что он хотел поцеловать её в губы, но её улыбка всё перечеркнула.

#### ГАЗОН

Газон аккуратно подстрижен, а человек оброс. Он лежит на газоне, как большой примятый цветок. Весь день лежит на газоне, сам себя позабыв. Как себе – венок, позабывший себя на своей могиле.

#### СТЫД

Стыдно думать. Мысли голые. Поскорей облеки их в слова. Слова греют. Но теперь мысли стали нарядными. Ещё стыднее.

#### КОПАТЬ ИЛЬ ПОЛЗАТЬ?

Жучиха радуется, если под её ножками гладкая поверхность стола, шершавая земля или шелковая трава. А Червяк землю роет. Блуждает по лабиринтам и всё-таки находит ходы и выходы. Сегодня Жучиха заблудилась в трёх соснах. Где ты, Червяк?

Может быть, ты добрался до корней? Ты и мне обещал указать лазейку. Показать суть вещей. Но сначала ты найди меня под одной из сосен. Ты ещё помнишь, под какой из них ты забыл меня? С тобою я шмыгну вглубь, закрыв глаза. Там я осмелею и открою глаза. И увижу смыслы, причудливо сцепленные друг с другом.Ты говорил, под ними нельзя долго стоять, можно притянуть их на свою голову.

Сколько комьев глины налипло на лапки после дождя! Не могу взлететь. А тебя всё нет.

#### СОННИЦА

Между грядок, на низенькой скамеечке, сидит молодая девушка. Она так долго сидит под палящими лучами солнца, что бобылю кажется, будто здесь она и созрела, как дынька. Мне бы такую доньку терпеливую, думает холостяк. А девушку просто разморило. От жары ей не хочется двигаться, не хочется распоряжаться собой: устраивать себя на работу, выдавать себя замуж и даже просто использовать себя для повседневных обязанностей - прополки огорода или уборки помещения. Она тихо дремлет, на что-то смутно надеясь. И вот наступает вечер. Усталые овощи и цветы никнут. Девушка встаёт, чтобы полить огород. И сама пьёт воду из лейки, а потом берёт дома хлеб, творог, масло и идёт к соседке. Соседка, девяностолетняя старуха, чьи глаза всегда закрыты, сидит во дворе своего дома у стола. Но старуха не спит. Вместе с девушкой они молча едят. Потом старуха рассказывает девушке то ли сказки, то ли истории. Свою жизнь старуха прожила, как в сказке. Как в страшной сказке, среди мучителей и

воров. Рассказывает она просто и будто бы равнодушно, но к концу сказки девушке всегда кажется, что марево вот-вот рассеется, и ей в наследство достанется ясная и спокойная жизнь.

Иногда они засыпают за столом, привалившись друг к другу.

Однажды утром бобыль приехал на автомобиле, и, распахнув калитку, как закричит: «Чем вы тут дышите!» и давай поливать спящих женщин тёплой водой из кружки. Не успела девушка раскрыть глаза, как бобыль затолкал её и старуху в машину. Вокруг была непроглядная муть и гарь.

«Вы что не чуяли, леса горят!» – кричал холостяк, кашляя и чертыхась.

Всем троим казалось, что так было и будет всегда: жарко, и тускло, и мучает жажда. Но когда через пару часов они приехали в какой-то малолюдный городишко, то увидели, что дома и палисадники вырисовываются чётко на фоне ярко-голубого неба. Дверь небольшой гостиницы на окраине им открыла хорошо выспавшаяся беспричинно улыбающаяся регистраторша. «Погорельцы? - спросила она так, будто это была фамилия, под которой они забронировали здесь Местов свободных нету, но главный комна-ту. – сказал пускать в вестибюль». В вестибюле сидели и лежали люди в пыльных, пахнущих дымом одеждах. Холостяк и девушка сели на тёмновишнёвый ковёр: она прислонилась го-ловой к его плечу, а он - к стенке, и оба сразу уснули. Два взлохмаченных подростка встали со скамейки, чтобы старуха, не могущая раскрыть глаз, легла. Она легла и крепко уснула, ведь утром ей можно было уже не просыпаться.

#### СВОБОДА И ЗАБОТА

- Я со своею дурацкой заботой покушаюсь на твою свободу.
- Это я со своею дурацкой свободой не могу отозваться на твою заботу.
- $-\,$  A ты не отзывайся. Ты принимай её. Как рыбий жир.

Сделав над собой нечеловеческое усилие, он глотнул целую ложку заботы. От этого у него выросли жабры, и он уплыл от заботливой в свободный морской простор.

#### **PAHA**

Он почему-то всегда сердился. Её он звал «моя рана», оберегал, лечил, а она всё ныла. Вернее, ему так казалась. На самом деле она только чуть-чуть морщилась.

Однажды он рассердился совсем не на шутку. Снял с неё бинты и сказал: «Ты жизни не знаешь! Посмотри, как другие страдают! Уходи от меня!»

И она пошла. Каждый листик к ней приставал. Ей было больно, но она ведь привыкла.

#### МЕЧТЫ

- Я говорю о бумчиках!
- -А сам думаешь о сумчиках! Говоришь о бумчиках, так долго и нудно, и вдруг сумчик, сумчик! Я прямо подскакиваю! Ведь сумчиков больше нет! Сумчики упали с горы в океан! Сумчики не умели плавать! Сумчики не просили о помощи, потому что знали только, как помочь другим, а как попросить, не знали! И вот теперь они прыгают с моего языка...
- —Это ты слишком озабочена сумчиками! Сумчики всех обманули. Так им и надо! Давно пора о них забыть и заняться, наконец, нашими насущными бумчиками. Сумчики бесполезны, как цветы в банке. Нет, как сухие цветы...
- Вчера ты сказал: «Сумчик это прах мечты... Или крах», я не помню точно, как ты сказал.
- Мечты, повторил ты. В сущности, мы так мало знали о сумчиках. Но бумчики опасны!...

### НАДЯ

Рассказ

В открытое окно можно было не смотреть: равнина отражалась в зеркале. Кое-где поросшая травой, там и сям расцвеченная куриной слепотой, вдоль и поперёк изрытая мелкими зверьками. Вдалеке равнину прорезали гречишные поля.

Дочка пасечника Надя не любила разглядывать себя в зеркале. Что нового она там увидит? Повзрослев, она мало изменилась: всё те же выгоревшие лёгкие волосы и слишком тёмные неспешные глаза. Зато небо в зеркале постоянно менялось. Золотистые, словно обмокнутые в мёд, облака вдруг превращались в мрачные, глядящие в себя тучи. Будто не видящие ничего вокруг, а тебя вбирающие. Чтобы перевести дух, надо было просто перевести взгляд: посмотреть на отражение мягкого диванчика, стоящего у окна. Фотографии на стенах лучились; лучи пересекались и слепили.

Надя часто просила отца рассказать о людях, чьи черты, запечатлённые вспышкой света, она помнила наизусть. Папина родня симметрично стояла и сидела, улыбаясь в объектив. Маминых родственников расторопный фотограф обычно заставал за работой: одна тётушка вышивала, широко отставив руку с иглой; вторая подметала, – так, что бумажки подпрыгивали и взвивались в пространстве полупустой комнаты, - с тех пор в ней мебели не прибавилось. Мамин старший брат с почтовой сумкой на боку мчался верхом на коне. Двоюродные сёстры были вынуждены держаться за спинки стульев: их так и подмывало сорваться и унестись. «Вот и мама была такая, – папа – скорая на подъем...» Мама погибла, когда от молнии загорелась крыша. Полезла на чердак, чтобы вызволить голубей, и сорвалась с лестницы. Некоторые родственники мамы были значительно выше остальных. «Великаны?» - однажды спросила Надя. «Да нет, ответил папа, намазывая мёд на хлеб, – просто неудачно снято». Присмотревшись, Надя разглядела холмики, пририсованные под ногами высоких людей. С тех пор при взгляде на фотографии Надя чувствовала, что её скуластое лицо начинает гореть, будто она знает тайну, о которой так трудно молчать.

Папа виду не подал, но после этого разговора стал сам не свой. Начал ходить за Надей по пятам, опекать, следить, чтобы она делала уроки — надо ведь в институт поступать!

«Так в какой институт будем поступать, Надя, в сельскохозяйственный или в педагогический?» – спрашивал он, заплетая бахрому скатерти в косичку.

«Ну посмотрим, — отвечала Надя с улыбкой, ещё есть время!» Что-то не слишком нравилась ему эта беззаботная улыбка; дочка словно говорила ему: как судьба теперь ни обернись, а всё равно будет по-моему. «Главное не по-твоему, а по-хорошему», — думал папа в ответ. Вдруг Надя начинала смотреть куда-то далеко, куда лучше не смотреть: ведь тогда увидишь полосу, где земля встречается с небом, и может показаться, что там конец света, что в мире ничего больше нет кроме их дома, стоящего на отшибе, пасеки и гречишных полей, врезанных в равнину. «Совсем дитя допёк, — пугался папа. Девочка способная, но читает не по программе, завалит экзамены и будет тут с пчёлами весь свой век кружиться».

Последнее время он пребывал в хлопотливой рассеянности. Однажды лицевую сетку забыл дома на буфете. На пасеке он нашёл запасную, не из тех, что когда-то шила ему Надина мама, а магазинную, короткую. Пчела снизу залезла под сетку и укусила папу в щёку. Дома Надя смочила тряпочку холодной водой и приложила к больному месту. «На работе покусали, зато дома пожалели», — утешился папа, ложась на диван. Он так и уснул с мокрой тряпочкой под щекой. А Надя, бесшумно двигаясь по дому, принялась протирать пыль. Подпрыгнула, чтобы снять со стены паутинку, и на секунду повисла в воздухе. «Уснула я что ли? — подумала Надя, опускаясь на пол. — Когда летают во сне, растут... С чего это я сплю на ходу?»

На всякий случай она осмотрела пыльную тряпку и свои руки: паутинки не было и быть не могло. На стенке тоже. Вздохнув, она стала протирать высокую книжную полку. Паутинка свисала с рукава. Может, новую подцепила? Почему-то было тревожно и всё-таки весело. Надя вдохнула побольше воздуха, как делала, когда ныряла, и подпрыгнула. Оказалось, для того, чтобы взлететь, нужно было огромное усилие воли. Его хватило только на то, чтобы задержаться в воздухе на мгновенье. Не решаясь верить, Надя приземлилась. Тогда она вошла в спальню и немного разбежалась. От этого во время прыжка её тело наклонилось вперёд, и она зависла над чистым кленовым полом. В ярко освещённой комнате можно было видеть в отдельности каждую пылинку... Скоро они стали сливаться, и Надя оказалась внизу, напротив зеркала, в котором отразилось её заплаканное лицо.

Наутро папе показалось, что хлопочущая на кухне Надя двигается, как слепая, узнающая предметы наощупь, и лишь в последний момент ухитряется избежать столкновений со стулом или мусорным ведром.

- Что-то много мечтаешь, доча.., витаешь в облаках, проворчал он, катая хлебный шарик по столу.
  - Это я о будушей профессии думаю, папочка!

Папа улыбнулся: – Ну, ну...

- В балетный думаю.
- В хореографическое училище? «Говорят, что балерины рожать не любят, подумал он, но даже это ещё не самое плохое». А вслух сказал:
- Ну что ты! Во всём себя ограничивать! И булочку не скушать! Тут он пролил горячий чай себе на пальцы и, замахав руками, вскочил со стула.
- Ещё один несчастный случай, проговорил он удивлённо. Сколько же можно!
- Под холодную воду! воскликнула Надя.
   Папа тут же открыл кран и подставил лицо под струю воды.
  - Руки! закричала Надя.

Он поднял руки вверх и то ли всхлипнул, то ли рассмеялся.

А на дворе посуровел. Рано сдаваться. Надо бороться. За неё.

Надя вздохнула с облегчением, когда он ушёл. Спохватилась и снова вздохнула: от стыда. Ну, ничего, она будет весь день готовиться к выпускным экзаменам, а с вечера начнёт слушаться папу. Будто нехотя, она взглянула вверх, туда, где кружились пылинки. Наде показалось, что она видит их в микроскоп. Пылинки были ворсистые, растрёпанные. Мысленно устремившись ввысь, она и впрямь оторвалась от пола. В эту минуту ветер, подбросив гардину, влетел в комнату. Надя подумала о нём как о приятеле: это он за мной зашёл. Ветер подхватил Надю и вынес наружу. Там он стал нетерпеливо подталкивать её. Не успела она подумать, что может обойтись и без его помощи, как ветер успокоился.

Мимо пролетали птицы. Бело-золотистый сапсан, прижавший к туловищу лапы, как певица руки, проклекотал над её головой и отпрянул.

Внизу толпились жители из соседнего хутора. Люди постарше видывали всякое. Остальные наслушались рассказов. Поэтому и те, и другие, стараясь ничему не удивляться, принимались смотреть себе под ноги. Конечно, многие из них тоже так могут, убеждала себя Надя, просто боятся попробовать. Но были и такие, которые не отводили глаз, взглядом приказывая: вниз. Так стрекоз пригвождают булавкой к картону. Наде стало труднее удерживать высоту. Опустившись, она увидела, как тёмно-синие деревенские ласточки чиркали крыльми по воде, хватая мошку, и снова легко взмывали ввысь. Сможет ли она снова подняться? Вдруг она увидела долговязого мальчика. Он стоял на пригорке, запрокинув голову и открыв рот. Надя прыснула, неожиданно для себя самой перекувыркнулась в воздухе и сразу же высоко взлетела.

Взмыв, она оказалась в сумеречном пространстве. Мелкие частицы пыли и крупицы морской соли соединялись с влагой и тяжелели на глазах. И вот уже над Надей была плотная, почти чёрная, туча. Вдруг Наде показалось, что огромная птичья стая разом взмахнула крыльями. Дождь подхватил девочку и начал швырять из стороны в сторону. Она захлёбывалась и тонула в потке. И тут её снова нагнал ветер. На этот раз она не могла от него освободиться. Ужаснувшись, Надя поняла, что теперь и он влечёт её вниз. Она ничего не видела вокруг кроме сплошной серой пелены. Тогда она расставила руки, как в детстве, когда бежала навстречу маме. И вдруг почувствовала, как что-то колкое и одновременно мягкое царапает и сразу гладит её. Обхватив ствол старого тополя, Надя уселась на одной из его крепких ветвей

Дождь перестал только с приближением вечера. Жители соседнего хутора уже попрятались по домам. Надя спустилась на землю и тоже поспешила домой, ведь папа давно беспокоился. От её высыхавшего на ходу тренировочного костюма шёл пар. Она шла легко, едва касаясь земли. Вокруг стояла тишина. И ожидание. А чего уж такого особенного ждать, думала Надя. Дождь прошёл, растения воспряли. Выходит, это она сама ждёт. Как другие с надеждой ждут нового, она ждёт, чтобы всё повторилось опять...

Издалека она завидела пригорок, на котором раньше стоял подросток. Мальчик тогда смотрел на неё с изумлением и восхищением, а чем же она лучше его? Ведь в том, что она летала, не было её заслуги... Скорей, скорей, подгоняла себя Надя. Взбежав на пригорок, она оттолкнулась от земли и одновременно от чего-то в себе... Надя летела стремительно... Казалось, что она сейчас упрётся в яркие полосы заката.

«Прохладный воздух! – тихо говорила она. – Мне повезло:



ты поддерживаешь меня. Ведь я здесь самозванка...»

Вот и пасека. Пчёлы затаились в ульях. Только одна разведчица подлетела к Наде. «Ну иди сюда, иди!»

подозвала её Надя. – Пчела села ей на ногу, но почемуто не укусила, а просто доверчиво прижалась мохнатым тельцем.

Зато папа выбежал из дома, будто ужаленный. И закричал: «Где ты была, где ты была?» «Ты ведь знаешь», — ответила Надя сверху. И вот я уже здесь». Прежде чем приземлиться, она слегка погладила его лысеющую голову.

### СТАЛЬНЫЕ РУКИ И КРЫЛЬЯ

Рассказ

1

Сестра Майиной бабушки, Буська, после инсульта не могла правильно говорить. Она сидела перед телевизором и училась. Ей было всё понятно и покойно, когда выступал Леонид Ильич. «Это — самое лучшее», — говорила она. Она показывала на его мохнатые брови, на неповоротливый рот; может, он иногда хотел улыбнуться, но не мог, или ему было нельзя. Однако он говорил, неторопливо и уверенно. Комнату освещал экран, поздний вечер казался белой ночью, и можно было не спать. Перед буськиными глазами вдруг вспыхивало: «Не забудьте выключить телевизор», и под вой сирены Буська вставала, говоря: «У меня думы, думы...» Включив едкий ночной свет, она ворочалась в кровати, чтобы утомить себя и утолить думы.

Она продолжала думать утром, когда пила чай или когда по заснеженной дорожке выходила на расчищенный проспект Ленина, покупала бублик и пакет молока в хлебном и, сконфуженно улыбаясь продавщице, прятала сдачу в карман. Буська забыла слишком много существительных и о действиях людей не знала как сказать; только некоторые определения, в которых брезжили чувства, задержались в её памяти, но всё равно она думала свои думы постоянно. Каждый раз, когда Майя входила к ней, буськино мягкое и пухлое лицо начинало чрезвычайно морщиться, и она вытирала глаза чистым скомканным платком.

Часто она рассматривала свою жизнь, разложив перед собой фотографии, как пасьянс. Теперь она уже знала, кто эти двое, *быстрые*, врезаются в это *мокрое*.

Фотография изображала полную, но лёгкую, в купальной юбочке, двадцативосьмилетнюю Буську и несолидного тощего Солика, похожего на древко от знамени победы; рубашка неизвестного цвета надулась за его спиной. Они бежали к морю. «Это — самое хорошее», — улыбается Буська. Майя пишет ей в блокнот: «Море», — и рисует плоскую волну, «Песок», — и рисует много точек. Теперь и у Буськи, как когда-то у Солика, есть заветная тетрадь.

День за днём она рассматривала свою сфотографированную жизнь, как её муж, ещё три года назад, смотрел серии «Клуба кинопутешествий». Много лет длилась передача, и каждый раз в конце обещалось новое путешествие. Но когда он был с ней, она могла сказать ему всё, что взбредёт в голову, например, что она могла бы жить в Женеве, как какая-нибудь космополитка.

Буськин муж, Соломон Львович, или Солик, многие годы увлекался географией. В толстых желтолистых тетрадях в линейку он записывал название страны, столицу, количественный состав населения и общественно-политический строй. Он любил систему, ведь он всю жизнь был бухгалтером, и многие годы — главным, а последней его работой была — главный бухгалтер Совнаркома.

Что-нибудь вечно записывать — это семейная традиция. Если у Майи родятся дети, они рано научатся писать. Их будут звать играть и кататься, станут предлагать наркотики и навязывать случайные связи, но они отвернутся, достанут свои вечные ручки и блокноты и станут записывать свою жизнь.

На одной фотографии было написано «Черневка, Украина»; это там они с Соликом дни и ночи напролёт, годы напролёт, гуляли, ведь надо было хорошо познакомиться, на всю жизнь, чтобы не сделать невзначай ошибки. А Женя, будущая Буська, как Майя прозвала её в три года, когда та с удовольствием подставляла ребёнку свою мягкую, но тогда ещё полную и круглую, пахнушую корицей и какао, щёку отъявленной кулинарки, — может быть, слишком поспешно, с явным наслаждением подставляла свои овальные шёки, облизанные губы и мокрые глаза недоверчивому Соломону Львовичу, — так что в его душу закрадывалось подозрение, достаточно серьёзна ли Евгения Борисовна, его пышная, кружевная, чувствительная суженая.

«Буська, это Черневка», — Майя достаёт бледную, словно давно прошедший день, открытку: бело-розовая, будто сирень, морская пена, облака и они, незагорелые, вдвоём.

«Чёрная?» — неуверенно спрашивает Буська, словно картинка копотью покрылась.

Когда-то Солик рассказывал, как вымирала Черневка в тридцать третьем. Женя в драповом пальто засыпала тогда от голода на посту библиотекаря. Солик вывез её в Мариуполь.

А вот все сидят за столом, уставленном роскошными яствами и прозрачными бутылками. Солик улыбается подвижным ртом, дистанцируясь от бутылок. Буська стоит, свежая, оживлённая, с блюдом румяных котлет в руках. Дородные и фигурные женщины с шестимесячной завивкой, лысые мужчины в жилетах, строгие и прилично улыбчивые. А вот известный Майе толстый Николай Иванович, лучший друг Солика, тоже, в своё время, важный и главный; его не станет через три года, когда на даче он ляжет в гамак отдыхать от всех тягот и напряжения жизни; гамак не выдержит, Николай Иванович сломает шейные позвонки и умрёт. Останутся его жена Ира с дочкой и сыном Лёней, который ещё в нежном возрасте замышлял жениться на Майе. Сразу после фотографирования пожилые расслабятся и будут петь свои песни: «Шаланды, полные кефали», «Журавли», «Враги сожгли родную хату». Потом Женя внесёт золотистые блинчики с начинкой из жареной муки, ведь то, что Солик любил, он хотел разделить с друзьями.

У него была большая, подвижная, слегка дрожащая улыбка, словно ему на губы вдруг садилась бабочка. А иногда на губах его, будто моль, трепыхалась усмешечка. Она обычно небольшая возникала, когда Солик с Николаем Ивановичем смотрели информационную программу «Время». Николай Иванович говорил: «Опять перевыполнили», — а Солик напевал в кулак: «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца красный помидор». Он любил восседать с друзьями в своём доме, за его спиной была чистота, ведь Буська нашла место каждой бечёвке, каждой иголке, каждой старой открытке, чтобы Солик, ценя мир и порядок, мог свободно отдыхать всю свою старость. В некотором отдалении от системы большой Солик любил свою маленькую домашнюю систему.

В молодости он чуть было не погиб, не сгинул; он погубил бы тем и Буську, потому что она непременно умерла бы от горя, но вместо этого она его спасла. И не ожиданием своим она спасла его, а бурным действием. Когда Солика забрали, она сразу же решилась на роковой аборт, после которого не могло быть детей, и уехала в лагерь, как декабристка. Там ей выдали умирающего от дизентерии Солика. Один знакомый врач сказал, что Соломону Львовичу могут помочь только кагор, свежая рыба и гречневая каша, и всё это Буська тут же достала, словно из-под земли. Был уже тридцать девятый, и на работу Солик не выходил целых два года. Он был списан, вычеркнут из живых, в то время как Буська одновременно работала в городской и сельской библиотеках и каждый день готовила парового карпа, сливочную гречневую кашу и отмеряла Солику три раза в день кагор в маленькой серебряной рюмочке. В сорок первом, в военкомате, он объявил, что жив, был признан и призван.

А вот и Майя тут как тут, год как родилась, и её родители смотрят на неё с недоуменьем, а Солик, уже пожилой, с морщинами вокруг улыбки, сидит на корточках возле печки. Майя балансирует на его ноге, вцепившись в неё двумя руками, он же бросает полено в печь правой рукой, а левой поддерживает Майю за спинку. Огонь пляшет совсем близко, Солик своевременно кормит его поленом.

«Буська, это кто?» «Это — Соль», — говорит она. «А это?» «Это — хорошая девочка».

После войны они жили все вместе, на улице Железнодорожной, в доме, построенном пленными немцами; отец и мать звали девочку *Майя*, а настоящая бабушка, которая ела суп из блюдца, потому что жить ей уже оставалось мало, звала её *Майенька*; дети в школе говорили ей *Майка*. После того как умерла бабушка, Майя стала Буськиной и Солика внучкой, *Маленькой*.

Когда папа уезжал в командировку, а мама ложилась на очередной аборт, Майю отправляли пожить к Буське и Солику на недельку.

После трёх лет они никогда больше её не целовали — отец попросил не делать этого из гигиенических соображений, а также потому, что прочитал в журнале «Здоровье», будто это может неправильно отразиться на половом развитии ребёнка в подростковом возрасте.

Буська и Солик спали на железных кроватях с панцирными сетками; Майя любила лечь между ними; там, где кровати соединялись, было жёстко, но можно было неожиданно скатиться на мягкую половину и прыгать на спине, борясь со сном. Когда она уставала, ей представлялось, что она покоится на ките, как земля, что Буська и Солик всю жизнь спят на ките, от этого они крепкие, хоть и старые, и никогда не умрут. Она не знала, когда они вставали, но утром обнаруживала себя лежащей на волнах одеял и подушек и быстро плыла к берегу. Они ей говорили: «Доброе утро, Маленька». На завтрак были блинчики с творогом и чай с молоком. Перед едой Солик творил молитву: «Завтрак съещь сам, в обед поделись с другом, а ужин отдай врагу». После завтрака Солик слушал радио: «Передаём последние известия», а потом открывал свой блокнот и записывал столицы мира: «Столица Уругвая — город Монтевидео, столица Кении — Найроби». Пару раз в неделю он слушал песни по радио, иногда они вместе пели: «Котятки русские войны»; он почему-то подмигивал Майе и улыбался своей вздрагивающей улыбкой, как будто воробей сел ему на губы, готовый взлететь, завидя котяток, которые что-то тщетно спрашивали у тишины. Нередко Буська разрешала Майе рассматривать сокровища, сложенные

в коробках из-под обуви: в первой — мерный стаканчик, толстые зелёные рюмки, две серебряные ложки — в другой; запонки, брошки, деревянные бусы, большие мельхиоровые кольца с кораллами, украденными Карлом у Клары ещё до революции, — в третьей. Майя бросала кольца в чашки, натягивала нитяные струны на серебряные ложки, выстраивала пуговицы по ранжиру, потом включала фонарик. Кольца мерцали, чашки отсвечивали голубизной, а Майя приговаривала: «Ехали Третьи в золотой карете». Третьими были людиспички: голова и тело, каретами служили пуговицы. Чтобы посадить Третью в карету, её надо было два раза надломить: в области талии и в коленях. Майя выносила всех во двор. Мерцали звёзды; надломленные и прямые люди сидели и стояли в траве, а после дождя они плавали в реке на своих пуговицах, привязанные нитками к стеблям одуванчиков, чтобы их не унесло течением. Иногда Майя втыкала их в землю по колено. чтобы не падали, некоторых приходилось хоронить, а вместо памятника ставить бессменного часового с серной головой, голого и несгибаемого представителя их мира, ведь Третьи не гнулись, только ломались, чтобы разместиться в каретах и унестись прочь.

Квартира Солика и Буськи располагалась в самом начале маршрута всех способных к передвижению членов многоквартирного дома, а также в эпицентре незапланированных рейдов. Это была кв. 1 и в неё часто звонили: то водички попить, то полтинник попросить, но чаще всего узнать, где кто живёт. Буська и Солик привечали бедных и дружили с соседями. Они знали, где живёт Маня Белохвостикова, Саша Грубер с семьёй, Лисневичи... Они догадывались, куда уползла черепаха Брылевских и к какому кобелю повадилась колли профессора Синдюка, Леона. Они абсолютно точно могли сообщить запыхавшейся домработнице, когда вернётся со службы товарищ Бегун и довольно точно предположить, когда мать-одиночка Валентина Нахамкина уложит спать крикливых погодков, Жоржика и Маргариту, и младшему научному сотруднику Марлену Полещуку можно будет тихонько постучаться.

Как-то в полдень, когда престарелые, вдовые и больные стараются на несколько минут уснуть, когда дети носятся на большой переменке, глотая яблоки и бутерброды, а бойцы трудового фронта с напряжением трудятся в последний предобеденный час, в дверь кв.1 позвонили. Солик открыл, в коридоре было темновато, и не успели глаза привыкнуть к темноте, как его стали оттеснять внутрь жилища молодые и старые женщины в широких юбках, перстнях и гремучих браслетах.

«Женя!» — позвал Соломон Львович, и как только Буська вышла на зов, приоткрыв дверь в гостиную, цыгане стали располагаться на полу, стульях и облупившемся

сундучке с буськиным приданым.

Солик схватил швабру и как закричит: «А ну!» И всплеснув рукавами, вновь зашуршали и зазвенели женщины, и загадочно улыбаясь, отступили и не спеша покинули помещение. О цели их посещения потом старалась догадаться Буська:

«Может, они просто хотели поговорить? Или погостить немножко?»

«Они бы здесь погостили, а нас отправили бы в табор».

«И в таборе живут люди», — с улыбкой произносила Буська.

«Везде живут люди», — со знанием дела соглашался Солик.

\*\*\*

Солик и Буська любили отмечать праздники. Они звали маму, папу, Николая Ивановича, его жену Иру с дочкой и Лёню. Когда Майе было шесть лет, взрослые подумали, что она в самом деле маленькая, и положили её спать в девять вечера, а сами пошли провожать Старый Новый Год. Лёня был на три года старше, и был допущен. Майя терпела битый час, пока они там провожали, а потом сползла к краю кровати и с умышленным грохотом свалилась на пол.

«Ой, что случилось?! Иди сюда, Маленька!» — воскликнула Буська. Сладостное водворение во взрослый мир. Яства и брашна, тосты и беседы. «Это тебе не шуточки», «Уже нолито», «Где это ты, Женя, свежую рыбу наловила?», «А я ему в ответ: — Место рядом с этой гражданкой занято навеки, ваш билет недействителен, товарищ», «Тёмная ночь, только пули свистят по степи...»

Днём они втроём шли гулять в парк имени Ивана Каталы, где встречали неизменных поклонников Солика и Буськи, которые словно рождались здесь, сразу немолодые, и жили, вечные подданные царя Соля и царицы Бусинды. Они кивали и кланялись друг другу, и говорили: «Сколько лет, сколько зим», — странные, секретные люди. Их взрослая речь была непонятна и не нужна Майе, ей хватало медленных кивков и осторожных поворотов головы, вееров у глаз, мешочков под подбородками, дрожащих в такт ходьбе, и взглядов туда, где всё совершалось; молодая наследница Майя смело улыбалась им.

Эти прогулки сильно отличались от тех, на которые водил её отец. Папа бродил с дочкой по холмам заброшенного кладбища, ведь там был чистый воздух, а также много колокольчиков и ромашек, которые Майя собирала охапками. Папины бледно-голубые глаза смотрели в такое же бледное небо; они не хотели

замечать ещё живущих прохожих. Но однажды какая-то женщина грубо окликнула его: «Блин, зачем ты водишь ребёнка собирать цветы на могилах?» Майя тогда в первый раз услышала суровую взрослую речь.

\*\*\*

Майя любила свою большую красную родину. Это диковинное чувство вырастало из ничего и висело в воздухе, как первомайский шар. Чем тоньше становилась нить, привязывающая шар к реальности, тем чуднее и сильнее чувство. Взрослые люди лезли из кожи, пинали ногами друг друга, чтобы только ухватиться за тонкую, из паучьей слюны, нить, схватишься — и уцелеешь, и будешь сыт. Но многим было лень подпрыгивать, даже ради своей пользы; они видели только то, что простиралось перед глазами: поля, перелески с сыроежками, коптящие трубы, но не видели чудного стратостата, надутого воздухом. А дети были заворожены. Они попадали в паутину, которую плела для них партия, и сразу же пытались подпрыгнуть, словно на батуте, но паутина становилась всё слабей, провисала всё ниже, а красный шар, на котором золотыми буквами было написано: «Наша Родина», улетал ввысь.

Билось в груди пионерское сердце и его хотелось отдать. В тёмном, тёмном лесу стоит тёмный, тёмный дом, в тёмном, тёмном дому стоит тёмный, тёмный стол, на тёмном, тёмном столе стоит тёмный, тёмный гроб, в тёмном, тёмном гробу лежит тёмный, тёмный человек. Отдай твоё сердце! Для того и билось сердце, чтобы его отдать.

Всем в стране нравились праздники. Но особенно детям. И больше всего Первомай. В город проникали подснежники, на всех кухнях в молочных бутылках набухали почки вербы, на уроках труда и рисования рождались охапки белоголовых цветов на проволочных ножках. На демонстрации Майя ходила с предприятием мамы. С самого утра воздух пронзало громкое и чистое пение: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля», и казалось, что это поют птицы счастья близкого коммунизма. Шарики, словно смелые мечты к прямой указке партии, были прикручены к флажкам. Разило дешёвым вином, «чернилами». Женщины притопывали, чтобы согреться и затоптать в себе тревогу: «Вдруг мой совсем напьётся?» Их движения напоминали танцевальные и рождали приподнятое настроение.

Какая я счастливая, что живу в этой стране, где я могу смеяться и любить, всю жизнь громче всех смеяться и крепче всех на свете любить, — думала Майя, — ведь я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. У меня бы не было друзей, дети

на улице вырывали бы из моих рук кусок чёрствого чёрного хлеба, смоченного слезами моей матери, а ведь я бы и сама им отдала, если б знала, что они сильно проголодались. Я бы работала по 12 часов в сутки на потогонной линии, я бы кидала ребристые, утомительно пахнущие, колёса автомобилей "Форд" на конвейер и пот лился бы с меня, как дождь. Или ещё хуже: мой папа владел бы этим заводом и, приучая к делу, водил бы смотреть, как обливаются потом восьмилетние девочки и мальчики, веснушки которых бледны от непосильной работы и которые никогда не могут стать мне друзьями, потому что не любят моего папу.

Майя их немного понимала. В чужом мире папа мог быть нищим, а мог бы стать и магнатом; он был скользкий и юркий: куда судьба его направит, там он и задержится. «Скажи, какой ты след оставишь, след, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый, прочный след в чужой душе на много лет?» — с намёком декламировал Солик, но папа не внимал намёку. Он не оставлял следов.

\*\*\*

Когда началась война, он ушёл вместе с отступающей Советской Армией, в тринадцать лет став воспитанником в музыкальном взводе. В свободное от провожаний на фронт и репетиций время воспитанники должны были квасить капусту для солдат, чтобы солдаты не страдали цингой, а, напротив, здоровые и неубитые, готовились к будущему штурму Рейхстага. Капусты надо было много; мальчики орудовали шинковками, потели, пили воду большими кружками. Им часто надо было в уборную, и когда приходил пятиминутный перерыв, бежали бегом. Но подросток папа никуда не бежал. Оставшись один, он быстро расстёгивал ремень и сильной струёй обогащал капусту. Среди начальства он слыл крепким и надёжным парнем, который не отлучается с поста. Да и на тромбоне папа играл хорошо, потому и попал впоследствии в Образцово-Показательный, Краснознамённый, Орденов Ленина и Боевого Красного Знамени Московский Духовой Оркестр.

А когда демобилизовался, решил жениться. Майя помнила свою маму. Вспоминалось, как она кричала папе: «Плюшкин, Плюшкин, положи обратно», когда он находил и присваивал различные предметы, которых он не знал в армейском быту: зонтик, маникюрные ножницы, очки от солнца, старую хозяйственную сумку. Он, не отвечая, ускорял шаг, чтобы мама осталась один на один со своей стенокардией. «Может быть, он и маму водил на кладбище, — думала Майя, когда немного подросла, — там она дышала воздухом могил и задумчиво грызла травинку, напитанную нехорошими

соками, слушая его брезгливые разговоры, и умерла тихонько, а он её закопал».

Хотя папа и любил брать чужие вещи, но чужих людей трогать он не любил, а все люди были для него чужие. Он сильно любил чистоту, потому что боялся человеческой грязи и беспомощности. Пожилое человеческое тело, загорающее на заброшенном пляже, вызывало в нём тошноту. Он хотел, чтобы оно было поскорее прикрыто приличной одеждой или землёй. Землю он любил. Одуванчики, высевающие сами себя, где им вздумается, успокаивали его нервы. Он любил проверять, насколько выросла трава, клейкие листочки прижимал к губам и щекам, к своим и к Майиным. Однажды он с ней шёл по шумной улице и надо было поскорее свернуть на тихую, чтобы успокоиться и отдохнуть от шума, но перед ними вдруг возникла скамейка, на которой лежала пожилая женщина в расстёгнутой блузке и не дышала. И вообще казалось, что она вот-вот упадёт со скамейки; одна нога и рука уже упали, а голова опасно подвинулась к краю. Какойто молодой человек уже бежал к телефонной будке вызывать скорую помощь. Майя подбежала и осторожно подвинула бабушку вглубь скамейки. Папа сильно побелел, словно опасность затронула и его, и с криком «Не трогай!» потянул Майю изо всей силы, и она упала в траву. Папа тут же стал снимать с неё какие-то травинки. «Никогда не трогай!» — кричал отец, и его светло-голубые глаза, казалось, выльются к её ногам. Майя сидела на земле; ей не хотелось подниматься с твердой, терпеливой земли, чтобы шагать по жизни с папой.

Когда мама умерла, папа как раз получил квартиру, и они с Майей стали жить отдельно. Буська и Солик регулярно ходили к ним в гости. К восемнадцатилетию Майи они несли ей в подарок восемнадцать конфет «Трюфели». Пока они шли, Солик вдруг забыл дорогу. Майя с папой жили на Торбышева, а Солик с Буськой возле Коровского рынка; они могли проехать одну остановку, но решили ходить во что бы то ни стало. Солик не надевал шапку в мороз и снег, а Буська сердилась: «Ты простудишь свои мозги!» Солик приводил в ответ высказывание Суворова: «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Он тянул её обратно, к магазину «Горизонт», где пару раз в квартал давали телевизоры того завода, на котором он работал главбухом в последнее время перед пенсией. Вот же «Горизонт!» — радостно восклицал Солик. «Но ведь мы опаздываем к Майеньке!» — пыталась вразумить его Буська, а он, больше не умея её слушать, повторял: «Горизонт, горизонт!»

\*\*\*

После этого случая Солик стал каждый раз просыпаться за полночь. «Собери вещи, за мной приехали», — говорил он жене, доставая шапку-ушанку из матёрого кролика серо-коричневой масти, которую он носил когда-то в Сибири. В пижаме рвался на мороз. Буська удерживала его всю ночь, а днём плакала. Когда он вспоминал её имя, появлялась надежда на выздоровление, и Буська хлопотала на кухне, а потом ходила за ним с ложкой ухи, богатой фосфором. От усталости ей казалось, что уха светится в силу своей абсолютной полезности и целебности для Солика. Он говорил ей: «Женичка». Однажды она прилегла на диван и спала часов восемь, как в молодости. Ей снилось, что небольшая речушка Числочь, протекающая через парк Ивана Каталы, замёрзла, вместе с крохотными лодками, конькобежцами и одним довольно крупным судном, похожим на старый растоптанный башмак. Ей надо было идти, и она пошла по льду. На одном игрушечном пароходике застыли танцующие в льняных сарафанах и парусиновых брюках, в утлой ладье спал перевязанный голубой лентой ребёнок, а из громкоговорителя явственно доносилось: «Не осуждай меня, Прасковья!» — «Я не осуждаю, — отвечала Буська, — и ты не осуждай меня, Соломон!»

Было одиннадцать вечера, с лестничной площадки доносился шум, потому что дверь была открыта; запоздалые жильцы и просто любопытствующие разговаривали, немного покрикивая в ожидании томительной ночи. Женя встала быстро.

Она всё теперь делала быстро, как в тридцать пять, когда надо было спешить выручать Соломона от лагерной смерти. Его дома не было, и ушанки не было на гвозде. Он запретил ей командовать ушанкой. Буська так спешила, что у неё дрожали руки и голова. Она позвонила Майе, потом Ире, вдове Николая Ивановича, в милицию и скорую помощь. Солика нигде не было. Потом Майя стала звонить знакомым Солика по парку, их детям, в больницы, морги и снова в милицию. Солика след простыл. Тогда Майя поехала к Буське, спросить, к кому пойти и дать взятку, чтобы разыскали, ведь Майя ещё не знала, как это делается.

Буська дверь не открывала. Худой Лёня влез в широкую форточку. Буська сидела в кресле с открытыми неподвижными глазами, словно она умерла, но она была живая. Если бы помощь подоспела раньше, инсульт бы не так сильно повредил её сознание.

Папа организовал квартирный обмен, так как в случае Буськиной смерти её жилплощадь бы пропала, к тому же, хоть она теперь говорила плохо и мало, посуду она по-прежнему могла мыть хорошо, а возможно,

сумела бы и сготовить. Так рассуждал папа.

У папы были рассуждения, а у Буськи думы. Шум воды их немного заглушал. Буська долго мыла посуду. Иногда ей казалось, что посуда недостаточно чиста, и она её перемывала. Если папа это видел, то кричал: «Что ты льёшь, как из брандспойта? Вода не подешевела!» И решительно укручивал кран, оставляя Буське еле возможную струйку, которая ничего не мыла, а только бесполезно изливалась в глубь канализационной трубы, и оттуда — в центр земли, куда проникают только редкие тихие слёзы.

В ноябре Буська стала кашлять. Кашляла она на балконе, чтобы Маленьку, её молодого мужа, Лёню, и папу не тревожить. Посторонние удивлённо поднимали голову вверх: кто это так кашляет? Она брала с собой стакан тёплого чая и глотала там его вперемешку с осенним ветром. Однажды утром Майе показалось, что больной воздух со свистом вылетает из Буськиной груди, а новый уже не поступает. Кашель был такой, словно он исходил из сердца. Опрятная бесцветная кофточка вздымалась и опадала. Отец возник как камень на дороге. Его линялые голубые глаза заволокло туманом. «Ты беременная!» — выкрикнул он и крепко схватил Майю за обе руки. «Пожалуйста, позвони в скорую», — попросила Майя голосом, который стал почти таким же хриплым, как Буськин вчерашний голос. «Ты заразилась!» — завизжал отец. «Главное, от тебя не заразиться», — громко сказала Майя. Издавая странные, птичьи звуки, Буська прошла в туалет. Майя молча, изо всех сил стала вырывать руки, но отец сжимал свои всё крепче. Он позвонил, когда услышал, что Буська упала. Бригада приехала быстро, через десять минут. «В туалете», — сказал отец и разжал Майины руки. «Вскрытие в этом возрасте мы не делаем», — сообщил меланхоличный врач. «У вас есть что-нибудь от рвоты?» — спросил отец резко и, не дожидаясь ответа, выбежал.

\*\*\*

Однажды на первый курс географического факультета, куда Майя поступила после выкидыша, — Лёня уже в то время работал инженером и, по совместительству, грузчиком на мебельной фабрике «Коммунарка»,— зашёл бледный и немного дрожащий человек. Он подождал Майю после занятий и сказал: «Я только что из сумасшедшего дома, в состоянии ремиссии». Майя не испугалась. Вокруг неё сновали молодые студентки и редкие студенты, вид у них был любознательный и бодрый. Тут она увидела, что человек держит что-то пушистое в руках, гладит его и мнёт. Майя дала себе слово успокоиться немедленно, но сердце стучало громко и мешало говорить. «Что это

у вас?» — прошептала она. «Это — кроликовая шапкаушанка Соломона Львовича», — сказал сумасшедший. — Он ещё там, а я уже здесь, — добавил он, стараясь непринуждённо улыбнуться. Мне в адресном столе вас дали. А соседи сказали, — студентка».

Майя не вернулась в аудиторию. Она взяла из рук нервного человека шапку и поехала на окраину города, где когда-то была деревня Крынки, а теперь размещалась городская психбольница. Солик, обтянутый жёлтой кожей, лежал в палате с другими престарелыми и слушал какой-то щебет по радио. «Солик!» — прошептала Майя. «У него — старческое слабоумие, — значительным голосом сообщила медсестра. — Два года назад его подобрали на Торбышева с воспалением лёгких. У него никого нет. Он ничего не помнит. Говорит только ерунду. А ты кто такая?»

Майя заплакала, и Солик, на мгновение обратив своё плохо выбритое жёлтое лицо к источнику слабого звука, разжал губы; они немножко, по-старому, задрожали. Не узнав её, он начал озираться вокруг, пока, наконец, нашёл, что искал: источник звука, привычного и монотонного. «Он любит радио, — сообщила сестра. — Ты бы его покормила, а то видишь, рот разевает!». Майя стала кормить его чем-то измельчённым, ещё тёплым, с обеда.

«Твой дед, что ли?» — спросила сестра. «Да. Можно, я побуду с ним одна?» «Ишь ты, как будто он что понимает!» — обиделась сестра. «Солик, — сказала Майя, когда дверь захлопнулась, — это я, Маленька!» Солик долго смотрел на радио и жевал еду. Вдруг он закрыл глаза и тихо сказал: «Женя, дочку накорми».

\*\*\*

Майя оформила академический отпуск и устроилась в психбольницу санитаркой. Перед смертью Солик окреп и начал выходить во двор, опираясь на Майину руку.

2

«Майя,— говорил Лёня, когда они гуляли» — поедем обратно».

Они гуляли вдоль озера Лоренцо. По склонам росли неизвестные кряжистые мелколистые деревья. В этих местах склоны быстро видоизменялись: глинистые бока крошились и ползли во время зимних ливней, корни деревьев обнажались. Многие деревья непонятно вообще на чём держались. Корни их болтались в воздухе над головами гуляющих людей со всех стран света.

- Лёня, ведь только год прошёл, отвечала Майя. Потерпи. Ты почти в раю. Вон лодочка плывёт.
- Это ещё не рай, Майя. Это лодка Харона. Куда он везёт вон тех задумчивых мексиканцев с рыбкой?
- Лёня, давай попробуем ещё одно экстраполярное оплодотворение.
- Может, лучше усыновим? Где тысяч набраться?
- Ещё один кредит возьмём. Здесь ведь за кредиты не убивают. Ещё разок попробуем, а если нет, усыновим.

Через год у них родилась тройня.



# АЛЕКСАНДР ЗЕВЕЛЁВ ЧЕРЕЗ БАЛТИКУ К ГОЛЬФСТРИМУ



### БУДИЛЬНИК

В небе звездочка погасла. Город спит последним сном. Лишь подсолнечное масло разгружают под окном.

Разгружают и роняют, спотыкаясь о порог. И волной летит, воняет перегарный матерок.

То ли жральня, то ли спальня: холостяцкое жилье. Откровенно сексуально пахнет свежее белье.

Недоеденное что-то... Недопитое вино... Снизу пьяная икота... Может, встать? Закрыть окно?

Влезть под душ? Опохмелиться? Кофейку? Прибрать кровать? Застрелиться? Провалиться? Ой, не хочется вставать!

Мне сейчас бы подзатыльник и хорошего пинка! На окне стоит будильник, он молчит еще пока.

Ни движения, ни звука – только мат в моем окне. Просыпаюсь я. И скука просыпается во мне.

Как из ямы из помойной, лезут ненависть и лень. Впереди очередной мой бесполезный серый день.

От пролога – к эпилогу, не с сумой и не в тюрьме, и назад в свою берлогу, снова по уши в дерьме.

Ой, звени, звени будильник! Ой, буди, буди меня! Мой спаситель, мой насильник надрывается звеня.

Льются трели и аккорды. Снова в люди, снова в «свет», снова видеть те же морды, снова слышать тот же бред.

Вновь по замкнутому кругу... Надоело – видит Бог! Ой, подлюга-похмелюга! Ой, будильник, что б ты сдох!

### ПЛЮШЕВЫЙ ЩЕНОК (КОЛЫБЕЛЬНАЯ)

Спи, дочурка, спать пора. Прозвенел звонок. И с тобою до утра плюшевый щенок. Ты прижмись к нему щекой, обними рукой. Он единственный такой, преданый такой.

Видит плюшевый твой друг плюшевые сны. Остальные все вокруг воры и лгуны. Кто там просится в твой дом, человек ли, зверь? Говорит что не со злом.

Только ты не верь!

Лгут твои учителя, лгут твои друзья, лгут и небо, и земля, и, конечно, я. Вот проснёшься поутру, и начнём игру: я опять тебе совру, как всегда совру.

Спи, дочурка, спать пора. Улыбнись во сне. Облигации добра падают в цене. Пусть булыжник кинет тот, кто совсем не врёт. А доверчивый народ разевает рот.

Всё непрочно. Всё мираж. Миром правит ложь. Не обманешь — не продашь. Подрастёшь — поймёшь. Врал бродяга Одиссей. Друга предал Брут. Магомет и Моисей — все пророки врут.

Насреддин и Аладдин — каждый врал, как мог. Не обманет лишь один плюшевый щенок. Ты прижмись к нему щекой, обними рукой. Он единственный такой, преданный такой.

#### ДВОРНЯЖКА

Мне не хотелось бы быть Бонапартом – мыльные царства себе создавать, судьбы истории ставить на карту и – воевать, воевать, воевать...

Мне не хотелось бы быть Казановой – женщин своих, как перчатки, менять, вечно в азарте охоты за новой, и – соблазнять, соблазнять, соблазнять...

Мне не хотелось бы быть Моисеем – поводырём по пустыне блуждать,

нечто разумное, вечное сеять и – убеждать, убеждать, убеждать...

Мне бы хотелось быть просто дворняжкой – спать на диване и косточки грызть. Просто дворняжкой по имени Сашка, жизнь напролёт, размышляя «за жисть».

#### **НЕВРАСТЕНИК**

Вновь безденежье. И вновь, и вновь башка трещит к тому ж! Встать с дивана, выпить кофе... Встать с дивана, влезть под душ... Встать с дивана, взять бы веник да окурки подмести... Одинокий неврастеник — просто Господи прости!

Я продал свои ботинки, и не дрогнула рука. Я наскреб на четвертинку и бутылочку пивка. А пельмень ли там, вареник ли – кусок сойдет любой! Одинокий неврастеник – выпиваю сам с собой.

Ни желания не лени. Голова почти пуста. Не разогнуты колени, не разомкнуты уста. Не отбрасывая тени, сторонясь пиров и драк, одинокий неврастеник, доживаю кое-как.

А конец не за горою. А в конце – гореть в аду. Постучите – не открою, позовете – не приду. Нету денег, нету денег... Жаль конечно... Но – плевать! Одинокий неврастеник, буду тихо доживать.

### ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ

Включишь радио с утра – и жить не хочется: до того ужасно страшно все вокруг... Мне вчера приснилась Анка-пулеметчица. А сегодня – батальон ее подруг.

# Через Балтику к Гольфстриму

Пошатнулись все традиции и истины. Совершенно распустилась молодежь. Помереть бы смертью быстрой и насильственной... Только где ж того насильника найдешь?

Ох, как прав был доктор Фрейд и братья Вайнеры! И сказал мне психиатр, мой близкий друг: понемножку Паркинсона и Альцхаймера — и глядишь, не так уж мрачно все вокруг.

Над заливом реют чайки белокрылые... По заливу пароходики снуют... А вокруг – такие «фобии» и «филии» – ни забыть и ни забыться не дают.

И давно б уже отсюда сделал ноги я, как когда-то Ленин, Мао и Пол-Пот... А генетика ли там, вирусология, или просто «повезет – не повезет»...

Не помогут все полиции и армии. И выходит: хоть греши, хоть не греши... Лишь микстура Паркинсона и Альцхаймера и потом – «Спокойной ночи, малыши!»

Серафимы-херувимы, где же были вы, пока молодость моя не утекла? Здравствуй, белая горячка, здравствуй, милая! Я дождался! Наконец-то ты пришла!

Потому и сочиняю эту песню я, потому и заточил я карандаш, ибо знаю я лекарство от депрессии: называется «це-два-аш-пять-о-аш».

Засосешь с утра стакан – и время замерло... Время более не властно над тобой... И не надо ждать какого-то Альцхаймера, если есть такая штука, как запой...

### МОСКОВСКИЙ БУТЕРБРОД

Москва моя, любовь моя, души моей столица! Бродить зевакой по Москве — броди себе, зевай. Бродить весь день, бродить всю ночь, к утру опохмелиться и сесть с похмелья у метро в потрёпанный трамвай.

Бежит трамвайчик «Аннушка», торопится, трудяга,

бежит от Яузских Ворот на Чистые Пруды. А я, сойдя на Яузе, не сделаю ни шага без той, за три копейки, газированной воды.

Напьюсь я газировочки с малиновым сиропом, махну рукой кораблику с флажочком над кормой и дальше с пересадками, «галопом по европам», махну к себе на Дмитровку, на Дмитровку – домой.

На кораблике по Москве-реке, по маршруту забытому детскому, с пирожком в кульке, с портвешком в руке, вниз от Киевского к Павелецкому...

Она была – она сплыла, души моей столица. Учусь ходить, как маленький: шажок, еще шажок... А что мне снится по ночам? А что мне может сниться? Москва-река, портвейн «Кавказ» и тёплый пирожок.

И дочкам много проще по-английски, чем по-русски. И в речи то и дело перевод наоборот. Однако безусловно, что касается закуски, я делаю не сэндвич, а московский бутерброд.

И часто по ночам, когда закрыты плотно шторы, и я, борясь с бессонницей, тихонечко лежу, я вижу полуявь, а может, полусон, в которых плыву я на кораблике и пью для куражу.

На кораблике по Москве-реке, по маршруту забытому детскому, с пирожком в кульке, с портвешком в руке, да вниз от Киевского к Павелецкому...

#### НОЧНОЙ САН-ФРАНЦИСКО

Ночной Сан-Франциско... Огни небоскрёбчиков. Огни фонарей в субтропической мгле... И нищая пьянь с воспалением копчиков, поскольку подолгу сидят на земле.

Усталая шлюха, поправив косметику, поправив чулки, вновь бредёт к фонарю в надежде, что кто-то оценит эстетику, не дав ей на улице встретить зарю.

Отклячит коленку и с места не сдвинется, поскольку наутро платить за гостиницу.

Пустынный проспект, электричеством залитый... Поджавши коленки и сняв башмаки, на лавочке Джонни, небритый и маленький,

лениво считает свои медяки.

Прадедушка Джонни пахал на плантации. Давно ни плантаций, ни дедушки нет. А он, пребывая в грязи и прострации, всех белых считает источником бед.

И маленький Джонни в заплёванном скверике не хочет работать на благо Америки.

Мальчонка под пальмой свернулся калачиком и белыми зубками пиццу грызёт. Он станет игрушкой и чьим-нибудь мячиком — и то, если очень ему повезёт...

По улицам полным рекламной экзотики иду я один не спеша... чуть дыша... Мне тысячу раз предлагали наркотики, и тысячу раз холодела душа.

А в тысячу первый – ну, что ещё свалится? Ночной Сан-Франциско сюрпризами славится...

### В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ

Посвящается Борису Туберману

К Трубецкому равеллину я с портвейном «Три семерки» на трамвае прикачу. Поплюю в сырое небо, почешу о камни спину, извлеку портвейн из сумки и закрутку откручу.

Я куплю те «Три семерки» у Таврического сада, провезу их через город — восемьсот янтарных грамм. Афродиты и атланты будут пялиться с фасадов, будут клянчить по глоточку — ни фига я им не дам.

Говорил мне друг мой Боря, что на этом самом месте Александр Сергеич Пушкин пил из горлышка Монтрэ. А один из декабристов (я не помню, вроде – Пестель)

исключительно нажрался в том далеком декабре.

С той поры на этом главном алкогольном перекрестке распивали что попало толпы фрейлин и актрис, камергеры и поэты, ветераны и подростки, Ленин с Троцким, Кушнер с Бродским,

а ещё мой друг Борис.

Боря, Боря, где ты, Боря? Нет, серьезно – где ты, Боря? Почему тебя здесь нету, чтоб с портвейном мне помочь? В Калифорнии далёкой ты сидишь один у моря, ну не моря – океана – и лакаешь виски «Скотч».

А в твоём родимом граде – тут такая першпектива! От Ростральных до Растрелли, От Сената до Крестов поллитровки и чекушки из-под водки, из-под пива выплывают горделиво под решётками мостов... Извлеку из сумки воблу. Постучу по равелину. И вонзюсь в неё зубами после сотого глотка. И под воблу врежу залпом всю вторую половину. И швырну свою ноль-восемь! Пусть несёт её река.

Через Балтику к Гольфстриму, путь нелёгкий, путь неблизкий, через Баренцево море, через Берингов пролив — прямо под ноги Борису, что сидит, лакает виски на причале Сан-Франциско, из Союза отвалив.

# Через Балтику к Гольфстриму

\* \* \*

До седьмого ли, какого там пота вся-то жизнь под непосильным трудом! Говорят, что я обязан работать, зарабатывать и тратить потом.

Вместо этого, упрям и неистов, не желаю ничего понимать. Почему бы мне не стать коммунистом и законно всё у всех отнимать?

Укрываюсь с головой одеялом, и ни мыслей, ни стихов, ни идей. Мой конец – наверно, чье-то начало... Всюду кнут один – а пряники где?

Не имеет ни малейшего смысла с человечеством всю жизнь воевать. Почему бы мне не стать фаталистом и решительно на все наплевать?

Друг на друга, как всегда, брат на брата. Отвечает сын, увы, за отца. Ниоткуда никуда нет возврата. Остается лишь идти до конца.

Прорастают колоски в поле чистом и курлычет в небе клин журавлей. Почему бы мне не стать сионистом и бежать от этих чистых полей?

Завершая путь земной понемногу, я могу уже творить что хочу. Вот возьму и обращусь прямо к богу, даже, может быть, поставлю свечу.

Но гоню я от себя эти мысли. Я в порядке. Я и бел, и пушист. Почему бы мне не стать атеистом? Потому что я и так атеист.

Почему бы мне не стать пианистом? Почему бы мне не стать трактористом? Почему бы мне не стать террористом? Ой!..



### КАТЕНЬКА

#### Рассказ

Она вошла внутрь и остановилась, неторопливо оглядываясь. Короткая стрижка. Синие джинсы в обтяжку. Короткая белая кофточка. Между джинсами и кофточкой — полоска нежного тела. На вид — лет двадцать, не больше. Подумал: в любом баре на входе ее «Ай-Ди», небось, по полчаса изучают — на предмет малолетства.

Поднялся навстречу ей из-за столика, махнул рукой, она заметила, тоже махнула, направилась в мою сторону.

- Здравствуйте, Катенька! я протянул ей руку. Так было принято в стране, из которой мы оба она и я приехали, сто лет назад там дамам ручки целовали, потом стали их пожимать как товарищам по борьбе.
- Здравствуйте... она замялась, протягивая руку в ответ. Здравствуйте, Александр.
- Можно просто «Саша», попросил я. А то за Александром просится отчество а там, глядишь, и до некролога рукой подать.

Она улыбнулась. Потрясно улыбнулась. Совершенно потрясно! Подумал: красота плюс очарование плюс молодость равняется полному шваху стареющего гедониста плюс дома вечером наверняка напьюсь круче обычного.

– Катенька, спасибо вам, во-первых, так сказать, строках, что согласились поучаствовать в нашей субботней программе и что нашли время сегодня пересечься со мной на чашку кофе. Кстати, о кофе. Или чаю предпочитаете? Или чего-нибудь, так сказать, алкоголесодержащего?

Она еще раз улыбнулась А может, она просто не переставала улыбаться? И я с ужасом почувствовал, как во мне просыпается светский лев, жестокий соблазнитель времен моего первого курса, когда ни одна — ни одна! — девочка не отказалась пойти со мной в кафе-мороженое. Где я гнал такие монологи! Такие!! Дальше, то есть, после мороженого ни они, девочки, ни я просто не знали, что делать, и разъезжались на метро в разные стороны.

Она ответила фразой из мультика про Винни-Пуха: «И то, и другое, и можно без хлеба».

- А поконкретнее?
- Ну, скажем... она явно кокетничала, и меня это жутко прикалывало! – скажем, мартини и двойной экспрессо.
  - А вы не исчезнете, как мимолетное виденье?
- У меня есть час времени, совершенно спокойно ответила она. – Если за час управитесь, то не

исчезну.

Я управился за считаные минуты.

– Приятного аппетита!

Заметил ее ногу, закинутую на ногу, сотворил со своими ногами то же самое, создавая нужную атмосферу.

- Понимаете, Катенька, почему я попросил вас встретиться до эфира... Наша беседа должна звучать как экспромт, но известно ведь, что хороший экспромт это хорошо подготовленный экспромт. Вот я и решил вас послушать в неформальной, так сказать, обстановке.
  - А что конкретно вас интересует?
- Конкретно вы! выпалил я, не задумываясь о том, как подобная фраза может быть воспринята. Вторая древнейшая профессия пересекается в прямом эфире с первой древнейшей. А ведь у каждой профессии свои секреты. Вот о них, о секретах вашей профессии, мы и поговорим в субботу. И сегодня тоже, на предмет подготовки вышеупомянутого экспромта.

Она потягивала мартини, позволяя кофе остыть. Произнесла:

– Элементарно, Ватсон!

И не сводила своих бешено-зеленых глаз с меня. Я неизбежно засуетился под этим взглядом.

- Ну и чудненько... Для начала расскажите о себе.
- Пожалуйста! Она поменяла ноги местами. Мне двадцать девять лет. Родом из Алма-Аты. Знаете такой город в Казахстане?
- Великий Шелковый Путь... Крепость Верный... Знаменитые яблоки... Побывать там, увы, не довелось.
- Рекомендую: городишко стоит не только мессы, но и вашего, Саша, визита. Так вот, там я родилась, выросла, получила высшее образование...
  - В какой сфере?
  - Международная журналистика.
- Отсюда вытекает свободный английский, заключил я. – Ну хорошо, а как и, главное, почему вы оказались в Штатах?
  - А вы? переадресовала она вопрос.
- Я другое дело. Я приехал много лет назад из голодного и безнадежного СССР, вывез в цивилизацию двух дочек и пенсионную маму. А вы ведь недавно приехали...
  - Год назад.
- Из сытого, процветающего на мангышлакской нефти Казахстана. Зачем?
- Формально? Учить английский. Я здесь до сих пор по студенческой визе. А не формально...
  - Ну интересно же! Она вскинула брови.
- Америка ведь! Если был шанс почему не воспользоваться?
  - Ладно, убедили. Переходим к вашей профес-

сии. Почему вдруг проституция?

Она сделала отодвигающий жест обеими ладонями, даже недопитый мартини отставила в сторону.

- Позвольте уточнить. По профессии я массажист-затейник. И главное – профессия эта не требует формального разрешения на работу. Какового у меня нет.
  - Ой, Катенька, это ли главное? Не лукавите?

Она состроила примирительную гримаску и вспомнила о недопитом мартини:

- Лукавлю. Ну и что? Главное вот что: я люблю секс.
  - Оп-па-на! я хлопнул себя по ляжкам.
  - А что такого? насторожилась она.
- Ничего такого, Катенька, ничего такого. Несколько лет назад город всколыхнула сенсация: интервью в газете с женщиной, которая днем работала на ответственной должности в крупной финансовой фирме, а по вечерам промышляла проституцией. И объясняла она это не столько необходимостью дополнительного заработка хотя деньги лишними не бывают сколько тем, что любит секс. И вот сейчас вы говорите буквально то же самое! Не удивительно ли?
- Значит, она дала интервью в газету, а я буду это делать на радио. Вот и вся разница. Хотя, пожалуй, я еще подумаю и, возможно, передумаю. Кокетничает или издевается?
- Катенька! Говорить женщине, что она интересный собеседник это, насколько мне шепчет мой опыт нанести ей неизлечимую травму. Говорить же, что она, женщина, красива это по части телевизионщиков, а из уст радиоведущего, боюсь, может прозвучать как бессмыслица. Поэтому, признавая и то, и это, я скажу лишь, что умоляю вас не передумывать. История нам с вами этого не простит.
- История, говорите? История простила Робеспьеру, Гитлеру и Сталину. Нам с вами простит наверняка. У вас зажигалка есть?

Катенька извлекла откуда-то пачку черного «Собрания», текст в нижней части пачки был набран кириллицей, но явно не по-русски. Возможно, это сигареты из ее казахстанских запасов.

Зажигалка у меня, разумеется, нашлась.

- А вот ответьте мне, Саша, на такой вопрос.
   Вы интервьюируете людей. Самых разных. Молодых и старых. Рокеров и политиков. Мужчин и женщин. Так?
  - Так...
- И вот они вам чего-то там отвечают, говорят в микрофон, а вы слушаете и думаете про себя, типа, эх, сейчас бы ее или, может, его? Катенька выдержала многозначительно-испытательную паузу... сейчас бы в постель и трахнуть а не сидеть тут, разговоры разговаривать! Что, не бывает у вас такого?

- Я совершил глубокий астматический выдох, достал свое «Marlboro» и тоже прикурил.
- Ой, Катенька, бывает. Еще как бывает! Но, пожалуйста, вы не обо мне, а о себе, ладно?
- Ладно, неожиданно легко согласилась она и снова поменяла ноги местами. Ах, какие ноги!
- Итак, девушка по имени Катя, из Алма-Аты, зарабатывает на жизнь в Америке своим телом...
   Пауза... Катя ожидающе-вопросительно смотрит мне в
  - Это утверждение или вопрос?

глаза.

- Не знаю, ответил я. Наверно, и то, и другое. Я тут заглянул в энциклопедию... Извлек из кармана бумажку, процитировал:
- «Проституция (от латинского "prostitere" буквально: выставлять; также выставлять на позор, позорить, осквернять) предоставление за материальные ценности своего тела для сексуальных услуг; секс за деньги, в противоположность близости по любви».
- Вот! буквально воскликнула Катя. Вот, Саша, вы только что купили для меня кофе и мартини и не попросили денег, которые за все это роскошество заплатили. То есть, я готова заплатить...
  - Что вы, ни в коем случае! ужаснулся я.
- То есть, продолжала она, это подарок. Так? А теперь нарисуйте границу, где традиционная мужская галантность переходит в так называемый «съем». Саша, вы ведь меня сейчас не снимаете?
  - Нет, Катенька, нет, что вы!..
- –Но ведь вы только что принесли кучу материальных ценностей в обмен на что?
- -На интересный материал в субботней программе. Хотя дело не в этом. Никакого прямого товарообмена. Я вас пригласил, вы пришли, тратите на меня время и не предложить вам чашку кофе или, там, мартини?..
  - Саша, вы неизлечимый интеллигент.
  - Звучит как диагноз.
- Именно диагноз! С такими, как вы, надежно: не побьют, даже не обзовут недобрым словом. Но скучно... Потому что предсказуемо. Типа, проводит до подъезда, поцелует ручку. И даже в постели никакой самодеятельности. Все приходится делать самой. Интеллигент самый трудный клиент. Застенчивость убивает эрекцию.
- Не замечал до сих пор... буркнул я, но не очень уверенно. Однако вот мой первый вопрос: как вы ищете клиентов? На интернете?
- У нас говорят: «в» интернете. Нет, что вы, я
   не самоубийца. Приедешь по такому объявлению а там куча пьяных или обколото-обкуренных недоносков.
   Нет, с клиентом надо встретиться, увидеть его глаза.

Так что никаких объявлений. Только за стойкой бара какого-нибудь. Нет, вру, не какого-нибудь, а там, где съем зафиксирован, имеет место быть и не пресекается администрацией. Не поленитесь, побегайте по интернету, и вы такие точки найдете.

- Увидеть его глаза это, конечно, замечательно,
   Катенька. И все же не страшно? Ведь есть же маньяки всякие...
- Честно? Мне в этом городе страшнее улицу переходить. Статистика-с.
  - Что-с?
- Статистика наезда на пешеходов! Так что нет, не страшно. После «eye contact», конечно.

Я докурил, откашлялся и вернулся к остывшему кофе.

—Знаете, у меня почему-то вырисовывается такая голливудская картина: пока «она» пребывает внутри очередного «флэта», под дверью дежурит сутенер со взводом наемных суперменов с «калашниковыми» наперевес.

Катенька снова улыбнулась.

- Саша, я уже почти готова отказаться от радио в субботу. Объясняю: если вы рисуете такие картины, то каково, должно быть, чувствуется перед вечерним пустым эфиром, воздухом, разносимом темнотой неизвестно куда? То есть, в никуда... Страшно!
- Нет, что вы, совсем не страшно, Катенька, мы просто знаем, что делаем свое дело.
- Ага! она, оказывается, ловила меня, как ребенка. Так ведь и мы делаем свое дело и не более того.

Какая фемина! — как сказал бы один из героев двух классиков соцреализма...

- Тогда у меня к вам последний и решительный вопрос. Тем более, что время, каковое вы на меня отпустили, категорически давно и безнадежно истекло, а сверхурочные моя контора не платит. Итак, вопрос: а не противно черт-те с кем или правильнее с кем ни попадя?
- Не совсем так, возразила Катенька. У каждого человека есть своя «изюминка». Перекинешься парой слов, обменяешься улыбками, посмотришь глаза в глаза и уже возникает соучастие. Или симпатия. А если не возникает то ведь никто никому ничего не обещал... Вот мы с вами совсем немного времени провели, а я уже знаю, есть в вас «изюминка». Вы прикольный!
- Ну-ну... а что мне оставалось, как только ухмыльнуться?
  - А можно мне задать вопрос?
  - Конечно!

Она одним глотком допила давно остывший кофе, дотянула мартини и как-то вся поджалась – как спортсменка-попрыгунчик перед разбежкой к планке:

- Саша, вы заняты сегодня вечером?
- -В смысле... совершенно искренне не понял я.
- В смысле а ночью? как бы уточнила она.
- Катенька, или я перебрал сегодня по линии кофе, или... Вы ведь меня сейчас не снимаете?

Это прозвучало, как рефрен, несколько минут назад она задала мне тот же самый вопрос. Значит, дуэт. Оперетта. Вечерняя беседка над Дунаем. Сопрано и баритон. «Мечта прекрасная, еще неясная, уже зовет...» Нет-нет, это не то, это из кинематографа времен разгара индустриализации.

- Почему бы нет? отозвалась Катенька, вернув меня в наше светлое сегодня.
- И за почем? Видите ли, у меня получка только в следующую пятницу.
- Фак! на очень правильном калифорнийском громко сказала она.

Сидевшие за соседними столиками, как по команде, обернулись в нашу сторону. Катенька позеленела. Глазами. Таких ярко-зеленых глаз я никогда ни у кого не видел. Сорвалась с места и выскочила из кафе.

А что я такого сказал?

Допил свой кофе и пошел к выходу. Там сбоку от выхода стояла Катенька.

- Простите... прошептала она.
- Я «простите»? Это вы меня простите!
- Нет, что вы, я понимаю, вы не могли не задать этого вопроса. Насчет, сколько я стою. Но я...
- Нет, Катенька, нет! Я и не думал задавать этого вопроса. Потому что это не мое дело. Но вы... Как-то случайно вырвалось.
- Вовсе нет. Не случайно. Проституция это товар. Или бизнес. И вопрос «how much» не просто уместен, а неизбежен. Это что-то со мной случилось. Не знаю, что. Короче, вы меня раскрутили.
- На что это я, позвольте полюбопытствовать, вас раскрутил?
- Не издевайтесь, пожалуйста. На откровенность вы меня раскрутили. У вас есть еще четверть часа?
- -До пятницы я совершенно свободен, съехидничал я фразой Пятачка из того же мультика про Винни-Пуха. Вот такое я говно: понимаю, что уже не надо прикалываться, а остановиться не могу.
  - Тогда послушайте...

Она взяла меня под локоть, и мы побрели по тротуару. Я весь превратился в слух.

— Мне кажется, — говорила она, — что любой род занятий — это совершенно неизбежно своего рода проституция. Я много об этом думаю. Вот скажите... Ну за редким исключением — вроде одинокого ковбоя в степях Казахстана или Texaca—вот скажите, вас не ломает читать идиотские «commercials», то есть, объявления на радио этом вашем? Типа, по тундре, по широкой дороге,

то есть, продаются участки земли на Аляске, спешите: офигенное финансирование. А у меня все проще: на местном, что ли, уровне имеется спрос — почему не возникнуть предложению? Капитал, том Первый. Или Третий. Не помню точно. Это ваши, Саша, реалии. Моему поколению так религиозно политэкономию не вдалбливали.

- Но Катенька, нет, что вы, какой же я проститут? Финансирование Аляски это, конечно, не Гамлет, но все-таки и не «take me baby».
- Ну ладно, с вами я, допустим, перегнула. В вашем случае присутствует элемент творчества, то есть, самостоятельности. А убирать по чужим домам? А жопы лизать чужим старухам и их сопливым правнукам? А пресловутые девушки в окошке? Ногтями бы вгрызались в эти рожи, которые по ту сторону окошка. Но нельзя. Изволь обслуживать. С восьми до пяти. Такие, как я, хотя бы делают вид, что любят. И что выбирают. Саша, вы официантам чаевые оставляете?
  - Конечно.
- -A зависят они, чаевые ваши, от качества обслуживания?
  - Безусловно.
- А ведь вы для них совершенно посторонний человек, так, источник чаевых.
  - Ну да. Ну и?..
- А вот вам еще один аспект: экономия на виагре. Если мужчина не страдает какими-то серьезными физиологическими нарушениями, а просто потихонечку стареет, то если его женщина-партнер знает свое дело никакие фармакологические стимуляторы ему нафиг не нужны. Женщина так все сделает, что у него до завтрашнего обеденного перерыва оно, то есть, сердце не успокоится. А между тем, согласно «Википедии», одна таблетка виагры стоит в среднем десять долларов.
- Это чушь! не выдержал я. По интернету в Канаде заказываешь, потом из Индии посылочка приходит. Получается меньше трешки за таблетку.
  - Ну и?
- Ну и вот, теперь вы меня раскрутили... и я повинно понурил голову.
- А что вы дальше с этой таблеткой, которая за меньше трешки, делать будете? Против кого применять?
   Значит, все равно надо куда-то идти и кого-то снимать.
   Так что чистая экономия с нашей моей, в частности стороны гарантирована. Ладно, движемся дальше.
   Я настаиваю на праве отработать купленный вами мартини.
- О нет! засопротивлялся я. Это настолько ничтожная материальная ценность, что и говорить не стоит. Давайте, я приглашу вас на ужин, увеличив тем самым сумму потенциальной задолженности..
  - Кому я должен я всем прощаю! голосом

дельфийского оракула проворкотала Катенька. – Ладно, так и быть, давайте где-нибудь перекусим.

Ужина, по сути, не получилось: оба мы, она и я, были не голодны, так что ограничились жареной картошкой под пиво.

– Еще вопрос позволите?

Она кивнула.

- Вопрос самый что ни на есть банальный и одновременно интимный: замужество, дети? Женский инстинкт? Вы об этом не думали? Вам двадцать девять. Вы молоды, но ведь и не девчонка уже...
- Думала, конечно... Катенька сделала несколько глотков ледяного Гиннесса и не торопилась с ответом. – А за кого замуж-то?
- Ну как же! Столько парней неженатых вокруг. Очередь бы выстроилась. Такую, как вы, на руках носили бы.
- И так носят. И еще деньги платят. И носок стирать не надо. Это вы, Саша, многосемейный: мама, жена, дочки под ногами туда-сюда бегают... Бр-р-р! Как представлю себе такую жизнь, сразу все инстинкты увядают.
- Не угадали. Мама давно живет отдельно, с женой разошлись много лет назад, дочки выросли и разлетелись по собственным жизням. А я сам по себе. Катенька неторопливо допила пиво. Потом чуть склонив голову набок взглянула прямо мне в глаза.
  - Значит, сейчас к вам поедем...
- —Это вопрос или утверждение? поинтересовался я. И внезапно опомнился: Вы с ума сошли!
  - Почему, Вы гей?
  - Нет, насколько я знаю...
  - Импотент?
  - Нет, вроде...
  - Католический священник?
  - Нет.
  - Я вам не нравлюсь?
- Нравитесь, удивился собственной наглости.
   Но ведь это же чистый допрос!
  - Тогда почему?
- Потому... ну потому, что у меня, мягко говоря, не прибрано...

Никакого другого аргумента в голову не приходило. Старею: медленно соображать стал.

— Так мы ведь не в музей, а к вам домой, — совершенно невозмутимо отмела мою глупую чушь Катенька. — А «не прибрано» — звучит немного старомодно и очень романтично. И потом, надо ведь к интервью подготовиться хорошо, со знанием, так сказать, предмета. Или лучше — темы. Так?

«Пиздец котенку!» – подумал я. Оторвал буквально физическим усилием взгляд от ее ужасно зеленых глаз, и он, взгляд мой, лег на вырез ее белой кофточки.

Почувствовал, что тону...

Ловил такси — не на автобусе же! — и думал, что ежели чего, то, во-первых, дома имеется непочатая бутылка коньяка и чистые стаканы, а во-вторых, виагра, скорее всего, не понадобится. То есть, ни в том, ни в другом случае — не понадобится.

И это – последнее, что я помню из того вечера. Дальше пошло такое сумасшествие, такой абсурд... То, что у нее изначально имелся всего один час, было окончательно предано забвению...

К субботней программе я готовился всерьез. В том смысле, что после эфирного стриптиза планировал предложить Катеньке руку и сердце. Или не предлагать? Сажать или не сажать себе на шею проститутку с дипломом по международной журналистике и иммиграционной неустроенностью?...

Все решилось само собой: в студию она не пришла. И не позвонила. Прав был древний грек насчет того, что нельзя в одну и ту же воду войти дважды. И, возможно, хорошо, что нельзя. Пришлось заполнять отведенное для Катеньки время наижутчайшим экспромптом на тему того, как там, на Аляске хорошо, особенно зимой, когда пингвины пасутся в тундре. Или не пингвины? Неважно, кто-то в тундре этой наверняка пасется...

Номера ее телефона я не знал, а на имейлы ведь можно и не отвечать. Она и не ответила.

# ОН ВЫШЕЛ ИЗ ДОМУ

Рассказ

Он проснулся, как обычно, рано. Принял душ, оделся, собрался на выход. Друзья, которые приютили его у себя, уже не спали. Он сказал им, что отправляется на поиски работы, попрощался и вышел из дому.

Ему негде было жить. Не было своего «угла». У него не было работы. И не было ни малейшего желания искать какую-то работу. Он давно принял решение, он точно знал, что ему делать, и вот наступил этот день. Он вышел из дому. Он не взял с собой ключей, потому что не собирался возвращаться. При нем был рюкзачок, а в нем большая банка снотворных пилюль и большая пластиковая бутылка воды, чтобы запить эти пилюли.

Он вовсе был не против того, чтобы работать и зарабатывать. Руки ноги и, временами, голова были на месте. Он просто был одним из тех, кого нужно приводить куда-то за руку и говорить, что делать. И он делал бы. Но его почему-то никто никуда за руку не приводил.

Давно, еще мальчишкой, он задавал себе один и тот же вопрос: в чем смысл жизни? И един-

ственный ответ, который всякий раз находился – смысла нет. Жизнь бессмысленна. А что мы делаем с бессмысленными, бесполезными, ненужными вещами? Мы их выбрасываем. Ликвидируем.

Он пошел к океану. Туда можно было добраться автобусами с пересадкой, но он решил пойти пешком. Он любил ходить пешком, а спешить ему было некуда.

За свою «взрослую» жизнь он перепробовал все наркотики, известные современной криминалистике. Однажды, наглотавшись «оранжевых таблеток» и запив их хорошей порцией водки, он сел в машину — у него тогда еще была машина — и поехал в никуда. До «никуда» он, впрочем, не доехал, потому что со всей дури вмазался в дерево. Разбил в кровь лицо. Разбил машину навсегда. Приехала полиция и отвезла его почему-то не в тюрьму, а в больницу. От этого события у него остался едва заметный шрам на лбу и несколько фотографий, глядя на которые любому было бы ясно, что парень долго не мог в таком виде появляться на людях.

А несколько дней назад, будучи уже в доме друзей, он употребил «белый шарик» и по традиции запил этот шарик хорошей порцией водки. И стал буйным. Разгромил гостиную, расшвырял все, что в ней было. Высадил стекло в окне. И отключился на полу возле дивана. Хозяева, вернувшись в этот вечер домой поздно, только убедились, что он жив, что дышит — и не стали ничего в комнате трогать. На следующее утро, сидючи на полу и оглядевшись, он не мог понять, почему все так печально вокруг. Он ничегошеньки не помнил. Конечно, он и прибрался, как мог, и просил прощения. Будучи уверен, что ему после такого погрома укажут на дверь. Не указали. Вызвали стекольщика, починили окно и — все.

Он пришел к океану. День обещал быть жарким. Народу в этой части пляжа – а пляж бесконечен, как и океан, его омывающий - не было. Он постоял, посмотрел на волны, на чаек и с удивлением обнаружил, что желание заняться снотворными таблетками почемуто угасло. Он разделся до трусов и растянулся на песке. Песок уже успел с ночи немного прогреться, был едва теплым, и это легкое тепло растеклось по всему телу. Он наслаждался и думал о том, что если сама жизнь бессмысленна, то какой смысл могут иметь такие жизненные мелочи, как работа, учеба, дом, любовь? У него никогда не было любви. Увлечения были. Которые каждый раз заканчивались разочарованием. А любви не было. И он ее не хотел. Потому что боялся. Он знал действие всей той гадости, что проходила через глотку его и желудок. Действия любви он не знал и потому боялся. И не верил в то, что любовь в принципе существует на свете. Существует привычка, существует убегание от кошмара одиночества, существует наконец сожительство – но причем тут любовь? Ее нет. Точно

также, как не существует бога. Много лет подряд мама с папой водили его по воскресеньям в церковь, он к этому привык, ему даже нравилось. Хоть какоето событие в серой его жизни, гарантированное своей еженедельностью. Но причем тут бог? Кто-то ходит плавать в бассейн, кто-то ходит по утрам в пивную на опохмелку, кто-то в церковь. Причем же тут бог?

Итак, любви нет, бога нет, жизнь – есть, но в ней нет смысла. Такая вот картина получается. Ну и пусть! Если невозможно ничего изменить, то – как говаривала одна его необыкновенно мудрая знакомая – расслабься, и получай удовольствие. Что он, собственно, и делал. Солнышко начинало припекать, пляж, по-прежнему пустой, притягивал теплом своего песка. Он лежал на этом уютном песке, закрыв глаза. И незаметно задремал.

Сколько прошло времени — неизвестно. Он проснулся. Ему захотелось курить. Он потянулся за штанами, стал шарить по карманам, но сигарет там почему-то не было. Не было и бумажника. Он встал, огляделся. Одежда была на месте. Он еще раз перетряс все карманы — в них не было ничего. Не было и рюкзачка: исчез вместе с банкой пилюль.

Он оделся. Натягивая футболку, почувстовал, что сгорел. Спина и особенно плечи болели. Он начал медленно осознавать, что его, пока он спал, элементарно ограбили. В украденном бумажнике были все его документы. Теперь их у него нет. Ни одного. В рюкзачке были пилюли. Теперь их тоже нет. Значит, покончить с жизнью никак не возможно. Значит, ему предстоит продолжать жить. Без документов. То есть, вопрос «зачем жить» неожиданно заслонился другим вопросом: как жить без документов? И без денег? Их, денег, в бумажнике было немного. Но ведь если совсем без денег и совсем без документов – как же теперь? Ведь даже ни водки, ни новой банки снотворного не купить.

Он ушел прочь с пляжа. Присел на гранитный парапет. Солнце уходило на закат, уже почти касаясь кромки океана на горизонте. Подул ветер, и стало вдруг холодно. Он подумал, что какой все-таки воришка хороший, что оставил его одежду. Ведь если приходится продолжать жить, то невозможно жить, ходить по городу в одних трусах. Воистину, не бывает худа без добра. Даже когда «худа» — через край, а «добра» — совсем немножечко. Впрочем, становилось по-настоящему холодно. Штаны и футболка спасали от удивленных взглядов прохожих, но не от холода. Что ему делать дальше? Куда идти? Назад к дому приютивших его друзей? Куда же еще? Некуда ему больше идти. Некуда...

Автобусов теперь для него не существовало по причине отсутствия денег на проезд. И он снова пошел пешком. Не пошел – скорее, побрел. Ноги едва волочились. Солнце упало за океан, стало сумеречно.

Ветер дул пуще прежнего, сильнее и холоднее. Принято считать, что обратный путь кажется короче. Не тот случай. Его обратный путь был бесконечен и мучителен, как путь Бонапарта на запад от Березины. Он вспомнил, что не взял ключей от дома, это было, с одной стороны, хорошо, потому что хоть ключи не сперли, а с другой стороны, озачало, что если никого из хозяев нет дома, ему придется торчать в ожидании на улице неизвестно, как долго.

Он не умел и не любил принимать решений. Он всегда тихо радовался, когда обстоятельства – или бог, которого нет – решали за него. И вот сегодня утром он принял решение. И чем это закончилось? Фарсом. Бездарным фарсом. Его жизнь, каковая, если подумать, вся была одним сплошным фарсом и каковая сегодня наконец должна была закончиться - не закончилась. А просто закончился еще один день этой дурацкой, никому не нужной жизни, причем закончился фарсом. Фиаско. Есть вещи, которые может сделать каждый человек. Например, закончить свою жизнь. Тем или иным способом: с моста ли прыгнуть, под поезд ли. Таблеток снотворных наглотаться. Он, оказывается, не может даже этого. Короче, приехали, конечная. Это действительно уже настоящая конечная. Он много думал и о мосте, и о поезде, и знал, что не сможет. Оставалось только снотворное в товарно-оптовом количестве. И вот, пожалуйста, у него даже этого не получилось.

Добрел наконец до дома. Позвонил в дверь. Никто не ответил. Он вспомнил, что в дом ведет еще одна дверь: из кухни во двор. Может быть, беспечные хозяева не заперли ее изнутри? Чтобы узнать, нужно перелезть через забор. Перелез. Даже не оглянувшись по сторонам — а вдруг на улице стоял бы полицейский или просто шел прохожий, который увидав лезущего через забор человека, запросто мог позвонить в полицию. Но — обошлось без приключений. Без полиции, и даже штаны он не порвал. Дверь — о счастье! оказалась не запертой.

Дома действительно никого не было. Он прилег на свой топчанчик, вытянул ноги, неимоверно уставшие. Болели плечи, ныло все тело. День закончился. Что дальше? Ведь завтра будет новый день...

Октябрь 2009



# нурия мурсалимова ЧЕЛОВЕЧЕК СВЕТОФОРНЫЙ

### СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

\* \* \*

Человечек светофорный!
Белым утром, ночью черной Расскажи, куда шагаешь, Пешеходам помогая?
Отвечает человечек:
«С братцем я никак не встречусь! Ждет меня мой братец красный, Я спешу – и все напрасно: Он стоит, а я иду, Но к нему не попаду!»

\* \* \*

В пустыне Сахаре, в пустыне Сахаре Из сахара сделаны даже барханы. Живут там верблюды Из сахарной ваты И львята из яблочного мармелада. В пустыне Сахаре, в пустыне Сахаре Про дождь никогда ничего не слыхали: Там просто дождя никогда не бывает, А то все барханы, верблюды и львята Под дождиком теплым Растают!

### ИЗ КНИЖЕЧКИ РЕКОРДОВ

Больше всех выпила «кока-колы» на перемене первоклассница Настя. То, что сладкий напиток был куплен на деньги, данные мамой Насте на тетради, к рекорду отношения не имеет.

\* \* \*

В карманах, капюшоне, штанишках, за манжетами и даже под майкой принес домой песок Валерик, поиграв с ребятами в песочнице.

Тридцать блинов комом подряд получилось у Лени, когда он вызвался помочь бабушке приготовить завтрак.

\* \* \*

Кто больше всех наловит блох у дворового пса Шарика? Выяснить этот вопрос пытались Юля, Марат и Андрюша. Но победитель не определился: Шарик так свирепо зарычал, что соревнующиеся спешно разбежались по домам.

\* \* \*

Ваня, Ира и Наташа летом в деревне устроили соревнование: кто дольше будет жевать жвачку. Победила бабушкина корова Милка.

\* \* \*

Ровно десять минут потребовалось Вите, вышедшему погулять в новых джинсах, чтобы их порвать.

\* \* \*

Самые красивые в мире астры подарил Сергей первого сентября любимой учительнице. Они удивительно похожи на цветы, еще накануне росшие на клумбе перед школой.

\* \* \*

320 семечек в минуту может разгрызть Оля. Правда, чтобы вымести сор из-под парты, уборщице тете Маше требуется потом два часа. Любопытно, что когда класс убирает сердитая тетя Поля, Оля семечек не грызет.

\* \* \*

Десять раз, пока не закружилась голова, катался на карусели Айрат. Его друг Боря утверждает, что если десять раз прокатиться в обратную сторону, все пройдет. Однако билетов в обратную сторону в парке не продают.

\* \* \*

Всех до единого зверей успел подразнить в зоопарке Виталик во время экскурсии. Тем не менее его весьма удивил тот факт, что именно в него плюнул одногорбый верблюд Гоша.

\* \* \*

Сережа и Павлик поспорили на «Твикс», кто залезет на самое высокое дерево. Но съесть «сладкую парочку» победитель Сережа пока не может, так как спуститься с дерева боится и сидит там со вчерашнего дня.

\* \* \*

Чемпионом класса по съеденной в один присест карамели стал Кирюша. Но вот вместо «чемпион» он теперь произносит «шемпион», поскольку у него от сладкого так разболелся зуб, что врачу пришлось его вырвать.

Двести двадцать семь ворон насчитал Дима в окно во время одного-единственного урока.

\* \* \*

Сто двадцать восемь раз в течение часа попросил-ся на улицу Рустам у дедушки, хотя дедушка ясно сказал, что надо сперва сделать уроки.

\* \* \*

Игорёк научился водить велосипед и при этом не касаться руля. Зато теперь он не может выйти на улицу, не касаясь глаза, так как иначе не прикроешь синяк, который он набил, падая с велосипеда.

\* \* \*

Триста двадцать восемь раз произнесла «любит-не любит» Галочка, гадая на ромашках. Только вот она еще не решила, о ком гадает: о Вите, Максиме или Айрате.



### ПЕРЕВОДЫ



# УРСУЛА К. ЛЕ ГУИН

### РЕБЕНОК И ТЕНЬ

Перевод с английского **Марины Золотаревской** 



### От переводчика:

Включение этого предисловия, специально написанного в феврале 2007 года для русского перевода, составляло условие автора, которое я с удовольствием выполняю. — М. 3.

### Предисловие

Это эссе, впервые опубликованное в 1974 году, навело некоторых на мысль о моей принадлежности к «юнгианцам», приверженцам психологических теорий непокорного ученика Фрейда — Карла Густава Юнга, и тем самым вовлекло меня в бесплодные споры соперничающих идеологий.

Некоторые из концепций, использованных Юнгом для объяснения поведения человека и интерпретации искусства, вошли во всеобщий круг представлений и во всеобщий лексикон: тёмная или теневая сторона человеческой личности, женская составляющая мужской личности, именуемая Юнгом «анима», и его мистическая идея «коллективного бессознательного». «Юнгианец», преданный сторонник, воспринимает эти концепции как факты. Подобно большинству людей, я не считаю их таковыми. Но я действительно нашла в некоторых из них опору для размышления, когда пыталась разобраться в определённых психологических элементах литературы — включая элементы моих собственных книг.

Идеи Юнга были новы для меня, когда я писала «Ребенка и тень». Они привели меня в восторг, ибо это идеи блестящие и будоражащие, даже когда они оказываются незавершёнными или ненадёжными. Я нашла их куда более применимыми к эстетическим темам, чем странный, снижающий анализ Фрейда. Я была поражена, обнаружив, настолько сказанное великим психологом о «тени» совпало с тем, какой я её представила себе и воплотила в романе «Волшебник Земноморья». Было так, точно наши души, пусть разделёные десятилетиями во времени и огромной разницей в опыте, личностных свойствах и устремлени-

ях, соприкоснулись, сошлись на одном и том же образе.

Итак, какое-то время я была, можно сказать, слегка опьянена Юнгом... И перефразируя его идеи в своём эссе, я, хотя и описала их как теории, возможно, не дала явственно понять, что использую их как орудия, разъясняя свою мысль, но не отстаиваю ни как догмы, ни как факты.

Я по-прежнему считаю концепцию «тени» у Юнга удивительно родственной первой книге Земноморья; а рассуждения принадлежащей к «юнгианцам» фон Франц об этике народной сказки, в частности, её идея «надлежащего», повлияли на мой образ мыслей уже при первом прочтении. Словом, я благодарна Юнгу за всё, что он дал мне, и сожалею, что должна включать эту заметку во все последующие публикации эссе, чтобы меня не приветствовали и не отвергали как одну из последователей Юнга.

2007 г.

### РЕБЕНОК И ТЕНЬ

Жил да был, — рассказывает Ганс Христиан Андерсен, — добрый, застенчивый учёный молодой человек родом с севера, и приехал он на юг — пожить в жарких странах, где яростен свет солнца и все тени черным-черны.

И вот однажды, в доме через улицу, напротив своего окна, видит он мельком прекраснейшую девушку: она ухаживает за прекрасными цветами на балконе. Молодой человек жаждет поговорить с ней, но он слишком застенчив. И как-то вечером, когда позади него горит свеча, отбрасывая его тень на балкон через улицу, он «шутливо» приказывает своей тени: отправляйся, ступай-ка в этот дом! И тень действительно идёт. Она входит — и покидает его.

Молодой человек, разумеется, изрядно удивлён, но делать ничего не делает. Отрастив вскорости новую тень, он возвращается домой. Он становится старше и

ещё учёней, однако добиться успеха не может. Говорит о красоте и добре, но его никто не слушает.

Затем в один прекрасный день к нему, теперь человеку средних лет, возвращается его тень — очень худая и темнолицая, но элегантно одетая. «Довелось тебе войти в дом на той стороне?» — первым долгом спрашивает человек, и тень отвечает: «Ну да, конечно». Она заявляет, что видела всё, но на самом деле просто бахвалится. Человек же знает, что спросить. «Были эти покои подобны звёздным небесам, какие видишь с горных вершин?» — расспрашивает он, а тень может сказать только: «Ну да, всё там было». Она не знает, что ответить. Дальше прихожей она так и не прошла, будучи, в конце концов, всего-навсего тенью. «Меня уничтожил бы поток света, проникни я в комнату, где живёт девушка», — признаётся она.

Зато в шантаже и тому подобных искусствах тень — мастер; это беспринципный тип с железной хваткой, и человек оказывается у него в полной власти. Они отправляются путешествовать: тень — в качестве хозяина, а человек — слуги. Им встречается принцесса, страдающая оттого, что «видит слишком ясно». Она замечает, что тень не отбрасывает тени, и проникается к ней недоверием, покуда та не объясняет ей, что человек на самом деле — это тень, которой позволено перемещаться отдельно. Договоренность странная, но логичная, и принцесса верит. Когда же она и тень обручаются и собираются пожениться, человек наконец восстаёт. Он пытается открыть принцессе правду, но тень опережает его, объяснив: «Бедняга помешан; он считает себя человеком, а меня — своей тенью!» «Как ужасно», — отвечает принцесса. Убийство из милосердия становится неизбежным. И как раз во время свадьбы принцессы с тенью человека казнят.

Невероятно жестокая история. История о безумии, которая заканчивается унижением и смертью.

И это — история для детей? Да. Она для всех, кто слушает.

Если ты слушаешь, что ты услышишь?

Дом на другой стороне улицы — Обитель Красоты, а девушка — Муза Поэзии; тень говорит нам об этом прямо. И о том, что принцесса, видящая слишком ясно, — это чистый, холодный разум, тоже догадаться нетрудно. Но кто такие человек и его тень? Тут всё не так очевидно. Они — не аллегорические фигуры. Они — символы или архетипы, подобные тем, что являются в снах. Их значение многопланово, неисчерпаемо. Могу только намекнуть на то немногое, что я способна увидеть в нём.

Человек есть воплощение всего цивилизованного — он образован, добросердечен, высокоморален, добропорядочен. Тень есть всё, что оказывается по-

давленным в процессе становления добропорядочной, цивилизованной взрослой личности. Тень — это пленный эгоизм человека, его непризнанные желания, ругательства, которых он не произнёс, убийства, которых он не совершил. Тень — темная сторона его души, непризнанная, неприемлемая.

И Андерсен утверждает, что этот монстр — неотъемлемая часть человека, и что отрекаться от него нельзя, — нельзя, если человек хочет войти в Обитель Поэзии.

Ошибка человека в том, что он не последовал за своей тенью. Она двинулась, опередив его, пока он сидел у окна; и он отсекает её от себя, приказав ей «шутливо»: отправляйся без меня! И тень так и поступает. Она входит в Обитель Поэзии, туда, где исток всякой созидательности, — оставив человека вовне, на поверхности действительности.

И теперь он, при всей своей доброте и учёности, не может сеять добро, неспособен на действие, — затем, что отсёк себя от корней. И тень равно беспомощна; она не может пройти сквозь затенённую прихожую к свету. Ни одному из них без другого не дано приблизиться к истине.

С возвращением тени к человеку в его зрелом возрасте он получает второй шанс, но упускает и его. Он стоит, наконец, лицом к лицу со своим тёмным «я», но вместо того, чтобы добиться равенства или главенства, позволяет ему стать хозяином. Он сдаётся. По сути, он и впрямь становится тенью тени, и роковой конец его теперь неизбежен. Принцесса Разум жестока, посылая его на казнь, и всё же она справедлива.

Безжалостность Андерсена — это отчасти безжалостность разума, психологического реализма, радикальной честности, готовности увидеть и принять последствия поступка или неспособности на поступок. Есть в Андерсене и что-то издевательское, угнетающее; это его собственная тень, она существует, она часть его, но не целое, и она им не правит. Его сила, его искусность, его созидательный гений берут начало именно в том, что он признаёт и делает союзником тёмную сторону собственной души. Вот почему выдумщик Андерсен — один из величайших реалистов в литературе.

Сейчас я стою здесь, как сама принцесса, и рассказываю вам, что история о тени означает для меня в сорок пять лет. Но что она означала для меня, когда я впервые прочла её, лет в десять-двенадцать? Что означает она для детей? «Понимают» ли они её? «Полезна» ли для них она — это мучительное, сложное исследование моральной несостоятельности?

Не знаю. Ребёнком я её ненавидела. Я ненавидела все андерсеновские истории с несчастливой концов кой. Это не мешало мне их читать и перечитывать. Или

хранить в памяти... так что после перерыва в тридцать с лишним лет, когда я обдумывала эту беседу, голосок в моём левом ухе вдруг проговорил: «Ты бы раскопала ту андерсеновскую историю, ну знаешь, о тени».

В десять лет я уж точно не стала бы распространяться о разуме, и о подавлении, и обо всём подобном. Я не владела техникой критики, не обладала беспристрастностью, и была даже менее способна на упорные размышления, чем сейчас. В каком-то смысле моё сознание было слабее развито. Но я обладала не менее — если не более — развитым подсознанием, и возможно, была крепче связана с ним. И это именно к нему, к неизвестной глубинной части моего существа, взывала та история; именно эта глубинная часть отвечала ей; и, без посредства слов, без помощи логики, понимала её, и училась у неё.

Великие произведения в жанре фэнтэзи, мифы и сказки и впрямь сродни сновидениям: через них подсознание обращается к подсознанию, на языке подсознания — символа и архетипа. Хотя они и пользуются словами, но действуют подобно музыке: минуя многословные рассуждения, находят прямой путь к мысли настолько глубинной, что речь не может её передать. Их невозможно перевести полностью на язык разума, но только Логический Позитивист, который и в Девятой Симфонии Бетховена не видит смысла, объявил бы их поэтому бессмысленными. Есть в них глубокий смысл, и есть польза, практическая ценность, когда дело касается этики, способности к пониманию, развития.

Сведённая к пересказу на языке дня, андерсеновская история говорит, что человек, неспособный стать лицом к лицу со своей тенью и признать её, — это конченый человек. Говорит она нечто и о себе самой, то есть об искусстве. О том, что если ты хочешь попасть в Обитель Поэзии, то должен войти туда во плоти, в грузной, грубой, неуклюжей телесной оболочке с её мозолями и простудами, вожделениями и страстями; в телесной оболочке, отбрасывающей тень. О том, что если художник пытается игнорировать зло, ему никогда не войти в Обитель Света.

Вот что великий мастер сказал мне о тенях. А теперь, если мне будет позволено передвинуть нашу свечу и отбросить тень в ином направлении, я хотела бы расспросить о том же великого психолога. Искусство сказало своё слово; послушаем, что скажет наука. Поскольку предмет разговора — именно искусство, то пусть это будет психолог, чьи идеи в области искусства наиболее важны для большинства мастеров: Карл Густав Юнг

Терминология Юнга славится своей сложностью, поскольку он постоянно меняет значения слов, как растущее дерево меняет листья. Попытаюсь по-

любительски дать определение нескольким ключевым терминам, не исказив их окончательно. Итак, выражаясь весьма приблизительно, для Юнга «эго», — то, что мы обычно именуем «я», — есть лишь часть «Я», та часть, которую мы воспринимаем сознательно. Эго «вращается вокруг Я, как Земля вокруг Солнца», говорит он. Это «Я» запредельно; оно намного превосходит эго и находится не в личном владении, а во всеобщем, — иными словами, мы делим его с другими людьми, а возможно, и со всеми живыми существами. Быть может, именно оно и связует нас с тем, что именуется Бог. Такая картина представляется — и является мистической; но вместе с тем она точна и реалистична. Юнг просто утверждает, что в основе своей мы похожи; нашим душам свойственны общие устремления и общее устроение, как нашим телам — одинаковый тип лёгких и костяка. Все человеческие существа на вид немного сходны; они также мыслят и чувствуют сходно. И все они — часть вселенной.

Эго, малое, личное, индивидуальное сознание, понимает это; и понимает также, что либо будет заперто в безнадёжном безмолвии аутизма, либо должно признать себя родственным чему-то вне его самого, выше его самого, значительней его самого. Если эго окажется слабым, или ничего лучшего ему не достанется, то родства оно будет искать с «коллективным сознательным». термином Юнг обозначает нечто наименьшего общего знаменателя при сложении всех малых эго; сознание толпы, состоящее из таких явлений, как культы, лозунги, минутные увлечения, моды, погоня за престижем, условности, внушённые убеждения, реклама, поп-культура, все «измы», все идеологии, все пустые формы общения и «единения», лишённые и настоящей общности, и настоящей возможности чем-либо делиться. Эго, приемлющее такие пустые формы, становится частью «одинокой толпы». Чтобы избежать этого, чтобы познать истинную общность, оно должно повернуть внутрь, прочь от толпы, к истоку: оно должно признать себя родственным собственному огромным глубинному миру, неисследованным областям «Я». Эти области духа Юнг называет «коллективным бессознательным»; именно в них, там, где мы все встречаемся, видит он истоки подлинной общности, непритворной веры, искусства, великодушия, непосредственности и любви.

Как попасть туда? Как отыскать свой собственный, личный вход в коллективное бессознательное? Что ж, первый шаг — часто самый важный; а Юнг говорит, что сделать первый шаг значит повернуться и последовать за собственной тенью.

Душа видится Юнгу населённой множеством занимательнейших фигур; они куда живее мрачного

фрейдовского трио — Оно, Эго, Сверхэго; с ними всеми стоит познакомиться. Та, что интересует нас сейчас, — тень.

Тень обитает по другую сторону нашего духа; это тёмный брат сознания. Это Каин, Калибан, монстр Франкенштейна, мистер Хайд. Это Вергилий, ставший проводником Данте в аду; друг Гильгамеша, Энкиду; враг Фродо, Голлум. Это Серый Брат в «Маугли»; оборотень; волк, медведь, тигр в тысяче народных сказок; это змий, Люцифер. Тень стоит на пороге меж сознанием и подсознанием и встречается нам в сновидениях в образе сестры, брата, друга, зверя, чудовища, провожатого. Она — всё, чего мы не хотим и не можем впустить в своё осознанное «я»; все качества и наклонности, которые мы подавляем, отрицаем или не используем. Иоланда Якоби, излагая психологию Юнга, пишет, что «развитие тени происходит параллельно развитию эго; качества, в которых эго не нуждается или которыми не может воспользоваться, оказываются им отброшены или подавлены, и потому они не играют — или почти не играют — роли в сознательной жизни индивидуума. Соответственно, у ребенка нет настоящей тени, но его тень становится всё различимее по мере того как его эго крепнет и расширяется». Сам Юнг говорил: «Каждый влачит за собой тень, и чем меньше находит она воплощения в сознательной жизни человека, тем она чернее и гуще». Иными словами, чем реже ты смотришь в её сторону, тем сильнее она становится, покуда не превратится в опасность, в непосильную ношу, в угрозу, таящуюся в недрах души.

Не допущенная в сознание, тень будет спроецирована наружу, на других. Во мне нет ничего дурного — это всё они. Я не чудовище, это другие люди — чудовища. Все иностранцы — зло. Все коммунисты — зло. Все капиталисты — зло. Кот сам виноват, что я пнулего, мамочка.

Если человек хочет жить в реальном мире, он должен перестать проецировать себя на окружающее; он должен признать, что отвратительное, злое существует в нём самом. Задача не из лёгких. Трудно приходится, когда нет возможности обвинить кого-то другого. Но дело того стоит. Юнг говорит: «Тот, кто научился лишь обращаться со своей тенью, уже сделал для мира нечто существенное. Он сумел взять на себя по крайней мере минимальную частицу громадных, неразрешенных социальных проблем нашего времени».

Более того, он дорос до истинной общности, до самопознания, до созидательности. Ибо тень стоит на пороге. Мы можем позволить ей преградить путь к созидательным глубинам подсознания, а можем позволить ей и проводить нас туда. Ибо тень — это не просто нечто злое. Это нечто низшего разряда, примитивное,

неуклюжее, животное; нечто, напоминающее ребёнка; нечто мощное, полное жизни, непосредственное. Её не назовешь слабой и добропорядочной, как того учёного юношу родом с севера; она черна, нечёсана, непристойна, но без неё человек — ничто. Что есть тело, не отбрасывающее тени? Ничто, бестелесность, двумерный персонаж комикса. Человек, отрицающий свою глубокую связь со злом, отрицает свою реальность. Он неспособен действовать или созидать; он может лишь сводить на нет, уничтожать.

Юнга главным образом интересовала вторая половина жизни, когда осознанная конфронтация с тенью, разраставшейся тридцать — сорок лет, может оказаться необходимостью — как это случилось с беднягой из андерсеновской истории. У ребенка, как говорит Юнг, и эго, и тень очерчены ещё слабо; он вполне способен увидеть своё эго в божьей коровке, а свою тень в том, что так страшно прячется под кроватью. Но я думаю, что в предподростковом и подростковом возрасте, одновременно с появлением — нередко поистине ошеломляющим — осознанного самоощущения, тень сгущается. Нормальный подросток уже не проецирует себя на мир бездумно, как малое дитя; он осознаёт, что нельзя винить во всём плохих парней в чёрных шляпах. Он начинает брать на себя ответственность за свои поступки и чувства. И вместе с ней он часто взваливает на себя непосильное бремя вины. Его тень видится ему настолько чёрной, настолько беспросветно злой, что это вовсе не соответствует действительности. Единственная возможность для подростка оставить позади эту полосу парализующего самообвинения и отвращения к себе — это по-настоящему рассмотреть свою тень, увидеть её лицом к лицу со всеми её бородавками, клыками, прыщами, когтями и всем прочим; и признать в ней самого себя — часть самого себя. Самую уродливую часть, но не самую слабую. Ибо тень есть проводник. Проводник на пути внутрь и потом наружу; вниз и потом наверх; туда, как говорил хоббит Бильбо, и потом обратно. Тень — провожатый в путешествии к самопознанию, ко взрослости, к свету.

«Люцифер» означает «несущий свет».

Мне кажется, что Юнг описал, как жизненную необходимость и долг, это путешествие, которое андерсеновский учёный юноша совершить не сумел.

Мне также кажется, что большинство великих произведений в жанре фэнтези — именно о таком путешествии; и что этот жанр лучше всего подходит для описания этого путешествия, его опасностей и наград, которое оно сулит. События, происходящие по пути в подсознание, не изложить языком рациональной дневной жизни; только символический язык душевной глуби может их передать, не сводя к банальностям.

Кроме того, путешествие это представляется не только духовным, но и моральным. Большинство великих фэнтэзи заключают в себе серьёзнейшую, поразительную моральную диалектику, которую часто изображают как борьбу между Тьмой и Светом. Но сказать так означает упростить, а этика подсознательного — сновидения, фэнтэзи, сказки — отнюдь не проста. Она весьма и весьма необычна.

Возьмём этику сказки, где роль тени часто играет животное — конь, волк, медведь, змея, ворон, рыба. В своей статье «Проблема Зла в волшебных сказках», Мари Луиза фон Франц — принадлежащая к школе Юнга — указывает на несомненную странность моральных ценностей в этом жанре. Если вы герой или героиня волшебной сказки, для вас не существует правильного образа действий. Нет никаких правил поведения; нет никаких норм в том, как поступает добрый принц или в том, как не поступает хорошая девочка. Я хочу сказать: обычное ли дело, чтобы хорошие девочки вталкивали старых дам в хлебные печи, удостаиваясь за это вознаграждения? Нет, в том, что именуется «реальной жизнью», такого не бывает. Но в сновидениях и сказках так и происходит. И судить Гретель по законам этики сознательного, этики дня, есть абсолютная и смехотворная ошибка.

В сказке, хотя там нет «правильного» и «неправильного», существует иное мерило; пожалуй, лучше всего тут подойдёт слово «долженствование». Ни при каких обстоятельствах мы не назовём морально оправданным и этически добродетельным деянием то, что старую даму вталкивают в печь. Но в условиях волшебной сказки, на языке архетипов, мы можем с полной убеждённостью сказать, что так надлежит поступить. Ибо здесь и ведьма — не старая дама, и Гретель — не маленькая девочка. Обе они суть психологические факторы, составные части сложной души. Гретель есть извечный тип души-ребенка, невинной, беззащитной. Ведьма есть извечный тип злой карги, владеющей и разрушающей; матери, которая скармливает тебе печенье и которую — пока она не съела тебя как печенье — должно уничтожить, чтобы ты могла вырасти и сама стать матерью. И так далее, и так далее. Все объяснения неполны. Архетип неисчерпаем. И у детей он находит не менее полное и верное понимание, чем у взрослых, — часто более полное, ибо ум ребёнка не забит односторонними, лишенными тени полуправдами и условными моральными ценностями коллективного сознательного.

Зло, таким образом, выступает в сказках не как нечто, диаметрально противоположное добру, а как нечто, неразделимо с ним переплетённое, как в символе иньянь. Одно не превосходит другое; людскому рассудку и

добродетели не дано отделить одно от другого и выбрать между ними. Это герой или героиня видит, как надлежит поступить, ибо он или она видит целое, которое превосходит и зло, и добро. Их героизм, по сути, — в их уверенности. Они не действуют по правилам; они просто знают, каким путём идти.

В этом лабиринте, где, казалось бы, приходится положиться на слепой инстинкт, существует, как указывает фон Франц, одно — только одно — постоянное правило или «мораль»: «Каждый, кто заслужил благодарность животных, или кому они помогают по любой причине, неизменно берёт верх. Это единственное незыблемое правило, которое мне удалось обнаружить».

Наш инстинкт, иными словами, не слеп. Животное не рассуждает, но оно видит. И оно действует с уверенностью; оно действует «правильно», как надлежит. Вот почему все животные прекрасны. Именно животное знает дорогу, дорогу домой. Именно животное внутри нас — примитив, тёмный брат, теневая часть души — есть проводник.

В сказках тут часто возникает странный поворот, что-то вроде последней тайны. Животное-помощник, обычно конь или волк, говорит герою: «Когда совершишь ты то-то и то-то с моей помощью, ты должен будешь убить меня, отсечь мне голову.» И герой, конечно, доверяет своему вожатому-животному так безгранично, что готов на это пойти. Смысл, очевидно, в том, что, проследовав за своими животными инстинктами достаточно далеко, ими должно пожертвовать, чтобы истинное «я», цельная личность, вышло из тела животного, возрождённое. Таково объяснение фон Франц, и звучит оно весьма разумно; я рада любому объяснению этого дикого эпизода, который встречается в столь многих сказках и всегда меня шокировал. Но сомневаюсь, что подобное объяснение можно считать исчерпывающим — или что таковым его решится назвать хоть один последователь Юнга. Ни рациональное мышление, ни рациональная мораль не могут «истолковать» странные глубинные уровни воображения. Даже просто читая волшебную сказку, мы должны распроститься с нашими дневными убеждениями и довериться темным фигурам, позволив им проводить нас в молчании; и по возвращении нам бывает трудно передать, где мы побывали.

Во многих книгах, написанных в жанре фэнтэзи в девятнадцатом и двадцатом веке, напряжение между добром и злом, тьмой и светом совершенно недвусмысленно изображается как битва: хорошие парни на одной стороне и плохие на другой, полицейские и грабители, христиане и язычники, герои и негодяи. Мне кажется, что в подобных фэнтэзи автор пытался заставить рассудок проводить его туда, куда рассудку нет

ходу, и отказался от верного и страшного проводника, за которым должен был бы следовать, — от тени. Это фальшивые фэнтэзи, рационализированые фэнтэзи. Это подделки. Позвольте мне, предъявив вещь подлинную, которая всегда намного интереснее подделки, обратиться ненадолго к «Властелину Колец».

Критики сурово осуждали Толкиена за его «упрощённость», за то, что обитателей Средиземья он разделяет на хороших и плохих. И он действительно их разделяет подобным образом, и хорошие у него, как правило, полностью безупречны, хоть и обладают милыми слабостями, в то время как Орки и прочие негодяи абсолютно омерзительны. Но так судить можно лишь с точки зрения этики дневного света, по условным стандартам добродетели и порока. Взглянув на историю как на духовное путешествие, вы увидите нечто совершенно иное и очень необычное. Вам предстанет тогда группа светлых фигур, у каждой из которых окажется своя чёрная тень. Против Эльфов — Орки. Против Арагорна — Чёрный Всадник. Против Гэндальфа — Саруман. И прежде всего, против Фродо — Голлум. Против него — и вместе с ним.

Это действительно сложно, поскольку обе фигуры и без того двоятся. Сэм отчасти представляет собой тень Фродо, нижестоящую часть его личности. В Голлуме также живут двое — в более прямом, шизофреническом смысле; он всё время разговаривает сам с собой, Ползучка разговаривает с Вонючкой, как называет это Сэм. Сэм прекрасно понимает Голлума, хотя никогда не сознается в том и никогда не признает Голлума, как признаёт его Фродо, позволивший Голлуму стать их проводником, доверившийся ему. Фродо и Голлум оба хоббиты, но это ещё не всё; они — одна и та же личность, и Фродо это знает. Фродо и Сэм — светлая сторона, Смеагол-Голлум — теневая. В финале Сэм и Смеагол, менее значимые фигуры, исчезают, и к концу долгих исканий остаются только Фродо и Голлум. И это Фродо, хороший, подводит, в последний момент пожелав сам заполучить Кольцо Всевластья; и это Голлум, плохой, доводит поиск до успешного конца, уничтожая Кольцо и себя вместе с ним. Кольцо — архетип, воплощающий Соединительную Силу, созидание-разрушение, — возвращается в жерло вулкана, извечный исток созидания и разрушения, изначальный огонь.

Взглянув на историю под таким углом, можно ли назвать её простой? Думаю, что да. «Царь Эдип» тоже достаточно простая история. Но она не упрощённая. Историю такого рода способен поведать лишь тот, кто обернулся, и встал лицом к лицу со своей тенью, и взглянул во тьму.

То, что изложена она языком фэнтэзи, объясняется не случайностью, и не тем, что Толкиен —

эскапист, и не тем, что он писал для детей. Это фэнтэзи, затем, что фэнтэзи — естественный подходящий язык для рассказа о духовном путешествии и о борьбе добра и зла в душе.

Всё это уже было сказано — прежде всего, самим Толкиеном, — но требует повторения. Требует многократного повторения, ибо и сейчас, в этой стране, существует глубокое пуританское недоверие к фэнтэзи, которое нередко проявляется у людей, искренне и серьёзно озабоченных нравственным воспитанием детей. Фэнтэзи для них означает эскапизм. Они не видят никакой разницы между Бэтмэном или Суперменом товаром с фабрики дурмана — и вечными архетипами коллективного бессознательного. Фантазию, которая в психологическом смысле есть универсальная и ценная способность человеческого мышления, они путают с инфантилизмом и патологической регрессией. Тени, похоже, представляются им чем-то легко устраняемым помощи достаточного числа электрических лампочек. А увидев иррациональность, и жестокость, и странную аморальность сказки, они говорят: «Но ведь это же страшно вредно для детей; мы должны учить их, что хорошо, а что плохо — при посредстве реалистической литературы, книг, правдиво изображающих жизнь!»

Я согласна, что детей надо — и обычно они этого очень хотят — учить отличать хорошее от плохого. Но думаю, что детская реалистическая литература — одно из наименее подходящих для этого средств. Трудно не впасть в поверхностные рассуждения коллективного сознательного, в примитивный морализм, во всевозможное проецирование, так что опять докатываешься до сплошных негодяев и героев. Или заводишь старую песню о том, что «есть немножко плохого в самых лучших из нас и немножко хорошего в самых плохих», опаснейшим образом сводя к банальности тот факт, что невероятный потенциал добра и зла заложен в каждом из нас. Или авторы приучаются просто спекулировать на потрясениях и расстраивают ребенка-читателя, сами не будучи по-настоящему задеты жестокостью истории, что постыдно. Или появляются «проблемные книги». Проблема наркотиков, разводов, расовых предубеждений, внебрачной беременности, и так далее — точно зло есть проблема, то есть нечто, могущее быть решённым, имеющее ответ, как задачка из учебника арифметики для пятого класса. Если хочешь получить ответ, просто загляни в конец книжки.

Вот это настоящий эскапизм, — когда зло представляют как «проблему», а не как то, что оно есть: боль, и страдания, и бессмысленные потери, и утраты, и несправедливость, с которыми нам всю жизнь приходится встречаться, вставать лицом к лицу, и вновь и вновь справляться, признавая их, живя с ними, чтобы

жить истинной человеческой жизнью.

Но, в таком случае, как быть автору натуралистических книг для детей? Может ли он представить ребёнку зло как неразрешимую проблему — как нечто, с чем ни ребенок, ни взрослые вообще ничего не в силах поделать? Показать ребёнку картины газовых камер в Дахау, или голода в Индии, или зверств психопатародителя, и сказать: «Вот, детка, всё так и есть, что тут поделаешь?» — это, безусловно, неэтично. Намекнув, что существует «решение» этих чудовищных фактов, вы солжёте ребенку. Настаивая, что решения нет, вы взвалите на него бремя, пока ещё для него совершенно непосильное.

Юному существу действительно нужны защита и убежище. Но ему также нужна правда. И мне кажется, что возможность, абсолютно честно и полностью придерживаясь фактов, говорить с ребёнком и о добре, и о зле заключается в том, чтобы говорить о нём самом. О нём самом, о его внутреннем «я», о его глубоком, глубочайшем «Я». Вот с этим он может справиться; труд взросления как раз и состоит для него в том, чтобы стать самим собой. Он не сумеет этого сделать, если почувствует, что задача безнадёжна, или если его наведут на мысль, будто никакой задачи вовсе

не существует. Развитие ребёнка будет остановлено и исковеркано, если ввергнуть его в отчаяние или ободрить ложной надеждой, запугать или занянчить. Для взросления ему необходима реальность, целое, превосходящее все наши добродетели и все пороки. Он нуждается в знании; он нуждается в самопознании. Он должен видеть себя и тень, которую отбрасывает. Вот её, свою собственную тень, он может встретить лицом к лицу; он может научиться ею управлять и брать её в проводники. И потому, когда он вырастет, достигнув полной силы и ответственности, как взрослый член общества, он, возможно, будет менее склонен сдаваться в отчаянии или отрицать увиденное, столкнувшись с творящимся в мире злом, со всеми несправедливостями, горем, страданием, которые нам приходится переносить, и с последней тенью в конце всего.

Фэнтэзи есть язык глубинного «я». О собственной причастности к этому жанру скажу только, что сама нахожу в нём язык, на котором надлежит рассказывать истории детям — и всем остальным. Но я говорю это с достаточной уверенностью, опираясь на авторитет величайшего поэта, который выразил это куда смелее. «Великим орудием духовного добра, — сказал Шелли, — является воображение».

1974 г.



# елена яицкая "СТИХИ ПРО МЕНЯ"



Заметки учительницы русского языка и литературы Елены Яицкой написаны для её странички в LiveInternet.

Время года и возраст располагают к размышлениям, а темп жизни и повседневная суета не дают сосредоточиться... Поэтому вряд ли в моих записях будет какая-то система. Я даже не могу ответить на вопрос: зачем мне это надо? Зачем вообще люди ведут дневники, открытые (в большей или меньшей степени) для всех? Что движет ими? Желание начать новую, пусть и виртуальную, жизнь - в новом облике, с новыми друзьями? Одиночество, которое не зависит от количества людей вокруг? Неистребимая жажда новых впечатлений и встреч? Стремление найти единомышленников? Мысли и чувства, переполняющие настолько, что невозможно удержаться от того, чтоб их не выплеснуть? Щедрость и открытость, которые заставляют делиться тем, что знаешь? Возможность найти применение знаниям, остающимся не востребованными в реальной жизни? Столько причин перечислила – и ни на чем не остановилась...

#### O MAME

Вот они, эти странички со стихами.

Мама любила стихи Константина Симонова. Как реликвию, я храню несколько пожелтевших листков, вырванных из тетради, на которых знакомым маминым почерком записаны его стихи. Этим страницам 68 лет (на одном из них видна дата — 1942 год), стихи Константина Симонова она переписывала для себя из газет... Стихи о любви... Они не могли не запасть в душу романтичной девушке с возвышенными чувствами, ждущей весточки от любимого с фронта.

В 1942 году мама уже работала учительницей, преподавала немецкий язык в школе в Онеге. Представляете, как это было трудно – преподавать «вражеский» язык ребятам, отцы которых сражались на фронте! А Нине (так звали маму) еще не было и 20!

Из студентов первого выпуска Минского иняза мама была единственной заочницей, получившей диплом с отличием. Работать Нина начала в сентябре 1941 года в Онеге, которая была прифронтовым городом. После уроков вместе с еще несколькими молодыми учительницами – в госпиталь. Обо всем этом написаны книги, сняты фильмы... А это была их юность! Строки Д. Самойлова — «война гуляет по России, а мы такие молодые» — и о них, о таких, как моя мама.



### НЕ ПРОСТО ДАТА

Вчера в Мурманске отмечали 65-ую годовщину разгрома гитлеровских войск в Заполярье. Иногда это событие называют годовщиной освобождения, забывая о том, что ни Мурманск, ни Кольский Север не были завоеваны фашистами. С первого дня войны и до ноября 1944 года здесь шли кровопролитные бои. Мурманск был полностью разрушен (не знаю, кто это подсчитывал, но в книгах, посвященных тем событиям, написано, что Мурманск находится на 2 месте после Сталинграда по числу сброшенных на него бомб и выпущенных снарядов). Но не в подсчетах и цифрах дело. Здесь, на Кольском полуострове, находится единственный участок нашей западной границы, который немцы за всю войну не смогли преодолеть! А в каких условиях приходилось

воевать... На одной из скал стоит памятник, который Алешей, мурманчане называют памятник защитникам Заполярья. Среди них был и мой папа. Вот ведь какие удивительные бывают повороты судьбы! Папа мой, родом из белорусской деревни, с 1939 года служил в Архангельске (где, кстати, и познакомился со своей будущей женой - моей мамой), в 1940 году был переведен в Мурманск, где и встретил начало войны. В войну находился в Ваенге (Североморск) и на Рыбачьем, служил в морской авиации, был техником по электрооборудованию самолетов. Второй гвардейский полк, в котором он служил, возглавлял наш знаменитый ас, Дважды Герой Советского Союза Б.Ф.Сафонов. Вот его самолет папе и приходилось ремонтировать. Так вот, после войны мои родители вернулись в Белоруссию. Там я родилась и прожила 25 лет, пока не уехала вслед за мужем – военным... в Мурманск. Более того, живем мы на улице Сафонова! Наверное, теперь понятно, почему я с особым чувством отношусь к этой земле.

#### «СТИХИ ПРО МЕНЯ»

Простите, простите, простите меня. И я вас прощаю, и я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю. Но только вы тоже простите меня.

Забудьте, забудьте, забудьте меня. И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю, вас помнить не буду. Но только вы тоже забудьте меня.

Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас уважаю! Но я на другой проживаю. Привет!

Автор книги «Стихи про меня» Петр Вайль это стихотворение А. Володина сопроводил короткой фразой: «Как неуклонно, стремительно и наглядно нарастает с годами количество людей, к которым хочется обратиться с этими непритязательными строчками». В предисловии автор пишет: «По вторгавшимся в тебя стихам можно выстроить свою жизнь — нагляднее, чем по событиям биографии: пульсирующие в крови, тикающие в голове строчки задевают и подсознание, выводят его на твое обозрение». Как это верно! Мысль создать свой список таких стихотворений, и тоже с комментариями — где, как, почему, — владеет мной с момента, когда книга Вайля попала мне в руки.

Может показаться невероятным, но мое первое

детское воспоминание связано со стихами, причем не с каким-нибудь «Мойдодыром», а с пушкинскими «Цыганами»! Память рисует такую картину: мне нет еще трех лет (мы только переехали в новую квартиру, точнее, комнату – в двух других жили еще две семьи), я у мамы на руках, мы сидим перед раскрытой дверцей печки (в квартире было печное отопление – чудесные «голландки» из белого кафеля, мне до сих пор жалко, что при капитальном ремонте их убрали), и мама читает: «Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют...» до самого конца, до слов, непонятных, конечно, тогда и по сей день заставляющих сжиматься сердце: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!» В юности мама, по ее словам, была одержима желанием выучить наизусть «всего Пушкина». «Медный всадник» и «Полтава», «Моцарт и Сальери» и «Евгений Онегин» - все это я услышала из маминых уст еще в раннем детстве. Конечно, мама читала мне эти произведения отнюдь не из желания «развивать» и «обогащать» просто поэзия была, как я теперь понимаю, частью ее души, или, по выражению Вайля, средством для жизни. Поразительно, но я именно с тех пор помню начало «Цыган», хотя наизусть никогда не учила, и это не моя – мамина память. И восприимчивость к поэзии, конечно, от нее: стихи на меня действуют, как писал тот же Вайль, внутривенно.

### ОДИНОКИЙ ГЕНИЙ

Вчера была 195-я годовщина со дня рождения М.Ю.Лермонтова... Ни на одном из центральных каналов, кроме «Культуры», не было передачи, посвященной нашему национальному гению (может быть, я что-то просмотрела – тогда поправьте меня). Грустно. Он навсегда остался в нашей литературе одиноким странником.

### НАШЕ ВСЁ

...Я ж говорю – песня акына... В комментариях в одном из блогов ZnichKa написала: «Мы даже Пушкина – не знаем». По нашей акынской традиции, я за эту мысль зацепилась и задумалась... В самом деле, как часто мы находимся в плену расхожих суждений, не задумываясь о том, какой смысл вкладывал в них тот, кто их сформулировал. К примеру, возьмем знаменитую цитату:

«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Казалось бы, в чем тут сомневаться, автор — человек, опытный в любви, приводит свои наблюдения. Руководство к действию, так сказать. Но давайте обратимся к тексту.

# "Стихи про меня"

Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей И тем ее вернее губим Средь обольстительных сетей. Разврат, бывало, хладнокровный Наукой славился любовной, Сам о себе везде трубя И наслаждаясь не любя. Но эта важная забава Достойна старых обезьян Хваленых дедовских времян: Ловласов обветшала слава Со славой красных каблуков И величавых париков.

Оказывается, Пушкин вовсе не одобрял такое поведение по отношению к женщине, давая ему достаточно резкую оценку.

А вот не менее известная цитата: «Любви все возрасты покорны». Мне возразят: а что, разве нет, разве поэт не утверждает, что и человек преклонного возраста может полюбить ( ведь эта фраза относится к мужу Татьяны )? Скорей всего, тот, кто задает этот вопрос, лучше помнит арию Гремина из оперы «Евгений Онегин» ( к тексту арии Пушкин, как известно, отношение имеет весьма отдаленное), нежели пушкинский роман. Кстати, не факт, что у Пушкина безымянный, в отличие от оперы, генерал так уж стар: все - таки с Онегиным они друзья, а генералами в ту эпоху становились и довольно молодые («о, молодые генералы своих судеб»... но это из другой оперы... акыну простительно). Так вот, в опере Гремин поет:

Любви все возрасты покорны, Её порывы благотворны. И юноше в расцвете лет, едва увидевшему свет, И закалённому судьбой бойцу с седою головой.

А что же у Пушкина? У него тоже «любви все возрасты покорны», а вот дальше идет любимый пушкинский союз «но»...

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Ее порывы благотворны,
Как бури вешние полям:
В дожде страстей они свежеют,
И обновляются, и зреют—
И жизнь могущая дает
И пышный цвет и сладкий плод.
Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.

Правда, совсем не оптимистично звучат эти строки? Они результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» и куда правдивее оперной сладкой водицы. Впрочем, это уж совсем из другой оперы..



# инна трегуб ОКТЯБРЬСКИЕ ВИЗЫ



#### ОКТЯБРЬСКИЕ ВИЗЫ

В Израиль мы, разумеется, ехать не собирались. Как и большинство знакомых, не ощущавших тяги к своим национальным корням и интереса к сионизму, мы хотели попасть в Америку. Дорога была известна и проторена толпами. Я мысленно проделала этот путь столько раз, что знала его до мелочей. Разрешение на выезд в Израиль, билет до Вены, Италия, Нью-Йорк.

Я верила, что мы справимся. Мне казалось, что все предыдущие тридцать лет моей жизни были подготовкой к этому моменту. После хорошей английской школы и часов, проведенных на курсах и индивидуальных занятиях, английский язык не являлся камнем преткновения. И у меня была неплохая специальность — химия, хорошее университетское образование, защищенная диссертация, публикации в иностранных журналах. На этот капитал, полученный ценой огромных усилий, я теперь рассчитывала.

Стыдно признаться, но, если бы не пятая графа, — желтая повязка моего поколения, — я бы и не задумывалась о своей национальности. Я выросла в ассимилированной семье ученых, еврейская культура в нашем быту отсутствовала, идиш был безвозвратно забыт, на книжных полках красовалась русская классика. Жили мы в уютной части старого Киева, и любовь к этому прекрасному городу я сохранила на всю жизнь. К эмиграции меня привели антисемитизм и илеологическая несвобола.

Мне казалось, что еще немного усилий, и мой ребенок будет жить в свободной стране и учиться в лучших университетах. (В то время я наивно не думала о том, сколько это будет нам стоить!)

Шел 1989 год, и семьи наших друзей, одна за другой, стали собираться в дорогу. Мы тоже подали в ОВИР документы на выезд в Израиль. Я слышала, что некоторые люди из Вены, действительно, ехали в Израиль, наверное, по каким-то серьезным причинам. Среди моего окружения таковых не было.

Однако «человек предполагает, а бог располагает». Через три месяца надежды рухнули: Америка изменила эмиграционную политику, и людям, выпущенным в Израиль, туда и надлежало ехать. Новые правила входили в силу с первого октября. Если виза была датирована сентябрем, можно было уехать старым путем, а по ноябрьской визе, уже нет. С октябрем было не совсем понятно. Словно желая еще больше запутать ситуацию, киевский ОВИР продолжал выдавать датированные октябрем визы в течение нескольких месяцев. Однако поскольку время ожидания разрешения не сократилось, мы свою октябрьскую визу получили только в декабре, и пользы от нее было мало. Сопоставив даты, я с горечью поняла, что мы опоздали с подачей документов на какието две недели.

Дальнейшая жизнь разделилась на «до» и «после».

До: друзья были старые и новые: с работы, по школе, из смешанной компании.

После: друзья, успевшие проштамповать визы сентябрем, и те, что не успели.

Первые – уезжали гордые с запасом икры, эмалей и оптических биноклей, в новую жизнь, где нам места уже не было.

Вторые, и мы тоже, – оказались перед выбором: остаться «на пока» в СССР или уехать в Израиль.

Мои сантименты в отношении Израиля в то время основывались на пропитавшей меня насквозь советской пропаганде, неправдоподобных слухах и патриотической книге «Эксодус», жемчужине библиотечки «Как закалялась сталь». И все-таки это был единственный реальный шанс уехать из опостылевшего СССР, и пренебрегать им не следовало.

Обладателей «октябрьских виз» собралось немало, киевский ОВИР потрудился на славу. Наш приятель, физик, доктор наук, предложил создать группу «октябристов-отказников» и сразу ее возглавил. Составили списки, и он отправился с ними в Москву, в

американское посольство. Затем он представлял нашу группу на каком-то международном еврейском форуме, тоже в Москве. «Что охраняем, то имеем». Впоследствии Госдеп таки впустил его семью в Америку. Надо отдать должное американским властям: постепенно, по очереди, вызывались на интервью в посольство злосчастные «октябристы» из поредевшего списка и получали статус беженцев. К этому времени мы уже год находились в Израиле, так как предпочли не ждать.

Сборы в Израиль (вместо матрешек – верблюжьи одеяла) проходили тяжело, иврит не давался, настроение было отвратительное, я чувствовала себя как стареющая девица, вынужденная идти замуж не по любви, а за того, кто посватается.

Как мало мы знали о стране, куда ехали, говорит такой пример. Мой муж сошел на землю обетованную в фетровой шляпе и черном костюме. Не хватало только тефелим. Помню полные ужаса лица встречавших нас родственников. Они решили, что перед ними хасид. А он просто не хотел мять хорошую одежду в чемодане.

И всё-таки хорошо, что мы уехали сразу, не ждали, не агонизировали. Нам удалось месяца на три опередить цунами эмиграции из СССР, и этого времени нам хватило, чтобы найти работу и обосноваться. К тому же нам невероятно везло.

Большинство израильтян относились к нам приветливо и старались помочь. Кто-то подарил старый холодильник, кто-то помог его затащить на четвертый этаж. В ответ на нашу благодарность человек ответил, что таким образом он благодарит людей, которые двадцать лет назад помогали ему.

В марте 1990 страна еще жила в старом расслабленном ритме. Савланут-савланут (терпениетерпение), леат-леат (потихоньку, медленно-медленно) говорили нам израильтяне и наши родственникистарожилы. Сначала нужно учить язык в ульпане (учебное заведение для интенсивного изучения иврита). Потом можно постепенно искать работу. Причем не надо сразу претендовать на хорошую работу: Оле хадаш (новый эмигрант) должен получить свою меру страданий. Потом леат-леат можно устроиться получше...

После напряженных предотъездных месяцев мы не могли сразу перестроиться на этот расслабленный ритм. Да и страдать даже на первых порах не хотелось. Мы стали искать работу в первую же неделю, без иврита, в надежде на английский, который в Израиле знают почти все. Родственник помог составить резюме, и мы приступили к установлению контактов. Я вынула записную книжку с адресами и телефонами, которыми меня снабдили друзья в Киеве и начала звонить незнакомым людям «с приветом от тети Хаи». Первой я позвонила некой правозащитнице Юдит, с

которой председатель нашей группы, защищавшей «октябристов» от Госдепартамента, встретился на Еврейском Конгрессе. Я не очень уверенно себя чувствовала из-за фундаментального различия между отказниками-сионистами и отказниками-октябристами, но решилась.

Женщина на другом конце провода долго не могла понять кто я такая, так и не вспомнила нашего «октябрьского» председателя, но пригласила зайти. Жила Юдит не очень далеко, в нескольких кварталах, можно было дойти пешком. Мы много ходили пешком в тот год; хорошо, что Реховот — небольшой город!

«В миру» правозащитницу звали Юля, это была москвичка средних лет. Она заметно прихрамывала: ей повредили ногу при разгоне демонстрации. В Израиль приехала за год до нас, работала в Институте Вейцмане на какую-то стипендию. Оказалось, что она тоже химик по образованию.

К моему облегчению, мы не касались болезненной темы «куда ехали, куда приехали». Юля мало расспрашивала, много рассказывала, а под конец сама предложила показать мое резюме своему профессору. Через несколько дней мне позвонили из Института и позвали на интервью.

Оказалось, ее профессор в прошлой жизни работал в одном из московских академических институтов в области науки, смежной с нашей, и хорошо знал работы нашего отдела. Он порекомендовал меня своему коллеге. Так ровно через две недели после прилета на святую землю мне предложили сделать пост-докторантуру в Институте Вейцмана, крупнейшем международном научном центре.

Пока оформлялись документы, я с удовольствием ходила в ульпан. Совсем другое дело учить иврит, зная, что тебя ждет работа. Я искренне хотела обосноваться надолго в стране, которая нас так хорошо приняла.

Позже я иногда встречала Юлю в библиотеке Института, мы перебрасывались парой слов. На конгрессы она больше не ездила: появились более именитые борцы за права евреев. Ее работа висела на волоске, она не была уверена, продлят ли контракт, будет ли финансирование. Конкуренция с каждым днем становилась все жестче: ехали доктора и кандидаты, успевшие многого добиться в науке, пока Юля «выходила на площадь», и я с грустью думала, что Израиль не очень хорошо заботится о своих сионистах.

Удивительное это было время и место! Стоило только произнести чье-то имя, и человек сам на следующий день объявлялся, звонил по телефону: «Я слышал, что вы меня ищете, дайте адрес, буду у вас через два часа!» Там появлялись незнакомцы с приветом от друзей наших дальних знакомых, и поселялись в нашей

проходной комнате на недели: ведь где-то надо жить! Там дружбы рождались во время поездки в автобусе из пункта «А» в пункт «Б».

Казалось, там не существовало золотой середины: палящий зной сменялся проливными дождями, можно было спокойно гулять по ночным улицам, но каждая поездка автобусом в Иерусалим могла оказаться последней... Начальник приглашал мою семью домой на Пасхальный Седер, но бесстыдно эксплуатировал и уверял, что относился бы ко мне иначе, если бы я была родом из Америки... Все, что происходило у нас дома, каким-то образом становилось достоянием всего Реховота. Нам, выросшим в средней полосе, хотелось полутонов.

Возможно, поэтому мы не прижились. Но скорее всего, мешала неудовлетворенность тем, что оказались в Израиле не по своей воле.

Потом мы охотно воспользовались возможностью поработать в Европе, обманывая себя, что уезжаем только на год. Но подоспело долгожданное приглашение из американского университета, и через пять лет после отъезда из Киева мы въехали в страну, в которую когдато на две недели опоздали. Началась новая глава, новая эмиграция, совсем не похожая на первую.

В Америке живут по другим законам. Здесь не заводят друзей ни в автобусе (да и как часто мы им

пользуемся?), ни в самолете. «Have a good trip!» <sup>1</sup> говорю я симпатичному попутчику, с сожалением понимая, что наши дороги больше не пересекутся.

В Америке не сунешься к незнакомому человеку с резюме и приветом от тети Элизабет. Воспитанный американец вежливо выбросит его в ближайший мусорный контейнер. Просить о работе у незнакомого человека считается безвкусным, да и едва ли в его силах помочь. А для профессионального общения и дружбы есть специальные сайты: «linkedin» и «odnoklassniki».

Наше начало в Америке было тяжелое, медленное и не имело ничего похожего на стремительное покорение Израиля. А старые приятели, бывшие киевские октябристы, которые когда-то не решились ехать в Израиль и остались ждать, уже давно прибыли в Америку как беженцы и пустили здесь корни. Так может быть, уехав в Израиль, мы совершили ошибку? Но это бессмысленный вопрос, ведь «история не имеет сослагательного наклонения».

Хочу верить, что все было не случайно. Годы в стране, где Песах и Рош-а-Шана официальные праздники, где на Йом Кипур останавливается движение транспорта, где иврит — это государственный язык, сильно на нас повлияли. Они вернули нам национальную принадлежность, похищенную в стране исхода, праздники, традиции, историю. Мы узнали разницу между евреем и «лицом еврейской национальности».



### АЛЕКСАНДР ТРЕГУБ

# ИЗРАИЛЬ. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ АЛИИ

Алия<sup>1</sup> — репатриация евреев в Израиль, или Эрец-Исраэль. Является одним из основных понятий сионизма, ныне закреплённым в Законе о возвращении. Противоположное действие, эмиграция евреев из Израиля, называется словом йерида́<sup>2</sup>.

Русская Википедия – свободная энциклопедия.

Каждый еврей должен стремиться совершить алию в Иерусалим; и если супруга еврея не желает совершить алию вместе с супругом, ее надо заставить; и даже если супруг не желает совершить алию с еврейской супругой, — его надо вынудить совершить алию!

Йехуда ХаЛеви (около 1075—1140)— выдающийся еврейский испанский врач, поэт и философ; умер на пути в Иеруслим в 1140 году.

### ЧАСТЬ 1. НАЧАЛО

Израиль! Как много в этом звуке для сердца русского (еврея) слилось! Извечный вопрос русской интеллигенции: «Что делать?» в конце 80-х годов причудливо трансформировался в решительный ответ: «Нало ехать!»

Конечно, традиционная еврейская кульура не приемлет однозначных ответов. Достаточно вспомнить историю наших священных книг: Тора, Мишна и Гимора <sup>3</sup>. Тора, как известно, состоит из заветов Б-га в записи Моисея; естественно, пытливый еврейский ум наших праотцов не мог удовлетвориться короткими руководствами к действию Торы, и в Мишне приведены интерпретации и толкования этих заветов нашими выдающимися мудрыми раввинами. Как оказалось, эти интерпретации, в свою очередь, не всегда были однозначны, — поэтому в Гиморе собраны записи устных

обсуждений этих толкований раввинами попроще и их паствой. Конечно же, ни один из этих раввинов не был полнстью согласен с пост-интепретацией предыдущего, а если даже случайно и был, — вы можете не сомневаться, что он всегда находил, что добавить к предмету обсуждения. Не удивительно, объем Гиморы намного превышает объем Мишны и Торы вместе взятых! (История толкований на этом, естественно, не заканчивается, — наша нация, слава Б-гу, имеет многовековую историю, — но мы пока поставим здесь точку).

Так вот, ответ: «Надо ехать!» — конечно же породил много вариаций и подвопросов: «Куда ехать?», «Когда ехать?», «Кого брать с собой?» и т.д.

В нашей семье предварительный ответ на вопрос «куда» был для конца 80-х традиционный: В Америку!», а на вопрос «когда» — неординарный: «После защиты диссертации»...

К сожалению, эти два ответа оказались взаимоисключающими: когда диссертция была, наконец, защищена, Америка закрылась. Эта последовательность событий имеет точное научное определение и называется «еврейское счастье».

Но зато сами собой нашлись ответы на исконные вопросы: ехать куда — в Израиль!, ехать когда — немедленно!

Для краткости, мы пропускаем несколько очень важных, хотя еще не написанных глав: увольнение с работы, сдача государству его (государства) квартиры и гражданства, отправка багажа и, наконец, приобретение вожделенных билетов Москва — Будапешт — Тель-Авив.

Впервые за долгие месяцы мы почувствовали себя спокойно в самолете израильской авиакомпании Эль-Аль, рейс Будапешт — Тель-Авив, среди жизнерадостных молодых девушек и парней из израильского Битахона <sup>4</sup>. Аэропорт Бен Гурион встретил олим хадашим <sup>5</sup> апельсинами, как марафонцев после забега, и

Буквально подъём, восхождение, возвышение (ивр.)

<sup>2</sup> Спуск, нисхождение (ивр.)

Уточнения для любителей деталей: Тора – это первая книга Танаха; Мишна и Гимора – соответственно, первая и вторая часть Талмуда.

Службы безопасности (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Новоприбывших иммигтантов (ивр.)

интервьюерами из Службы безопасности.

Наконец, апельсины были съедены, багаж получен, сотрудники безопасности потеряли последнюю надежду выудить хоть какую-нибудь ценную информацию из неразговорчивых олимов, - и нас с нашими чемоданами выпустили из аэропорта прямо в объятия знакомым и незнакомым родственникам. Лица встречающих родственников выдавали плохо скрытое тревожное ожидание: хотя встретить «своих» олимов считалось мицвой 1, - но кому же хотелось связываться с этими неграмотными людьми из нищей страны! Лица наших родственников, даже на этом фоне, несколько выделялись, - главным образом, благодаря странно округленным глазам; причину этого мы поняли позднее. Дело было в моей одежде. Я был одет в свой лучший черный финский костюм (dress for success!). <sup>2</sup> Этот замечательный костюм достался мне от моего друга Кременецкого и был использован всего два раза - на его свадьбе и моей защите. Но это отдельный рассказ... На голове у меня была стильная черная шляпа с полями. Ни костюм, ни шляпу нельзя было сдать в багаж, где бы они могли помяться и потерять свой исключительный вид. Как оказалось, моя одежда в точности копировала одежду харидим<sup>3</sup>, и это повергло наших родственников в состояние полного и объяснимого шока. Дело в том, что в Америке, куда мы изначально собирались, очень важно было появляться на работе каждый день в новом костюме. Поэтому в тяжелых условиях социалистичекой экономики был героически приобретен (и впоследствии выслан на историческую родину) значительный запас разнообразных костюмов. К сожалению, в Израиле костюмы в начале 90-ых годов не пользовались особой популярностью. Нельзя сказать, чтобы люди совсем уже не знали о существовании такой одежды - например, некоторые дикторы израильского канала новостей действительно показывались в костюмах (и даже при галстуках!). Но абсолютное большинство израильтян, включая университетских профессоров, расхаживали в шортах и застиранных футболках; правда, члены Кнессета, когда их показывали по ТВ, «гам кен»<sup>4</sup> надевали брюки и носили рубашки с расстегнутыми верхними пуговицами. Как-то мне надо было сфотографироваться на паспорт, и я решил, из уважения к Стране, надеть галстук. Я так и пришел в свой университет – в рубашке и галстуке. Первым на меня наткнулся мой профессор, и немедленно спросил: «Александр, ма кара? Аколь

Я начал работать в Иерусалимском университете всего лишь после пяти месяцев пребывания в Стране, сразу по окончанию Ульпана, - официально - курсов по изучению иврита и патриотическому воспитанию новых иммигрантов, 6 – а неофициально – центра по обмену олимами жизненным опытом в Израиле: например, в каком банке дают лучший подарок при открытии счета или где по дешевке можно купить куриные ножки. Однако работа в университете не была моей первой работой в Израиле. Мы начали рассылку резюме и прохождение интервью (собеседования) в первую же неделю. Надо сказать, что этот процесс в Израиле значительно отличался от такового как в стране нашего происхождения, так и в стране нашего нынешнего пребывания (США). Интервью, по крайней мере, для олимов, на нашей исторической родине представлял собой совершенно уникальный, если не фантасмагорический, процесс. Мое первое собеседование состоялось прямо на кухне в нашей съемной квартире. Вечером зазвонил телефон, и говоривший представился как хозяин крупнейшей в стране резиновой компании; хозяин жил в нашем городе Реховоте, и хотел немедленно пригласить меня к себе на квартиру для предварительного интервью. Он понимал, что у нас еще нет машины, и попросил свою жену подвезти меня; жена уже в пути. И действительно, через несколько минут на пороге нашей полупустой, то есть не перегруженной мебелью, но зато полной гостей кухне показалась, как явление из другой жизни, ослепительной красоты великолепно одетая женщина йемени <sup>7</sup>. Ее явление произвело неизгладимое впечатление на нас и всех наших гостей. Она окинула нашу скромную кухню, единственной достопримечательностью которой был древний, времен Второй алии, холодильник, подаренный нам сердобольными родственниками, быстрым оценивающим взглядом и пригласила меня с собой. На улице нас ждал ее «мерседес». Мои мысли заработали в направлении, не имеющим ничего общего с интервью, но через двадцать минут мы действительно подъехали к шикарной вилле, полной гостей (это был Йом Шиши – конец недели, традиционное время для походов в гости). Элегантный мужчина извинился перед гостями и пригласил меня в отдельную комнату.

беседер?» $^5$ . Я попытался объяснить причину, но он так и не понял, зачем на паспорт надо фотографироваться в галстуке.

Богоугодным делом (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Одеться, чтобы достичь успеха (англ.)

<sup>3</sup> Ультрарелигиозных евреев (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Таки-да (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Что случилось? У тебя все в порядке? (ивр.)

Последнее достигалось коллективным исполнением песен «Кахоль велаван» («Голубой и белый» – цвета национального флага) и «Давид Мелех Исраэль» («Давид, король Израиля»).

Израильтянка йеменского происхождения (ивр.)

На безукоризненном английском он рассказал о своей компании, описал мои будущие обязанности и пригласил меня заехать к нему на работу на следующей неделе. Через неделю я вышел из автобуса в индустриальном районе Петах-Тиквы и попытался отыскать небоскреб с вывеской самой большой в Израиле резиновой компаниии. Небоскреба с таким именем не было; более того, небоскребов вообще не было видно. Оказалось также, что никто никогда не слышал о подобной компании. Наконец, после долгих поисков, удалось наткнуться на некий безымянный сарай, в котором как раз и размещалась моя компания. Как оказалось, она производила очень нужные резиновые затычки для зарождающейся, но так никогда и не вставшей на ноги, израильской автомобильной промышленности. Хозяина удалось отыскать в цеху, где он в компании рабочих непонятно зачем, но очень демократично, растягивал какой-то резиновый жгут. К сожалению, мы не сошлись на условиях контракта: принимая во внимание мое происхождение из далекой недоразвитой страны, затерянной где-то на сибирских просторах, хозяин предлагал пока поработать бесплатно, а в будущем, возможно, он мог бы даже платить мне неоговоренную сумму. Так была потеряна первая возможность начать свою трудовую карьеру в Стране.

Вскоре, однако, представились новые возможности. Один из профессоров, получивший мое резюме, знал другого профессора, родственник которого был коротко знаком с крупным бюрократом в Тель-Авиве, который, в свою очередь, работал в одном здании со значительным деятелем киббуцного движения. По словам профессора номер один, основная израильская пластиковая индустрия была сосредочена в киббуцах (киббуцы прошли большой путь в своем развитии и давно уже не ограничивались только аграрным хозяйством). Как известно, Израиль – страна маленькая, все друг друга знают, – так что подобная цепочка неформальных связей отнюдь не преувеличение, и рекомендация, пусть даже и от третьестепенного знакомого, очень важна.

Вспоминается мой приезд в Израиль через много лет, уже из Америки. Я хотел обменять в моем бывшем банке шекели на доллары, но у меня не оказалось с собой теудат зеут <sup>1</sup>. Мне объяснили, что без теудат зеут совершить валютный обмен совершенно невозможно. Человек дисциплинированный (нельзя так нельзя) я направился к выходу и по дороге наткнулся на знакомую еще со времен алии кассиршу. Ривка меня то ли действительно узнала, то ли сделала вид, что узнала, но тут же решила мне помочь. Она позвонила Хаве из отдела иностранных валют и сообщила, что она, Ривка, меня знает. Хава начала громко, так, что всем было

Но вернемся назад в 90-й год. Вооруженный рекомендацией от знакомого из цепочки, я вхожу в кабинет крупного киббуцного деятеля на двадцатом этаже небоскреба в деловом квартале Тель-Авива. Меня встречает секретарша и пропускает в кабинет. Хозяин кабинета приветливо поднимается мне навстречу изза огромного стола: оказывается, он член знаменитого киббуца Негба (в войну 1948-го года Негба стал символом героического сопротивления наступающей египетской армии, - израильским эквивалентом Сталинграда), но киббуц направил его на работу в руководстве всего киббуцного движения Израиля. Через несколько минут разговора я получаю рекомендацию на интервью на пластиковую фабрику в киббуце Негба, а через неделю становлюсь одним из немногих наемных работников киббуца. Киббуц в Израиле в 90-х годах представлял собой уникальный экономический феномен: совершенную социалистическую ячейку, внедренную в систему чисто капиталистического рынка. Все члены киббуца работали: кто на фабрике, главном источнике дохода киббуца, кто в поле; пенсионеры тоже не сидели без дела: кто-то работал в текстильной мастерской, кто-то помогал в маленьком зоопарке и т.д. Пластиковая фабрика производила пакеты для пищевых продуктов. Ею успешно руководили грамотные киббуцные технологи: пищевые пакеты фабрики Цалаф покупались американскими и израильскими компаниями, несмотря на жесткую рыночную конкуренцию. Зарплату киббуцники получали чисто символическую, приблизительно две-три тысячи шекелей в год (меньше тысячи долларов) на карманные расходы. Все жили в одинаковых маленьких домах и питались в общественной столовой. Начиная приблизительно с 80-ых, в Негбе отменили пресловутый киббуцный закон, согласно которому все дети должны были жить и воспитываться вместе, но отдельно от родителей. В «моем» киббуце дети жили с родителями и учились в киббуцной школе. Киббуц безоговорочно оплачивал своим детям первую степень в университете по выбору подростка. Для оплаты второй степени (магистра или доктора) нужно было уже согласие руководства и общего собрания киббуца. В киббуце было несколько машин: если кто-то собирался кудалибо ехать, нужно было заранее записаться на машину.

слышно, возмущаться по телефону: почему же я сразу не сказал ей, что Ривка меня знает! Она отправилась со мной к кассиру иностранных валют и велела ему обменять мне деньги немедленно, потому что Ривка меня знает! Кассир был очень смущен и в оправдание только бормотал, что никакой теудат зеут ему не нужен, а вот если бы я ему сразу сказал, что Ривка меня знает, то проблемы бы и не возникло.

Удостоверения личности (ивр.)

Выходных в киббуце практически не было; если фабрика была закрыта, рабочие и инженеры работали в поле. Во время праздника Песах, когда большинство правительственных учреждений было закрыто, я встретил на фабрике своего знакомого, хозяина кабинета (с секретаршей) на двадцатом этаже. Он стоял у станка и ловко шлифовал какие-то детали. Несмотря на внешнее полное равенство, в киббуце были «более» и «менее» равные члены. Более равные, в основном, руководство, ездили за границу, имели больший вес в принятии решений. После испытательного срока в три недели мою семью пригласили погостить на выходные в киббуце. Это было неофициальное интервью на соответствие нашей семьи киббуцным ценностям. Нас хотели принять в «условные» члены киббуца (после годичного испытательного срока мы бы могли стать полноправными членами). К сожалению, хотя люди нам действительно нравились, желания стать членами киббуца у нас не было. Было ясно, что фабрику придется покинуть.

Между тем, судьба продолжала предлагать новые возможности, и одна из них реализовалась в виде ещё одного кухонного интервью. Мне позвонил молодой и энергичный профессор Ави из Техниона в Хайфе и предложил позицию по изучению удобрений. Термин «удобрения» отсутствовал не только в моем резюме, но также в моём английском и ивритском словарном запасе, так что я даже не очень понял, что мне предлагают, но легко согласился на интервью. Я думал, у меня еще будет пара недель на изучение этих самых «фертилайзеров». Но я просчитался. Оказалось, Ави как раз пересекает страну с Юга на Север по пути в Хайфу и собирается заскочить ко мне домой через пару часов по пути из Бер Шевы. Положение немного осложнялось тем, что в этот период у нас проживал бездомный и пока безработный оле <sup>1</sup> Саша из Москвы. Саша не разменивался, подобно другим безработным олимам, на мелкие подработки на стороне, а проводил все время у нас дома, упорно изучая иврит.

Я загнал Сашу в гостиную, строго приказав не по-казываться во время интервью. Естественно, Ави пришлось принимать на кухне. После первой же чашки кофе Ави сообщил, что интервью прошло успешно, и на следующей неделе он пришлет мне официальные формы для приема на работу. Когда Ави поднялся из-за стола, на кухне, к его изумлению и моему негодованию, неожиданно показался Саша. Оказывается, он подслушал, что Ави едет в Хайфу (занятия ивритом не прошли даром!) и нахально потребовал, чтобы Ави его подвез. Ави, конечно, согласился, и, как оказалось, эта услуга была единственым плодом нашей беседы об

удобрениях.

Я так и не решился переезжать на другой конец страны, зато Саша успешно прошел интервью в Хайфе в израильскую электрическую компанию «Хеврат Хашмаль», и вскоре покинул наш дом.

Тем временем заработало мое первое телефонное интервью с Иерусалимским университетом. В результате интенсивной рассылки резюме такие интервью состоялись уже в первые месяцы нашего пребывания в Стране. Могу с гордостью сказать, что в Израиле не осталось ни одного университета, не охваченного моим резюме (за исключением Палестинского университета по изучению ислама где-то на террриториях, но о нем я тогда еще просто не знал). Вообще говоря, мой первоначальный план, еще в Киеве, был гораздо скромнее: я был готов на любую работу, например, работу дворника, только бы обеспечить семье достойную жизнь. С первоначальным планом было две проблемы: вопервых, содержать семью на зарплату дворника было бы непросто, а во-вторых, - и это главное, - конкуренция на работу дворника (или, правильнее, чистильщика улиц от ирии<sup>2</sup>) была просто невероятно высокой. Ирия платила небольшую зарплату, но давала прекрасные бенефиты, и многие олимы, даже и без ученой степени, великолепно квалифицировались для этой работы. Найти позицию в университете оказалось гораздо легче, чем устроиться на работу дворником!

Резюме профессору Марому в Иерусалимский университет было отослано в первую же неделю. Вначале никакой реакции не последовало. Приблизительно через месяц мы встретились с уехавшей в Израиль в 70-х годах подругой бывшей сотрудницы моей жены. Оказывается, муж сотрудницы когда-то делал пост-док в Иерусалимском университете у некоего профессора, знакомого с профессорм Маромом. В результате неожиданной встречи с вышеупомянутой подругой приглашение позвонить последовало профессору Марому домой и поговорить о возможной позиции в университете. Поскольку к этому времени я уже овладел ивритом настолько, что мог самостоятельно покупать овощи на местном рынке (широко пользуясь очень популярным и единственно необходимом для этой операции выражением: «Кама зе оле?» («Сколько это стоит?»), я решил пройти собеседование на иврите. К счастью, профессора дома не было, и мне ответила его жена. Наш разговор в переводе на русский звучал приблизительно так.

Я (с энтузиазмом):

–Добрый вечер!.

Жена профессора (приветливо):

-Добрый вечер.

Городского совета (ивр.)

Я: – Профессор Маром позвала?.

Жена профессора:

–Извините, его нет дома.

 $\mathcal{A}$ : –А это моя жена говорит?.

Жена профессора

(по-прежнему приветливо):

–Да, это говорит его жена.

 $\mathcal{A}$ : –А когда оно приходить?

Жена профессора (очень терпеливо):

-Он придет приблизительно через час.

Я: (с большим энтузиазмом):

-Замечательно! Я звоню один час!

Во время нашей очной встречи в университете я уже общался на английском. По-видимому, это помогло. В заключение нашей короткой беседы профессор сказал: «Я просмотрел твое резюме, список публикаций и рекомендации, - все это выглядит нормально, но главное, Борис (муж далекой подруги, бывшей сотрудницы жены) говорит, что ата беседер<sup>1</sup>». Так меня взяли на работу в Иерусалимский университет, что помогло как научной карьере, так и (надеюсь!) частичному очищению от накопленных за долгие годы жизни в галуте (вне Израиля) многочисленных грехов. Известно, что каждый еврей должен хотя бы раз в жизни совершить восхождение (алию) в Иерусалим приобщиться к богу и очиститься от грехов. Поскольку мы жили в низине (городе Реховот), мне в течение трех лет проходилось регулярно совершать алию пять раз в неделю. Помогла ли мне в жизни эта частая алия? Не уверен; но будем оптимистичны: без нее, возможно, всё было бы гораздо хуже.

#### ЧАСТЬ 2: ИРАКСКАЯ ВОЙНА

Весной 1990 года, почти сразу после нашего приезда в Страну, Ирак собрался оккупировать дружественную арабскую страну Кувейт. Хотя нам, несмышленым олим хадашим, казалось, что эти внутренние разборки двух арабских стран нас не касаются, умудренные опытом израильтяне думали иначе. История страны с древних времен доказывала, что, какая бы неприятность или просто перемена ни случалась в мире, - будь то политическая распря в Древнем Риме, крестовые походы христиан против мусульман в Азии, захват мусульманами христианских владений в Европе, смена членов советского Политбюро или выборы сената в Америке, - все имеет самое непосредственное отношение к Израилю. Это, конечно, лишний раз доказывает, что Израиль был и остается

неоспоримым центром мировой цивилизации.

Уже в августе израильская пресса широко обсуждала потенциальные возможности дальнейшего развития конфликта и его последствия для Израиля. Диапоазон мнений и обсуждаемых вопросов был очень широк: удовлетворится ли Ирак завоеванием только Кувейта, вмешается ли Америка, что предпримет Советский Союз, на чьей стороне окажутся Египет и Сирия и т.д. И это не удивительно: израильский народ всегда отличался здоровым разнообразием мнений по одному и тому же вопросу. И только в одном вопросе наблюдалось нерушимое единство: при любом раскладе Израиль обязательно окажется втянутым в эту войну.

Нашим окном в мир была популярная в то время русскоязычная газета «Наша Страна» (сорок агород за номер). На иврите мы не читали, а англоязычная «Jerusalem Post» во-первых, дорого стоила – четыре шекеля (!) за номер, а, во-вторых, ее содержание было идеологически чуждо олим хадашим. В то время, как «Наша Страна» давала полезные советы о льготах для олим, часах приема в Мисрад ХаКлита (агенстве по оказанию помощи иммигрантам), и публиковала остро необходимые объявления о дешевых куриных ножках в маколете 2 у Йоси, «Jerusalem Post» со знанием дела обсуждала фешенебельные курорты в Европе и Азии, публиковала рекламу лучших ювелирных магазинов в Иерусалиме и сообщала подробную и никому не нужную информацию о стоимости акций на Тель-Авивской бирже.

В любом случе, качество публикаций на военную тему в «Нашей Стране» значительно превышало журналистские стандарты таких столпов израильской прессы, как «Маарив», «Едиот Ахронот», и той же «Jerusalem Post». Например, столпы еще только строили догадки о численности и мощи Иракской Армии, а «Наша Страна» уже публиковала подробные данные о количестве иракских танков, солдат и самолетов; столпы еще только дискутировали, введет ли Америка войска в Ирак, а «Наша Страна» уже проводила детальный анализ последствий военного вмешательства США. Источники информации газеты «Наша Страна» были постоянным объектом зависти ЦРУ и Моссада, но, к чести редколлегии, газета никогда не рассекречивала свои источники.

Между тем ситуация на военном фронте обострялась: в начале августа 1990 года Ирак оккупировал Кувейт, и США стали сколачивать военную коалицию против агрессора. Саддам Хусейн торжественно обещал расправиться со всеми врагами, а с Израилем в первую очередь. По слухам, ракеты Саддама, начиненные отравляющими газами, могли долететь до Израиля.

Ты в порядке (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Продуктовой лавке (ивр.)

Оборонительная стратегия правительства премьер-министра Ицхака Шамира базировалась на трех китах, надежных, как три источника и три составные части марксизма:

- а) вере в индивидуальные противогазы,
- б) хедер хаатум 1 и
- в) надежде на Б-ю помощь;

а) Снабжение израильского населения противогазами было организовано великолепно: каждому израильскому гражданину была выделена индивидуальная маска. Прилетающим в страну олимам вместе с апельсиновыми дольками и рекламными материалами Министерства адсорбции в аэропорту Бен Гурион выдавали теперь противогазы и инструкции по их надеванию. Как правило, это производило сильное впечатление на вновь прибывших.

Вместо того, чтобы тихо радоваться приобретенному бесплатно средству защиты от массового поражения, израильтяне дружно включились в дискуссию: насколько вообще эффективен противогаз против химического оружия, надо ли носить противогаз все время на себе, или просто держать его при себе, а если при себе, то где именно при себе; надевать ли противогазы на младенцев, беременных женщин и лиц, страдающих клаустрофобией; пользоваться ли ими в случе интимной близости, а если пользоваться, то как именно. Безоговорочная вера в противогазы была подорвана задолго до начала войны.

б). Концепция хедер хаатум, наверное, в силу своей неожиданности, оказалась более живучей. Каждой семье надлежало выделить одну комнату в квартире для заклейки оконных и дверных рам липкими лентами. Липкие ленты почему-то считались надежным барьером против проникновения отравляющих газов. В момент объявления тревоги израильтяне должны были организованно собраться в хедер хаатум, закрыть дверь, одеть противогазы и ждать отбоя. Хедер хаатум способствовали подъему экономики страны, потому что все бросились закупать липкие ленты и фонарики. Фонарики, по-видимому, должны были использоваться для инспекции липких лент в темноте на наличие проколов и мелких дырок.

Помимо позитивного эффекта на экономику, хедер хаатум сыграли свою положительную роль в укреплении семейных уз: почти каждую ночь, израильские семьи дружно собиралась в хедер хаатум, чтобы в ожидании конца воздушной тревоги спокойно и не отвлекаясь обсудить свои семейные проблемы. Каждый член семьи мог заняться любимым делом. Например, наш шестилетний, сын, большой любитель

нелегального чтения по ночам при слабом свете лампы, получил официальное разрешение читать свои книги во время воздушных тревог. И оказалось, что рассказы классика советской детской литературы Николая Носова много выигрывают при чтении их в правильно надетом противогазе.

Команды отбоя подавалась на иврите, английском и всех возможных других языках, включая, кажется, даже язык племени суахили. Этот мингиворонм тот С подход был особенно близок еврейской культуре, потому что использовал модель заповедей на горе Синай, преподанных, как известно, на семидесяти языках. По сути, в первый раз мы осознали, насколько разнообразен Израиль этнически, выслушивая команды отбоя и понемножку овладевая языком суахили. К сожалению, случались и мелкие сбои в хорошо организованной системе самообороны: а именно, оказалось, что не все новые иммигранты из России понимают команды на иврите, английском и суахили. Не раз и не два, когда мы праздновали окончание атаки на кухне, или давно и мирно спали, в нашей квартире раздавался звонок, и неизвестный голос, искаженный надетым противогазом, спрашивал: «Когда же наконец они объявят отбой, и сколько еще можно сидеть в этой маске?!»

Удобная и хорошо заклееная хедер хаатум высоко ценилась, и даже могла поднять стоимость недвижимости. Представляя квартиру потенциальным покупателям, маклеры теперь говорили: «В квартире имеются три комнаты, отдельная кухня, веранда, и готовая хедер хаатум». Личные бомбоубежища были уже предметом роскоши и иногда продавались вместе с виллами или частными домами, значительно повышая их цену. Наша хорошо обеспеченная немецкая подруга Паула сумела найти и арендовать дом с бомбоубежищем где-то в центре Страны, и прожила в нем до окончания войны.

Помимо индустрии по призводству липких лент, в выигрыше оказалась также израильская авиационная промышленность. Приблизительно к осени 1991 года многие израильтяне вдруг осознали, как соскучились они по своим, дальним и близким, родственникам, давно осевшим в городах Америки и Европы, и начали подготовку к длительным family reunions <sup>2</sup> за границей. Люди со средствами, родственниками за границей и невоеннообязанные бросились закупать билеты на самолеты. Нездоровый ажиотаж подогревался американскими и европейскими посольствами, которые настоятельно рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Израиль. Подруга Паула звонила из своего бомбоубежища и рассказывала, что предусмотрительные И педантичные немецкие

Загерметизированных комнатах (ивр.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Воссоединению семей (англ.)

чиновники уже рассчитали количество гробов, необходимое для вывоза тел погибших в Израиле германских граждан.

У большинства новых иммигрантов не было не только обеспеченных заграничных родственников, но еще даже израильских паспортов. Для олим хадашим привлекательным альтернативным вариантом стал длительный отдых в северных, подальше от иракских ракет, киббуцах Страны. Нам всем вдруг захотелось навестить Дани из киббуца Дан. Дани был старым знакомым всех олимов, прошедшим курс обучения в Ульпане. Дани появился уже в первых главах нашего учебника иврита. (Для эффективного изучения языка, Министерство адсорбции подготовило для нас учебники с ситуациями, моделирующими реальную жизнь, т.е. реальную жизнь в представлении чиновников министерства. Например, первая фраза в учебнике звучала так: «Аравим зорким эвеним» - и чем-то напоминала одно из первых предложений в моем букваре: «Мама мыла Милу мылом». В переводе, однако, эта фраза означала «Арабы бросают камни», что, безусловно, было очень далеко от реальности, потому что ко времени нашего приезда они уже перешли к холодному и огнестрельному оружию). Так вот, Дани был простым парнем, рыбаком из далекого киббуца на севере Страны. Его словарный запас был небогат (первые главы учебника были рассчитаны на начинающих студентов), поэтому он не пускался в длинные рассуждения о политике, не ругал правительство, не халтурил и не мошенничал. Все, что он делал, - это овад (работал), охаль (ел), яшан (спал), и даг дагим (ловил рыб), но делал это хорошо, честно и добросовестно. Мы все загорелись желанием погостить у Дани в его далеком северном киббуце, вкусить прелести простой библейской жизни, и помочь ему даг дагим.

Летом и осенью 1990 года также резко участились звонки наших оставшихся в галуте (вне Страны) знакомых и родственников. Всех интересовало, не опасно ли ехать сейчас в Израиль. К счастью, благодаря постоянному и вдумчивому чтению газеты «Наша Страна», я был хорошо осведомлен о всех деталях предстоящих Иракских атак и охотно делился доступной мне информацией с галутными знакомыми. Как-то нам позвонили наши киевские друзья с традиционным для тех предвоенных дней вопросом. Друзья уже находились в глубокой подаче, и мы готовились встретить их в нашем городе Реховот. С типичным израильским оптимизмом я посоветовал им ехать и ни о чем не беспокоиться: хотя война, безусловно, скоро начнется, но, good news <sup>1</sup>, иракские ракеты до Реховота не долетают. Это оптимистическое заявление было встречено другом конце провода глубоким продолжительным

Опыт жизни в Стране полностью определяет мировоззрение иммиганта—не случайно, первый вопрос, который спрашивают при встрече с вновь прибывшим: «Кама зман ата баАрец?» Помню, как в первые дни войны для поддержания нашего морального духа нас посетил родственник—ватик. Его вид выдавал глубокую тревогу, на лице лежала печать тяжелой озабоченности, а взгляд был мрачен. Дрожащим от волнения голосом он произнес сакраментальную фразу: «Ужасная ситуация в России!».

Очевидно, наш родственник счастливо достиг блаженного состояния высшей степени ихие беседер – его уже не волновали такие пустяки, как ракеты, падающие на наш город, – зато падение курса рубля гдето в далекой Москве вызывало глубокую озабоченность.

Шестнадцатого февраля 1991 года коалиция во главе с Америкой начала операцию Desert Storm <sup>4</sup>; хотя <u>Израиль в коа</u>лицию не входил, уже на следующий

молчанием; по-видимому, наши киевские друзья еще не выработали совершенно необходилый для жизни в Стране специфический оптимизм. Вообще, израильский оптимизм (или, используя более строгую академическую терминологию, ихие беседер <sup>2</sup>) подразделяется на три основные категории. Ихие беседер первой степени описывает состояние олимов, которые едут в новую страну без языка, без работы, без малейшего представления о том, что их ждет, но надеются, что в краю молока и меда все автоматически устроится (ихие беседер!). Второй уровень ихие беседер характеризует олим уже с определенным опытом жизни в Стране. Они постоянно слышат и читают в газетах сводки новостей о терактах, о не слишком дружественных соседних странах, о безработице и падении курса шекеля по отношению к доллару, о понижающемся уровне воды в озере Кинерет, об очередных дорожных авариях. Они уже осознали, что не все так просто, но, тем не менее, скорее всего, рано или поздно, с Б-ей помощью, таки да, ихие беседер! Наконец, ихие беседер третьей степени - это высшая степень оптимизма, достижимая только сабрами (израильтянами, родившимися в Стране) и некоторыми ватиками (иммигрантами с большим стажем жизни в стране). Овладевшие ихие беседер третьей степени пережили и видели все: войны, экономический упадок, коррумпированных политиков, смену нескольких администраций в Белом Доме, но на собственном опыте убедились: что бы ни случалось в Стране и извне, как бы тяжело не было, - в конечном счете, все действительно ихие беседер!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Будет хорошо (ивр.)

<sup>3</sup> Сколько лет ты в стране?(ивр.)

Буря в пустыне (англ.)

Хорошие новости (англ.)

день Ирак начал обстрел Израиля дальнобойными ракетами. Произведенные по советской технологии «Скады» падали на территорию Израиля как запоздалый прощальный подарок и последнее прости от бывшей Родины. Ракеты были неточные, без взрывных устройств и приземлялись где попало, иногда даже на палестинских территориях, но все опасались, что «Скады» начинены отравляющимими газами. К сожалению, информация, переданная киевским друзьям, оказалось верной только на пятьдесят процентов: то есть, война действительно началась, но оказалось, что их ракеты долетали и до Реховота. Всего тридцать девять «Скадов» приземлились в районах Большого Тель-Авива и Хайфы за время войны.

Мы уже говорили об оборонительной стратегии Израиля. К сожалению, наступательной стратегии не существовало вообще: опасаясь за судьбу хрупкой арабо-американо-европейской коалишии. старший американский брат настоятельно советовал израильскому правительству терпеливо сносить ракетные обстрелы и ни в коем случае в конфликт не вмешиваться. Взамен Америка установила батареи «Патриот» для перехвата «Скадов» в воздухе. «Патриот» не был идеально отработан и в «Скады», большей частью, не попадал. Но оказалось, что это и к лучшему, как и все, что Б-г делает для своего избранного народа. Поскольку иракские ракеты не взрывались и не могли транспортировать отравляющие газы (недостаточно термоустойчивые газы разлагались при высокой температуре запуска), основной урон наносился падающей на израильскую землю концентрированной металлической массой. В тех же редких случях, когда «Патриоты» перехватывали иракскую ракету, на головы бедным израильтянам обрушивались многочисленные осколки как вражеских «Скадов», так и дружеских «Патриотов».

В свободное от работы и воздушных тревог время вся страна была прикована к телевизорам, наблюдая беспримерные прямые трансляции военных действий из Багдада по каналу CNN. Героический репортер Питер Арнетт, единственный западный журналист, оставшийся в Багдаде после начала войны, в прямом эфире комментировал воздушные налеты авиации союзников.

С неменьшим интересом знающие израильтяне следили за перипетиями разлук и встреч Питера и его significant other <sup>1</sup> — молодой английской журналистки. Питер, как известно, напросился в служебную командировку в Багдад, но его верная подружка переехала из Лондона в Израиль, чтобы быть поближе к своему бойфренду. Она получила работу дикторши израильского канала новостей на английском языке и немедленно стала телезвездой первой величины и любимицей израильтян.

Первая Иракская война продолжалась 43 дня и завершилась следующими стратегическими итогами:

Питер Арнетт женился на своей симпатичной подружке, а Нахман Шай был на свадьбе в качестве почетного гостя;

Кувейт получил свободу и свои нефтехранилища; Америка снова получила доступ к Кувейтской нефти;

Сирия получила Ливан;

Ирак получил по носу;

А каждый израильтянин получил индивидуальный противогаз и указание хранить его на случай следующей войны. И, к сожалению, эти противогазы еще не раз пригодились...

Киев-Реховот-Иерусалим

Из трех оборонительных стратегий, как обычно, лучше всего сработала стратегия (в) – надежда на Б-жью помощь. Эта испытанная временем стратегия основана на долгосрочном дипломатическом соглашении (по Талмуду, Ковенант) между Б-гом и народом Израиля. В соответствии с Ковенантом, Б-г принял на себя обязанность защищать свой избранный народ от всевозможных напастей в обмен на примерное поведение народа и, слава Б-гу, до сих пор добросовестно выполняет свои обязательства, хотя уже давно махнул десницей на поведение своих избранников. И действительно, война окончилась в точности в день праздника Пурим, 28 февраля; едва в синагогах успели завершить традиционное утреннее чтение Книги Эстер (царицы, защитившей в свое время еврейский народ от нехорошего царедворца Аммана), как пресс-секретарь израильской армии генерал Нахман Шай объявил официальное окончание войны.

Законная или незаконная половина (англ.)

# ПИДЖАК МОЕГО ДРУГА КРЕМЕНЕЦКОГО ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ К ЭПОХАЛЬНОМУ РОМАНУ

Мисюсь, где ты? А.П. Чехов. Дом с мезонином.

#### Введение

Роман о пиджаке моего друга Кременецкого задуман как вершина и венец моего творчества и одновременно как подведение жизненных итогов. Поэтому работа над ним продвигается медленно. Но уж когда роман будет закончен, он, бесусловно, встанет в один ряд с такими шедеврами мировой литературы, как «Война и Мир» Толстого, или «Сто лет одиночества» Маркеса. И дело здесь, конечно, не в скромном таланте автора, а в выдающейся личности самого Кременецкого.

То, что представляется сейчас вашему вниманию – это только рабочие наброски к эпохальному роману, но мы просто не имеем права продолжать «писать в ящик» – время проходит, а широкому читателю все еще недоступны воспоминания о Кременецком; до сих пор не изданы – и даже не написаны! – мемуары «Диалоги с Кременецким», или «Мои встречи с Кременецким», или «Любовь и танки. Моя жизнь с Кременецким», или хотя бы литературное исследование «Влияние Кременецкого на формирование мировоззрения и других вредных привычек женщин второй половины двадцатого столетия» ... Поэтому мы пока предлагаем вашему вниманию всего лишь черновые наброски, и не судите их строго – это ведь только наброски!

Все началось со свадьбы моего друга Кременецкого в Киеве в далеких 80-ых. Конечно, женитьба Кременецкого - это уже само по себе выдающееся событие, и она заслуживает отдельного рассказа. Жизненный путь Кременецкого был счастливо озарен мягким светом нежной любви многочисленных женщин и поклонниц. От далекой Бухары до Черноморского побережья прекрасные девушки бросались в объятия Кременецкого, не задумываясь о последствиях. Женщины любили Кременецкого, и Кременецкий всегда отвечал им взаимностью; ничто не могло удержать Кременецкого от немедленного свидания с любимой - на данный момент – женщиной. Среди бывалых туристов ходили истории о неожиданных исчезновениях Кременецкого с горных маршрутов Алтая и Крыма, когда он, повинуясь внезапному зову любви, стремительно спускался в долины, с легкостью преодолевая по пути перевалы

5-ой категории. В секретных архивах Советской Армии долгое время хранились документы о необъяснимых пропажах боевых танков с военных баз города-героя Волгограда, где Кременецкий проходил военную подготовку, - и только после распада СССР удалось установить точную корреляцию между датами потерей танков Советской Армией и свиданий Кременецкого с очередной новой пассией из города-героя. Под большим секретом рассказывали о вторжении Кременецкого в гарем некоего ближневосточного шейха, что вызвало резкое падение цен на нефть на международном рынке, раздор в ОПЕК, реорганизацию в КГБ, положило начало движению за раскрепощение женщин в Объединенных Арабских Эмиратах, усилило позицию произраильского лобби в Американском Конгрессе, и прояснило загадочное появление в гардеробе Кременецкого шелкового тюрбана с вышитым сердечком, которым Кременецкий никогда - за исключением визитов в ОВИР - не пользовался. Кременецкий знал многих женщин, и многие женщины были бы счастливы просто состоять при Кременецком, даже и не мечтая о том, чтобы женить его на себе.

Поэтому женитьба Кременецкого на Изабелле стала киевской сенсацией; друзья Кременецкого держали пари: как долго продержится счастливый брак, а его бывшие подружки, все из которых были приглашены на свадьбу, — что сразу же создало проблему поиска зала подходящих размеров, способного вместить всех гостей, — придирчиво осматривали невесту, стараясь понять выбор Кременецкого.

Но наш рассказ, к сожалению, имеет только косвенное отношение к этому историческому событию. Для нашего рассказа важно то, что к своей свадьбе Кременецкому удалось приобрести совершенно замечательный черный финский пиджак. Только те, кто еще помнит возможности торговой сети Киева 80-ых, могут по справедливости оценить этот факт. Приобретение настоящего, хорошего, импортного свадебного костюма по своей значимости не уступало выбору невесты. Городские власти это хорошо понимали и выдавали молодоженам талоны на получение товаров в Специальном Салоне для Новобрачных на Воздухофлотском шоссе.

К счастью для Кременецкого, процесс выбора невесты прошел намного более удачно, чем процесс выбора пиджака, потому что пиджак — как следствие ограниченного ассортимента в Салоне для Новобрачных на Воздухофлотском шоссе — оказался Кременецкому мал, а невеста — в самый раз.

Но зато неожиданно повезло мне: пиджак пришелся впору, был немедленно куплен у Кременецкого, и сразу же стал звездой первой величины в моей разношерстной коллекции пиджаков, приобретенных в небогатой выбором киевской торговой сети для Выезда в Америку. Как мы все были хорошо осведомлены в 80-ых годах, каждый американец был обязан приходить на службу в строгом костюме, а менять костюм полагалось каждый день рабочей недели. Таким образом, гардероб уважающего себя мужчины должен был состоять из, как минимум, пяти будничных и нескольких пиджаков на выход. Широкое использование пиджаков в Америке дополнительно подтверждалось при внимательном просмотре классических американских фильмов 50-ых годов.

Судьба Пиджака складывалась непросто. Вопервых, вместо Америки ему пришлось иммигрировать в Израиль, и Пиджак оказался плохо подготовлен к этой перемене. Неудачи начались непосредственно в момент триумфального восхождения (алии) Пиджака на историческую Родину. В аэропорту Бен Гурион Черный Пиджак появился в сочетании со стильной Черной Шляпой с Полями (и Пиджак, и Шляпу, надо было перевозить на себе, чтобы они (1) не потерялись и (2) не потеряли свой первозданный вид). Встречающие Пиджак родственники, уже далекие от советских реалий, немедленно решили, что Пиджак - ультраордотоксальный еврей (как будто только ортодоксы носят черные пиджаки и шляпы!), и попытались трусливо сбежать из аэропорта - но, к счастью, были вовремя опознаны и остановлены Пиджаком.

Вообще, в начале 90-ых годов пиджаки в Израиле не пользовались особой популярностью — наверное, потому, что они как-то плохо гармонировали с шортами, футболками и сандалиями на босую ногу, — в то время стандартной одеждой израильтян, от торговцев на рынке до университетских профессоров. Пиджак несколько опередил свое время, что, конечно же, типично для многих выдающихся исторических личностей.

Разочарованный отсутствием возможностей настоящей профессиональной карьеры в Израиле, Пиджак занялся интенсивной рассылкой своих резюме и, в итоге, получил стипендию Очень Хорошего Немецкого Фонда для относительно молодых и все еще подающих надежды Пиджаков. Первым классом компании Люфтханза (Хороший Фонд платил за все!) Пиджак перевезли в Германию на работу в университет имени Альберта Эйнштейна. Поначалу все складывалось хорошо: Пиджак с достоинством показался на нескольких официальных приемах Фонда, где ему удалось пообщаться с другими солидными Пиджаками и где ему торжественно вручили специальный Галстук Фонда; Пиджак полюбил его нежно, как младшего брата, и никогда с ним не расставался. В университете к Пиджаку поначалу отнеслись с подобающим уважением

и обращались к нему с неизменным Герр Пиджак, а иногда даже Герр Доктор Пиджак. Однако довольно быстро все изменилось; оказалось, что чинопочитание в Германии не слишком популярно; очень скоро к пиджаку стали обращались запросто по имени (Пиджак). И дело было не только в недостатке чинопочитания - многое в Германии не оправдывало высокие надежды Пиджака. знаменитая немецкая пунктуальность проявлялась, главным образом, в строгом соблюдении перерывов на службе (в десять утра – перерыв на кофе, с двенадцати до часу - перерыв на обед, и в три часа - перерыв на пиво); при этом по окончании последнего перерыва кто-нибудь фамильярно хлопал Пиджак по плечу, предлагал распить еще по одной бутылке пива и погонять в футбол. Когда же его хотели заставить добираться до работы на велосипеде, он просто отказался появляться в университете; крутить педали на крутом подъеме в университетский кампус Пиджак справедливо считал ниже своего достоинства.

Так и получилось, что, за исключением многочисленных светских приемов в Хорошем Фонде, большую часть своего пребывания в Германии Пиджак дома в земле Баден провел в шкафу добротного Вюртембергер, изучая немецкий язык соседей, чтобы всегда быть в хорошей форме для очередного светского раута. Там – в этом шкафу – и созрело Eine Wichtige Entscheidung <sup>1</sup>: переехать в Америку – единственное место, где, как думал Пиджак, ему могло бы найтись достойное применение. Пиджак принял это решение не только ради себя, но ради всего потерянного поколения пиджаков конца 80-ых, готовых к перезду в Америку еще в 90-ом году, но предательски оставленных в стране исхода перед алией. Пиджак оказался единственным представителем той славной когорты и хорошо осознавал свою историческую миссию, а также личную ответственность за судьбу всех не доехавших, куда надо, пиджаков.

К сожалению, за время, проведенное Пиджаком в Израиле и Германии, ситуация в Америке несколько изменилась... Не исключено, что киевские слухи о неограниченных возможностях профессиональной карьеры пиджаков в Америке оказались преувеличенными. В качестве ежедневной официальной формы Пиджак требовался только для ограниченного круга профессий, таких, как, например, официант или продавец машин на дилерских.

Пиджак не сразу осознал глобальное изменение ситуации: на второй день после переезда в Америку он наивно заявился на свою Первую Американскую Работу в Городе Музыкального Штата – и оказался единственным пиджаком в университетском городке

Важное решение

(что, правда, сыграло свою положительную роль, потому что помогло профессору-работодателю легко опознать нового сотрудника). Город Музыкального Штата когдато находился в эпицентре боевых действий между Севером и Югом и, как оказалось, до последнего времени не оправился от тяжелых последствий гражданской войны. Поэтому главным достижением Пиджака в начале его американской карьеры явилось успешное интервью в университет Золотого Штата, что позволило ему покинуть Музыкальный Штат быстро и с мимимальными потерями. В дальнейшем Пиджак продолжал тяжело и упорно работать в сфере собеседований для приёма на работу; география его интервью покрывала значительную часть континентальной территории США. Исторический процент успеха был равен приблизительно пяти, что считалось хорошим показателем для пиджака с его опытом и положением.

Но время шло, и Пиджаку приходилось все труднее в конкуренции с молодыми и лучше образованными выпускниками Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus, или даже Nordstrom<sup>1</sup>. В конце концов, на его место был нанят энергичный, элегантный бежевый выпускник Macy's. Recent College Graduate<sup>2</sup> из Macy's с первой же (!) попытки успешно прошел интервью В Крупной Технологической Компании, и нахально перехватил у ветерана все ответственные проекты. Теперь удачливого Бежевого конкурента стали посылать на ответственные деловые встречи, конференции, а иногда даже и в заграничные командировки, - а нашему старому заслуженному Пиджаку доверяли только второстепенные поручения, как, например, представительство на дружеских приватных вечеринках. Ветерана стали готовить к выходу на пенсию; ему настоятельно рекомендовали серьезно подумать о новой карьере в какой-нибудь солидной благотворительной организации, как, например, Salvation Army или Goodwill.

Но судьба распорядилась иначе. Неожиданно оказалось, что Сыну — как всегда, совершенно срочно — понадобился костюм для некоего важного приема в его High School; немедленно после этого костюм понадобился для торжественного вручения какого-то гранта. Пиджак был немного великоват для Сына, — но, конечно, времени на покупку нового костюма у безумно занятого Сына не было. Хотя Пиджак в силу старомодно-консервативного отношения к жизни немного коробило от несоответствия как размеров, так и некоторых политических взглядов, в глубине своей подкладки он был очень рад опять включиться в активную рабочую жизнь.

Жизнь Пиджака наполнилась новым смыс-

лом, а профессиональная карьера полностью трансформировалась: он стал завсегдатаем собраний California Association of Student Councils <sup>3</sup> и Democratic American Youth <sup>4</sup>, он организовывал локальные ячейки для Future Young Leaders <sup>5</sup> и Junior Statesmen of America <sup>6</sup>, он участвовал в National Student Leadership <sup>7</sup> конференциях в Вашингтоне и Сакраменто, он напряженно вспоминал имена выдающихся художников эпохи Возрождения и названия подотрядов редких насекомых в Патагонии на состязаниях Academic Decathlon <sup>8</sup>, он ездил получать стипендии и гранты, он проходил интервью с деканами и членами приемных комиссий университетов на Западном и Восточном побережьях... Пиджак помолодел душой и приобрел бесценный жизненный опыт работы с молодежью.

Разумеется, никто уже не думает об отправке Пиджака на пенсию или о его карьере в Salvation Army; Пиджак занимает почетное место в шкафу городского кондоминиума, имеет официальную позициию консультанта, и служит ментором для молодого поколения новых пиджаков. В свободное от менторства время он пишет мемуары. Время от времени — когда талантливые, но недостаточно дисциплинированные выпускники Men's Warehouse<sup>9</sup>, находящиеся в штате Сына, непонятно куда и на какой срок исчезают со службы по каким-то своим делам (впрочем, что возьмешь с этой несерьезной, хотя и многообещающей, молодежи), наш опытный и надежный ветеран решительно заменяет своих юных коллег — хотя, конечно, старый Пиджак уже слишком мал для выросшего Сына.

Часто Пиджак задумывается о прихотях судьбы: окажись он впору Кременецкому — и его жизнь могла бы сложиться совершенно иначе. Он бы мог стать неизменным участником таких популярных телевизионных передач и конкурсов как Blind Date<sup>10</sup> или The Sexiest Man Alive <sup>11</sup>; он бы был частым гостем в программах Марты Стюарт, посвященных умению одеваться красиво и со вкусом; а возможно, он бы даже стал первым пиджаком в истории, чье фото украсило бы обложку журнала Play Girls.

<sup>1</sup> Названия магазинов

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Недавний выпускник колледжа (унивеситета)

<sup>3</sup> Калифорнийская ассоциация студенческих советов

<sup>4</sup> Демократическая американская молодёжь

<sup>5</sup> Молодые лидеры будущего

<sup>6</sup> Юные («младшие») американские государственные деятели

<sup>7</sup> Студенческие лидеры нации

<sup>8</sup> Академическое десятиборье

<sup>9</sup> Магазин мужской одежды

Cвидание двух людей, которые до этого не встреча лись

<sup>11</sup> Самый сексапильный на свете мужчина

Вместо того, чтобы гонять по всему миру в поисках подходящей работы он бы отдыхал на Флоридских и Гавайских курортах и его единственной заботой были бы назойливые репортеры-папарацци; вместо непрерывного прохождения рабочих интервью он бы коротал время с друзьями в барах и клубах; вместо посещения бесконечных политических митингов и кампаний он бы стал желанным гостем перворазрядных великосветских раутов и, наконец, вместо того, чтобы двенадцать часов в день, пять дней в неделю протирать спинку кресла в своем офисе, он бы приглашал каждый день очередную симпатичную блузочку посидеть в престижном ресторане.

Но жизнь есть жизнь, и каждому пиджаку предназначен в ней свой собственный путь. Первая заповедь пиджаков: никогда не сожалеть о своем

несовершенном фасоне, неподходящем размере или о невстреченных блузочках. Так размышляет умудренный жизнью Пиджак на своей вешалке в свободное от менторства временя.

А Кременецкий затерялся где-то на необъятных просторах Америки. Иногда доходят слухи, что его встречали в Балтиморе, временами сообщают, что Кременецкий полюбил охотиться в Монтане в компании легко одетых амазонок, кто-то видел Кременецкого в техасском ресторане в обществе супермодели с обложки "Swimsuit International» <sup>1</sup>... Один раз даже записалось послание на автоответчике от Кременецкого из Флориды.

Кременецкий, где ты?

Киев-Реховот-Ульм-Ноксвилл-Сан Диего-Лос Анжелес-Сан Хосе



<sup>«</sup>Купальники со всего мира»

## Н. ТАРБУТ

# «ТВОНИ» и «САКРАМЕНО»



Над кем смеётесь? Над собою смеётесь! Н.В. Гоголь

Пожалуй, самое трудное в эмиграции — это чужой язык. Язык — главное препятствие на пути к другой культуре. Это препятствие бывает таким непреодолимым, порой унизительным, что вместе с языком, повергающим эмигранта в отчаяние, летит в тартарары и вся культура новой страны.

От эмигрантов можно услышать такое заявление: «Я прекрасно говорил/а по-английски в Москве». Вполне возможно, что эмигрантский шок выбил «московские» знания, но по-видимому, он выбил и чувство юмора.

Интересно, что именно люди, сталкивающиеся с проблемой «языкового барьера», сильно критикуют лексикон и даже произношение американцев. Их слух режет — и в этом они хорошо понимают друг друга! — разговорное редуцирование в словах «Тwenty» или «Sacramento», произносимых как «Твони» или слышимых как «Сакрамено». «Возмутительно! Отвратительно! Это язык малообразованных. Нас учили (в России?!) правильно произносить». Это так же верно, как «хорошо пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу».

Разумеется, в родном языке редуцирование не замечается; не используя огульные обобщения, ностители языка автоматически соотносят разные варианты произношения с уровнем образованности, отличая просторечие большинства горожан от языка кандидатов наук. Такое отличие вполне приложимо и к Америке, и к любой другой стране: здесь тоже имеется своя профессура; как ни странно, доктора наук (по-здешнему), начитанные люди, и их процент среди прочих подданных самый высокий в мире, хотя бы уже потому, что число ВУЗов, пропорционально населению этой страны, – самое большое в мире.

А некоторые «наши люди» наоборот бойко копируют редуцирования и говорят «паари» вместо «рагту», «Бе́ри» вместо «Ветту», «сёри» и «фори» вместо «thirty» и «forty» и так далее. Но этим жить легче, и слава Богу.

Ещё одна «проблема» – это «британское произношение». «Меня не понимают, потому что у меня британское произношение». А ведь такой проблемы между британцами и американцами не существует; нет её даже межу американцами, с одной стороны, ирландцами и австралийцами, у которых сильнейший местный акцент, с другой. По телевизору идёт много британских программ и новостей, не адаптированных к «американскому» английскому, так что ревнители британского произношения могут получить полное удовлетворение.

К сожалению, настоящее британское или американское произношение у эмигрантов - чрезвычайная редкость. Исключение составляют одарённые в этом отношении люди, которые к тому же специально этим занимались. Непонимание чаще всего происходит не из-за произношения, а из-за того, что английское высказывание строят по законам русской грамматики, тогла как структура английского предложения совсем иная. Сильно страдает коммуникация из-за подыскивания такого-то синонима, а ведь во многих случаях это совсем не обязательно. «Но как же, я хочу выразить свою мысль, они просто не могут понять!» Да могут, только «отцепись» от своего варианта, скажи как знаешь, ведь не до жиру...

Языковые проблемы видны хотя бы в том, как эмигранты дорогу объясняют. Не названия улиц говорят, а указывают дорожные приметы: банк, церковь, «Сэйвей (Safeway)», бензоколонка. Понятно: пока прочтёшь, уже и проедешь...

Эмигранты, освоившие английский основательно, не страдают от проблем такого рода. Поэтому они легче вписываются в местную жизнь и даже находят в ней много интересного. Однако с точки зрения «знающих», каким должен быть язык, хорошо владеющие им считаются беспардонными выскочками, чей уровень культуры недостаточно высок и которых, поэтому, так же легко удовлетворить, как и «малокультурных» американцев.

В большинстве случаев именно те, кто сталкивается с проблемой языкового и культурного барьера, находят американскую культуру низкой или отрицают

её существование. «Нет театра», — заявляют они. Значит, нет уникального режиссёра Роберта Уилсона, талантливых мюзиклов, многочисленных ежегодных шекспировских фестивалей, выдающихся актёров театра и кино.

Оказывается, нет и кинематографа – значит, нет фильмов «Гражданин Кэйн», «Касабланка» и многих других шедевров. «Этот пошлый Голливуд», – говорит эмигрант-учёный с досадным незнанием дела, но с полным сознанием своей правоты и учености. Конечно, есть пошлость, особенно если только на неё и обращать внимание.

«Эти гадкие, пустые "Star Wars"», — говорит эрудированный эмигрант. Поистине, «смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы». А ведь «Star Wars» — это современный миф, имеющий глубокую философскую основу. Постановщик фильма Джордж Лукас — ученик замечательного мыслителя-мифолога Джозефа Кемпбелла. Кроме увлекательного сюжета в фильме присутствует философский план: отношения между отцом и сыном, между поколениями. Но для этого надо слышать диалоги. В американском кинемато-



графе диалогу отведено больше места, чем в европейском.

США, пожалуй, в гораздо большей мере, чем другие страны, включая Россию, живут не только своими, но мировыми ресурсами во всех областях культуры. И всё это здесь бурлит и клокочет: в прессе, на телевидении, в открытых для публики лекциях и дискуссиях, в книжных магазинах, в огромном количестве клубов и групп самых разнообразных направлений, идеологий и интересов.

Жаль, что при языковом барьере всё это не существует, что шутки, нескончаемая игра слов, голоса ярмарок и улиц пропадают для большинства приехавших. В этом им можно глубоко посочувствовать.

Языковый барьер — это прежде всего барьер психологический, а не малый словарный запас и даже не отсутствие практики. Отправляясь в эмиграцию по разным соображениям, люди не всегда полностью отдают себе отчёт, в том, что «в Китае все жители китайцы, и сам император тоже китаец», и что это — отнюдь не шутливое наблюдение.

У каждого свой барьер, и прежде всего надо понять, в чём он заключается. «Смотри в корень», — учил наш старый знакомый Козьма Прутков. Может быть, просто не хватает сил. Тогда расслабьтесь, пожалуйста, и постарайтесь... раскрыться и просто наблюдать, накапливать, вбирать. Главное — не ставить «поверх барьеров» самих себя.

A за этим пойдут простые высказывания и удовольствие, что вас поняли.



# АНДРЕЙ ДЁМКИН «ЕЖИК В ТУМАНЕ» АПОКРИФИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ СКАЗКИ



Миф, потерявший социальную значимость, становится сказкой.

И. М.Тройский

Анимационная лента «Ежик в тумане», снятая в 1975 году режиссером Юрием Норштейном, была создана по мотивам одноименной сказки писателя Сергея Козлова (1939 -2010) – автора многих известных детских сказок и сценариев для мультфильмов: «Осенняя рыбалка» (1968), «Страшный, серый, лохматый» (1971), «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974), «В порту» (1975), «Ежик в тумане» (1975), «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год» (1975), «Трям! Здравствуй!» (1980), «Поросенок в колючей шубке» (1981), «Зимняя сказка» (1981) и многих других. В 2003 г. «Ежик в тумане» был признан лучшим мультипликационным фильмом «всех времён и народов» по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.

Образная глубина фильма вызывает множество бурных эмоциональных реакций зрителей. любое талантливое художественное произведение, этот короткий мультипликационный фильм, кроме фактического, предметного содержания, имеет сложное символическое и аллегорическое значение, которое оказывает многоуровневое воздействие на зрителя. Кто-то, может быть, тронут детской беззащитностью и милой наивностью детской сказки, кто-то может увидеть и символическое и аллегорическое значение, созданное сказочным образом. Однако, кого-то из зрителей затронет и мнимое значение содержания сказки, вовсе не следующее из фактических событий. Если же спросить человека, что именно затронуло его душу, то скорее всего, мы не получим точного ответа. Зритель может находиться под впечатлением внутренних, рожденных в глубинах его подсознания образов, которые никак не связаны ни с фактическим, ни с мнимым символическим значением картины.

Существует несколько уровней интерпретаций содержания мультфильма «Ежик в тумане». Детские психологи говорят о катарсическом отражении в фильме основных детских страхов: прежде всего страха смерти, и как частных его проявлений - страха темноты

и страха перед неизвестностью, которые счастливо разрешаются по ходу сюжета. Переходя на уровень выше, можно интерпретировать содержание фильма как отражение страхов ребенка перед взрослением и первыми самостоятельными выходами в Большой мир, который хотя и полон опасностей, но обладает огромной притягательной силой. Почитатели психолога Виктора Франкла, конечно же, заметят попытку Ежика заполнить экзистенциальный вакуум жизни — структурировать свою жизнь подсчетом звезд.

Любители использования различных психотропных средств наверняка заметят в мультфильме образы «затуманенного» наркотиками сознания, характерные для острого галлюцинаторного психоза: белая лошадь, огромный филин, нетопырь, дубовый лист, падающий с неба, грозящий раздавить Ежика.

С точки зрения аналитической психологии, ночное путешествие Ежика представляет собой отражение психоаналитического сеанса, когда человек начинает знакомиться с символическим содержанием своей бессознательной сферы. Ночь, туман, вода — все это символический ряд сферы бессознательного, темного и непознаваемого. Однако и не такого страшного, как могло бы показаться зрителю на первый взгляд: филин лишь неотступно следует за Ежиком (Образ Тени по К.Г. Юнгу), иногда являя из тумана (Бессознательное) свой пугающий лик. «Некто в воде» выносит Ежика на берег, а Пес помогает воссоединиться с важной потерянной частью себя, служащей источником наслаждения — баночкой малинового варенья.

На первый взгляд может показаться, что все интерпретации разнятся между собой и представляют собой субъективные взгляды людей, обремененных определенными «фильтрами» собственных знаний и характерного жизненного опыта. Попробуем разобраться, не содержится ли в фильме еще более глубокого смысла, своеобразной универсальной первоосновы, способной объединить в едином восприятии фильма людей с различным образованием, национальной культурой и взглядами на жизнь.

Прежде всего, обратимся к творчеству Сергея Козлова. Возможно, в его сказках мы найдем некоторые подсказки, своеобразные зарубки на стволах деревьев в лесу вдоль неприметной на первой взгляд тропинки, ведущей в глубины его творчества. Сергей Козлов написал цикл миниатюр о Ежике и Медвежонке (книга «Ежик в тумане» (1989). Несколько его произведений привлекли наше особое внимание. Вырисовывается весьма характерный образный ряд, сознательно заложенный писателем в свои произведения.

Прочтите короткую зарисовку «Звуки и голоса». Здесь и далее мы выделили в тексте ключевые слова, на которые следует обратить особенное внимание:

- В полудреме, Медвежонок, можно вообразить все, что хочешь, и все, что вообразишь, будет как живое. И тогда-то...
  - -Hv!
  - Тогда-то...
  - Да говори же!
- И тогда-то... слышны звуки и голоса. Ежик глядел на Медвежонка большими круглыми глазами, как будто сию минуту, вот прямо сейчас, догадался о чем-то самом важном.
- И кого ты слышал? шепотом спросил Медвежонок.
  - Сегодня?
  - Aгa.
  - Зяблика, сказал Ежик.
  - -A вчера?
  - Лягушку.
  - -A что она сказала?..
  - *Она пела. И Ежик закрыл глаза.*
  - *Ты ее и сейчас слышишь?*
  - Слышу, сказал Ежик с закрытыми глазами.
- Давай я тоже закрою глаза. Медвежонок закрыл глаза и встал поближе к Ежику, чтобы тоже слышать.
  - Слышишь? спросил Ежик.
  - Нет, сказал Медвежонок.
  - Ты впади в дрему.
  - Надо лечь, сказал. Медвежонок. И лег.
- -A я возле тебя. Ежик сел рядом. Ты только представь: она сидит и поет.
  - Представил.
- -A вот сейчас... Слышишь? И Ежик подирежерски взмахнул лапой. 3апела!
- Не слышу, сказал Медвежонок. Сидит, глаза вытаращила и молчит.
  - Поговори с ней, сказал Ежик. Заинтересуй.
  - $-Ka\kappa$ ?
- Скажи: «Мы с Ежиком из дальнего леса пришли на ваш концерт».

Медвежонок пошевелил губами.

- Сказал.
- -Hv?
- *Молчит*.
- Погоди,- сказал Ежик. Давай ты сядь, а я лягу. Та-ак.- И он забубнил что-то, укладываясь рядом с Медвежонком в траву.

А день разгорался, и высокая стройная осень шаталась соснами и кружилась полым листом. Медвежонок давно открыл глаза и глядел теперь на рыжие деревья, на ветер, который морщил лужу, а Ежик все бормотал и пришептывал, лежа рядом в траве.

— Послушай, Ежик, — сказал Медвежонок, — зачем нам эта лягушка, а?

Пойдем, наберем грибков, зажарим! А я для тебя яблочко припас.

- Нет, не открывая глаз, сказал Ежик. Она запоет.
  - Ну и запоет. Толку-то?
- Эх ты! сказал Ежик. Грибки! Яблочки!.. Если б ты только знал, как это — звуки и голоса!

В Миниатюре «Ежикина Гора» Ежик... слышал разговор где-то далеко-далеко, будто говорили на облаках, а он — на дне моря... Ежик смотрел на лес, на холм, на Ворону, кружащую за рекой, и вдруг понял, что ему так не хочется отвечать, так не хочется спускаться со своей горы... И он стал благодарно думать о том, по чьей доброте на этой горе оказался.

Заяц, в рассказе «Птица», пытаясь залезть на небо до звезд по веревке, которую он плел все лето, срывается и падает вниз: Заяц разжал лапы и полетел, полетел, полетел, только черный ночной ветер засвистал между ушами.

«Где ж простыня? Где же земля?» – думал Заяц и не знал, что он, как большая птица с широкими крыльями, летит над землей и уже не может упасть.

Тот же Заяц в «Весеннем вольном ветре» ... в этот легкий солнечный день действительно с утра почувствовал себя вольным осенним ветром, летящим по полям и лесам.

В других коротких рассказах Ежик беседует с Огнем, вместе с Медвежонком ведут беседы с Горой, которая прячет Солнце, «оттеняют» тишину. Их сосед по лесу Заяц беседует с Водой, Сосновой шишкой и Травой, которая поет «Последнюю осеннюю песню». Медвежонок и Ежик снятся Зайцу, а после они встречаются и оказывается, что сновидение было общим для всех троих. Медвежонок посреди зимы в утренней полудреме мечтает о летнем ливне, а когда просыпается, оказывается, что зима отступила от их кусочка леса и

можно идти с друзьями на летний пикник на берег реки.

На первый взгляд может показаться, что все описываемые состояния являются плодом фантазии, свойственной для детей, однако детальное рассмотрение позволяет увидеть кое-что еще. Символический ряд сказок Сергея Козлова близок к мистической философии «Синей Птицы» Мориса Метерлинка, где герои – Тильтиль, Митиль – дети, совершают во сне странствие в Страну Воспоминаний, Дворец Ночи, Сады Блаженств и Царство Будущего. В процессе своего путешествия дети общаются с Душой Света, Душой Воды, Хлебом и Сахаром и Духами окружающей их Природы.

Волшебные сказочные звери в сказках Козлова также рассказывают нам об измененных состояниях сознания — полудреме, в которой можно оживить свои мысли, стать ветром, добраться до звезд, летать над землей, вызвать летний дождь зимой. Эти сказочные звери беседуют с частями природы вокруг них, слушают голоса тех, кого нет рядом, и общаются друг с другом во сне.

Кто же способен на подобные действия в нашем человеческом мире? Ответ прост: носители древней единой анималистической прарелигии всего человечества – шаманы.

Шаман способен стать ветром и оседлать Филина для полетов (как Медвежонок в сказке «Не смотри на меня так, Ежик»). Шаман беседует с духами деревьев, травы, воды и гор. Шаман может вызвать дождь. Шаман взбирается по Дереву с девятью ветвями (как советует Белка в сказке «Птица») на Небо — в Верхний Мир. Шаман погружается в Нижний мир, как Ежик в Волчью яму, где почти умирает, но рождается заново («Не смотри на меня так, Ежик»). Шаман владеет техникой совместного сновидения. Да и Медведь является одним из самых главных созданий в шаманизме — носителем Силы и Мудрости.

Шаман знает, что умерев, человек рождается снова, то же, к осознанию чего пришел Ослик в сказке «Правда мы будем всегда?»:

Ослик снова задумался. Теперь он думал о том как похоронить Медвежонка, чтобы он вернулся, как лето. «Я похороню его на высокой-высокой горе, — решил он, — так, чтобы вокруг было много солнца, а внизу текла речка. Я буду поливать его свежей водой и каждый день разрыхлять землю. И тогда он вырастет. А если я умру, он будет делать то же самое, — и мы не умрем никогда...»

- Послушай, сказал он Медвежонку, ты не бойся. Ты весной вырастешь снова.
  - Как деревце?
- Да. Я тебя буду каждый день поливать. И разрыхлять землю.

- -A ты не забудешь?
- Что ты!
- Не забудь, попросил Медвежонок.

Он лежал с закрытыми глазами, и если бы чуть-чуть не вздрагивали ноздри, можно было бы подумать, что он совсем умер.

Теперь Ослик не боялся. Он знал: похоронить — это значит посадить, как деревце.

Эта же тема повторяется в более символическом виде в коротком диалоге Ежика с Медвежонком:

- Давай никуда не улетать, Ежик. Давай навсегда сидеть на нашем крыльце, а зимой в доме, а весной снова на крыльце, и летом тоже.
- А у нашего крыльца будут потихоньку отрастать крылья. И однажды мы с тобой вместе проснемся высоко над землей.
- «Это кто там бежит внизу такой темненький?» спросишь ты.
  - -A рядом еще один?
- Да это мы с тобой, скажу я. «Это наши тени», добавишь ты.

Козлов высказывает устами Ежика и мысль о предсуществовании души:

- -A когда тебя не было, ты где-нибудь был?
- *− Угу*.
- $-\Gamma\partial e$ ?
- Там, сказал Ежик и махнул лапой.
- Далеко?

Ежик съежился и закрыл глаза.

Тема повторных рождений косвенно продолжается и в «Веселой сказке». Волк спрашивает у Ослика:

- Сколько тебе лет?!— спросил Волк, продолжая работать лапами.
  - 365 250 дней.

Волк задумался.

- Это много или мало? наконец спросил он.
- Это около миллиона,– сказал Ослик. <sup>1</sup>
- И все ослы такие старые?
- В нашем перелеске ∂a!

В той же «Веселой сказке» Сергей Козлов приводит и более конкретное описание шаманской практики – «ментальную» битву Ослика с Волком, из которой Ослик вышел победителем:

Однажды Ослик возвращался домой ночью. Светила луна, и равнина была вся в тумане, а звезды опустились так низко, что при каждом шаге вздрагивали и звенели у него на ушах, как бубенчики...

Около 1000 лет

Ослика встречает Волк и собирается съесть. Однако, Ослик начинает читать про себя заклинание: «Бейте в луну, как в бубен, — думал про себя Ослик, — крушите волков копытом, и тогда ваши уши, как папоротники, останутся на земле .» Он повторяет мантру еще раз:

«Бейте в луну, как в бубен, – вспомнил Ослик. – Крушите волков копытом!..» Но не ударил, нет, а просто засмеялся. И все звезды на небе тихо рассмеялись вместе с ним.

Волк озадачивается и после короткого диалога о возрасте уходит «по белой равнине, заметая, как дворник, звезды хвостом».

Вернемся к центральному образу мультфильма. Вероятно, Сергей Григорьевич Козлов получил счастливую возможность образными средствами мультипликации рассказать то, что невозможно было высказать в короткой миниатюре в книге. Изучение творчества Сергея Козлова, показывает, что в 1969 он адаптировал и пересказал для детей сказки охотников и оленеводов Чукотки. (Как ворон солнце людям добыл: Сказки охотников и оленеводов Чукотки / Записал и обработал И.Лавров; Пересказал для детей С.Козлов. – М.: Малыш, 1969).

Вероятно, работа с мифологическим материалом северных народов, исповедующих шаманизм, послужила для Сергея Козлова толчком для более детального знакомства с древней религией, которая легла в основу его мировоззрения, нашедшего прямое отражение в сказках про Ежика и Медвежонка.

Что же происходит в мультфильме с Ежиком с точки зрения шамана? Поняв глубинную подоплеку, мы вероятно (но не обязательно) сможем понять причину столь сильного воздействия этого художественного произведения на души людей.

Итак, когда наступают сумерки (лучшее время для начала путешествия в Нижний мир), Ежик отправляется в путешествие. Рядом с Ежиком следует грозный и могучий Дух – в образе Филина, с которым Ежик еще не так хорошо знаком и дружен. Дух этот неотступно следует за Ежиком, иногда показываясь из Тумана и пугая Ежика. Возможно, это Дух – Удха (здесь и далее используется бурятская шаманская терминология) – дух охранитель Ежика, дух Филина, который хочет обратить на себя внимание Ежика, но Ежик еще не полностью готов для встречи и взаимоотношений наяву со своим духом – охранителем. Он не видит и не слышит Филина, хотя тот находится в нескольких шагах от него и ухает в полный голос. Сам Ежик – замкнутая и молчаливая натура, склонная к созерцанию – вероятно, находится в начале пути к знакомству с Духами -

сфера Тумана, Ночи влечет его, несмотря на таящиеся опасности.

Начиная свое путешествие в мире относительной Реальности - Среднем мире, Ежик делает заглянуть в Нижний мир: он несколько попыток смотрит в воду и в глубокий колодец, которые являются символическими «воротами» из Среднего мира в Нижний, используемые шаманами для своих путешествий. В начале путешествия, проходя через Темный лес, Ежик рассуждая о предстоящей встрече с Медвежонком, упоминает можжевеловые веточки, которые предстоит бросить в огонь. Можжевеловые окуривания используются шаманами для вхождения в измененное состояние сознания, необходимое для шаманских путешествий – дым можжевельника обладает несильным галлюциногенным действием. Также окуривание дымом можжевельника позволяет очистить духовное тело шамана от скверны.

Поднявшись на гору, Ежик неожиданно видит перед собой в тумане Белую Лошадь, которая привлекает его. Образ лошади, коня, напрямую связан с понятием Коня-ветра — личной духовной силой шамана. Именно наличие у человека сильного Коня-Ветра позволяет устанавливать связь с духовной составляющей своей сущности и воспринимать духовные сущности окружающего мира. В другой своей ипостаси Конь — в виде бубна (Большой конь) или варгана (малый конь) — способен переносить шамана в путешествия по Верхнему и Нижнему мирам (бубен) или Среднему миру (варган).

Визуальный контакт с Лошадью (Конем) вызвал у Ежика желание «спуститься с горки в туман, чтобы понять как там внутри». Ежик начинает схождение вниз. Конечно, он не попадает еще в Нижний мир. Духи позволяют ему ознакомиться лишь с Преддверием Нижнего Мира. Спускаясь в Туман, Ежик лишается в нем даже своего тела: «Вот, и даже лапы не видно...». Он пытается вступить в контакт с Лошадью – но пока у него ничего не получается. Однако, в Тумане Нижнего мира случаются другие встречи: откуда-то сверху падает лист, из под него выползает рогатая улитка, появляется и исчезает видение неведомого зверя с хоботом. Ежик продолжает движение в Тумане, а его Конь – находится где-то неподалеку, там, где еще секунду назад был сам Ежик.

Но не все обитатели Нижнего мира безопасны для начинающего идти дорогой шамана. Через мгновение — на Ежика чуть не нападает Нетопырь. При этом Филин — Дух Удха — следует неотступно за Ежиком и вступает с ним время от времени в контакт, однако Ежик все еще не воспринимает Филина должным образом, называя его «Психом», и тут же на него вновь пытается напасть

летучая мышь – недоброжелательный дух, обитающий в этих местах.

Неожиданно, где-то рядом в Тумане, Ежик об-

наруживает присутствие чего-то очень большого. Ежик пытается наугад нащупать это что-то с помощью палки (шаманский посох) и обнаруживает, что находится у корней огромного дуба с раздвоенным внизу стволом. Ствол и ветви дерева простираются ввысь, далеко за пределы Тумана. Без сомнения, Ежик нашел в своем путешествии, протекающим по наитию, ось Мира -Мировое Дерево, чьи корни начинаются в Нижнем мире, у ворот которого находится Ежик, а верхние уже невидимые ветви – простираются до Верхнего духовного мира. Дерево это – Тургэ – сосредоточие всего – место встречи Батюшки-Неба и Матушки-Земли – отвесная ось Гол – Мировая сущность. В этом месте сходятся Прошлое, Настоящее и Будущее, и отсюда шаман может моментально переместиться в любую точку во времени и пространстве. Однако, похоже, для Ежика это – первое путешествие, и он еще не знаком как следует ни со своим Конем-Ветром, ни со своим духом-хранителем и другими духами-помощниками, и не обладает полными возможностями для совершения своего путешествия. Расщелина – дупло в Дереве – может приглашать Ежика спуститься еще ниже, к истокам корней в глубины Нижнего Мира, но он еще не готов для такого путешествия и духи не искушают его на столь опасное продолжение путешествия. Стоит Ежику заглянуть в Дупло, как он слышит далекий голос Медвежонка - зовущий его. Духи стараются оградить Ежика от опасности, к которой он еще не готов. Как еще одно отвлечение от опасности, немедленно образуется дело для Ежика найти оставленный где-то узелок с баночкой варенья. Немедля находятся светящиеся сущности – светлячки, которые выводят Ежика из опасной близости к входу в Нижний мир и сгущающегося тумана в прекрасную рощу, напоминающую храм. Но Ежик еще не умеет общаться с Духами и просить их о помощи – светлячки улетают. Туман вновь сгущается, и недружественные, как кажется Ежику, сущности всплывают то ли в тумане, то ли в его сознании. Из начавшегося круговорота негатива Ежика выхватывает голос Медвежонка и мгновенно появившийся сильный Дух в образе собаки. который, несмотря на свою грозную внешность, весьма дружелюбен и возвращает Ежику утерянный узелок с вареньем. Ежик, вероятно, может усвоить из путешествия один из первых своих уроков - мир вокруг достаточно дружелюбен, и если твой путь светел, и ты нашел в себе силы и желание обратиться к своей духовной сущности, взглянув за пределы Среднего мира, то окружающие тебя духовные существа будут беречь тебя и помогать тебе в любых, даже самых безвыходных ситуациях.

Хотя, возможно, это поняли мы с вами, а Ежику еще предстоит до этого дойти.

Вероятно, для закрепления этого урока, сделав несколько шагов в Тумане, Ежик падает в реку, проистекающую, как мы видим, недалеко от Мирового Дерева. Что это за река? Это иное олицетворение сосредоточия вселенной - река Долбор, соединяющая Верхний, Средний и Нижний миры, связующая в единое целое сознание. Здесь встречаются две ипостаси жизни шамана - жизни в физической реальности и в духовной. Как и Дерево, Река служит источником силы. Пользуясь энергией Дерева и Реки, шаман может творить практически все, что пожелает. Река Долбор является и олицетворением потока Сознания, которому Ежик благоразумно покоряется: «Я в реке – пускай река сама несет меня». Несмотря на очевидный страх перед стихией, Ежик покоряется ей и его несет вниз по течению. Вниз – это дальше в Нижний мир. Долбор берет свое начало в Верхнем мире – у вершины Мирового дерева. Ежик поступает как опытный путешественник – покоряется реке и ждет, куда она его вынесет. Скорее всего, где-то там впереди – водопад в ущелье или дыра в земле, куда с грохотом падают воды Долбора. Однако духи понимают, что Ежик еще не готов к такому путешествию – для этого ему следует набраться сил и заручиться поддержкой своих духов-помощников. Плывя по течению Долбора, Ежик видит звезды в небе возможно, и Гвоздь Неба – Полярную звезду, которая может направлять его в Путешествии. Вновь появляется образ Коня-Ветра. Ежик боится овладевшей им стихии и, предчувствуя возможное падение в Нижний мир, думает о смерти. Однако, как и в случае с узелком, Дух (Кто-то), принявший форму рыбы, приходит на помощь Ежику, возвращая его на берег. При этом общение Ежика с Духом-Рыбой происходит посредством «беззвучного» разговора. Духи также не пускают Ежика в Нижний Мир еще и потому, что Ежик пока не является Шаманом. Ежик лишь встал на путь, и это первое путешествие в духовный мир – по сути своей – откровение для него.

Ежик завершает свое путешествие у дома Медвежонка. В фильме специально показан резкий контраст между «земными» заботами Медвежонка и новым состоянием Ежика, который лишь «вчетверть» уха слушает переживания о переставшем интересовать его малиновом варенье. Глаза Ежика устремлены в Пространство Сущего, к истокам которого он только что прикоснулся и вышел из Тумана совершенно иным. Его душу тронули совершенно необычный опыт и переживания, которые уже запустили трансформацию его личности. Перед глазами Ежика звездное небо и образ Коня-Ветра, и непередаваемый тихий восторг еще не осознанного озарения, которое спустя некоторое

время обязательно пробьет себе дорогу к Сознанию Ежика.

Вот такое путешествие совершил наш Ежик в Тумане. Почему же оно так трогает зрителей? Вероятно потому, что подобные путешествия записаны в генетической памяти каждого из нас. Эти путешествия содержатся в области коллективного бессознательного, унаследованного от предков, живших в языческую эпоху. Путешествие Ежика отдаленно напоминает великое Путешествие Души с момента смерти и до последующего повторного рождения. Память о посмертном путешествии Души содержится в Личном

Бессознательном человека... несмотря на то, что об этом умолчал в своих работах Карл Густав Юнг. Но... это уже другая история, и мы поговорим о ней в другой раз.





# александр станюта СТЕФАНИЯ

Главы из книги



#### МИРАЖ

- Нет, это все было как сон. Мираж...

Октябрь, уходящий свет короткого солнечного дня и рыжие, красные листья под ногами.

Круглая деревянная скамья напротив кондитерского магазина "Ромашка" – обеденный перерыв там скоро кончится.

Бесконечный поток людей. Много молодых загорелых лиц. Хлопают дверцы такси, слышен смех, кого-то громко окликают.

- Мираж, конечно...
- О чем ты?
- Обо всем. И главное, как быстро все промчалось... Я всегда думала: о-о, это еще долго, долго... А это вж-жик – и пронеслось. Целая жизнь! Ну все равно как сон, ей-богу!

#### МОЛОКО ЗА КУЛИСАМИ

...Теперь видно, как в густеющих сумерках сквозь листву громадных старых деревьев светятся выходящие в сквер окна гримировочных комнат, — но у театра еще пусто. Пусто и в сквере возле него. Редкие фонари и ветер, карканье невидимых ворон. Шесть часов вечера, скоро начнет темнеть. "В шесть часов вечера после войны" — был такой фильм, — в послевоенном Минске шел, кажется, в сорок шестом...

Воздух театра. Ты не актер, никогда не работал в театре, а его воздух, запах всегда узнаешь, как запах своего дома. Кажется, что ты вырос тут...

 Бабушка прибегала ко мне, когда я Глафиру играла в "Волках и овцах" Островского, и в антракте я где-нибудь присяду в уголочке – и сцеживаю молоко в бутылку. А потом наша Каролинка эту бутылку – за пазуху и домой, тебя кормить – опять бегом, по снегу, по морозу...

Идем по улице Кирова мимо старого четырехэтажного здания на углу перед улицей Энгельса.

- Вот тут же почта была, где она работала.
- Курьершей или почтальоншей?
- Уборщицей. А потом ходила сюда за пенсией своей. "Моя пэнсия, моя пэнсия", все повторяла, и пешком, пешком сюда почти через весь город, с улицы Толстого... А теперь вот и моя "пэнсия" тут.



С сыном в Минске. 1948 г.



Витебск начала XX в. Городской театр

Театр рядом. Вахтер громко, почти крича, здоровается с ней и с таким же громким весельем сообщает, что ни писем, ни переводов пока нет. Выходим в сквер, бывший Александровский сад, с единственной уже, наверное, городской достопримечательностью из XIX века — фонтаном со скульптурой мальчика и лебедя в центре — 1874 год.

 Время... Что такое время? Все – и ничего. А наше время? Господи, что же будет?

Мелькнуло в памяти недавнее: телеэкран и чье-то интервью – хлесткая, злая тирада, с напором, все быстрее, взвинченное, – а она смотрит, слушает и вдруг, будто самой себе, негромко: "Вот говорят, будет гражданская война. Опять?.. "Правда" – название газеты, ты только подумай. А остальное, значит, ложь? Ну никакого же нет права называться так. Помню, в тридцатые, в этой самой Правде" – "Смерть изменникам!" К расстрелу все, к расстрелу... Когда и где же была правда, а где – ложь?..

#### ВАКХАНКИ

- А это что? Нет, снимок этот, снимок, что ты держишь. Дай...

Это же Агава. Да, я – Агава. Эврипид, "Вакханки". Вот так Стефания Станюта! Не то что не похожа – даже и в мыслях не мелькнет, если не знать. Просто самой уже не верится.

- Главная роль?
- Это в Москве мы начали... Да, еще в студии, а выпустили уже в Витебске, в двадцать шестом, когда театр открылся. А перевод нам сделал Дрейзин, Юлиан музыковед, знаток языков, он преподавал в Минске, но и у нас тогда в Москве часто бывал. И он на белорусский прямо с древнегреческого перевел вот что отметь.
  - Как с древнегреческого?
- Так. Еще Нилендер, известный тогда в Москве знаток греческого, переводчик и поэт, говорил, что этот наш перевод ближе звучит к первоисточнику, чем русский. Вот, например, там было:

Сіла бога на смяротных

Ідзе падае павольна, але верна.

Бог карае неразумных, самалюбных, непаслушных.

У сваім дурным шаленстве

Не шануючых багоу.

 И еще помню, что в финале хор – ну, знаешь, как в античных трагедиях: хор и протагонист, главный актер – хор этот возвещал... Сейчас... Как-то сумрачно, с такой как бы роковой торжественностью:

Шчаслівыя людзі, яюя убеглі ад бурнага мора

I у прыстань увайшлі.

Шчаслівыя людзі, якія перамаглі бяду.

Непадобныя людзі адзін да другога ні шчасцем, ні сілай.

Мноства людзей ёсць – і мноства надзей.

Іншыя шчасцем канчаюць, іншыя ж - гінуць.

Хто сёння шчасліва жыве,

Таго я шчаслівым лічу...

- И после "іншыя ж гінуць" и в самом конце так грозно, как удар судьбы, в оркестре раздавалось: бум-бум!.. Счастье, счастье... Кто знает, где счастье...
  - Никто не знает.
  - Это хорошо... Это хорошо.

#### ВСЕХ ОБУТЬ В САПОГИ

- Чай будешь?
- -Налей. Ты из театра?
- Читали же Камю. Я говорила? "Бесы", по Достоевскому. О-хо-хо... Не знаю. Даже страшно делается. Вот где провидец, так провидец был. Ну точно про все наше. Аб-со-лют-но... Господи, каждый за свое и за себя. И вроде бы за истину, а... Не поймешь. Не веришь. И плюрализмы эти... Все так сплетается, все лезут вон из кожи и где же эта истина?.. Ты возьми пьесу, посмотри. Огромная, страниц сто семьдесят и как это поставить? Там один умник за такое: все рабы и в рабстве равны. Главное равенство. А знаешь, как говорят, когда картавят: не все равны", а "все гавны". В пьесе кто-то твердит: накормить, сперва накормить! Понимаешь? Вот как сейчас: чего вы бастуете, надо же сначала накормить людей. И еще там: сапоги! Всех обуть в сапоги!...

#### ГОЛУБОК И ГОЛУБЯТА

— Знаешь, это какая-то фантастика. Захочешь — и не можешь объяснить. Не верят люди, что я все это видела и помню. Едем как-то после спектакля, поздним вечером, в такси. Я, Николай Пинигин, молодой наш режиссер, еще кто-то. И вдруг у меня вырвалось: "Ой, я же по этой улице еще на конке ездила!" А здесь, у нас в машине, тепло и





С режиссёром Николаем Пинигиным.

музыка, и чьи-то голоса в радиотелефоне водителя. И он вдруг глянул на меня и хмыкнул. Мол, ну и веселая старушка, сочиняет так... Коля Пинигин промолчал — он понял этого водителя. Слишком долго надо было объяснять. Говорить, сколько мне лет и все такое...

- А тебе же приходится иногда всю эту фантастику вспоминать на разных встречах со зрителями, в интервью.
  - Конечно.
  - И ты же видишь, как воспринимают.
- Слушают внимательно. А как представляют себе это трудно сказать. Даже актеры, режиссеры. А это же люди с воображением. Не знаю. Говорю, например, что пришла в минский театр, когда он еще был, по сути, любительским кружком. Назывался "Первым белорусским товариществом драмы и комедии".
  - Так и в энциклопедиях.
- Я знаю. Но там нет про то, в каких местах мы работали. А мы играли и в "Белорусской хатке" на Красной улице (она и теперь Красная) в большом таком... бараке, по сути. И в клубе "Сокол" на Магазинной (теперь Кирова). На площади Свободы был тогда еще Камерный театр, там шли короткие пьесы, одноактовые. Нигде постоянных трупп не держали. А у нас была сцена своя вот в этом здании, где теперь наш театр имени Янки Купалы. Были у нас уже тогда и "выездные" представления: на телеге ехали костюмы, декорации, а мы шли пешком до поезда. Так мы немного заменяли странствующий театр Голубка. А когда зимой выступали в "Интимном театре" на теперешней улице Мясникова то клали сперва на сцену слепленный снежок. Начнет таять соглашаемся играть. Если не таял отказывались. Морозы были тогда лютые.
  - Это когда?
- Все это до 21-го года. И в "товариществе" том были, помню,
   Рита Новик, Лиза Станкевич, Ледя Скржиндиевская мои первые знакомые в театральном мире, так сказать.
  - А "Интимный театр" почему так назывался?
- Ой, не знаю. Может, потому, что пьесы там такие собирались ставить. А скорее всего, чтобы завлечь публику. Только интимного в теперешнем "театральном" смысле, по-моему, там не было – никто не раздевался и так далее.
  - Холодновато было... А Голубок...
- А Владислав Голубок знаешь, в его облике что-то вызывало добрую улыбку; может, само его лицо с очень живыми, такими быстренькими, проницательными глазками, лысина с аккуратным зачесом на ней, ямочка на подбородке... Он был неутомимым в работе смотри сам: писал пьесы, ставил их на сцене, играл вместе с женой и дочерьми, а, гастролируя по глухим уголкам Беларуси, был еще и кассиром, и билетером... "Что, большая у вас труппа?" спрашивали у него. А он: "Какая там труппа? Люська, Багуська, женка да я". В любом городке, местечке, деревеньке, куда мы только ни добирались, часто на балаголах, значит, при помощи частных извозчиков, везде, как окажешься в закутке, чтобы переодеться и загримироваться, видишь надпись гримом на стене: "Тут был Голубок со своими голубятами". Везде он уже поспел раньше всех...

## АЛЕНА СУМНАЯ. ПРОВАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Иной раз, когда она вдруг вспомнит, будто увидит перед собой, что-то из давней своей жизни, ловишь себя на том, что видишь это мысленно и сам.

С годами рассказанные ею случаи, подробности как-то соединяются в моем воображении, сближаясь друг с другом и в своем собственном, давнем времени и пространстве.

Так, например, сближаются те места города, что она помнит, пусть лишь по названиям, еще из своих детских лет.

Там улица Кладбищенская, а сейчас — Платонова, и дом, где она родилась, не так уж далеки от дома Ярошевичей где-то в районе улицы, которой теперь возвратили ее давнее название — Золотая горка; в тех же кварталах, как и раньше, стоит костел, в котором теперь — зал камерной музыки.

Там – и еще одно жилье, у Элиасберга, в доме на Красной. Оттуда мать, Христина Ивановна, водила ее купаться на Свислочь. Купальня была отделена от ближайших дворов и домов свисавшими до самой воды густыми ивовыми ветвями. Владелица купальни Тромба брала то ли по три, то ли по пять копеек с человека. Саму ее увидеть не удавалось, но всегда казалось, что она тяжеловесная, как тумба, и важная, будто сидит на троне.

Там же, у Свислочи, стояло двухэтажное здание церковноприходского училища, каменное снизу и деревянное вверху. Здесь учились соседские девочки, и однажды, оставшись во дворе одна, она тоже пошла в училище за ними, открыла дверь в какой-то класс, сделала несколько шагов, но учительница, строго посмотрев на нее, сказала: "Что ты, девочка? Тебе еще рано".

В доме Элиасберга жила еще семья отставного генерала Дураковского. Голубая шинель с красной подкладкой, а сам генерал седой, худой. Его дочь, узнав, что любовник, офицер, венчается с другой на Соборной площади, встретила, торжественно одетая, венчавшихся при выходе из собора и дала ему пощечину, потом сняла перчатку, скомкала и бросила ему в лицо – говорили, что его разжаловали после этого: честь офицерская была оскорблена непоправимо – не вызывать ведь женщину на дуэль...

Квартира на Красной была из трех комнат, одну родители сдавали для оплаты своего жилья бывшей цирковой наезднице Ксении Андреевне Кашириной, осанистой брюнетке с высоким бюстом, гладко зачесанными волосами и жестким пучком на затылке. Она регулярно получала от какого-то железнодорожного начальника содержание в двадцать пять рублей и часто громко, весело выкрикивала: "Хэля-опп!"

А потом, оставшись без содержания, жила у них на полном пансионе и почти как член семьи.

Проходил по улице продавец мороженого с большим ящиком на поясе через плечо, кричал протяжно: "Моро-о-оженое!" – и за ним вдогонку бежали, кривлялись и передразнивали его мальчишки. Получив денежный перевод, Ксения Андреевна выходила и всем покупала по одной порции этого лакомства.

– Мать делала кутью на Рождество и говорила: "Стефочка, отнеси – ему же всю ночь стоять". И я бежала с завернутой в полотенце миской к деревянной церкви Коломенского полка, недалеко от которой мерз на часах солдат. Однажды эта церковь загорелась, пожар был страшный: жадное пламя за считанные минуты обглодало церковь, превратив ее в огненный скелет. Неподалеку, там, где сейчас троллейбусное депо за площадью Победы, был тогда Конский базар, и там громко мычали коровы, телята. Отец прибежал с карандашом и бумагой, лихорадочно начал рисовать этот пожар и все говорил что-то о сожжении Рима, о Нероне – ужас!

Рождественский ужин мать делала из двенадцати постных блюд, были каша, кисель и обязательно ламанцы – коржи, тесто для которых нарезалось узкими полосками. Твердые ламанцы во время еды обмакивались в маковое молоко – мак растирался в макотре, тяжелой ступе.

В семье очень любили Пасху. Мать накануне ходила в церковь, варила яйца, красила их в луковой шелухе. Отец несколько штук расписывал красками. Иногда он повторял заученные откуда-то строчки:



С.М.Станюта с матерью Христиной Ивановной.



С. Станюта во время учёбы в Белорусской драматической студии (Москва, 1920-е годы).



М.П. Станюта (1881-1974), отец актрисы ("Автопортрет", 1935).

Христос воскрес, голубка дорогая, Воистину воскрес спаситель наш родной. С трехкратным чистым поцелуем Святая мысль любовью скреплена, И мир сознания ликует... Каким страданием земля искуплена!

А мать делала на Пасху большой праздничный стол, от стены до стены. И по концам его ставились на полу елочки, каждая повыше стола. На столе были небольшие бараний, телячий окорока и побольше – свиной. Были поросята, жареный и "под холодное", с хреном. Но главным был мамин кулич. По ее заказу и "конструкции" специальную форму для кулича сделал знакомый жестянщик. Была эта форма высотой сантиметров сорок, в печку подавали ее боком, а достав, вытягивали держатели-штыри, створки отпадали, и кулич вынимали из формы. В нем всегда был шафран.

Еще на пасхальном столе были мазурки – тесто, запеченное с консервированными сливами, яблоками.

Было ли все это дорого для их семьи? Пожалуй, да. Но деньги для этого откладывали весь год – Пасха была главным праздником в доме.

– Тайно от всех, наверное, лет четырех, я ходила молиться в сторону кладбища возле Золотой горки. В конце темной аллеи притягивало и останавливало распятие. Однажды, замерев перед ним с быощимся от волнения и страха сердцем, я увидела, что Христос мне кивнул. Пораженная, я бросилась со всех ног домой и долго уверяла в этом маму, которая старалась меня успокоить, прижав к себе.

Где-то в тех же местах города она впервые услышала из раскрытых окон звуки рояля. Может быть, инструмент был расстроен, но как много неслось этих легких, никогда ранее не слыханных звуков, – казалось, они летели сразу отовсюду и во все стороны. Она была поражена меньше, чем кивнувшим ей Христом. Но поразить ее могло и многое другое: увидела однажды из окна соседского мальчишку, Франика, больного корью, бледного, худого – и тут же слегла с корью сама.

Была еще в центре города Архиерейская, как ее называли, церковь, куда она тоже ходила молиться. А с Наташей Кизеветер ходила в кирху.

Там же, в том времени – и их жилье в доме у Мельцера, недалеко от теперешнего театра оперы и балета – впервые в каменном доме, с теплым туалетом – в "каменице". У них тогда жили ворон и красноглазый кролик, "трус" по-белорусски.

Там – и житье-бытье у Лонгина, в доме возле пересечения Богадельной и Подгорной, сейчас это в квартале от главного входа на стадион "Динамо", если идти от него к проспекту Скорины. Квартиру они занимали вверху, и было там нечто вроде мезонина или антресоли, они называли это "салькой".

Когда приходил нищий, она взбегала наверх за кусочком сахара для него. Почему-то часто получалось так, что или нищий был слишком; нетерпелив, или слишком долго приходилось выпрашивать сахар у занятой в кухне матери, но когда спускалась, внизу уже никого не было, и она, сидя на ступеньках лестницы, могла неспеша съесть сахар сама...

Она любила уходить далеко от дома. Один раз, начав выкладывать свой путь то ли спичками, то ли щепками вдоль канавы, очутилась где-то на улице Белоцерковной. На перекрестке возле стоявшего там креста, присев, уснула. Сопровождавший ее Бобик вернулся домой, стал лаять, звать. "Где наша Стефтя?" – спрашивала мать. И Бобик побежал вперед, ее нашли.

Рядом с домом была маленькая кондитерская лавка. Она нашла в комнате золотую монету и спокойненько пошла туда: "Дайте мне конфет". Хозяйка лавки взяла монету и спросила: "А мама твоя дома?" – "Да. А что?" – "Скажи, чтобы пришла сюда". Мама пришла, а когда вернулись домой, с облегчением вздохнула и как-то странно-долго, молча смотрела на дочку. Поняла она этот взгляд только много лет спустя.

Отсюда, из "сальки", ее привели как-то к бабушке Стефании, матери отца.

Бабушка была суровой католичкой, с трудом вынесшей женитьбу отца на "мужичке" из-под Докшиц, православной. Внучку назвали в честь бабушки. Та смягчилась.

В доме у бабушки Стефании она увидела иконы, непривычно

расположенные, и впервые ночевала не дома. На следующий день, когда они с отцом возвратились, мать в шутку приговаривала: "Нет, уже не моя ты теперь дочка", — И она плакала, как от настоящего горя.

— Мать была статной, с длинной густой косой. В ее осанке чувствовалось достоинство, хотя была она малограмотной. В городе до замужества жила и работала в услужении у разных хозяев и стеснялась своего слишком, как она думала, простонародного имени — Христина Ивановна Хилько, называла себя почему-то Лидией Васильевной. После женитьбы отец тоже звал ее Лидой. Она умерла в сорок шесть лет от болезни печени, в 1934 году, и Снуки, наш песик, накануне ушел из дома...

А когда произошла революция, мать плакала: "Как же так можно – без царя, без Бога и без церкви? А что тогда?.."

Из Петрограда приехал ее брат Игнатий, его называли еще и просто Игнат, он был путиловский рабочий, но почему-то ходил в матросской одежде. В городе часто вспыхивали пожары. Летом, когда горело, взрослые разбирали заборы и бревна, чтобы огонь не перекинулся дальше, на соседние дома. Ей, девчонке, все это виделось и страшным, и необыкновенно интересным. Теплыми ночами спали во дворе — в домах боялись поджогов; дежурили. Горели магазины, и они, дети, однажды ели почти жареную селедку из обгоревших бочек, а в другой раз печеные яблоки с почерневших яблонь. Отец рассказывал о каком-то митинге у вокзала, только непонятно, когда это было: выступала женщина по фамилии Шабат; выстрел — и она упала, как подбитая птица, раскинув руки. Он хотел это тут же зарисовать, но пришлось прятаться от выстрелов под окнами парикмахерской, стекла со звоном разлетались от пуль...

Отец, Михаил Петрович, был родом из Червеня, тогдашнего Игумена, а дед по отцу, Петр Фадеевич, в свое время служил в Игуменской мещанской управе гласным (выборным); брак его, православного, с католичкой Стефанией Александровной, урожденной Юшкевич-Дулевич, был со временем расторгнут.

До революции он работал счетоводом в конторе старшего нотариуса Минска, в городской казенной палате, затем в коммерческой службе Либаво-Роменской железной дороги и одновременно учился живописи. До своей учебы в Московских свободных художественных мастерских в 1918-1920 годах, где среди его педагогов были Н.А. Касаткин и А.Е.Архипов, он начинал у себя в Минске самостоятельно, но будучи хорошо знакомым с известными тогда здесь художниками Я.М.Кругером, В.Н.Кудревичем, А.М.Бразером.

Одно время он ходил учиться к художнице Пальмире Любомировне Мрачковской-Комоцкой. Ее собственный дом и другие, принадлежавшие ей дома, стояли там, где теперь улица Захарова выходит к площади Победы. Вечерами, когда отец занимался у Пальмиры Любомировны, они вдвоем с матерью, ожидая его, ходили сюда и смотрели на стекла большой веранды Мрачковской: им хорошо была видна висевшая на стене и ярко освещенная картина "Гибель "Титаника"".

Может, мама ходила туда со мной потому, что ревновала отца?..

После революции художнице, имевшей раньше немалые земли под Минском, оставили нечто вроде крошечного "фольварка" возле Кальварии, тогдашнего пригорода. Отец приходил к ней и сюда, брал с собой дочь — и она запомнила, как ела с веток черешню, как бродили по двору, распуская хвосты, несколько оставшихся у хозяйки райских птиц, павлинов, и как сидели у крыльца нищие, калеки, приходившие за помощью и служившие художнице "моделями".

В 1941 году, когда Минск занимали немцы, дом Мрачковской загорелся, но она, уже в преклонном возрасте, осталась в нем со своими картинами и кошками. "Просто не захотела выходить, спасаться, – говорил отец. – Да и зачем?" Он помнил ее такой, какой она была в то далекое время, когда он ходил к ней учиться: с крупным выразительным лицом, яркой сединой и в большом темном берете: "Как на автопортрете Рафазля".

Отец в молодости был гуляка, – я помню его по чьим-то рассказам: едет на извозчике, шляпа сдвинута на затылок, и он швыряет налево и направо купленные, видно, для нас с мамой бублики вместо давно кончившихся денег – широкий жест!.. Сам же он любил вспоминать, как в детстве нашел где-то горсть медных монет, пробитых насквозь в середине – скорее всего, это цыгане делали из них себе монисто – и. замазав воском отверстия. покупал на эти меляки сласти и пирожки. Частенько можно было видеть отца с гитарой: он пел, играл. И где-то пропадал.

Мать удивлялась: "Только что тут вот был – уже пропал!". Одна его песня была такая. Молодая женщина говорит:

Я помню детство очень ясно.
 Когда меня гоняли спать –
 Тут мольбы, слезы, – все напрасно:
 "Пора уж спать!" – твердила мать.

В день свадьбы гости танцевали И веселились до утра, Но в полночь мама мне сказала: "Пора, пора, пора..."

В старинном доме с куполами, что сейчас называется Домом работников искусств, в честь юбилея царской семьи Романовых, кроме прочих торжеств, были "архиерейский чтения". Отец купил билеты, и они слушали "Тараса бульбу", смотрели диапозитивы: она увидела панночку, горящего Тараса. Но стал бить страшный кашель, как при коклюше, и архиерей дал понять, что очень недоволен – отцу пришлось ее увести. А "театр" увидела впервые в саду "Ренессанс", возле реки: деревянное здание с барьерами вместо стен, а на сцене какая-то тетка поет в красивой одежде, разноцветных лентах, с цветами. Отец сюда привел, но скоро и увел, так ничего в тот раз и не поняла, а жаль – понравилось.

В местах, где они снимали квартиры, в центре, город казался очень большим и многоликим. Вокруг Соборной площади он был в основном каменный, кирпичный, засаженный пирамидальными тополями.

Здесь были газовые фонари, мощеные булыжником или брусчаткой "брукованки" и электро-театр "Эден". Здесь были маленькие частные гостиницы "Либава" и "Виктория", гранд-отель "Гарни"; "Париж", в зале которого в 1911 году впервые в Минске стала выступать белорусская театральная труппа Игната Буйницкого, и театрварьете "Аквариум" с рестораном, где потом работали актеры Владислава Голубка. И были бесчисленные приватные фотографии, одна из которых, Бернштейна, красовалась на главной, Захарьевской улице под названием "Рембрандт".

Столь же бесчисленны были закусочные. Попробуй не выпить, говорил отец, особенно четырнадцатого числа, в день получки, когда идешь с друзьями после службы, и верх кепи над козырьком приподнят.

Это означает, что доволен начальством в отличие от скучного кепи блином, когда недоволен. Идешь, а на каждом углу – то бараний бок, то поросенок с холодным (он говорил: "с галереткой"), то гусиная шейка или печенка.

Бывало, отец возил их отдохнуть за город, к лесу, где теперь парк имени Челюскинцев. Он нанимал балагола Герцика-Сролика, самого дешевого извозчика – в Минске его знали все, – и они тряслись на скамейке за спиной своего кучера так, что начинали "отдыхать" еще далеко от леса, как только кончалась булыжная мостовая и обитые железом колеса уже катились по мягкой немощеной дороге. Куда лучше было, когда отец вел их на реку, брал лодку и садился на весла – большего удовольствия они с матерыю не знали.

Среди знакомых отца был некто Маронко – толстовец, "друг Короленко", монументальный человек с большой белой бородой, ходивший в толстовке босым, пока не выпадет снег...

Там же, в том времени, все в том же ее детском, потом юном возрасте – еще одно жилье: возле вокзала, на Петроградской улице.

Это сюда как-то после революции пришла пешком из-под Докшиц, значит, из-за границы, из Западной Белоруссии, уже выжившая из ума, но бодрая, без устали и подбегом ходившая везде прабабка Агафья, пережившая бабку Марьяну. Как и раньше, у себя в деревне, где она калядовала, пела песни, прибаутки, Агафья и тут сыпала понятными уже ей одной приговорками:

А смерць сядзела ў куточку І рвала на сабе сарочку...

или:

... Христу, Параску, Сідар і Навум...

Потом она так же неожиданно и беспричинно, как появилась, уш-

ла – и больше о ней ничего известно не было. "Сошла", – так говорили, значит, умерла где-то в дороге, в поле или в лесу, не дойдя до дома.

А в тот деревенский дом возле Докшиц, к бабке и прабабке, мать с отцом несколько раз возили дочку. От Молодечно ехали уже не поездом – в телеге. Пол в доме бабки был земляной. Сразу после крыльца начиналось жито – ржаное поле уходило, как казалось, прямо в небо.

Прибегала любившая ее без памяти как "городскую" дочка попа, у которого на скотном дворе работала бабка Марьяна, и целовала без конца, вылизывая и слюнявя ей глаза и щеки. И увидав бегущую обожательницу из окна, она бросалась на кровать, закрывая лицо одеялом: "Голова болит!"

Они жили в деревянном доме у вокзала, на Петроградской, когда началась война 1914 года. В небе можно было видеть немецкие аэропланы. Служба отца эвакуировалась во Владимир, и они добирались туда около месяца в товарном вагоне — четыре семьи, жившие в два "этажа".

Когда вернулись в Минск, она стала учиться не в Мариинской гимназии, куда только успела поступить перед войной, а в "министерской", как ее называли. Здание стояло недалеко от городской тюрьмы, немного ниже, и на всю жизнь запомнились кошмарные фамилии владельцев частной лечебницы на противоположной стороне улицы: Гробовицкий и Абдзерский.

В гимназии удалось закончить четыре класса: революция. А до того было только трехклассное церковно-приходское училище у Свислочи, в которое так хотелось ходить вместе с подружками по двору и приема в которое она все-таки дождалась. Она пела на клиросе в церкви. А однажды их, учениц, выстроили на Соборной площали, на возвышении, где теперь сквер на площади Свободы, – и она видела оттуда приезд царя в дом губернатора.

Шло время. Подруга, Оля Вашкевич, была уже принята в театр – в статисты, правда, но там пели и, самое главное, танцевали, а все остальное в сравнении с этим уже почти не существовало, не замечалось.

У Оли был уже и псевдоним - она называла себя Ольгой Верас.

А раньше подруга забегала вечерами, она выходила будто бы ее проводить, не одеваясь, только украдкой брала туфли, чтобы мать не видела – и забывалось все, до ночи: был только танцевальный зал и объяснения учителя...

Но были еще замечательные Кунусы, брат и сестра. Отец давно дружил с ними, часто бывал у них с дочкой, — она чувствовала себя здесь как дома, подолгу рылась на чердаке в старых книгах. Ее очень любила Эмилия Ивановна Кунус, женщина с очень красивой фигурой, с волосами цвета червленого золота и часто с вуалеткой на лице — оно было испещрено следами осты.

Эмилия Ивановна раньше ей шила платья – красиво, со вкусом: до революции у нее на Садовой (ныне – Купалы) была маленькая швейная мастерская дамских нарядов, где несколько работниц и она сама шили цельми днями. Ночи же Эмилия Ивановна просиживала за выкройками. После года такого труда она ехала летом на месяц-два в Петербург или Москву и там уже – жила: дорогие наряды собственного изготовления, обеды, театры и выставки, лучшие гостиницы. Швейцары раскланивались, половые расшаркивались. Дама в вуали – все думали: графиня!

И вот однажды в Москве она встретила того, кого, видимо, искала. Это был Феофан Николаевич Лишневич, любитель жизни, добряк и безнадежный поэт. Он приезжал в Минск, посвящал стихи Эмилии Ивановне. У него был "нос фуфлейкой", говорил отец, имея в виду курительную трубку, утолщенную и загнутую книзу, как клюка. Но Феофан Лишневич вскоре приезжать перестал. Эмилия Ивановна раскладывала карты, гадала о нем. Все надеялась, ждала – и долго, долго...

В 20-е годы, когда Стефа, прежняя любимица Эмилии Ивановны, уже училась в Москве, Лишневич встречался ей. Он голодал. Както купил котлеты и ликовал: "Поджаренные! Розовенькие!", а котлеты оказались из брюквы. Но поэт не унывал. Студентке, будущей актрисе, которую знал по Минску еще девчонкой, он написал:

Однажды я встретил нежданно Артистку, художника дочь, – Так поздно (жене будет странно), Зимой и в морозную ночь... Но это будет потом, а пока еще был Минск после революции.

Дома ей сшили плащ; отец по ее просьбе нанес на подол масляными красками белорусский орнамент. И сама она сшила себе платье из холстины, украсив его своим рисунком: три каштановых листа, один большой, два поменьше – листья накладывала на холстину и обводила карандашом, потом закрасила. Была уже даже своя косметика: щеки и губы натирали с Олей Вашкевич красной гофрированной бумагой, тайно обрывая ее с украшенных этой бумагой портретов вождей.

Они танцевали мазурку Венявского...

Может быть, именно благодаря уже почти помешательству на этом своем "танцевании", она в конце концов и оказалась в труппе статистов Первого белорусского товарищества драмы и комедии, которым руководил Флориан Жданович и которое вскоре было преобразовано в Белорусский государственный театр. С горячностью соглашалась на любой выход, в любом костюме. В "Цыганке Азе" одевала мужскую одежду, рисовала усы, была абсолютно уверена, что похожа на молодого цыгана больше, чем кто-нибудь из парной массовки.

Она решила, что сценическое имя будет Алена Сумная, – была убеждена, что "грустная" куда романтичнее "веселой", – и была счастлива, участвуя в массовках, хоре. Можно сказать, жила уже не дома – там, в театре.

Дали со временем и роль – молодой жены боярина Бутрыма, замученной им из ревности, – но только на один вечер: заменить заболевшую актрису в спектакле Франтишка Алехновича "Бутрым Немира", где сам он играл главную роль.

В массовках она чувствовала себя хорошо, уверенно. А тут "привидения" – погубленные ревнивцем жена и соперник, со скрипом поднятые на площадке над сценой, с зажженными на груди лампочками, оставались как бы наедине со зрительным залом. Она увидела сквозь яркий свет рампы бледные пятна лиц в партере, сказала первую фразу своего коротенького монолога – и замолчала. Ни актеры, ни суфлер не помогли. Речь отнялась. С грехом пополам как-то двинул действие дальше опытный уже артист Антось Жданович (Криница), брат Флориана Павловича.

Первой ролью, уже именно ее, а не заболевшей актрисы, была роль Химки в спектакле по пьесе В.Голубка "Ганка". Ее спросили: "Ну хоть одну фразу ты сможешь сказать?" – "Конечно!" – ответила она.

Надо было выйти на сцену в нужный момент и объявить: "Ганка в колодце утопилась". Она вышла и сказала: "Химка в колодце утопилась". Грохнул смех, она в ужасе умчалась за кулисы...

Самое странное произошло потом. Группу способной театральной молодежи правительство республики решило послать в Москву для учебы, на несколько лет. В первый набор попала и она.

Эта молодежь составила там Белорусскую драматическую студию. В справочнике 1926 года "Вся Москва в кармане", в разделе "Художественные вузы" были такие строчки: "Белорусский государственный институт театрального искусства. Арбат, 51, кв. 33, тел. 5-04-63, 2-86-61. Подготовка квалифицированных работников драматического искусства для сцены Белорусского Гос. театра. Ректор — Лежневич А.Ф."

Весной ей наконец исполнилось уже целых шестнадцать лет, и она ехала в совсем другую жизнь. Мир изменился. Она еще не знала слов Шекспира: весь мир – театр. Зато не сомневалась, что театр – это весь мир, что жить можно только театром.

#### КИТАЙСКИЙ ФОНАРИК

- -...Вот странно, у тебя бывало так? Вдруг как будто кадр перед глазами, кусочек из того, что было, и безо всякой связи... Сейчас увиделось: трамвай в Евпатории, красный и маленький, без прицепа, как и везде там. Помнишь, мы называли его "китайский фонарик"? И мы все едем на лиман: ты, Ира, Димка. Потом, возле лимана, картинка: бабушка и внучек он на корявом низком дереве сидит, а я будто бы тоже лезть собралась, халат на мне смешной, короткий, оба "хороши" ты же фотографировал. Или это я карточку вспомнила? Но в трамвае ты не снимал...
- А помнишь: только рассветает, как с улицы уже голос молочницы: "Моло-ко-о!.."
- Да. Почему так бывает: вдруг раз! и что-то до того отчетливо перед глазами... И почему именно это, а не то? Я же стояла здесь,

рядом с плитой, переставляла чашки или еще что-то, наливала сюда воду. А может, глянула в окно - как там клюют мои синицы...

- Ну, что-то было. Только неосознанное. Дало искру. Слово какое-то или вот радио – тут голоса и музыка... И у тебя замкнулось.
- Я понимаю, понимаю. Но почему именно это и сейчас? Мы едем в том "фонарике китайском"...
  - А еще, помнишь, из какой-то песни: "китайский колокольчик"?
  - Так это же Вертинский. Ну конечно:

Ах, где же вы, мой маленький креольчик,

Мой смуглый принц с Антильских островов,

Мой маленький китайский колокольчик,

Капризный, как дитя, как песенка без слов?

Мы это пели часто на даче у Владимира Иосифовича Владомирского, в Крыжовке. Я, Ольга Владимировна Галина... Конец пятидесятых – начало шестидесятых... И никого уже нет. Страшно.

#### ГРЕТА ГАРБО И ПЬЕРО

 Вчера, помнишь, я тебе читал, что умерла Грета Гарбо, – она еще в 1941-ом ушла из кино, вообще из светской жизни. Затворилась, пишут, в одиночестве, а было ей тогда тридцать шесть только. Почему?

Горе какое-то? Или страх будущей неудачи, заката, желание уйти со славой и вот такой остаться в памяти у всех?

- Бывает... Это бывает... Скорее всего, расстройство психики, какой-то сдвиг. Почти незаметно внешне, для других. А для нее все – в ином свете, иначе... Бывает. Особенно у женщин.
  - Но в таком возрасте?
  - И в таком тоже может быть.
  - Я се, наверное, не видел ни в одном фильме.
- Ты нет, не мог. А я видела. Глаза такие выразительные и красивой формы...
- Вчера смотрел этот рижский журнал "Кино", а сегодня листаю "Советскую культуру" – и там статья: "Последняя богиня Голливуда", с фотоснимком: оказывается, в этом году умерла и Ава Гарднер. Она намного моложе была Гарбо...
- Ее не знаю, не видела. А вот эту... мм... Хепберн Одри Хепберн помню. Наташа Ростова в американской "Войне и мире". Ну, это хорошо. Такая долгоногая... А молодец. Да, очень хорошо.

Наклоняется и указывает на прозрачную воду у кромки песчаного берега:

- Видишь, ну точно как чье-то лицо.
- Не вижу.
- Ну вот же, вот: один глаз чем-то темным, илом, что ли, намело; другой глаз, а ниже – рот...

Действительно, сквозь пленку воды, на рифленом светлокоричневом песке – будто чье-то лицо. И даже с выражением.

Увидел? Бровь левая, как у Пьеро, страдальчески так, скорбно выгнута...

Немолодая женщина прошла, потом остановилась: узнала, хочет рассмотреть ее; так рассматривают, желая убедиться, что не ошиблись, – быстро переходя с места на место, нетерпеливо вглядываясь и уже не стараясь делать это незаметно.

- Смотри, тебя опять узнали.
- Вижу. Иногда делается как-то не по себе. Нет, всегда это, конечно, приятно, что там скрывать. И все-таки иногда, особенно в последнее время, замечаю – не по себе... Вчера в Майори подхожу к газетному киоску, что-то спросила, а киоскерша: "Ой, это вы! А я ваш голос всегда узнаю и вижу часто..." Говорит с акцентом, как латышка, но она, оказывается, родом из Белоруссии, из Витебска... А голова трясется слегка, как при болезни Паркинсона. "Вы не поверите, как я вас рада видеть вот так, рядом. Я знаю ваши фильмы, особенно белорусские: "Мама, я живой!" – и другие..." Вот такая встреча, представляещь?
  - Да. Хорошо все. Интересно.
- Конечно. Я видела что-то похожее у Майи Булгаковой на Селигере, когда мы начинали работу над фильмом "Прощание" по Распутину, его "Матере". Тогда меня намного меньше знали, чем теперь, и я ходила вместе с ней по Осташкову и видела, что это такое, когда тебя узнают везде, хотят поговорить. Понимаешь, это же не люди ки-

но, искусства, а... ну, простые женщины... И им важно, что они не только на экране или в телевизоре дома видят тебя, а вот как мы с тобой теперь друг друга, – это нужно чувствовать. И помню, стою с Булгаковой, а к ней подходят и подходят – помнят по фильмам и особенно по "Крыльям", где она сильно так сыграла бывшую летчицу. "Спасибо вам, спасибо!

Мы все вас узнаем, дорогая вы наша". И я себе думаю: Боже, как это хорошо! А теперь вот и ко мне так люди. О-хо-хо... Приятно, конечно, но и ... (Пауза.)

-Что - "и"?

- А как-то все же сковывает, что ли...

#### ГАМЛЕТ С ГИТАРОЙ

– Ах, какие пирожки были когда-то в Витебске у Гитэлэ! Мы брали только у нее – дешевые и оч-чень, оч-чень вкусные! А я была там, в Витебске, звездой – да-да, а что ты думаешь? Конечно, сама я это не знала, но... Смотри, я же тогда, во второй половине двадцатых годов, играла и в "Вакханках", и в "Сне в летнюю ночь", и в "Эросе и Психее".

И была героиня по амплуа в полном смысле, да. Двадцать один мне исполнился, а ты смотри, какие роли! Агава, Титания... И Психея. Какие авторы, как говорят теперь, — Эврипид, Шекспир, — ну что ты! Вот молодым что играть. А что у нас они сейчас играют? Самих себя?

А это называется: современников.

Да-а, "современников"... Разных блатарей и алкоголиков.

 Теперь уже – с заборными словечками; такая, мол, эстетика распада: вот мы с вас белые перчатки сдернем, ткнем носом в настоящее.

Я замечала, этот дурной запах – он многим нравится, будто истосковались по запрещенной раньше гадости. И пишут это, ставят и играют со смаком, как запретную еще недавно правду – и важнейшую. Я понимаю, немало тут подсмотрено верно и точно, но...

Подсмотрено, именно так, не больше. Так и записано, поставлено и сыграно. Поморщишься — чистюля, значит, или ханжа, брезгуешь "жизнью". Не уважаешь нынешних идолов: их величества бессмыслицу и "безнадегу", а вместе с ними — белую горячку (они скажут: "абсурд").

И вот уже "Ку-ку", ваша недавняя премьера. Национальный академический театр... Или позднейшее, про сон начальника медвытрезвителя...

— А когда-то же было: герой, характер, тип. Теперь... Я не знаю: вот он, мол, такой: и сожаления достоин, и виноват, и то, и се, и пятое, десятое — такая, мол, и сама наша жизнь. А в следующий раз опять — и то, и это... мелькает все в таком "герое" и мешается. И пропадает. Не держится это ни на чем, обсыпается; и у меня, у зрителя, не остается. А может, я уже просто не понимаю? Ведь все меняется, и быстро. Хотя мне же все новое всегда так интересно!...

Когда-то:

Чей-то балет в Москве, испанский или же французский, – и телевидение показывает долго и подробно. Она, не отрываясь от экрана, почти не меняя позы, смотрит чуть ли не час. "Видишь – на полную стопу: хореография совсем иная, не классическая". – "Ну, и как тебе?" – "А очень выразительно. И смело. Я ведь все эти па-де-де и пируэты – "Жизель" и "Лебединое", "Щелкунчик" – я это видела еще в шестнадцать лет. Прекрасно. Но мне любопытно – а как сейчас? И как будет потом? Ну, интересно же".

Когда-то:

смотрим Владимира Высоцкого. Он — Гамлет. В черном трико и в черной майке, без грима, и гитара на ремне через плечо. Из декораций только занавес-сеть, и с ним он бьется, сквозь него хочет пробиться, им отделен и разделен со всеми. Хрипло выкрикивает пастернаковские строки: "Я один, все тонет в фар-р-рисействе..." После спектакля, когда вечернее августовское солнце еще не зашло, мы спускаемся вниз от минского Дома офицеров: нагретый асфальт, зеленые ряды лип и просвечивающий сквозь них купол цирка. "Ну вот скажи, этот Гамлет у Высоцкого — что он такое?" — И она, со смущенной улыбкой, почти нехотя, как всегда, когда ей приходится признаваться в своем разочаровании среди всеобщего восхищения: "Это, конечно, интересно. Но..." — И понизив голос, будто кто-то может услышать: "Но нет значительности, понимаешь?"

смотрим Владимира Высоцкого. Он — Гамлет. В черном трико и в черной майке, без грима, и гитара на ремне через плечо. Из декораций только занавес-сеть, и с ним он бьется, сквозь него хочет пробиться, им отделен и разделен со всеми. Хрипло выкрикивает пастернаковские строки: "Я один, все тонет в фар-р-рисействе..." После спектакля, когда вечернее августовское солнце еще не зашло, мы спускаемся вниз от минского Дома офицеров: нагретый асфальт, зеленые ряды лип и просвечивающий сквозь них купол цирка. "Ну вот скажи, этот Гамлет у Высоцкого — что он такое?" — И она, со смущенной улыбкой, почти нехотя, как всегда, когда ей приходится признаваться в своем разочаровании среди всеобщего восхищения: "Это, конечно, интересно. Но..." — И понизив голос, будто кто-то может услышать: "Но нет значительности, понимаешь?"

первом нашем наборе московской студии, по пластике и танцу я была лучшей вместе с Константином Санниковым и Александром Ильинским.

- Ты часто вспоминаешь своих первых учителей?

- Помню всегда Гиацинтову Софью Владимировну...

 В архиве, в Минске, видел справку: ей в качестве месячной платы выдан мешок картошки за преподавание в вашей тогдашней ступии. Пвалцатые годы.

— Да, так вот и было тогда, так и жили... А недавно, когда я была в Москве, проведала на Новодевичьем могилы Смышляева и Афонина Бориса Макаровича, они там за одной оградой... Учителем было и само то время, атмосфера тогдашнего искусства. Поиск, новаторство — это, конечно, и сейчас есть, но тогда, по-моему, все было как-то ярче, потому что многое пробовалось впервые, то есть новаторство было как бы "первичнее" — сейчас эксперимент нередко идет от того, что называется хорошо забытым старым. Например, ставил Мейерхольд "Даму с камелиями", специально для Зинаиды Райх. Так до сих пор вижу: мизансцены будто геометрически выстроены, а во всю сцену — зеркало. Придумано все было и поставлено так, что общий сценический образ происходившего на всю жизнь оставался с тобой.

Ты говоришь, была в Москве, – когда в последний раз?

Ну, здравствуйте! В начале лета на Мосфильм ездила, на пробы в картине об Антоне Макаренко. Роль его матери... Тогда была годовщина со дня смерти Клавдии Шульженко – я познакомилась там с ее родственниками.

...50-е годы, лето, театр купаловцев на гастролях в Николаеве.

Поздний вечер, спектакль окончен – и домой, не спеша, под акациями, по уже темной, теплой южной улице с побеленными стволами тополей, – а у открытых дверей какого-то клуба или филармонии стоят люди, и кто-то говорит: "Шульженко. Приехала и для своих поет... ну, без афиш". И изнутри, где яркий свет, слышен тот женский голос, те интонации, что слышал с малых лет из комнаты, где патефон под абажуром на столе, родные голоса и смех, и папиросный дым плывет в раскрытое окно, в густую синеву вечернего двора.

А ты Шульженко знала?

 Нет. По телевидению не так давно передавали фильм-концерт о ней. Она и старое – свое молодое пела, "Записку" и "Портрет", чтото еще, может быть, "Маму" или "Сочи". Ну, и последние свои песни...

Это страшно.

- Почему?

- Потому. Человека уже нет, а его песни, голос вот они. Он сам на экране. А этого уже нет, нет! Мы привыкли: пусть этого нет, мол, но все-таки, несмотря ни на что – есть. Вечная наша "оптимистическая трагедия". А трагедия оптимистической не бывает.
- А кого ты помнишь еще из довоенных и послевоенных знаменитостей, певцов эстрады? Лещенко, Вадим Козин, Утесов?
  - Нет, нет.
  - Вертинский?
- О, да! Я его видела и слышала. "Живьем". В шестидесятых он как-то приехал в Минск. Оперный театр набит битком. Я – на балконе, все стоим. Но вижу, слышу. Пел много "на бис", щедро очень. Ну, очень хорошо. Манеры, артистичность очень большая, очень пластичен. И, конечно, – руки, жест. Руки у него пели вместе с ним...

И она еще не успевает договорить, как я уже вижу, будто при повторе, старые, даже не черно-белые, а бурые кадры военной кинохроники из недавнего фильма об Александре Вертинском: танки идут мимо горящих изб, огонь взметнулся над рухнувшими прогоревшими стропилами и бревнами – и из иного, выдуманного мира – нельзя, казалось бы, представить более далекого, несовместимого, ненужного, – слышен несильный голос и слова:

В бананово-лимонном Сингапуре, в бури, Когда поет и плачет океан... Магнолия тропической лазури, Вы любите меня.

И этот голос, слова и мелодия, их откровенно манерная, томная игра не сразу вызывают улыбку, плывут где-то за танками, пожарами – в одно и то же время, в одной и той же страшной, неправдоподобной жизни... Но это ушло, и уже в цветном фильме о другой, самой близкой тебе актерской жизни пожилая женщина в неярком голубом свитере, с лицом и голосом, знакомыми с тех пор, как ты себя помнишь, сидя возле маленькой, похожей на игрушечную, сцены после репетиции, говорит, будто себе самой: "Конечно, столько вокруг тяжелого, а мы здесь занимаемся всем этим, играем во что-то... Но если это существует, есть, значит, это тоже жизнь, кому-то нужная..." Но и это ушло, и теперь та же самая женщина, но как будто другая, сидела напротив меня за столом, дома, и перебирала фотоснимки и письма, рассказывая, как пел Вертинский...

- А Лемешев?
- Козловский. Его не только в спектаклях, в жизни помпю. Довоенное время, мы – молодые, дача работников искусств – РАБИС – в Крыму, в Мисхоре, напротив знаменитой каменной русалки в воде. Дом отдыха "Маву-Кенар" – что это означало? – трехэтажный, деревянный.

Ну вот, играли с Козловским в волейбол. Он подарил медальон со своей фотокарточкой. Очень берег голос, в импровизированных концертах, "капустниках" не пел. Но вместе с Барсовой, знаменитой потом певицей, заплывал далеко-далеко, утром или вечером, и оттуда они вдвоем пели: "Цветок душистых прерий..." – из оперетты "Роз-Мари". На все побережье. А у меня косы были, и я была затянута в узкий черный костюмчик. Объедались белым хлебом и борщами...

- Косы и черный костюмчик наверное, было на что посмотреть?
- Ого! Тогда был шоколад знаменитый, дорогой "Золотой ярлык". И как-то там, в Мисхоре, мы идем, гуляем, а какой-то грузин поднялся со скамейки, подкрался этак мягкими шагами — и посылая мне воздушный поцелуй, щелкнул пальцами: "Ух ты мой за-а-ла-той ярлык!"
  - Не усидел.
- Конечно. А до революции какой шоколад был! И сейчас могу назвать все его марки. Пожалуйста: "Миньон", "Жорж Борман", "Сиу и К.", "Тоблер", "Эйнем". А книжки для нас, детей! У нашей знакомой, Кунус Эмилии Ивановны, чердак был завален ими и мы рылись там, как охотники, до замирания сердца. Какие детективы! Ужас. А какие сыщики! Нат Пинкертон, Ник Картер, Шерлок Холмс. И все в дешевых изданиях, доступно. Папа вслух читал дома "Тайну метрополитена" и еще что-то жуткое, "Пещеру Лейхтвейса", например. А потом выяснилось, что ее студенты-литераторы писали.
  - А кино тогдашнее?
- Немое. Смотрела Пата и Паташона, комиков. Первый был большой, второй маленький. Смотрела и комика Патти, мрачного толстяка, и миниатюрного Макса Линдера, пузатенького Глупышкина, Чаплина и Бестера Китона... Если Чаплин это маска, навсегда отработанные движения, быстрота и верткость, то Китон малоподвижность, никакой улыбки никогда, застывшее лицо контраст Чаплину. Мне он нравился не меньше. В "Нашем гостеприимстве" ходил по кругу конь унылый, что-то тянул за собой, и при помощи разных передач поднимался лифт. Конь встал, лифт застрял. Китон взял масленку железнодорожника и подливал из нее масло на копыта. Хохот стоял громовой.

Кино!..

- А фильмы ужасов?
- Еще какие! Отец безумно любил бильярд. Мать выпроваживала нас гулять. Он шел поближе к бильярдной, в "Иллюзион" у теперешней Центральной площади, давал на чай швейцару, важному, с бородой, как у Толстого, с золотыми путовицами, в фуражке, и меня пропускали в кинозал, а отец к своему бильярду. Так я, малышкой, посмотрела "Человека-зверя". Он был косматый, страшный, с черной маской на лице, ночью лез в окно и похищал свою же дочь, маленькую девочку, наложив ей, спящей, на лицо салфетку с хлороформом. Нет, это было невозможно выдержать, я чуть не закричала, а ночью проснулась не на диване, а на полу, на ковре и плакала от страха, мама не понимала,

что со мной, отец молчал, конечно... А зато с юности я знала таких звезд: Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Эмиль Яннингс, – вся история мирового кино. И Конрад Вейдт.

- Я его тоже помню, "Багдадский вор", "Индийская гробница".
- Да-да! Точеный профиль и глаза стальные, жутко притягательный... И еще фильм "Камо грядеши" по роману Генрика Сенкевича:

Нерон в цирке выпускает львов на привязанных к столбам людей – кажется, первых христиан... Потом читала этот роман, уже немолодой: расправы с теми же "врагами народа", что и всегда... А в том фильме была на одном столбе девушка, тонкая фигурка. По-моему, Леа де Путти играла. Она с Яннингсом блистала в фильме "Четыре черта". Это о Цирке, о воздушных гимнастах. Один, стареющий, ревновал ее к другому, а тот работал на большой высоте. Ревнивец этот был "поддержкой", от него зависела жизнь соперника... И еще – Пола Негри, королева мелодрамы – кажется, "Раба грехов", "Бестия" или "Горная кошка". Она потом в голливудских картинах снималась. Огромные удлиненные глаза, хищный профиль – р-роковая такая, женщина-"вамп", мороз по коже...

#### ЗВАНЫЕ И ИЗБРАННЫЕ

По радио транслируют арии из оперы "Гугеноты" Мейербера. И солист повторяет речитативом: "Мы бежим, мы бежим..."

— Да: мы бежим, бежим — и стоят на месте. Я всегда усмехалась про себя: только в опере может быть так. В двадцатых годах в одном московском театре шел спектакль "Вампука" — и там пародировали оперу, пели с испутанными лицами: "За нами погоня — спешим мы, бежим!

Спешим мы, бежим!" – и полчаса стояли, не шелохнувшись. Или возьми "Травиату": героиня умирает, это ведь "Дама с камелиями", помнишь. А ее предсмертный монолог – колоссальная ария, длиннющая... Но! В зрительном зале оперы в прошлые времена никому от условности этого искусства смешно не было. Нет, все-таки приходила публика, которая воспринимала оперу естественно. Ходила в театр именно чтобы слушать, оценивать, а не для престижа, не для какой-то там формы культурной жизни, видимости ее, хотя и это, конечно, бывало. Особенность своя была и в публике, и в том, как и что она воспринимала. А теперь...

Ну что мы хотим, если теперь, считается, все абсолютно образованные.

И все так о себе думают. Ну вот же в каждом городе буквально – университет. Гомельский, Гродненский. Нет, все же избранность – существует, она есть. Избранность интеллекта, таланта, способностей. А как же?

На экране включенного телевизора идет сериал о жизни Ференца Листа. Бетховен крупным планом.

- Это Бетховен? Я проговорила все...
- Да, видишь, он благославляет Листа, угадал в нем наперед великого.
- И смотри, кто вокруг: и Жорж Занд, и Гюго. Да... Господи, как же много надо стараться всем, чтобы раскрыть себя, даже когда есть что-то. И очень важно, что за люди окружают тебя. Чтоб было кому и довериться – и верить.

#### ЛУБЯНКА. ГЕФСИМАНСКИЙ САД

- "Вестник театра", Рига...
- Да, это я купила здесь, на взморье. Лесь Курбас вот. Украинский режиссер. В тридцатых его расстреляли. Как и других, кто хоть чем-то... из всех... Поуничтожали. Повырывали с корнями.
- Я весной в Москве ходил по плошади Дзержинского и рядом, по улицам. Экскурсию такую сделал, для себя. А то читаешь: "Лубянка", "Лубянка"... Теперь увидел, чуть ли не вымерил шагами. Там не меньше четырех громадных зданий. И ни на одном нет никакой таблички с названием учреждения. Только: "Подъезд № I", "Подъезд № 2" и так далее. И на самой площади, и на улице того же имени, и в Фуркасовском переулке, его Солженицын в "Архипелаге ГУЛАГ" вспоминает. А на углу Фуркасовского и улицы Дзержинского закругляющийся, как корма какого-то огромного старого корабля, остаток прежнего, довоенного здания "Лубянки". Его обросла, вобрала

в себя махина, что по проекту Щусева в две очереди, в 40-х и 60-х годах, наращивалась тут до своего нынешнего вида и масштаба. И сейчас это здание, главное из всех, минимум в четыре раза больше, чем в тридцатых...

- Ну что ты хочешь, здание ЦК в Минске это ведь рядом с нашим театром – было одно, а теперь их четыре.
- И вот на Фуркасовском я остановился возле гастронома номер 20 и стал смотреть на противоположную сторону, на массивные двери: кто выйдет первым из них? Вышел человек в темно-синем коротком плаще, перешел проезжую часть, постоял возле черной "Волги", пошутил, поздоровавшись, с шофером... Ну вот убей – не скажу, сколько ему лет, какой национальности, профессии, какой у него образ жизни. Темные волосы, короткие, пробор. В лице – и русское, и что-то вроде северокавказское. Возраст – от тридцати до пятидесяти. Во внешности то ли что-то околоспортивное, то ли административно-хозяйственное, как говорят у нас. То ли служащий, то ли завсегдатай стадионов – знаещь, такие бездельники со свернутыми в трубочку газетами, лузгают семечки, поплевывая шелухой, или дымят сигаретами...
  - Следователь.
- Я пошел дальше переулком этим, и тут смотрю: название улицы, что идет влево: Малая Лубянка. А вправо – выход на улицу Кирова.

Там, во дворе еще одного громадного здания – дом, где жил и застрелился Маяковский, его музей-квартира.

- Да, квартира его была на Лубянке.
- Мрачноватая символика. Поэт, живущий "на Лубянке", с наганом в письменном столе. "Ваше слово, товарищ маузер!"
- Я, когда слышу "следователь", иногда думаю о солженицынских следователях. И не раз вспоминала того человека, который судился с Алесем Адамовичем из-за Сталина. Помнишь, показывали по телевидению? Какое лицо... Теперь уже старый, а тогда... Бесправие... Неучи. Хамье. И им дали власть. Что они вытворяли, что вытворяли...
  - Что ты прочел в Библии, вот сейчас?
  - Христа распяли в пятницу, в три часа дня.
- Это же надо такую смерть придумать... Как раз сегодня почему-то вспомнилось "Снятие с креста" у Доре. Руки и ноги гвоздями прибивать... Как же он мучался, пока умер. Нет, недаром он молил там, в Гефсиманском саду, пронести эту чашу мимо него...

#### РОЗЫ ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ

Идет телепрограмма "Слово". Автор и ведущий, петербургский профессор Александр Панченко говорит со Львом Гумилевым и другими своими собеседниками о русской интеллигенции: примеры из истории России, литературы, рассуждения о нынешнем времени.

- Ты слышала, он сказал, что ни у Пушкина, ни у Лермонтова ни одного героя нельзя увидеть в церкви. Ни Онегина, ни Печорина, ни даже Татьяны Лариной, когда она прощается со своей деревней перед отъездом в Москву... Ни Других каких-нибудь персонажей.
- Ну и что? Это же так привычно и естественно было для людей того времени – зайти в церковь, – как что-то обыденное, обиходное, об этом и не говорили даже, мне кажется.

Экран: ведущий идет между памятниками Волкова кладбища, на "Литераторских мостках". Памятник Надсону. Слова из эпитафии: "Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает..."

- "Пусть струны порваны, аккорд еще звучит". Надсона я помню. И не столько стихи, сколько имя — из тех, что звучали вокруг в моей молодости как имена известных людей, живших в то же самое время. И Бальмонт, Игорь Северянин... В Таллинне несколько лет назад мне показали его могилу. Там надпись — его же строчки: "Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб!"

Голос ведущего программу: "Надсон относился к тем, кто похоронил русскую интеллигенцию. После него шли братья Ульяновы, бомбисты... К таким людям обращался Надсон – к тем, которые звали жертвовать собой, но могли пожертвовать и другими".

 А я не на Волковом, а на другом кладбище побывала там – в Александро-Невской лавре, где похоронены Черкасов, Комиссаржевская. Из великих же – Крылов, Кустодиев. А в другой стороне памятники были собраны как в каком-то запаснике, и там я видела памятник Ланской, жене Пушкина, вернее, вдове, вышедшей потом за генерала Ланского... Так странно. Будто выброшен. И такое запустение. Я сказала там кому-то из служителей: почему бы не поставить ларек с цветами, — хотелось положить цветы на могилу Комиссаржевской... Ну, что ты! Кому это нужно?..

#### ЛИЛИ

 Вот видишь, как сейчас все дорожает. И за огромные деньги можно кое-что купить. А при иэпе можно было купить абсолютно все.

Но за какие фантастические суммы! Мы, московские студийцы, так мстили иэпманам: идем мимо витрины, за которой ветчину нарезают тонкими розовыми ломтями, заходим и, без гроша в кармане, бедно одетые, у прилавка небрежно бросаем: "Нарежьте". Режут. Идем платить в кассу и теряемся в толпе. Или в магазине "Мюр и Мюрилиз" – французские духи, пудра. "Выпишите". – "Что?" – "И то, и другое". И опять теряемся у кассы. Так, мол, вам и надо, иэпманы; нарезайте, выписывайте! Эх, молодость! Громадный дорогой ковер. "Берем. Вот этот. Сворачивайте". Тут же сворачивают, упаковывают, сверток почти готов уже – как толстенная колонна, до потолка, – и тут опять мы исчезаем.

Дурачились напропалую. В трамваях давка, невозможно влезть, а Костя Санников нам говорит: "Если залезем, я поеду сидя". – "Как?!" – "Увидите". Каким-то чудом втискиваемся. Вдруг Костя исчезает. И слышим: "Вот сюда его, сюда!.." Смотрим – а он сидит. Глаза закрыты, голова откинута. Это он обморок сыграл. Вот так и едет – сидя, без билета. А на Дмитровке, в каком-то клубе у него был знакомый директор, и нас пропускали без билетов посмотреть кино. Но не в зрительный зал, а на сцену. Там мы стояли за экраном и оттуда, с другой стороны, смотрели фильмы: "Аэлита" с красавицами Солнцевой и Куинджи, "Гарри Пиль"...

Но и учились. Жадно, с удовольствием. Не все потом пошли на сцену. А мы вот остались в театре... Я особенно любила танцы, занятия по пластике. Преподавала нам пластику Людмила Николаевна Алексеева, а ее муж Григорий Михайлович Шнеерсон был тапер, аккомпанировал на рояле во время занятий, - это его книга о немецком певце Эрнсте Буше у меня, помнишь ее? Так вот, Людмила Николаевна меня, Александра Ильинского и Константина Санникова считала своими лучшими учениками. Мы втроем ходили заниматься к ней еще и в студию недалеко от храма Христа Спасителя, тогда еще не взорванного... Я там однажды, на паперти стоя, слушала певшего в храме Шаляпина – войти внутрь нечего и думать было, такая масса народа... А Людмила Николаевна брала нас иногда на свои занятия с актерами второго МХАТа – я видела среди них Серафиму Бирман – и показывала им нас, свои "модели" с таким рисунком в движении, как на древнегреческой вазе. Она очень любила и хорошо знала искусство античной Греции. А я все боялась, что у меня слишком полные и красные ноги - это ж надо: в шестнадцать лет вбить себе такое в голову, - и на ночь подставляла под ноги высокую корзину, чтобы к ним кровь не приливала. С ума сойти. Тут же, конечно, засыпала и просыпалась, забыв об этой корзине... Да, так Людмила Николаевна меня очень любила, считала одаренной по части пластики, ритмики, умению двигаться. Не раз предлагала взять насовсем тетрадку с ее собственными рисунками и говорила: "Ты всегда сможешь иметь кусок хлеба, если будешь это преподавать".

Двигаться я любила с детства. Меня и теперь в театре те, кто давно со мной знаком, зовут Лелей. Так звали всю жизнь. Потому что в минской гимназии называли меня Лили — мол, гибкая и грациозная, как лилия, — или это я сама себя начала так называть? Ну, а потом както перешли к "Леле"...

#### МИХАИЛ ЧЕХОВ

- В спектаклях, которые вы, студийцы из Белоруссии, ставили в 20-х годах в Москве как учебные или выпускные, - в них ведь звучали тексты, которых сейчае уже не найдешь. Например, весь белорусский текст эврипидовских "Вакханок", что написал вам тогда Юлиан Дрейзин. Или "Царь Максимилиан". Это же не сохранилось.

 Нет, не сохранилось. Что-то, может быть, попало в республиканский архив, какие-то крохи буквально, или в Витебский архив... Но вряд ли. Я иногда могу вспомнить отдельные реплики, строчки песен, а иногда затрудняюсь. Скажем, в "Царе Максимилиане" пелось одном месте:

Час цячэ вось так, як рэчка... Дальше строчку не помню, а следующие: Чалавек гарьць, як свечка,

Вецер дзьмухнуў – ён пагас...

Помнятся оттуда и еще некоторые слова. Например, когда Адольфа отец выгонял из царства за его отказ поклоняться иноземным "кумерицким богам, золотым статуям", – хор пел:

Я у пустэльню адыходжу

Ад найлепшых гэтых месц...

А дальше так:

Лес такі нікчэмны мой – У расстанні жыць з табой.

В том, как выглядел этот наш хор, как он двигался, как и что пел, было что-то и от древнегреческого театра, и от народного действа, зрелища, белорусского театра батлейки...

> Ясава карыта Вадой наліта. Дзеўкі ногі памылі, Хлопцы ваду выпілі...

- А из "Вакханок" ты помнишь больше.
- Да, оттуда больше ты же записал. Ах, это трудно объяснить сейчас, но мне кажется, что помню до сих пор так ярко многое из того времени а ты подумай только: аж из двадцатых! помню так потому, что многое иначе совсем было, чем теперь. Нет, я понимаю, это вечный стариковский рефрен: а вот в наше время... и в таком духе. Но ведь действительно...
- Толстой считал, что с возрастом четче, детальнее, ярче видится в памяти как раз самое далекое уже от человека, его молодость, детство, – степень ясности возрастает именно в таком, обратном порядке.
- Может быть. Но я хочу сказать, что тогда, в 20-е годы, наше начало в искусстве, наша учеба в нем и первые самостоятельные шаги, – все это совпало с большущей такой... интенсивностью и насыщенностью, что ли, динамичностью жизни самого искусства.
  - Этого сейчас нет?
- Думаю, нет. Ты же представь, что творилось: Камерный театр Таирова, бесчисленные студии, Мейерхольд, Вахтангов... Что говорить, еврейских было два театра. Камерный театр Грановского с Михоэлсом его после войны у нас в Минске убили, а подстроили так, что, мол, ночью сбит грузовиком где-то в районе улиц Белорусской и Ульяновской; от Сталина, как пишут, это шло. А второй театр назывался "Габима" играли они на древнееврейском, там Вахтангов поставил спектакль "Гадивук" (злой дух), и о нем шумела тогда вся Москва... Так вот, то время: я, девчонка, студентка, видела игру таких актеров! Алиса Коонен, какой жест, какое смысловое наполнение его! Еланская, Гиацинтова, Качалов...
  - А Качалов имел какое-нибудь отношение к Беларуси?
- Не знаю, но это же легко можно установить по литературе о нем.
   Ом, если не ошибаюсь, в Вильно родился. А почему ты спращиваешь?
- У Бунина в "Чистом понедельнике" говорится о "капустнике" актеров Художественного театра. И Бунин пишет, что у Качалова на лоб "свисал клок его белорусских волос". Помню, наши студийцы что-то говорили про него и что фамилия его по-белорусски могла звучать как "Качалка" или как-то похоже... Да, так дальше: а Москвин, Леонидов, а Станиславский!..
  - И Немирович-Данченко, конечно.
- Тебе уже смешно. Но пусть, это потом все затаскалось в бесконечных упоминаниях, соединениях имен, а мы же видели не только имена написанные, а живых людей и то, что ими делалось, все это было перед глазами. А где-то в тридцатых все лучшее, непохожее, сам понимаешь, стали выпалывать, вырывать... Но 20-е это было еще такое сплетение и цветение разного, яркого, молодого по духу, что быть внугри, дышать этим ежедневно, ежевечерне значило получить заряд очень большой силы на всю жизнь, впитать в себя атмосферу, стимулирующую все способности. Да что там говорить! Та же Айседора Дункан и ее танцовщицы. Какая композиция! Короткие бело-



снежные одежды и движения такие, что даже не верилось, что можно собой, телом выразить так много. Или студия знаменитого тогда Касьяна Голейзовского — танец, пластика. О костюмах его танцовщиц шутили так: "Голей Зовского — нет". Но мастерство, оригинальность были редкие. Я видела их балет-феерию "Иосиф Прекрасный". Постановка колоссальная и очень красивая. Балет не классический, в пачках, на пуантах, где легкость достигается сильнейшим физическим напряжением и лица, несмотря на улыбки, измучены, — а свободный танец, раскованность, естественность.

- А Михаила Чехова ты видела на сцене?
- Да, Михаила Александровича видела и не раз. И в роли Мальволио из "Двенадцатой ночи", и Хлестакова, и Гамлета, и Аблеухова в "Петербурге" Андрея Белого. И нигде нельзя было узиать, так непохож был на себя в новой роли. Только голос выдавал его. Особенно поразил меня у Чехова Хлестаков. Ведь было всегда так: он элегантен, фат, самодоволен. У Чехова же во МХАТе он оказался сморчком. Мозгляк, ничтожество абсолютное. И внешне, и внутренне.
  - Почему же тогда все перед ним распластываются?
- Потому что столичная штучка, потому что ревизор, или может быть ревизором. Потому что ревизор все равно должен был прибыть рано или поздно, – так почему не сейчас? Тем более, в этот маленький провинциальный городишко, ленивый, пугливый и сытый,

где постоялый двор или гостиница с трактиром потерты и замаслены. И декорации такие были: замаслено и в жирных пятнах все, жир проступает и точно стекает с занавеса. А Чехов, как актер, думал — самостоятельно и глубоко. Однажды то ли награждали, то ли отмечали какую-то его дату. Он выходит — овация. И тогда он говорит: "Я принимаю эти аплодисменты как ответ на ту любовь, которую я посылаю в зрительный зал с каждой своей ролью". Это я хорошо запомнила. Он просто завораживал. Такая сила была...

### БЕЛОРУССКАЯ СТУДИЯ

- Расскажи еще о Москве двадцатых, о вашей белорусской студии.
- Еще? Но получается как-то без всякой последовательности, то об одном, то о другом... И возвращаешься нередко к уже сказанному.
  - Ничего, пусть. Вспоминается ведь тоже так, не по порядку.
- А иначе я и не могла бы рассказать. Да и вообще с порядком у меня. ты знаешь... палеко не все в порядке... Подумай, мы ведь были

совсем зеленые, молоденькие! Мне шестнадцать исполнилось, когда я поехала в Москву. Весь, с позволения сказать, творческий опыт — театральная массовка, хор, танцы. Все — полулюбительское. Чуть больше этого было, пожалуй, только у наших Ильинских, старшего Николая и младшего Александра. Они раньше уже немного выступали на сцене: Лапоть-старший и Лапоть-младший — такие псевдонимы у них были...

А Ирине Жданович вообще пришлось возвращаться домой – и не из-за неспособности, нет. Сказали, что ей еще надо расти, такая она была маленькая, миниатюрная, – и она уехала в Минск, стала играть в ролях травести в театре, где ее отец был художественным руководителем. Мне повезло, я была довольно высокой, длинные косы, шатенка... А так называемый житейский опыт – что мы знали, что видели до Москвы? Глупенькие, доверчивые, наивные. И, попав туда, конечно, впитывали все в себя, как губки.

Правда, до того я однажды побывала в Москве — с мамой. У отца, как служащего железной дороги, был бесплатный билет, и мы поехали, мать хотела что-то купить. Я уже была подростком, носила фетровые ботики, которые надевали на туфли, их называли "капустинские", по имени владельца фабрики, наверное... Помню, что заходили в часовню Иверской Божьей Матери, все сияло внутри, мать ставила свечи. Часовня соединяла собой две арки перед входом на Красную площадь со стороны Исторического музея. Возле нее было много нищих и продавались цукаты — засахаренные ломти дыни, арбуза — и глазированные грецкие орехи; глаза разбегались от всего этого.

А на учебу в студию приехали мы из Минска в ноябре двадцать первого, то ли седьмого числа, то ли восьмого – праздник, по-моему, был. Утро. Пустынно, тихо – странно так. Вещи наши едут на подводе, а мы идем пешком. По Тверской, потом Камергерским переулком (это проезд Художественного театра), потом выше, по Кузнецкому мосту, – и я еще там спросила кого-то из наших: "А где же река?" – ты представляещь, какой была? И дальше – на Лубянскую площадь и на Сретенку.

Здесь, над кинотеатром "Уран", нас, человек четырнадцать или шестнадцать, и поселили на первое время. Преподаватели приходили сюда к нам, и занимались мы днем в фойе "Урана". Один из них, бывший певец Верхулевский, нам "ставил голос" – а сам был совершенио без голоса, с порванными связками.

Второе наше жилье было в общежитии возле Красной площади; нам говорили, что где-то там был монетный двор Бориса Годунова. Жили в тесных комнатушках, ели ржаную муку с клеем и занимались в зале со сводчатым потолком, где висели гимнастические кольца и трапеция. Шутили: "Здесь витает дух Бориса Годунова", – и уверяли друг друга, что Годунов ночью на кольцах раскачивается. Вместе с нами жила молодежь еврейской секции нашей студии (она потом, после учебы, вернулась и основала Минский городской еврейский театр), а рядом – эстонцы, они ходили на занятия в ГИТИС, и мы позже тоже стали туда ходить по вечерам – на Кисловку, если не ошибаюсь.

А потом уже мы жили на Арбате, в служебных помещениях кино "Аре", на девятом этаже, – лифт часто не работал, и мы бегали
вверх наперегонки. Здесь мы сдавали свои выпускные спектакли
"Царь Максимилиан" и "Сон в летнюю ночь"... Все свои годы я иногда
еще слышу музыку – ту, под которую чаще всего шли наши занятия
по обожаемым мною пластике, ритмике, акробатике. Это было для
меня... да, просто счастье, именно так – и я без устали носилась под
звуки музыки Черни, двенадцатых этюдов Скрябина и Шопена, "Мефисто-вальса" Листа. Учеба начиналась с утра, продолжалась днем,
вечером мы шли на лекции в ГИТИС, а потом возвращались к себе и
вваливались еще в зал "Арса" на последний сеанс. Так что с утра до
ночи и жили только одним искусством, в буквальном смысле: есть-то
почти нечего было. Хлеб и сахарин – вот моя молодость.

- А сами ваши постановки, спектакли, ты можещь сказать, на что прежде всего вы ориентировались? Влияние чего, кого испытывали больше всего?
- На "синтетический театр", скорее всего, ориентировались мы Смышляевым; и на коллективизм.
  - А кто в то время оказал самое сильное влияние?
- Мейерхольд. Я думаю, да он. И не на нас одних тогда, в Москве. Мы же были просто увлечены его театром. Смотрели "Лес" и "Земля лыбом". "Лаешь Европу!" и "Великолушного рогоносца". и я

еще помню в том спектакле молодых Игоря Ильинского и Бабанову в так называемой "прозодежде", то есть вроде бы в комбинезонах. Я три раза это смотрела. Мне нравилось тут лицедейство актерское – то, что в самой природе актера; и еще фантазия, условность. Там, например, клетка с канарейкой висела – так только обозначение этого было, силуэтное изображение. И довольно! А поставь туда настоящую клетку с настоящей канарейкой – ну что это будет?

Вот я и теперь всегда готова к этому, именно к игре, к условности. Возьмем мою Мод в "Гарольде и Мод". Делали ведь для малой сцены, режиссер придумал "игрушечные" декорации - от рояля до катафалка, но есть сцена, где я. Мод, принимаю дома мать Гарольда, нужна была посуда, и это как-то не вязалось с остальным; было бы скучно. Я сразу предложила: чашки - тоже игрушечные, детские. И режиссер тут же за это ухватился. В спектакле много такого – и я не замечаю. Я понимаю свою героиню, чувствую, живу ею, а то, что интерьер, предметы нереалистичны", мне не мешает, наоборот. Но не все это принимают. Вот мой сводный брат Володя, художник. "Портрет дочери" нашего с ним отца "участвует" в спектакле, там ведь я изображена в условной манере, театральной, по сути. Это же работа его отца, молодого. А сам он, сын, никакой условности не принимает: только сугубо реалистическая, земная, фактурная, предметная трактовка образа. И он после спектакля обронил: "Какое же это дерево, если Мод просто на лестницу взобралась?" А я после "Прощания" в кино, после всего, чем жили мы тогда в мире Валентина Распутина, его Матеры - играю тут с игрушечным роялем, с надувным пингвином, и все это - тоже мое. И смерть моей Мод - уход куда-то наверх, под музыку Володи Курьяна, совсем не печальную... неужели всегда обязательно закрывать глаза и все такое?

Да, но давай снова возвратимся к московскому периоду и к вашей студии.

— Не верится, что это было. И не верится, что это прошло... На Арбате, в каком-то трактирчике "Мосгико" сидели наши белорусские парни: пока весь подоконник пустыми пивными бутылками не уставят — не встанут. Дым коромыслом! Соседи уделяли мне внимание, и Константин Санников играл ревнивого мужа, угрожающе подымался с места, изображая ярость... Мы поженились с Василием Роговенко, а наш директор Лежневич выдал по 10 рублей каждому. Я сразу купила замшевые туфли-лодочки с пряжками и фильдеперсовые чулки — в них и репетировала в "Царе Максимилиане".

А когда гроб с телом Ленина стоял в Колонном зале, чтобы попасть туда, надо было выстоять многочасовую очередь на морозе. Лежневич наш снял свои валенки и дал нам, студийкам. Одна пойдет, выстоит очередь, вернется в общежитие рядом с Красной площадью – другая надевает эти валенки, идет туда же. Представляещь?

Москва воображалась нам столицей мира, потому что мир воображался только театром, им мы жили, его лишь и знали, замечали.

Первыми нашими учебными постановками были, по сути, этюды эти студийные упражнения мы потом показывали и в Минске. А первые настоящие спектакли, наши выпускные, дипломные работы — тот же "Царь Максимилиан", народная драма, и "Сон в летнюю ночь".

На белорусский "Максимилиана" переводил наш студиец Николай Мицкевич – он позже, в Витебске уже, занимался у нас и режиссурой. Мицкевич пользовался текстом Ремизова, расцвечивая его белорусскими фольклорными элементами. Массовка, в частности, "слуги просцениума", сохраняли в своих костюмах белорусские национальные цвета.

Были у нас в студии дисциплины, нужные нам как воздух, и вели их знатоки своего дела. Белорусский язык преподавал наш талантливый поэт, широко образованный человек Владимир Дубовка. А пение – Ирма Яунзем, исполнительница и собирательница народных песен, – в двадцать третьем она уже стала заслуженной артисткой БССР, а лет через десять – и РСФСР; она жила у нас в общежитии (Красная площадь) вместе с мужем, своим импрессарио. В двадцать четвертом, кажется, наша студия со спектаклем "Преисподияя" по пьесе Василя Шашалевича должна была ехать на фестиваль национальных театров в Париж, но почему-то не получилось, и поехала одна Ирма Петровна. Ее муж безумно любил ее и свое занятие. Он напоминал такой вечный двигатель, который остановить невозможно. А Ирма Петровна очень любила всех нас, хорошо знала, как бедно мы живем, и старалась всегда хоть чем-то нас подкормить из того, чем сама разживалась.

Второй выпускной спектакль, "Сон в летнюю ночь", тоже ставил Смышляев. Перевел шекспировскую пьесу наш белорусский литератор, переводчик Юрий Павлович Гаврук.

Как мы все, участники тех спектаклей, старались, выкладывались! И Вася Роговенко, и Степан Стельмах, Зиновий Великий, Евгений Корбуш... Из Минска сперва присылали мороженую сладкую картошку, леденцы с налипшим табаком, а потом перестали. Мы меняли ржаную муку на горячий, мягкий хлеб, а спустя какое-то время просто заваривали муку кипятком и пили. Ребятам из еврейской секции нашей студии иногда присылали кое-что из Америки — ну и нам что-то перепадало, мы ведь все были в основном из Минска. Ах, да хватит об этом недоедании — в конце концов, мы его принимали и переносили безропотно, потому что жили все-таки главным.

К тому же видели: старушки, еще те, дореволюционные, сидят в холодных залах музеев худые, с прозрачными от голода лицами – и не исчезают, не уходят со своих всегдашних мест, хотя сидят без всякой зарплаты.

Дочь Мейерхольда нам преподавала биомеханику — была у нас даже такая дисциплина. Мы изучали телодвижения, учились устойчивости, равновесию, тому, как падать, носить тяжести. И вот она, Ирина Всеволодовна Хольд, преподавала это. Последний раз я слышала о ней несколько лет назад, когда снималась в Ленинграде; кто-то говорил о ней, и я порадовалась, что она еще живет, работает...

А тогда, в Москве двадцатых годов, в мире ее театров я была как Щенок, которому все интересно, нравится, и хватала со всех сторон все, что могла, жадно вбирала в себя. Мы не только Мейерхольдом увлекались: Камерный театр Таирова – вот был еще Олимп! Там все дышало каким-то сосредоточенным, напряженным художеством, изысканностью почерка, тонкостью, изощренностью поисков. Там, например, говорили: "Ста-а-л-ль, падая, звен-н-и-ит", – и как бы рисовали голосом и сталь, и звук ее, звон и вибрацию. Вся творческая элита тогдащней Москвы постоянно ходила в этот театр — художники, поэты, об актерах нечего и говорить. У Таирова долго в репертуаре было только западное.

Это потом уже он взял "Оптимистическую трагедию" – вынужден был, конечно.



# борис бернштейн ПОДОБИЯ



Как они похожи! Особенно Александр... «Осколки»

То, что ни на что не похоже, не существует. Поль Валери.

Все что угодно (в самом сильном и безусловном смысле этого словосочетания) может быть репрезентацией всего остального.

Маркс Вартовский

# ПОДОБИЯ

Историк искусства занят подобиями – помнит он об этом или нет. Мне могут возразить, что он занят не подобиями, а символами. Конечно, я соглашусь, но только отчасти. Вряд ли случайно, что в теориях искусства, какими они выглядели начиная с классической древности и до XIX века, безусловно доминировал принцип подражания, *мимезиса*, как назвали это еще древние греки. Бурные художественные революции прошлого века, преобразовавшие коренным образом само понятие искусства, сделали проблемы подобия малоинтересными. Напрасно. Там осталось много неизведанного.

Я попробую поговорить об играх подобия в одной очень старой книге. У нее разные названия, наиболее распространенное сегодня — Ветхий завет. Менее всего мне хочется занимать кого-либо педантическим исследованием. Куда веселее будет непринужденный разговор о разных вещах: об изображениях, похожих друг на друга, о тождестве изображений и оригиналов, о борьбе вокруг подобий, о запрещениях и нарушениях запретов, о сходстве изображений и описаний, об удивительных подобиях самих библейских персонажей и даже об акустическом подобии слов, способном приводить к неожиданным последствиям... Библия открывает разнообразные перспективы для такого рода вольного плавания.

# МЕРТВАЯ МАТЬ И ЖИВОЙ МЛАДЕНЕЦ



Н.Пуссен. Чума в Ашдоде. 1630. Париж, Лувр.

В 1630 году Николя Пуссен, следуя библейскому рассказу из книги Самуила, написал картину «Чума в Ашдоде». Сейчас она находится в Лувре.

На переднем плане, в самом центре — композиционно замкнутая группа: мертвая молодая мать, рядом с нею мертвый младенец, другой ребенок, живой, ползает рядом. Над ними склонился мужчина, возможно — отец детей; протянув руку, он касается живого мальчугана. Обнаженная грудь покойной, вечный символ плодородия, кормления, изобилия, жизненной полноты, выводит ключевой образ за пределы единичного эпизода. Видимо, поэтому он оказывается кочующим.

Пуссен заимствовал его из гравюры итальянского мастера начала XVI в., Маркантонио Раймонди. Маркантонио гравировал по рисунку самого Рафаэля, с которым много сотрудничал.. Там тоже речь о чуме, но только не в библейском Ашдоде, а то ли в древней Фригии, то ли на Крите. Через столетие после Пуссена, в середине XVIII века мотив использовал великий венецианец, Джованни Баттиста Тьеполо, в гигантском алтарном образе, где представлено, как святая Текла

спасает город Эсте от чумы.. Сюжетный мотив, переходя из картины в картину, становится как бы постоянным знаком черной смерти.

Впрочем, спустя 200 лет после Пуссена рафаэлевский мотив воодушевит Карла Брюллова, который поместит похожую группу в центр «Последнего дня Помпеи». В подготовительном эскизе группа будет очень близка к пуссеновской, а в самой картине мотив будет несколько изменен и получит новую функцию. Но группа «живой младенец – мертвая мать» останется символом катастрофы.



М.Раймонди. Чума во Фригии. Грав. на меди. Ок. 1515-1516.



Д.Б.Тьеполо. Св. Текла спасет город Эсте от чумы. 1759. Эсте, Собор.



К.П.Брюллов. Последний день Помпеи. Эскиз. 1827-1828. Москва, Третьяковская галерея.



К.П.Брюллов. Последний день Помпеи. 1830-33. Санкт-Петербург. Русский музей.

# ЧУМА В АШДОДЕ

Вокруг центральной группы первого плана – другие жертвы страшной эпидемии. Слева в углу – еще один умирающий. Среди трупов и полутрупов бродят живые, пока еще живые. В картине, исполненной классической меры, изображение чумных наростов и язв было бы неуместным. Косвенно обозначен лишь смрад, исходящий от умирающих и мертвецов: склонившиеся над ними персонажи зажимают носы...

Кстати о носах. В обширной литературе, посвященной пуссеновской «Чуме в Ашдоде», несколько особняком стоит сочинение Шейлы Баркер об отражении в картине медицинских представлений XVII века<sup>1</sup>. Из этой статьи можно узнать, что Пуссен должен был разбираться в медицинских познаниях своего времени.

Особенно хорошо он был, вероятно, осведомлен относительно чумы: смертельные эпидемии в те времена часто поражали Европу, а в год, когда он писал картину, чума свирепствовала в Италии. В Риме принимали специальные меры по защите города от эпидемии, и два главных покровителя и заказчика Пуссена в те годы, Кассиано даль Поццо и кардинал Франческо Барберини, были среди наиболее информированных о чуме специалистов, поскольку входили в созданную папой специальную комиссию по защите Папского государства от чумы, Congregazione della Sanita, кардинал ее даже возглавлял, — и действовала конгрегация успешно, Рим в тот раз чумы избежал...<sup>2</sup>

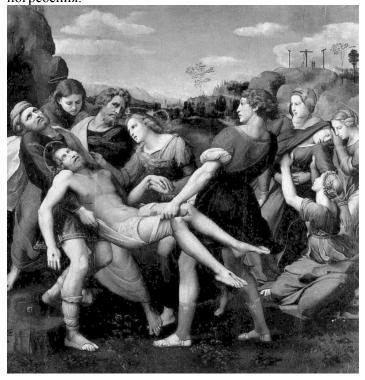
Будучи на уровне специальных знаний своего времени, Пуссен изображал пораженных чумою филистимлян соответствующим образом. Оказывается, живые персонажи затыкают носы вовсе не потому, что спасаются от смрада — эпидемиологи XVII в., как и простой народ, были убеждены, что чумная зараза распространяется через дыхание. Более того, сам вид больных и умирающих угнетающе действовал на жизненные соки и мог провоцировать начало заболевания. Впрочем, филистимляне, охраняясь от смертоноснго дыхания, не берегут взора.

Пуссен вовсе не скрывал признаки болезни – у мертвых и умирающих показаны изменения цвета кожи. Чумных наростов же мы не видим, поскольку они появлялись более всего в паху и подмышками. В некоторых переводах Библии сказано, что наросты появлялись в «тайных местах». Исследовательница предполагает, что правая рука мертвой женщины была откинута затем, чтобы как-то избежать болезненных прикосновений. Более того, она видит в позе мертвой матери отсылку к известной статуе Поликлета «Раненая амазонка» — там поднятая правая рука говорит о месте ранения.



Раненая амазонка. Копия II века мастера Сосикла с греческого оригинала V в. до н.э. Рим, Капитолийские музеи.

Еще одно подобие, результат пересадки мотива: классическому образу придается роль архетипического. Просвечивая сквозь запечатленное в картине мгновение, он поднимает событие над временем. Подобную вольную цитату-метафору можно заметить и в дальней группе справа: двое мужчин уносят труп. Группа напоминает о «Положении во гроб» Рафаэля — захоронение в древнем филистимском городе возводится к идеальному образу погребения.



Рафаэль. Положение во гроб. 1507. Рим, галерея Боргезе.

Sheila Barker. Poussin, plague, and early modern medicine. The <u>Art Bulletin, Dec, 2004.</u>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Там же, с.5.

#### ВСТРЕЧА БОГОВ

На втором плане картины изображено чудо, которое случилось в храме филистимлян. Здесь, напротив, оживает история.

Языческий храм открыт для обозрения. Меж двух стройных коринфских колонн на высоком постаменте стоит ковчег завета. Тускло мерцают золотые спины и крылья херувимов по углам ящика — это те самые скульптурные украшения ковчега, которые первый художник, Веселиил, создал по велению свыше:

И сделал двух херувимов из золота; чеканной работы сделал их на обоих концах крышки, одного херувима с одного конца, а другого херувима с другого конца: выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ея. (Исх., 37: 7-8)

Торжественно откинутые драпировки позволяют увидеть обезглавленный корпус языческой статуи, лежащий на особом возвышении; рядом на полу валяются голова и кисть руки идола. Плотная, многолюдная группа очевидцев перед храмом дивится чуду, на которое указывает языческий жрец.

По горизонтальному выступу у основания подиума бежит мышь.

Так выглядит в исполнении мастера XVII в. изображение истории, которая, в свою очередь, имеет касательство к истории изображений.

Пора вспомнить, как было дело.

По зову Самуила израильтяне выступили против филистимлян и расположились лагерем в Авен-Езере. Битву выиграли филистимляне. Тогда израильтяне послали в Силом за ковчегом завета Господня, рассчитывая на его помощь. Филистимляне, узнав, что ковчег в израильском стане, устрашились. Тем не менее, присутствие ковчега не повлияло на соотношение сил. Вторая битва снова окончилась победой филистимлян: потеряв тридцать тысяч (тридцать тысяч!) пешими, израильтяне разбежались по шатрам, а филистимляне захватили величайший из трофеев — ковчег Божий. Вмешательство высшей силы сказалось позднее.

Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли Филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали Азотяне рано на другой день, и вот, Дагон лежит лицем своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот, Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним; голова Дагонова и обе руки его [лежали] отсеченные, каждая особо, на пороге, осталось только туловище Дагона. (1-я Царств, 5: 1-4)

В храме филистимлян произошло событие

космического масштаба – лобовая встреча двух богов. Можем ли мы считать, что это был поединок символов? Т.е. можно ли пересказать сцену так, будто в результате военной удачи филистимлян в ашдодском храме оказались рядом священый истукан и сакральный ящик со скрижалями Завета? Ясно, что столь приземленное изложение лишило бы всякого смысла чудесный эпизод. Рассказчик везде говорит о Дагоне. Лишь по некоторым указаниям можно счесть, что речь идет об изваянии, а не о самом боге. Повидимому, для повествователя присутствие в храме статуи бога равносильно присутствию самого божества. Подобным образом и Ковчег завета Господа Саваофа, седящего на херувимах, столько же представлял бога иудеев, сколько был местом его присуствия. Следует допустить некоторую рационально не объяснимую меру присутствия в храме бога филистимлян и бога израильтян, чтобы сделать возможной символическую и в то же время чувственно реальную сцену подчинения первого второму. Если относительно ковчега известно, что именно здесь место постоянного мистического присутствия Яхве, то нет никаких оснований отказывать в этом Дагону - его статуя, надо полагать, обеспечивала его присутствие в языческом храме. Так представляли себе мистическое соотношение богов и изваяний во всех культурах того времени. Разделение символического и жизненно реального, которое предусматривает наш язык, тут не подходит. Язык расчленяет то, что сакральное сознание мыслит единым.

Но вот что еще примечательно. Плачевная ситуация Дагона, получившая завершение в виде ужасного расчленения истукана, никак не опровергает его принадлежности к богам. В пространстве храма оказались два равных по бытийному статусу божественных существа. Выяснилось, и этого следовало ожидать, что один неизмеримо могущественней другого. Однако рассказчик не настаивает на его единственности: есть другие боги, ничтожные, слабые, несопоставимые с ним по силе и власти – но они есть. Моисей восклицал:

Какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? (Втор., 3: 24)

Для Дагона, бога и истукана одновременно, а вернее – бога-истукана, соседство ковчега было непереносимо и разрушительно. Но от этого он не перестал быть богом филистимлян, о чем свидетельствуют последующие строки рассказа:

Посему все жрецы Дагоновы и все, приходящие в капище Дагона в Азот, не ступают на порог Дагонов до сего дня. (1 Царств, 5:5) Следовательно, храм, где бог филистимлян потерпел постыдное поражение, успешно функционировал «до сего дня» повествователя и не

исключено, что и позже этого условного дня (см.: Макк. 10:83-4). Хотя о судьбе идола ничего не сказано, логично предположить, что он продолжал выполнять свои функции в капище и даже каким-то чудесным образом восстановил нарушенную было телесную целостность. Остался лишь запрет наступать на порог храма: место позора было табуировано. Все прочее осталось без изменений — чужой бог все бог.

Подтверждения такого признания рассеяны по страницам Библии. Первая заповедь Декалога — «да не будет у тебя других богов перед лицем Моим» — ничего не говорит о **несуществовании** других богов, или об их неподлинности, о мнимости их власти, действенности, сакральности. Заповедь сама по себе, как кажется, имеет смысл постольку, поскольку другие боги вообще-то существуют. Соль в том, чтобы у **тебя**, т.е. у Израиля, не было других богов.

Впрочем, это и так, и не так. Все зависит от того, в какой роли в этот момент выступает или представляет себя Яхве, поскольку роль не постоянна. В одних случаях Яхве ведет и представляет себя как племенной бог евреев, и тем самым неявно признается существование других богов у других народов. В других случаях Яхве – создатель мира и универсальный бог.

## Когда он говорит:

Я Господь, и нет иного; Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; я, Господь, делаю все это. ... Я создал землю и сотворил на ней человека; Я — мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. (Исайя, 45: 7, 12) — то перед нами творец вселенной, единый и единственный Властитель мира, в котором для догонов, горов, ваалов или астарт нет никакого места. Он один, он уникален и абсолютен. Он Бог обретенного монотеизма.

#### Но когда он говорит:

Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства (Исход, 20: 2) – то речь идет об отношениях одного бога с одним народом, который избран этим богом для себя, тогда как у других народов – другие боги. Везде, где главным обоснованием божественной власти служит спасение из египетского плена, Яхве выступает как бог евреев, и только евреев. В этих случаях существование других богов как бы предполагается или, по меньшей мере, не опровергается. Другие народы, а их не счесть, вольны поклоняться другим богам, пусть худшим и слабейшим, бессильным перед Яхве, но тем не менее остающимся в ранге богов. Важно, что они – не твои боги. В таком случае единобожие локально, оно обусловлено договором между Яхве и Израилем. Соблюдение или несоблюдение этого договора составляет главный нерв драмы между Яхве и его народом.

Разумеется, формула «локального единобожия» может быть воспринята как оксюморон: принцип единобожия заключает в себе претензию на космическую универсальность. Однако не наше дело примирять библейские противоречия — в таком многослойном тексте, как Ветхий завет, их более чем достаточно. Нас занимает проблема подобий и ее частный случай — изображения. Там нас ожидают не менее увлекательные противоречия.

# ТЯЖЕЛАЯ РУКА ГОСПОДА И МУДРЕЦЫ ФИЛИСТИМЛЯН

Слова «ЯГосподь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» — это начальная фраза десяти заповедей, данных Моисею Господом. В основу десяти заповедей закладывается «египетский» аргумент, который влечет за собой концепцию договора, завета, между Яхве и одним определенным народом. Отсюда запрет, который прямо адресован этому народу и никому более — «да не будет у тебя других богов». За ним следует запрет, который служит продолжением, развитием и конкретизацией предыдущего:

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся и не служи им... (Исход, 20: 4-5)

Присмотримся к этому ходу мысли. Вторая заповедь продолжает, уточняет и конкретизирует первую. Имено здесь «другие боги» сведены к идолам. Или подменены идолами? Кары, которые обещает Господь, обрушатся на тех, кто будет изготовлять идолов и поклоняться им. Это не пустая угроза, так оно и будет. В Ветхом завете несчетное число раз раздаются упреки в идолопоклонстве и назначаются кары «жестоковыйному» народу, с которым Яхве заключил завет. Идолопоклонство, собственно, и есть служение другим богам «перед лицем» Яхве. Ясно, что идолы трактуются отпадающими от Яхве иудеями как боги, идолы для них и есть боги. Поэтому всякий раз, когда об этом заходит речь, запрет на изображения мотивируется тем, что истуканы – дело рук человеческих, что они мертвы, бессильны, пусты. Похоже, что библейский повествователь, осуждая языческую практику поклонения истуканам, незаметно для самого себя разводит божество и его изображение, разрушает мистическое единство бога и его подобия, как места его присутствия. Мы еще вернемся к этому. А пока заметим, что веру в тайное и в то же время очевидное тождество живого оригинала и его рукотворного подобия разрушить не так легко. Эта вера нет-нет и заявляет о себе в самом Ветхом завете – даже вопреки запрету. В частности, в рассказе о филистимлянах, овладевших Ковчегом – самим седалищем Яхве, бога иудеев.

Итак, победители, захватившие священнейший изо всех возможных трофеев, оказывается, не знают, что им теперь с ним делать, тем более, что владение чужой святыней жестоко карается: страдают филистимляне, страдает и сам их бог Дагон.

И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его. И увидели это Азотяне и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука Его и для нас и для Дагона, бога нашего. И послали, и собрали к себе всех владетелей Филистимских, и сказали: что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали: пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф. И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе - ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон; и когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне, говоря: принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтоб умертвить нас и народ наш. И послали, и собрали всех владетелей Филистимских, и сказали: отошлите ковчег Бога Израилева; пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. Ибо смертельный ужас был во всем городе; весьма отяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. ( І царств, 5:6-12) Прошло семь месяцев, наказания не прекращались. Филистимляне, будучи не в силах более терпеть, призвали жрецов и прорицателей, чтобы узнать, как избавиться от кар.

Теперь, внимание! Ясновидящие советники велят принести гневном богу израильтян «жертву повинности» т.е. повиниться посредством подношения особого рода: следует изготовить из золота пять изображений наростов и пять изображений мышей, «опустошающих землю»... (І царств, 6: 3-5)

Если изображения наростов еще как-то оправданы, то золотые мыши появляются в этом месте как-бы неожиданно. До сих пор о мышах речи не было. Между тем, Пуссен, внимательный читатель Библии, поместил в свою картину мышь, бегущую по выступу высокого храмового подиума. Он понимал, что мыши были включены в искупительный дар богу израильтян не зря. Можно даже заподозрить, что в библейские времена кое-что было известно относительно роли грызунов в распространении ужасной болезни. Так или иначе, а

совет филистимских умников не оставляет сомнения в том, что мыши, независимо от того, знал ли библейский повествователь об их роли в распространении заразы или не знал, были неотъемлемой частью самой Божьей кары. Вот почему мудрецы велят изготовить золотые изображения и наростов, и мышей.

Пора задуматься над этим странным советом.

#### ЖЕРТВА ПОВИННОСТИ

Бог израильтян, в отличие от всех известных богов — непримиримый иконоборец, ненавистник всех и всяческих изображений. Еще раз: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли», — продиктовал Он Моисею. Эти слова высечены на скрижали, которая в ковчеге и хранится. Трудно представить себе чтолибо более рискованное, чем предлагать Ему в качестве жертвы повинности за похищение этого ковчега золотые изображения мышей, «которые на земле внизу», равно как и изваяния омерзительных болезненных наростов.

Допустим, филистимские прорицатели подали нелепую идею, поскольку не обладали всезнанием и не были осведомлены о синайском запрете. Там, где богом Дагон, действуют свои правила, там в силе свои верования. В конце концов, это были всего лишь языческие жрецы и пророки. Они пользовались теми знаниями и умениями, которые были в их распоряжении, большее им не было дано. По их понятиям, зрительно похожие вещи связаны тайной бытийной связью. Это соображение для них — самое главное и не вызывающее сомнений. Дополнительную силу изваяниям должна сообщить

дозревали о чем-то подобном. По ее мнению, именно такова причина, по которой мышь попала в картину. Многие сторонники иной версии, так сказать – библейской, это соображение отрицают, указывая на то, что мыши названы в тексте первого перевода Библии на латынь, так называемой Вульгаты: "Адgravata est autem manus Domini super Azotios, et demolitus est eos: et percussit in secretiori parte natium Azotum, et fines ejus. Et ebullierunt villæ et agri in medio regionis illius, et nati sunt mures et facta est confusio mortis magnæ in civitate.» (1 Sam, 5:6) Соответственно, скажем, в английском переводе: "And the hand of the Lord was heavy upon the Azotians, and he destroyed them, and afflicted Azotus and the coasts thereof with emerods. And in the villages and fields in the midst of that country, there came forth a multitude of mice, and there was the confusion of a great mortality in the city." Однако, в других переводах (в том числе и в русском синодальном) грызуны не упоминаются – и это позволяет Ш.Баркер настаивать на эпидемиологической мотивировке появления мыши в картине. При этом она упускает из виду, что мыши упоминаются во всех без исключения версиях перевода в следующем - и безусловно важнейшем контексте, а именно там, где жрецы и прорицатели филистимлян точно определяют состав "жертвы повинности".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Пуссеновская мышь не ускользнула от медицинско го внимания Шейлы Баркер. Она показала, что, хотя роль грызунов в деле переноски чумной бациллы была научно установлена лишь в конце XIX в., современники Пуссена по-

ценность материала: изображения мышей и чумных наростов следует сделать золотыми, а не медными или, скажем, глиняными. Словом, там, у филистимлян возможны магические штучки, недопустимые в мире, который строится и живет по законам Яхве. Это магия, и магия чужая, филистимская, действует она в пределах филистимского мира — если действует вообще.

Но нет, такое допущение по меньшей мере неточно. Мудрецы филистимлян, кажется, осведомлены о некоторых требованиях Яхве: похоже, что они по меньшей мере перелистывали предшествующую книгу Писания – Левит. Ибо представление о жертве повинности взято именно оттуда, из Третьей книги Это определенный тип ритуального Моисеевой. жертвоприношения. В книге подробно описаны соответствующие процедуры и перечислены, пусть несколько расплывчато, прегрешения, которые жертва предназначена искупать (см. Лев., 4-7). Естественно, в этом перечне не упоминается столь экстраординарное прегрешение, как захват самого ковчега завета военной силой. Но осведомленные захватчики подводят уникальный случай под наличный закон, создавая дополнительный прецедент.

С другой стороны, однако, филистимская идея жертвы повинности противоречит другим заповедям. Жертвы, предусмотренные соответствующим предписанием, не имеют ничего общего с изображениями - это реальные, определенно указанные, чистые жертвенные животные, а процедуры их жертвенного умерщвления, расчленения, всесожжения и поедания тщательно расписаны. Очевидно, что изображения тут не просто неуместны, они совершенно немыслимы. Можно сказать, что начитанные филистимские мудрецы совершают дерзкую подмену, подведя под закон деяния, противоречащие наиболее общим основаниям законодательства Яхве. Под видом искупительной жертвы они протаскивают чистейшей воды идолопоклонство.

Тем удивительней, что совет оказался верным! Ковчег был возвращен вместе с десятком золотых изваяний, по пять на каждую напасть — и с этого момента никаких упоминаний о болезненных наростах и вредоносных грызунах более нет. Яхве принял в качестве жертвенного дара изображения того, «что на земле внизу», и на этот раз оставил в покое филистимлян и их бога. Правда, он тут же наказал множество иудеев:

И поразил Он жителей Вефсамиса за то, что

они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек; и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. (1 Царств, 6:19). Пятьдесят тысяч для тех малолюдных времен — цифра нешуточная; возможно, что тут пало иудеев не меньше, чем филистимлян — от чумы. Жертва повинности вряд ли могла искупить новую вину, казнь была быстрой, любопытные не в меру евреи не успели о жертвоприношении даже и помыслить. Но эта кара к подобиям прямого отношения не имела.

Итак, почему совет филистимских прорицателей оказался действенным? Можно предположить, будто Яхве принял «жертву повинности» именно ради ее символической роли: филистимляне, язычники, повинились, повинились неправильно, по-язычески, но – как умели. В искренности покаяния сомневаться не приходится. Поэтому возможно явить уместное в такой ситуации великодушие, принять их безграмотный, бестактный, но искренний дар и счесть конфликт исчерпанным.

Но можно предположить, что языческие прорицатели попали в точку вовсе не случайно. Не исключено, что им было открыто некое тайное знание и именно это знание позволило им повлиять на поведение грозного бога иудеев. Символическая жертва была просчитана правильно, поскольку филистимские мудрецы воспользовались приемлемым для Яхве и понятным ему кодом – тем кодом, которым пользовался он сам!

Ибо хорошо известны случаи, когда Яхве предлагал аналогичный способ — спасение с помощью подобий. Вот что, скажем, произошло во время странствия в пустыне; эпизод хорошо известный.

И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. (Числа 21: 4-9)

Композиция легко узнаваема:

- исходная ситуация **вины** перед Господом (там захваченная святыня, тут неверие и ропот)  $\rightarrow$ 
  - суровое наказание (там нашествие грызунов и

<sup>1</sup> Возвращение ковчега изображено на картине Себастьяна Бурдона из лондонской Национальной галереи. Картина находилась некогда в коллекции Джошуа Рейнольдса, который высоко ценил ее пейзажную часть. Золотые мыши и чумные наросты там не видны.

чума, тут ядовитые змеи)  $\rightarrow$ 

 избавление с помощью подобия самому орудию кары (там золотые изваяния мышей и наростов, тут медное изваяние змия).

Золотые мыши филистимлян оказываются родственниками медного змия. Разница в том, что в пустыне сам Господь дал виновным противоядие от собственного гнева. Можно было бы сказать, что мудрецы филистимлян поставили имевший место прецедент выше закона. Но для этого они должны были бы знать о событиях в пустыне. В это трудно поверить. Такое знание вряд ли было доступно даже мудрецам, тем более — языческим. Не знали они истории с медным змием. Значит, филистимские прорицатели и всемогущий бог иудеев мыслили похоже. Они знали, что спасительные изваяния своей сверхъестественной силой обязаны сходству: антидоты похожи на орудие кары. Подобное каким-то образом воздействует на подобное.

Верней всего, впрочем, будет сказать, что таким образом думали не персонажи библейского повествования, будь то языческие прорицатели или сам Творец, а вовсе третье лицо. Так думал повествователь, излагавший обе истории.

Вот как это выглядит в позднейшем научном анализе.

Магическое мышление основывается на двух принципах. Первый из них гласит: подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а второй – законом соприкосновения или заражения. Из первого принципа, а именно из закона подобия, маг делает вывод, что он может произвести любое желаемое действие путем простого подражания ему. На основании второго принципа он делает вывод, что все то, что он проделывает с предметом, окажет воздействие и на личность, которая однажды была с этим предметом в соприкосновении (как часть его тела или иначе). Гомеопатической, или имитативной, магией можно назвать колдовские приемы, основанные на законе подобия. Контагиозной магией могут быть названы колдовские приемы, основанные на законе соприкосновения или заражения.1

В истории с изваяниями мышей и наростов мы имеем дело с классическим случаем «гомеопатической» магии. Между ордами мышей, напавших на поля филистимлян, и пятеркой золотых мышей, между медной змеей и змеями, напавшими на возроптавших евреев в пустыне, существует тайная, непостижимая и

в то же время очевидная жизненная связь. Так думают филистимские мудрецы. Так думает и библейский рассказчик. Более того — по мнению библейского повествователя, так думает сам Бог, про которого он рассказывает. Таков рассогласованный, диссонирующий библейский контрапункт: сквозь ведущие темы единобожия время от времени пробиваются басовые языческие мотивы.

## ПЕРВОЕ ПОДОБИЕ: «АДАМ».



У.Блейк. Элохим создает Адама. Цв. печать, чернила, акварель. 1795/1805. Лондон, галерея Тейт.

«Гомеопатический принцип» распространяется на области, о которых мы редко задумываемся. Для обыденного сознания слово «похож» связывается прежде всего с внешним видом. Куда реже мы обращаем внимание на акустическое сходство. Между тем, сходное звучание слов может приводить к серьезным последствиям.

В русском языке есть старинное слово «довлеть».

В середине прошлого века оно влачило жалкое существование: мало кто помнил церковнославянское «довлеет дневи злоба его», что значило: довольно, достаточно, хватает дню его забот. Трудно проследить, каким образом некультивированное ухо уловило акустическое сходство слова «довлеет» со словом «давит» — и обывательская языковая практика, идя напролом, невзирая на различие корневых гласных, учредила ложное родство: то ли «довлеет на него», то ли еще более неуклюжее «довлеет над ним». Зародившись в полуграмотной уличной речи, слово-подобие, словотень сделало головокружительную карьеру, став украшением стиля ученых и журналистов, кинозвезд и парламентариев.

Д.Д.Фрэзер. Золотая ветвь. М.: АСТ, 1998, с. 18.

Вот как говорит о таких языковых процессах специалист-филолог.

...Формальная, материальная сторона любого слова, его индивидуальное "тело" связано с другими словами как генетически – через общий корень, этимологическое родство, так и ассоциативно – через сходство в звучании. Такое сходство может быть неслучайным, основанным на реальном родстве (выявляемым "правильным", научным этимологическим анализом), а может быть и случайным (полная или частичная омонимия) – для языкового сознания, коллективного и индивидуального, образуются ассоииативные связи, это не имеет значения. Но именно ассоциативные связи между словами играют существенную, глубинную, с большим трудом выявляемую роль во многих видах сознательного и стихийного словотворчества – от мифотворчества и поэзии до изменений семантики слов и образования новых слов и корней (явление языковой аналогии, или контаминации). $^{I}$ 

Акустическое подобие при различии значений — омонимия, полная или частичная, — существует в языке поетоянно, но особой силой наделяет звуковые подобия мифологическое сознание. Там слово всегда — больше, чем слово, а сходство — больше, чем сходство: слово способно творить и изменять реальность, а сходство — сводить в жизненные целостности самые различные вещи.

Цитированный только что филолог, Александр Милитарев, показал это на примере первых глав Книги Бытия, вернее – на примере одного слова. Это слово – Адам.

Известно, что «адам» на иврите значит «человек», случается, поэтому, что это слово переводится то как имя собственное, то как общее понятие<sup>2</sup>. Естественно, что первого человека можно называть просто человеком, поскольку другого нет; даже когда у него появляется жена, патриархальная настроенность повествователя побуждает его называть человеком мужчину. Но вот что важно: в иврите, в близким к нему древних семитических языках и даже в языках отдаленно родственных слово «адам» и слова близкие к нему по звучанию, значат не только это. Вот что показывает нам (в результате скрупулезного анализа) блестяще оснащенный филолог-

компаративист.

В иврите и в близких к нему языках существуют слова, которые звучат подобно, очень близко или просто близко к слову «адам». Каждое из таких слов имеет свой, независимый от других, круг значений. Вот их перечень.

- человек, люди, человеческий род, мир с населяющими его людьми, зависимые люди, поданные, слуги, адепты какого-либо божества...
- общее происхождение, «кровь», кровные узы родство, родня, и т.п.
- земля, возделываемая земля, страна, пыль, твердая почва, земная поверхность, обитаемая местность...
- подобие, сходство, внешность, изображение, образец, очертание, форма, равенство, одинаковость, пример, образец для подражания, быть похожим...<sup>3</sup>

Нетрудно заметить, что каждое из этих семантических семейств прямо соотносится с ключевыми местами первых двух глав Книги Бытия — тех, где говорится о сотворении мира и человека.

Адам — первый человек, начало человеческого рода. Сотворив первую пару, Бог сказал им: «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» — тут развертываются сразу первое, второе и третье значение сходных слов.

Перекличка значений «человек – земля, пыль» соответствует тому месту второй главы, где говорится, как Господь «создал человека из праха земного» (Быт., 2:7).

Наконец, акустическое подобие слов, обозначающих человека и «сходство, подобие, образец», отсылает нас к утверждению, что Бог ....сотворил человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его (Быт., 1: 27).

Эти поразительные совпадения заставляют предположить, что вся история сотворения человека, Адама, не столько излагается словами, сколько развертывается из слов.

Сотворение Адама — далеко не единственный пример того, как из слова вырастает история, таких мест хватает и в Ветхом завете. Случайное акустическое сходство разных по значению слов особым образом провоцирует и ориентирует мысль и воображение повествователя. А.Милитарев называет этот ход

...одной из фундаментальнейших (несомненно заслуживающих большего внмания со стороны специалистов по мифологии, истории античности и доисто-

Alexander Militarev. The Jewish Conundrum in World History. Boston: Academic Studies Press, 2010. P. 218..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Напр. Быт., 2:25 — в русском синодальном переводе впервые появляется как имя первого человека, то же — в латинской Вульгате, тогда как в английских переводах остается просто "man". Случается, что в разных переводах на один и тот же язык в одном случае употребляется «человек», а в другом — «Адам» (напр., в испанском, финском и др.; см. http://mlbible.com/genesis/2-25.htm)

См.: Alexander Militarev, цит. соч., сс. 238 и след.

рии, лингвистов, филологов — исследователей древних текстов, культурных антропологов и т.п.) особенностей мировосприятия, мышления, культуры древнего человека, которую можно очень условно назвать «игрой со словом»...<sup>1</sup>

В число тех, кому следует пристально присмотреться к «игре со словом», А.Милитарев не включил историка искусства; можно, однако, не сомневаться, что ему найдется место в «и т.п.». Ибо именно историк искусства готов заподозрить, что столь различные вещи, как золотые мыши в истории с ковчегом и омонимы к слову «адам», имеют до некоторой степени общую природу. И там, и тут решает дело момент сходства. Сходство – видимое или слышимое – для древнего сознания никогда не бывает случайным совпадением, оно есть знак глубокой бытийной связи. Подобие есть даже нечто большее, нежели тайная связь. Подобие предполагает мистическое присутствие предмета, изделия, существа в любом подобном ему предмете, вещи, существе. Иначе трудно понять, почему изображение может замещать изображаемый предмет или существо.

Из такого сознания вообще родились древнейшие изображения: бизон, написанный или награвированный на стене пещеры, был нужен как действенный заместитель, доступный двойник настоящего бизона. Непрезентабельные осколки такого способа думать мир попадаются и поныне: молящийся перед иконой надеется, что через иконное подобие его молитва дойдет до первообраза, предсказательнице судьбы следует показать портрет занимающего вас предмета, брошенная возлюбленная выкалывает булавкой глаза на фотографии счастливой соперницы...

Слова наделены той же способностью — замещать называемый предмет, существо, действие. Поэтому представляется, что слова, в том числе имена — имена даже в особенности — связаны с обозначаемым предметом или лицом экзистенциальной связью. На этом построена не только магия слова, на этом построены и некоторые философские теории языка: достаточно почитать Платона. Но если слово есть порождение обозначаемой им реальности, то сходные слова свидетельствуют о некоем тайном, глубинном, до конца не постижимом родстве называемых реалий. Это очевидно при сравнении с зрительными изображениями: два похожих портрета есть вообще изображения одного лица; обозначаемая портретами реальность сводится в полное тождество<sup>2</sup>. Но если в мире изображений

магическая сила подобия используется более всего по оси «образ – изображаемый предмет», то в мире слов особое значение приобретает отношение «слово – другое слово». Подобие слов способно произвосить мифы. А.Милитарев видит здесь стихийный союз этимологии и сотворения мифологических реальностей и потому предлагает назвать такую работу мифотворческого сознания «этимопоэтической».

Вернемся на минуту к первой главе Книги Бытия, к тому месту, где прослеживается некое удвоение подобия. Когда повествователь говорит, что Творец создает человека по своему образу и подобию, он развертывает значения слов, омонимичных имени Адам, в историю о сотворении человека. Эти значения — подобие, образец и т.д. Богоподобие попадает в сакральную историю и в картину мира благодаря подобию слов.

Слово сделало свое дело, человек сделался подобием Творца. В координатах собственно библейского мира это значит, что Творец, создав человека по наличному образцу, стал первым подражателем, совершил первый миметический акт.

Заметим, что в начальных главах книги Бытия описаны, в сущности, несколько способов творчества. «В начале сотворил Бог небо и землю». Идеально лаконичная первая строка Библии описывает абсолютный творческий акт. О нем больше нечего сказать. Это подлинное creatio ex nihilo, творение из ничего посредством чистого божественного воления. Последующие извлечения из небытия требуют более сложных процедур. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт., 1:3). Между Создателем и творимой реальностью появляется посредник – творящее слово. Творение посредством слова – широко распространенный мифологический мотив, он встречается во многих культурах<sup>3</sup>. Если требуется доказательство способности слова порождать реальность, то лучшего свидетельства не найти. Далее, когда дело доходит до сотворения фауны, к слову добавляется некое не вполне ясное дополнение: «И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ея...» (Быт., 1:24). Нам не дано знать, что имеется в виду под «родом ея» – то ли некий генетически закон, накладывающий ограничение на творческий произвол Господа (и тогда земля по слову Господа может породить верблюда, но не может - кентавра или трехглавого пса), то ли, напротив, генетический закон (верблюды в дальнейшем могут произ-

портрета, то у этих портретов семантика далеко не совпадает. Но для нашего обсуждения сейчас достаточно знания, что оба портрета указывают на одно и то же реальное лицо.

<sup>1</sup> A.Militarev, цит. соч, сс. 245-246.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Вообще-то дела обстоят куда сложнее: на портрете Кипренского другой Пушкин, нежели на портрете Тропинина. Если образ, созданный художником, и есть прямая семантика

См. напр.: Maria Leach. The Beginning: Creation Myths around the World. New York: Thomas Crowell, 1956, pp. 217-220.

водить только верблюдов) тут дается самим Создателем. Наконец, особый вид созидания — сотворение человека. В отличие от всего тварного мира, человек создается не вполне произвольно — он создается по образцу. Вообразим себе идеального наблюдателя события, воспитанного в понятиях древнегреческой культуры: он наверняка понял бы акт сотворения человека как акт подражания, «мимесиса». Тот факт, что Господь подражал собственному облику, не меняет сути дела. Он действовал как художник, подражающий избранной натуре.

В главе второй Книги Бытия, где, как известно, сотворение мира описано по более наивному и архаичному источнику, аналогия с художником еще более наглядна. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». (Быт., 2:7) Мы вольны представить себе, что инертная материя обретает форму, подчиняясь чистому, сверхприродному божественному волению, но можем предположить, что прах земной формировали непосредственные прикосновения божественной руки. Во всяком случае, воображение некоторых художников рисовало картины физического действия<sup>1</sup>.



Ал.Иванов. Эскиз из цикла «Дни творения». Граф. карандаш, тушь. Москва, Третьяковская галерея.



Ал.Иванов. Сотворение Адама. Граф. карандаш, тушь. 1846-48 (?). Москва, Третьяковская галерея.

Характер и мера богоподобия первого человека, затем и человека вообще — предмет многочисленных и глубоких теологических комментариев и интерпретаций. Это совсем не наша тема. Непредубежденное чтение библейского текста, однако, заставляет предположить, что повествователь имел в виду прямое визуальное сходство.



Неизвестный мастер. Сотворение Адама. Миниатюра из рукописи: Petrus Comestor. Bible Historiale. 1372. Гаага, Королевская библиотека Нидерландов, Музей Мерманно-Вестернианум.

Если «подобие» разрешает самые разнообразные трактовки — подобым можно быть лишь в некотором отношении, то «образ» предполагает целостность видимого облика. Последним основанием для утверждения о сходстве Адама и его Творца было акустическое сходство слов, обозначающих «человек» и «подобие».

В этой связи стоит напомнить текст, рожденный в контексте другой культуры в другое время. Вот отрывок из объяснений Аполлония Тианского, приведенных в его жизнеописании Флавием Филостратом (170-250 н.э.). «Пусть даже и почитали меня богом - и это заблуждение тебе на пользу, ибо тем усерднее внимали мне люди из опаски не угодить небожителю! Впрочем, таких заблуждений они не питали, но верили, что человек несколько сродни божеству, а потому единственный из живых тварей познает богов и судит о собственной своей природе и о соучастии ее в божественной святости, ибо самый-де облик человеческий сходен с обликом божьим, как изъясняют нам живопись и ваяние, да и добродетели людские, без сомнения, от богов. и, стало быть, всякий, кто причастен к добродетели, богоподобен и свят». Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. М.: Наука, 1985, с. 177-178. Живопись и ваяние предлагают свидетельства, которыми невозможно пренебречь.

#### ЖЕНИТЬБА ОСИИ



Неизвестный мастер. Пророк Осия с женой. Миниатюра из рукописи: Petrus Comestor. Bible Historiale. 1372. Гаага, Королевская библиотека Нидерландов, Музей Мерманно-Вестернианум.

Откроем первые главы Книги пророка Осии.

И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа.(Ос., 1:2)

Странный брак Осии, предписанный свыше, стал предметом многих комментариев. В глазах толкователя-буквалиста история выглядит безобразно. Вольтер некогда поминал брак с блудницей, чтобы продемонстрировать безнравственность библейских россказней.

Не сомневайтесь в том, что Бог вселенной повелел одному иудейскому пророку жрать дерьмо (Иезекиилъ), а другому — купить двух потаскух и родить от них детей блуда (Осия). Верьте в сотни вещей, либо явно омерзительных, либо математически невозможных...¹

Матримониальные дела пророка Вольтер изложил не совсем точно, но не в этом суть. Антибиблейский пафосзавелфилософаслишкомдалеко; мысейчасувидим, что автор «Философского словаря» либо погорячился, либо притворился непонятливым по причинам, которые здесь нет нужды обсуждать. Позднейшая библейская критика, трактуя эпизод с большей долей историзма, развернула целый веер интерпретаций, на одном краю которого аллегорические толкования, тогда как на другом – признание сюжета за изложение реальных обстоятельств жизни пророка. В последнем случае

имело смысл исследовать, была ли жена пророка Гомерь храмовой проституткой или вольнопрактикующей блудницей, распутничала ли она до брака или ее неверность относится ко временам супружества; исполнение воли Божией связывали даже с фрейдистским анализом психики Осии...<sup>2</sup>

Действительно, на первый взгляд, распоряжение Господа выглядит более чем странно. Известно, что во времена пророков проституция, хоть и была разрешена, находилась под строгим нравственным контролем и подвергалась определенной регламентации. Это следует из библейских текстов. Священникам же и вовсе запрещено было жениться на проститутках:

Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. (Лев. 21:7, ср. 14)

Но Осии взять в жены блудницу велит сам Господь. Тем самым дело получает другой оборот: необычному акту бракосочетания придается сакральный статус. Содержание божественного приказа, равно как и дальнейшее повествование свидетельствует о том, что Осия, взяв в жены блудницу, остался праведником. Женитьба Осии выпадает из установленных порядков ради достижения некой высшей цели. Он «свят Богу своему» не просто вопреки правилу, но именно ценою его нарушения. Вернее сказать, он встраивается в другие порядки.

Вот почему появляется соблазн видеть в странном супружестве Осии глухой отголосок храмовой проституции, столь распространенной в древневосточных культах. Ритуальные соития в храмах имели, как правило, высшую цель – они должны были побуждать богов к божественным соитиям, от которых зависело всеобщее плодородие. Сакрализованный земной акт был магической провоцирующей моделью, детонатором жизненно необходимых универсально продуктивных актов – соитий небесной пары. Подобное порождает подобное, на этот раз – снизу вверх.

Но у Яхве нет женского дополнения. Небесной пары не существует. Бог одинок. Верней сказать, Он одинок с определенной точки зрения. Есть основания предполагать, что в толще религиозного сознания видение сакральной матримониальной ситуации было иным. Там гнездилась вера, будто у Яхве есть божественная спутница — богиня ханаанского происхождения по имени Ашерах. В Ветхом Завете можно найти достаточно

<sup>2</sup> Cm.: The Book of Hosea. // An Introduction to the Books of the Old Testament. By W.O.E.Oesterley, D.D., Litt.D. and Theodore H.Robinson, D.D., Litt.D. Hon.D.D. (Aberdeen), Hon. D.Th. (Halle-Wittenberg). First published S.P.C.K. 1934, Edition prepared for katapi by Paul Ingram, 2003. Http://www.katapi.org.uk/OTIntro/Hosea.htm#Title

http://www.lib.ru/INOOLD/WOLTER/slowar.txt

свидетельств массового «народного» поклонения Ашерах. Не чужды культа Ашерах были и цари: в Библии несколько раз упомянуто, что статуи Ашерах были установлены в иерусалимском храме – храме Яхве! (см. 4. Цар.,18:4, 23:4, 6,7). Но место богини в сложной картине реальной религиозной жизни израильтян не было стабильным. Нахождение ее рядом с Яхве в качестве его супруги – всего лишь одна из многих обоснованных реконструкций. Догадки об Ашерах как царице неба получили известное подкрепление благодаря археологическим находкам середины 1970-х гг., когда надписи «Яхве и его Ашерах...» были найдены на стенке святилища VIII в. до н.э. и на одном сосуде.



Рисунок и надпись на сосуде из Кунтиллет Ажруд. VIII в. до н.э.

Наиболее популярной была, однако, другая роль Ашерах – безусловно альтернативная и потому враждебная монотеистической концепции. Заметим, что надпись на сосуде в грубом приближении современна пророчествам Осии, поророка, который от имени Господа яростно обличает поклонение другим богам, а среди них Ашерах занимает видное место. Ибо брак с Ашерах был бы очевидным нарушением неумолимого монотеистического принципа. Поскольку в Писании, как и в самой истории возобладала монотеистическая точка зрения, божественной супруги у Яхве быть не может. Супруга Яхве может быть только метафорической. Эта супруга – избранный народ. Завет Яхве с Авраамом и Моисеем интерпретируется как брачный контракт. Таков единственный в своем роде иносказательный «вертикальный» брак. И в этой поэтической конвенции любые нарушения завета со стороны избранного народа трактуются как супружеская измена. Для их описания щедро используется эротическая лексика. Сквозь нее явственно просвечивают реальные дела, постоянно вызывавшие ревность Яхве.

## БЛУД ИДОЛОПОКЛОНСТВА

Подсчитано, что глагол, обозначающий «совершать прелюбодеяние» (na'af), и образованные от него существительные встречаются в Библии 34 раза. Буквально глагол означает незаконный и потому наказуемый половой акт между мужчиной и женщиной. Почти в одной трети случаев он используется в переносном смысле и обозначает неверность Богу, в особенности - идолопоклонство. Другой глагол, «прелюбодействовать» (zana), и образованные от него существительные употреблены в Ветхом Завете 135 раз. Почти две трети их употреблений — переносные и точно так же означают неверность по отношению к Богу. 1

Метафора, как видим, развернута во многих местах. Подсчеты подсчетами, но не менее впечатляющи живые тексты пророческих обличений, пронизанные яростным натурализмом. Прекрасным пример этого рода предлагает Иезекииль; он заслуживает щедрого цитирования.

...Так говорит Господь Бог дшери<sup>2</sup> Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отеи твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка; при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Так, Я сказал тебе: «в кровях твоих живи!» Умножил тебя как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди, и волоса у тебя выросли; но ты была нага и непокрыта. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, - и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяные сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрез-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cm.: D.J.Slager. The Figurative Use of Terms for "Adultery" and "Prostitution" in the Old Testament. // The Bible Translator, vol. 51, #4, p. 432.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Дщерь" – дополнение переводчика для большей понятности текста. В оригинале фигурирует собственно Иерусалим, в женском роде — Иерусалим, как обозначение всего иудейского царства.

вычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой, и хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми Я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние; и это было, говорит Господь Бог. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей Моих заклала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нага и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих, – горе, горе тебе! говорит Господь Бог, – ты построила себе блудилища и наделала себе возвышений на всякой площади; при начале всякой дороги устроила себе возвышения, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя Меня. И вот, Я простер на тебя руку Мою, и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям Филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась; блудила с ними, но тем не удовольствовалась; и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница! Когда ты строила себе блудилища при начале всякой дороги и делала себе возвышения на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами: не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков; и потому ты поступала в противность другим. Посему вы-

слушай, блудница, слово Господне! Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, - за то вот, Я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, – и предам тебя кровавой ярости и ревности; предам тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими. Сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен; и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев Мой, и отступит от тебя негодование Мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей и всем этим раздражала Меня, вот, и Я поведение твое обрашу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. (Иезекииль, 16:3-43).

Эта отчаянная и презренная развратница – Израиль.

В значительно более раннем пророчестве Осии прелюбодеяния народа — супруги Господа — описаны в сходных словах, хотя Осию отделяет от Иезекииля не менее полутора столетий.

... Она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: "пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки". За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: "пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь". А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: "это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои"; и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь. (Осия,2:2-13)

Сквозная для Ветхого Завета метафора брака, супружеской верности, измены и блуда в наш век, столь чуткий к гендерным аспектам культуры, заставляет обратить внимание на проблему несомненной маскулиннности Яхве, неизбежной для патриархальных библейских времен. Вопрос этот не вовсе праздный с точки зрения абсолютной бытийной полноты персонального Бога. Существуют исследования, где сам запрет изображать интерпретируется в гендерном повороте – как попытка запутать, затуманить, скрыть раз и навсегда свидетельства сексуальной принадлежности Яхве<sup>1</sup>.

Но нас метафора измены интересует в другом ракурсе. От одной до двух третей всех упоминаний о неверности относится к идолопоклонству, т.е. поклонению другим богам. Ибо идолопоклонство столь же несовместимо с религией Яхве, сколько любая другая религия немыслима без поклонения идолам.

#### ИДОЛ

Идол и есть наш главный предмет. Вернее, идол есть наш предмет постольку, поскольку нас занимает история подобий. Идол важен для нас как изображение божества. Но идол есть нечто большее, нежели подобие божества, идол есть постулируемое место его присутствия и объект поклонения, включающего жертвоприношения и другие ритуальные действия. Эти функции не совпадают. Более того, само представление о сходстве идола и божества проблематично. Оно никак эмпирически не проверяемо и потому недоказуемо. Боги не даны человеческому взору. Вот почему культовое изображение наделяется наибольшей подлинностью: для религиозного сознания божество выглядит именно так, как выглядит его изображение. Отношение подобия перевернуто, боги похожи на своих идолов. Но это не последний парадокс идолопочитания. Местом присутствия божества может быть и неизобразительная форма, «не подобие»: камень, группа камней, алтарь, дерево, шест... Идолопоклонство по этому признаку распадается на две ветви – изобразительное или иконическое и неизобразительное, аниконическое.

Древнеханаанская богиня Ашерах, столь сильно искушавшая воображение древних израильтян, и тут, видимо, успела вкусить от обеих форм поклонения.

Обратим внимание на реалии, которые проступают сквозь метафорическую речь пророков. Говорится о «высотах» – «сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них»; «построила себе блудилища и наделала себе возвышений на всякой площади; при начале всякой дороги устроила себе возвышения». Это высоты, упоминаемые в Библии десятки раз как места поклонения Ваалу и Ашерах. Упомянуты фаллические идолы и соответствующие ритуалы: «...Сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними».

Жертвоприношения и каждения составляют важнейшие элементы поклонения: «...взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой, и хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и елей, и мед, которыми Я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное благовоние».

Даются прямые указания на человеческие жертвоприношения - принесение в жертву божеству первенцев: «И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на снедение им».

Наконец, сказано и об изготовлении идолов из драгоценных металлов и о поклонении им: «...серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала», «...за дни служения Ваалам, когда она кадила им».

## ОСИЯ КАК ПОДОБИЕ

Итак, Господь велит Осии: ...иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. (Ос., 1:2) Мотивирующий союз «ибо» – ибо сильно блудодействует земля сия – в данном случае указывает, что

бракосочетание пророка должно стать изображением драматической ситуации, моделью конфликта между

Яхве и Его народом.

И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и Я взыщу кровь Изрееля с дома Ииуева, и положу конец иарству дома Израилева, и будет в тот день, Я сокрушу лук Израилев в долине Изреель. И зачала еще, и родила дочь, и Он сказал ему: нареки ей имя Лорухама; ибо Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. А дом Иудин помилую и спасу их в Господе

Подробное рассмотрение проблемы можно найти в книге: Govard Eilberg-Schwartz. God's Phallus and Other Problems for Men and Monotheism. Boston: Beacon Press, 2001.

Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. И, откормив грудью Непомилованную, она зачала, и родила сына. И сказал Он: нареки ему имя Лоамми, потому что вы не Мой народ, и Я не буду вашим [Богом]. (Ос., 1:2-9)

Как видим, имена детей этого брака-метафоры тоже не безразличны к драматической реальности: они на свой лад моделируют реальную судьбу народагрешника.

Позднее неверная жена пророка либо снова впадает в грех, либо предается ему непрерывно. Так или иначе, но она попадает в рабство, Осия выкупает ее и возвращает в дом.

И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за пятнадцать сребренников и за хомер ячменя и полхомера ячменя и сказал ей: много дней оставайся у меня; не блуди, и не будь с другим; так же и я буду для тебя. (Ос., 3:1-3)

Как складываются их отношения в дальнейшем, не говорится, но есть основания полагать, что гармония на этот раз установлена.

История женитьбы Осии может быть рассмотрена в контексте использования в Библии изображений и уподоблений. Супружество Осии, как это следует из текста, есть разыгранная в реальной жизни метафора супружества, посредством которой в Библии чаще всего описываются отношения Яхве с избранным народом.

Эту семейную драму, которая, ввиду ранга ее участников, приобретает космический масштаб, должен смоделировать Осия. Вернее сказать, он моделирует ее дважды. Вся книга пророка есть словесная модель разоблачения Господом народа-блудницы, которая его постигнет, грядущего очищения грешника и примирения сторон. Но, помимо вербального изображения, Осия изображает вселенскую драму в виде драмы реальной, единичной жизни. Ему велено разыграть метафору, сделав ее собственной биографией. Он исполняет повеление, переворачивая тем самым отношение первичной реальности и ее метафорического описания: жизнь сделана подражанием образу, который метафорически подобен оригиналу. Использовано сложное, опосредованное подобие, так сказать - подобие второй степени.

Жизнь как изображение — это чрезвычайно серьезно, если мы примем во внимание распределение ролей. Распутная жена Гомерь исполняет роль, вернее сказать — есть изображение жестоковыйного и неверного народа. А сам Осия назначен исполнять

роль Яхве, уподобиться самому Господу. Осия — не что иное, как изображение Яхве, на этот раз — не скульптурное, а жизненно-драматическое. И, как всегда, подобное изображение связано с оригиналом особой онтологической связью. Сходное присутствует в сходном. Похож — значит причастен. Уподобление Господу дает Осии право быть пророком, быть орудием Господней воли и рупором Господней мысли. Осия посвящен через уподобление.

Так Яхве еще раз создает собственное изображение. Адам — подобие Творца, Осия, будучи Его рупором, в то же время играет Его роль в драме, воспроизводящей Его ситуацию. Играет, проживая. Сама же драма, если декодировать метафору, есть подтверждение двух первых заповедей Декалога, намертво связанных друг с другом — «Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим» и «Не сотвори себе кумира». Ибо кумир для идолопоклонника и есть другой бог — принимающий поклонение и поедающий жертвы. Блуд Израиля это прежде всего и по большей части служение чужим богам.

#### АРГУМЕНТЫ ПРОРОКОВ

Жестоковыйный народ Израиля предавался идолопоклонству многократно — и часто выслушивал горестные обличения, свирепые угрозы и терпел жестокие кары от своего метафорического Супруга.

Но вот что замечательно. У тех же пророков, которые столь часто бывали рупорами божественного гнева, можно найти **трезвую, логическую критику** идолопочитания. Подлинно пророческая страсть, с какою эта критика произносится, неспособна затемнить ее вполне рациональный характер. В своей полемике, не замечая этого, пророки проводили судьбоносную раделительную черту, по одну сторону которой оставалось идолопоклонство, а по другую – начиналось искусство.

Ранее уже было отмечено, что пророки, критикуя языческие соблазны, настаивали на рукотворности идолов. Присмотримся к их аргументам пристальней, это важно. Ибо библейские пророки, впервые во всемирной истории изображений, разоблачали веру в их, изображений, сакральную причастность бытию.

Послушаем Исайю.

Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю. Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и

художники сами из людей же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнеи делает из железа топор и работает на угольях. молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резиом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возрашает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пишу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «хорошо, я согрелся; почувствовал огонь». А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: спаси меня, ибо ты бог мой».Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели.И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «половину его я сжег в огне и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? буду ли поклоняться куску дерева? (Исайя 44:8-19)

## И еще раз:

Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него бога; кланяются ему и повергаются перед ним; поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место; он стоит, с места своего не двигается; кричат к нему, — он не отвечает, не спасает от беды. (Исайя, 46:5-7)

То же – у Иеремии.

Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они — как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико могуществом. (Иерем., 10:2-6)

В приведенных отрывках ход мысли одинаков. Исходная посылка — невозможность подобия Бога

ввиду Его абсолютной уникальности, так сказать, по определению. Нетрудно увидеть здесь два смысла. Первый – прямой: Яхве не с кем сравнивать и ни на кого он не может быть похож, ибо он – единственный бог, Бог. Имплицитно предполагается, что изваяние, которое могло бы претендовать на сходство с Богом, было бы попыткой Его удвоения, что не только недопустимо, но и невозможно. Ибо подобия Ему нет и быть не может.

Второй смысл: создание подобий богов и обращение с ними, как с самими богами — языческая практика, основанная на ошибке. Языческие идолы это ложные подобия. Они не причастны божественной природе уже потому, что они сделаны человеком и сделаны из мертвых материалов. Они неживые. Все подобия неживые. Они рукотворные.

С точки зрения человека современной культуры это совершеная банальность: вода мокрая. Само собой разумеется, что образы искусства не есть действительные существа и предметы. Искусство искусственно. Однако, в пророческие времена (сколь бы ни были они растянуты) это была революция. Не случайно на страницах того же Ветхого завета нет-нет, да встречаются следы такого, по существу языческого, понимания изображений.

Культура подобий, культура изображений начинается с гипотезы о тайной жизненной связи подобных объектов – независимо от их происхождения. В этой своей роли образы служат для самых разнообразных жизненно-практических целей, тогда как их собственно эстетическая функция остается второстепенной, а то и вовсе незамечаемой. Современный знаток наслаждается силой и выразительностью африканских идолов, а антрополог, изучавший племя их создателей, выясняет, слов, обозначающих эстетические изваяний, в их языке не существует. В конечном счете, дело обстоит не так уж сложно: для современного ценителя африканский или океанийский идол – не бог, а изделие человеческих рук. Эту границу между пониманием изображения как жизненной реальности, и наслаждением искусственностью и искусностью подражания – эту границу рано или поздно, решительно или медлительно, преодолевает любая культура.

Но впервые определенно и со всей пророческой категоричностью заговорил об этом библейский пророк. То, что он провозглашал, по-пророчески гневно и страстно, было по существу открытием искусственной, т.е. художественной природы искусства. Здесь была упрятана возможность чистого и свободного эстетического наслаждения образами-подобиями. Правда, возможность эта была упрятана глубоко. Сам пророк о ней не знал. Будучи голосом ревнивого Бога Израиля, чувствуя опасность, которую таят в себе изображения, он предпочитал поддерживать и подтверждать тотальный

запрет изображать, с которого Господь на Синае начинал свои главные заповеди<sup>1</sup>. Эта гигиеническая предосторожность, как известно, была не лишней.

Тем не менее, дверь для «искусственного искусства», для такого подобия, которое с порога бы декларировало себя в качестве рукотворного подражания видимому миру, — эта дверь была приоткрыта. А свято место не бывает пусто...

### ДУРА ЕВРОПОС

Когда Пуссен сочинял свою картину, в его зрительной памяти толпились образы, отзывавшиеся на избранный им сюжет. Некоторые — в преобразованном виде — попали в картину. Ничего страшного, помещеные в другую ситуацию и соединившись с другими образами, сочиненными им самим, они получили другой смысл. Вспомним: эти странствующие образы явились из круга Рафаэля. Между тем, существовала картина, точнее — стенная роспись, посвященная тем же драматическим событиям, которая была более чем на тысячу лет ближе ко времени библейского рассказа. Ее создал некий еврейский художник, а может быть, и нееврейский художник в ІІІ веке нашей эры. Выразимся осторожно: этот художник мог быть верующим иудеем — роль для тех времен неожиданная.

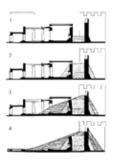
Трудно сказать, насколько соблазнительными бы оказались для Пуссена образы и исторические реалии, которые оттуда можно было почерпнуть. Вопрос этот, однако, вполне теоретический – ибо Пуссен никоим образом эту фреску видеть не мог. Она в его времена была погребена под насыпью из земли и песка, об ее существовании никто не догадывался, словом, как произведение искусства она как бы и не существовала. Ее новая жизнь началась в тридцатых годах прошлого века, когда археологи раскопали в далекой Сирии фрагменты древнего города, разрушенного и покинутого вскоре после создания росписи.

В древности город назывался Дура Европос, его основал диадох – один из полководцев Александра Македонского, Селевк, родоначальник династии Селевкидов, долго правившей Сирией. Только в 64-м году до Новой эры Сирия была завоевана римлянами.

В небольшом периферийном городе на берегу Евфрата соседствовали и перемешивались разнородные этнические группы со своими культурными традициями: только на улице, проходившей за оборонительной стеной, неподалеку друг от друга располагались древнейший

(из ныне известных) христианский храм, митраистский храм и синагога. Немногочисленная иудейская община, повидимому, процветала. В сороковых годах старая синагога была капитально перестроена; тогда-то новые стены были покрыты фресковыми росписями от пола и до потолка, сплошь.

Тем временем, однако, город, расположенный вблизи границы Римской империи, оказался под угрозой со стороны персидской державы Сассанидов. Городскую стену решено было капитально укрепить. Сделали это изобретательно и бесхитростно — с зданий, стоявших за стеной, сняли крыши и засыпали песком все — и улицу, и дома. Образовалась наклонная гора, надежно подпиравшая стену.



Впрочем, строительные хитрости не помогли: хитроумные персы насыпали пандус с внешней стороны и сделали подкоп. Город был взят, разрушен и покинут. Но побочным следствием этих военно-инженерных решений оказались своего рода культурные консервы: подобно тому, как пепел и лава Везувия запечатали на века Помпеи и Геркуланум, рукотворная гора сокрыла и спасла памятники Дура Европос. Фрески, которые боятся только влаги, превосходно сохранились под сухим песком.



Раскопки Дура Европос (Сирия). Стена синагоги с росписями.  $\sim 245$ .

Напомню, что первые две заповеди в православной нумерации считаются одной, первой заповедью в иудейской, римско-католической и протестантской традиции: там «не сотвори себе кумира» есть составная часть первой заповеди.

Принцип расположения сюжетов на стене синагоги и расшифровка отдельных композиций до сих пор служат предметом споров. Некоторые сюжеты, однако, читаются сравнительно легко. Во всяком случае, большая картина справа, без сомнений, повествует о событиях в земле филистимлян, последовавших за пленением Ковчега завета.

Правда, о чуме – ни слова. Подобно картине Пуссена, здесь тоже в едином картинном пространстве представлены два последовательных события. Но выбор иной. В правой части фрески мы видим ужасные и величественные свидетельства победы Яхве над богом филистимлян. В глубине справа – распахнутые двери храма Дагона. Травмы и разрушения, причиненные слабому богу филистимлян и его храму, для пущей наглядности вынесены наружу. По всей площади перед храмом разбросаны культовые предметы, а посреди беспорядочной кучи храмовой утвари лежат две разбитые статуи самого бога Дагона. Почему их две сказать трудно, Наиболее простое толкование сводится к тому, что статуя Дагона падала и разбивалась перед ковчегом Яхве дважды. Существуют и другие, более замысловатые интерпретации.1



Библейская сцена. Фреска из Дура Европос. ~ 245. Дамаск, Национальный музей.

На левой половине композиции – свои загадки. Там говорится о возвращении: ковчег с наброшенной на него драпировкой поставлен на колесницу, в которую запряжены быки; их сопровождают два погонщика. В

глубине поставлены рядом еще три мужских фигуры в греческих одеяниях. Картина явно не в ладах с библейским текстом, где сказано, что везли ковчег две коровы «первородившие и не знавшие ярма», к тому же, коровы должны были найти дорогу сами — таким чудесным образом было бы подтверждено, что беду наслал Яхве. Словом, быки вместо коров, погонщики лишние, а трое свидтелей в глубине — не очень понятно кто такие. Тем не менее, это недвусмысленно распознаваемый рассказ о чудесной силе ковчега и о чудесном его возвращении.

Декодировку отклонений от четких слов Библии можно предоставить специалистам. Изложение высказанных на этот счет гипотез отвлекло бы нас от главной нити. Мы обсуждаем проблему изображений.

Росписи в синагоге Дура-Европос требуют ответа на вопрос: кто разрешил? Кто разрешил, вопреки твердому запрету, поставленному самим Господом на Синае, изображать вещи, живые существа, более того, представить в красках библейских персонажей, и это не где-нибудь, а в сакральном пространстве синагоги?

Формально на этот вопрос ответить нетрудно: сохранилась надпись с необходимыми сведениями. За строительство синагоги отвечал Самуил Старший, священник, глава еврейской общины города. Это он разрешил, а вернее сказать — это он заказал росписи, покрывшие сплошь стены синагоги. Вопрос надо задать иначе — почему Самуил так поступал?

Скорей всего, он не был ни бунтарем-еретиком, ни реформатором. Этот благочестивый, добропорядочный и заботливый глава общины делал то, что тогда делали. Фрески Дура Европос — чудом уцелевший осколок принятой в его время практики. Другие синагогальные росписи — а их, вероятно, было немало — погибли, слишком бурной и драматичной была история этой земли. У Лишь немногие памятники, обнаруженные

Ученые согласны в том, что Дура Европос не могла существовать и не существовала в изоляции. Она была аванпостом не только в качестве гарнизонного города, но также как часть еврейской культуры своего времени. Это не был творческий художественный центр, это было только отражение блеска, излучаемого в других местах. Мы можем только гадать, как выглядели эти центры. Там должны были быть школы художников и дюжины вариаций в тематике, трактовках и техниках. Дура Европос может быть только копией образцов, которые утрачены. В центрах еврейской жизни должны были быть куда более элегантные синагоги с куда более совершенными росписями. Следовательно, то, что мы видим в Дура Европос, это всего лишь намек на исчезнувший еврейский мир. Hershel Shanks. Judaism in Stone. The Archaeology of Ancient Synagogues. Washington: The Biblical Archaeology Society, New York: Harper and Row Publishers, 1979. P. 87.

В частности, крупнейший американский исследователь Э. Р. Гудинаф посвятил фрескам Дура Европос целый том своего 13-томного исследования «Еврейские символы»; в сокращенном однотомном издании (Erwin R.Goodenough. Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. Abridged edition. New Jersey: Princeton Univ. Press, 1988) это весьма насыщен ная глава.

до сего дня, свидетельствуют, что синагоги в те поры украшали изображениями. Пол синагоги в Хаммат Тверия украшен великолепной мозаикой. Там есть вещи не менее, если не более интересные, нежели в Дура Европос: под ярусом со стилизованным изображением ковчега Завета между двумя менорами расположено главное поле — там, в окружении знаков зодиака, прямо на зрителя устремляется запряженная четырьмя конями колесница греческого бога солнца Гелиоса.



Мозаика пола. IV в. Синагога в Хаммат Тивериа.

Аналогичная композиция, выполненная куда менее искушенным автором, располагается в центре мозаичного пола синагоги Бет Альфа.



Мозаика пола. Перв. пол. VI в. Синагога в Бет Альфа.

Там же, в Бет Альфе, в сцене жертвоприношения Исаака в небе появляется пятипалая рука самого Господа...



Жертвоприношение Авраама. Мозаика. Перв. пол.VI в. Синагога в Бет Альфа.

То, что удалось раскопать археологам новейших времен — всего лишь редкий пунктир: фрески Дура Европос были исполненны ближе к середине III века, мозаики Хаммат Тверии датируют IV веком, а Бет Альфы — первой половиной шестого. Этого, однако, достаточно, чтобы предположить, что такова была распространенная практика той поры.

Вообразим себе, что в наново перестроенной и украшенной свежими фресками синагоге в городке Дура Европос появился пророк Исайя. Добрая тысяча лет миновала с тех пор, как он объяснял жестоковыйному народу простые истины — что идолы неживые, что они не видят и не слышат, что сделаны они из простых материалов человеческими руками, а пользы от них ни на грош. И что же он видит: эти опять принялись за свое!

Стоит ему, однако, вступить в беседу со священником Самуилом, ответственным за все эти безобразия, и он вынужден будет заметить, что времена переменились. Ибо священник Самуил легко соглашается с убийственными аргументами пророка.

- Образы на стенах неживые! настаивает Исайя.
- Разумеется, кто бы спорил. Это всего лишь картинки...
  - Они сотворены человеческими руками!
- Конечно! Мы знаем этих умельцев, которые написали тут подобия ковчега, быков, Моисея, Мардохея и Амана, Агашвероша и Эстер... Это простые ремесленники, они работают физически, руками, за плату, и хотя дело свое знают, но особого уважения не заслуживают.

- Подобия сделаны из простых материалов!
- Да чего уж там, материалы простые и, в общем, недорогие: штукатурка, пигменты, кисти.
  - Эти фигуры не могут помочь в беде!
  - Да никто и не ждет от них такой помощи!

Короче: для Самуила, жителя эллинизированной азиатской окраины поздней Римской империи, картины на стенах синагоги **рассказывают истории.** Только и всего.

Но это вовсе не так мало! Они делают высокое, чудесное, судьбоносное, но невидимое нам прошлое видимым. Это необходимо, это хорошо, это радостно и полезно!

Сделать невидимое видимым значит победить слепоту. Я не видел – и вот я вижу.

Я вижу храм Дагона!

Я вижу, как египетская принцесса находит младенца Моисея!

А вот так пророк Самуил помазал Саула на царство!

Я вижу!

Единственное чудо, на которое способны эти картины – чудо прозрения.

Тут древнему пророку, кажется, нечего возразить. Богу Яхве с его единственностью ничто не угрожает. Подобие становится произведением искусства.

Работа Бориса Бернштейна "Подобия" с цветными иллюстрациями размещена на сайте альманаха: http://obrazyzhizni.com



# СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бернштейн Борис Моисеевич (р. 1924) – доктор искусствоведения, профессор-эмеритус Академии Художеств Эстонии. Книги, статьи и альбомы по истории русского, эстонского искусства и по всеобщей истории искусства, а также по теории искусства и методологии искусствознания опубликованы на русском, эстонском, английском, немецком, польском, испанском, венгерском, словацком, латышском, литовском и др. языках.

**Бертин Лев** — инженер, поэт и журналист. Автор нескольких сборников стихотворений и многих публикаций в изданиях США, Израиля, Белоруссии, Канады, а также на литературных сайтах в Интернете. В настоящее время занимается книжным бизнесом. Живёт в Атланте, США.

Бик-Булатов Айрат Шамилевич (р.1980) Родился в Казани. В 2002 окончил факультет журналистики Казанского государственного университета. Кандидат филологических наук. Автор самиздатовских сборников «Черно-белое», «Ржавчина» (совместно с О. Балтусовой), книги стихов «Юрод нашего времени» (Таткнигоиздат, 2001г.). С 1997 по 2001 редактор русскоязычного приложения журнала «Ялкын». С 2003 редактор отдела публицистики журнала «Квадратное колесо». Живёт в Казани.

Дёмкин Андрей (р.1970) Родился в Ленинграде. Выпускник Военно-медицинской академии. Служил на Северном флоте. Специализировался в области психофизиологии. В настоящее время работает в ВМА на должности психолога в научно-исследовательском центре. Имеет 26 научных публикаций, в том числе и по истории живописи. Живёт в Санкт-Петербурге.

Зевелёв Александр (р.1958) Родился и жил в Москве. С 1991 года живёт в Сан-Франциско. В 1983 году окончил экономический факультет МГУ. Первая песня написана и исполнена в 16-летнем возрасте. Песни пишет на свои стихи, пробует себя в прозе,

драматургии и публицистике. В мае 2000 года вышел компакт-диск «Пятнадцатый этаж». В мае 2005 года записан второй компакт-диск «Жизнь напролёт». В 2007 году — финалист конкурса радио «Шансон» (Москва). В 2005 — 2008 годах работал ведущим на радио «Русский Голос» (Сан-Франциско). В октябре 1995 года основал в Сан-Франциско русскоязычную творческую тусовку ХЛАМС (художники, литераторы, актеры музыканты сопутствующие), существующую и по сей день.

Золотаревская Марина — прозаик, поэт, переводчик. Родилась в 1960 г. в Харькове. Окончила Харьковский политехнический институт. Автор книги «Кто её зовёт?..» (2008, Сан Франциско, иллюстрации Владимира Витковского), включающей оригинальные сочинения и перевод поэмы Д.Г. Байрона «Лара». Книга «Переход», составленная из произведений Марины Золотаревской и Аллы Ходос, готовится к изданию. Марина Золотаревская являлась постоянным автором и членом редколлегии русскоязычного журнала «Тегта Nova», издававшегося в Калифорнии. Редактор альманаха «Образы жизни». Публикации в журналах «День и ночь», «Радуга», «Новый берег», на литературном сайте «Интерлит». Живёт в Сан-Франциско.

Кононова Анна родилась в Минске. Ребёнком выступала на белорусском радио, в передаче «Піянерская зорка» и радиоспектаклях. После окончания Минского радиотехнического института работала внештатным корреспондентом журнала «Рабочая смена». Автор книги стихов «Пляска женская», опубликованной в Минске, и коротких рассказов. Участница литературного объединения «Восхождение», созданного поэтессой Валерией Моргулис. Печаталась в журнале «Рабочая смена» и на русскоязычном международном литературном сайте «Интерлит». Живёт в Израиле, работает программистом.

Кузнечихин Сергей Данилович (р.1946) Родился в посёлке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт. Работал инженером в Свирске Иркутской области; в Красноярске сторожем. Печатается как поэт с 1977-го года. Автор книг стихов «Жесткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулевая бочка». Постоянный автор и член редколлегии журнала «День и ночь». Член СП СССР (1991). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981). Живет в Красноярске.

**Ле Гуин Урсула Крёбер** (англ. Ursula Kroeber Le Guin; род. 21 октября 1929г.) — известная американская писательница, литературный критик и эссеист. Автор романов Хайнского цикла, повестей о Земноморье, сборников рассказов, эссе, литературоведческих работ, киносценариев и поэтических сборников. Урсула Ле Гуин является одним из наиболее авторитетных авторов, пишущих в жанре фэнтези, обладательницей нескольких высших наград в этой области (Хьюго, Небьюла, Локус). Проживает в Портланде (штат Орегон).

Маркова Лина. В Советском Союзе Лина Маркова была диссиденткой, активисткой движения за эмиграцию в Израиль. Она путешествовала по стране, собирая подписи под петициями, обращёнными к правительству СССР. Эти подписи, а также информацию об арестах единомышленников Лина Маркова передавала иностранным СМИ. Агенты КГБ, которые следовали за ней всюду, предупреждали Лину, что она может очутиться не на Ближнием Востоке, а на Дальнем (в Сибири). Она была одной из первых четырех советских граждан, которые подали заявление в Верховный Совет СССР об отказе от советского гражданства. В марте 1971 года Лина эмигрировала в Израиль, а с 1974 года живет в Америке. Л. Маркова участвовала в нескольких поездках к местам библейского и мифического прошлого Земли, возглавляемых ученым-библеистом Захарией Сичиным. Многие годы работала в Интеле, одной из ведущих компьютерных компаний Силиконовой Долины. Являлась членом редколлегии русскоязычного журнала «Terra Nova». Живёт в Маунтен Вью, Калифорния.

Мельницкая Инна Владимировна — поэт, прозаик, переводчик, пишущая на русском и украинском языках. Коренная харьковчанка. В течение многих лет преподавала на факультете иностранных языков ХГУ, руководила литературной студией, воспитавшей целый ряд переводчиков иноязычной прозы и поэзии. Произведения И. Мельницкой переводились на

белорусский, мордовский, молдавский и итальянский языки, входили в русскоязычные издания США и Израиля. После выхода в свет книг «Когда не было лета» и «Надпись на парапете» в 1989 году И. Мельницкая была награждена итальянской медалью ASS.NAZ. ALPINI, а в 1999 году была приглашена британской киностудией Би-Би-Си для участия в многосерийном фильме «Война века». За сборник стихов «Опрокинутые облака» автору присуждена премия имени Бориса Слуцкого и звание лауреата конкурса «Русское слово Украины 2002»; за повесть «Украинский эшелон», первую книгу одноименной дилогии, — международная литературная премия имени Юрия Долгорукого и звание «Харьковчанин года 2005», за повесть «Страна моего детства» — юбилейная премия журнала «Радуга».

Мелодьев Мартин Михайлович. Родился в 1953г. в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990г. живет в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор книг стихотворений: «Сочетания» (Новосибирск, 1991), «Шлюз» (изд-во Hermitage, Нью-Джерси,1998) и «Цветной проезд» (Новосибирск, 2000). Публикации в газетах и ежегодниках США: «Альманах Поэзии», «Встречи», «Альманах клуба русских писателей в Нью-Йорке». В России публиковался в сборниках «Общая тетрадь. Из современной русской поэзии Северной Америки» (Москва, 2007), «Гнездо поэтов» (Новосибирск, 1989), «География слова» (Москва, 2000), «СП: Поэзия новой волны» ( Новосибирск, 1993), «К востоку от Солнца» ( Новосибирск, 1999-2007), «Петербургский литератор» (СПБ, 2000), «Время Ч» (Москва, 2001). Страница в интернете www.mmelodyev.narod.ru

Мурсалимова Нурия Родилась в 1956 году в г. Львове на Украине. Довелось жить в ГДР, Литве, Белоруссии. Окончила историко-филологический факультет Казанского университета по специальности «Русский язык и литература». Переехав в Минск, работала корреспондентом в отделе культуры в газете «Знамя юности», редактором заводского радиовещания, научно-технической инженером ПО информации, библиотекарем. Одновременно работала по контракту в детском журнале «Кважды-ква». Переехав в 1993 году в Казань, устроилась в Центральную городскую библиотеку, где работает и сейчас завсектором литературы на иностранных языках. Сотрудничала с детским журналом «Зонтик» (Казань). В 1993 году в Минске в издательстве «Красико» вышла книжка сказок Нурии Мурсалимовой «Раскраски-сказки-пресказки».

Саввиных Марина (Наумова Марина Олеговна) 1956 г.р. Родилась в Красноярске. После окончания Красноярского педагогического института работала в школе учительницей русского языка и литературы, преподавала гуманитарные дисциплины в техникуме железнодорожного транспорта и педагогическом колледже, в котором руководила кафедрой культуры. Автор проекта и директор Красноярского литературного лицея. Член Союза российских писателей с 1994 года. Первый лауреат Фонда В.П.Астафьева. Стихи, проза, публицистика печатались в журналах «Юность», «День и Ночь», «Уральский следопыт», «Сибирские Афины», «Москва» и др. Главный редактор журнала «День и Ночь». Живёт в Красноярске.

Серенко Дарья (р.1993) Родилась в Хабаровске. Закончила Омскую гимназию №75. Публиковалась в различных коллективных сборниках и альманахах, в журналах «Интеллект будущего» и «День и Ночь». Лауреат Всероссийского поэтического конкурса «И божество, и вдохновенье» (2009). В настоящее время — студентка Литературного института им. Горького. Живёт в Москве.

Станюта Александр Александрович — профессор, писатель, журналист. Преподавал русскую классическую литературу в Белорусском государственном университете. Исследователь творчества Ф.М. Достоевского. Автор книг «Стефания», посвящённой жизни и творчеству замечательной белорусской актрисы Стефании Станюты, матери писателя; «Городские сны», включающей роман и рассказы. Готовится к изданию книга «Сцены из минской жизни», куда войдут роман, повесть, рассказы, очерки, интервью.

Стрельцов Михаил Михайлович (р.1973). Родился в г. Мыски Кемеровской области. Выпускник Кемеровского государственного института искусств и культуры. Работал педагогом-организатором внеоператором мини-лаборатории классной работы, «Кодак», коммерческим директором отдела продаж, финансовым директором. В 2001 году переехал в Красноярск. Ведущий специалист научной библиотеки СибГТУ. Автор пяти книг стихов и прозы. Публикации в журналах «Москва», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «День и Ночь», в коллективных сборниках и альманахах. Член Союза российских писателей. Председатель Правления КРОО «Писатели Сибири». Ответственный секретарь редакции журнала «День и Ночь». Живёт в Красноярске.

## Тарковский Михаил Александрович

(р.1958). Родился в Москве. Окончил МГПИ им. Ленина по специальности география и биология. После окончания работал на Енисейской биостанции (Туруханский р-н Красноярского края), с 1986 штатный охотник, а последние годы охотник-арендатор в с. Бахта Туруханского района. Писал стихи, последние годы перешел на прозу. В 1981 г. в Москве в издательстве «Терра-Тек» вышла книжка стихов, печатавшихся также в журналах. Основная проза выходила в журналах «Согласие», «Москва», «Литературная учеба», «Наш современник», «День и Ночь».

Трегуб Александр. Учился (инженер-электронщик) и защитился (кандидат химических наук) в Киеве; эмигрировал с семьей в Израиль, работал в Иерусалимском университете и на Гумбольдтовской стипендии в Германии, затем переехал в Америку, где работал в Университете Тенесси, Калифорнийском Университете в Сан Диего и в Стэнфордском Университете. Последние десять лет работает в компании «Интел» в Северной Калифорнии.

Трегуб Инна родилась в Киеве. Училась на химическом факультете Киевского Университета, защитила кандидатскую диссертацию. В 1990 году эмигрировала в Израиль, там поступила в постдокторантуру в Институт Вейцмана. Впоследствии работала в университетах в Англии, Германии и США. С 2004 г. работает в Силиконовой Долине в High Tech индустрии. В 2007-2008 годах получила еще одно образование – Life Coach, и эта профессия стала важной частью ее жизни. В качестве хобби организует вечеравстречи бывших соотечественников - «Салон». Писать начала в 2007 для журнала «На здоровье» как Life Coach. («Русские дети», «Саботажница и будущая я» и др.). Рассказ-воспоминания «Октябрьские визы» – первая попытка творчества, не связанного с этой тематикой.

Тюрин Вячеслав Игоревич (р.1967) Родился в Якутии. Жил и учился в Красноярске и в п. Лесогорск Иркутской области. В 1998 г. занял первое место в номинации «Поэзия» на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность». А в 2001-ом удостоился Гран-При конкурса «Илья-Премия» по СНГ: издание книжки «Всегда поблизости» (500 экз.) с предисловием Марины Кудимовой. В 2006-ом вышла в свет вторая книжка «Розы в стране гипербол» (700 экз.). Учился на ВЛК при Литинституте им. Горького, но, по болезни, закончить их не смог. Печатался в журналах: «Знамя», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Сибирь», в различных газетах и альманахах. Живёт в Иркутской

области.

Ходос Алла родилась в Минске в 1958 году. Окончила филфак Белгосуниверситета. Работала воспитателем в школе-интернате для детей-сирот, соцработником в Райсобесе, социологом на заводе, учителем в школе. Живёт в Америке с 1994 года. Работала в русскоязычной газете «Запад-Восток» (Сан-Франциско). Автор книг стихов и прозы: «Интернат», «Человекоснег», «Воздушный слой». Публиковалась в журналах и альманахах «День и ночь», «Тегга Nova», «Зеркало», «Панорама», «Побережье», на сайтах «Интерлит» и «Другие берега». Редактор литературного альманаха «Образы жизни». Живёт в Сан-Леандро, Калифорния.

Яицкая Елена родилась 1957 году в Дзержинске (Белоруссия). По окончании университета в г. Минске переехала на Север, в Мурманск, вслед за мужемвоенным, где и живёт сейчас. Преподаёт русский язык и литературу в школе и гуманитарном университете. Помимо поэзии и прозы увлекается музыкой. Участник одной из мурманских команд игры «Что? Где? Когда?»

Редакция как правило не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, однако иногда публикуются. В последнем случае редакция в переписку вступает.

Контактная информация:

E-mail: obrazyzhizni@yahoo.com Website: www.obrazyzhizni.com

Стоимость номера, включая пересылку, 25 долларов. Заказать альманах можно по элекронной почте: obrazyzhizni@yahoo.com